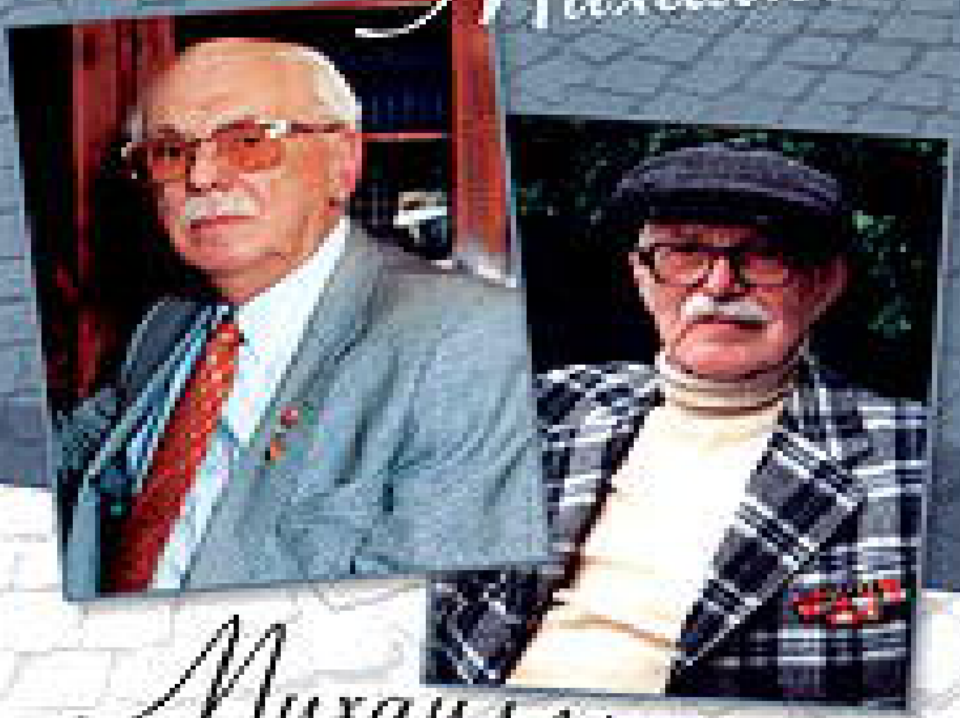
Сергей Михалков



Михаил Михалков

Два брата — две судьбы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары любимого детского писателя многих поколений Сергея Михалкова и его младшего брата Михаила, писателя, поэта, песенника, творившего под псевдонимом Андронов откроют для вас тайну долговечности и процветания династии Михалковых. Сергей Владимирович ярко с большим юмором рассказывает о своих встречах со многими знаменитейшими людьми прошлого века. Писатель Михаил Михалков, творчество которого представлено книгой «В лабиринтах смертельного риска» (1953 г., впервые издана на русском в 1991 г.), человек уникальной судьбы. Агент-нелегал, на равных беседовавший с Отто Скорцени, крупнейшими промышленниками и финансовыми магнатами Европы рассказывает захватывающую полную героических приключений историю своей жизни.

- С. В. Михалков
  - С. Михалков
  - С. Михалков
  - М. Михалков
    - Пролог
    - Глава 1
      - На фронтовых дорогах
      - На краю гибели
      - Катя и ее подруга
      - В гостеприимной семье
      - В чужом доме
      - Хромов
      - Фотография
      - В тупике
      - Третий блок
      - Зоны смерти
      - «Шарап»
      - Расстрел
      - Страх
      - Номер 19
      - В офицерском «обществе»
      - Коля-ленинградец
    - Глава 2
      - Санитар Ганс Швальбе
      - Скрипник
      - Через Днепр
      - Мы видели это

- Добрая встреча
- Тройка
- Пусть числится при обозе
- Нельзя наугад
- Мое новое оружие
- Песчаный Брод
- Лиза

- Глава 3
  - На том берегу
  - «Короли» и карлики
  - Обоз — десять подвод
  - Прощайте, господин Бёрш!
  - В Карпатах
  - Во фраке
  - В замке
  - Дочь миллионера
  - Удачное знакомство
  - В отеле «Россия»
  - Все ли будет так, как должно быть?
  - Стамбул
  - «Где ты пропадал?»
  - Жан Кринка
  - Люди в лесу
  - Первая операция
  - Еще одна проверка
  - Почти у цели
- Глава 4
  - «Ваша фамилия Люцендорф?»
  - Под сенью Красного Креста
  - Последние дни в госпитале
  - Цена человека
  - Капитана Мюллера нет
  - Мясорубка
  - Три дня в полосатой куртке
  - Последний диктант
  - Фронт в трех шагах
  - У своих

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

С. В. Михалков
М. В. Михалков
ДВА БРАТА — ДВЕ СУДЬБЫ
Мемуары

С. Михалков
Я БЫЛ СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
Приметы времени

Я, гражданин бывшего Советского Союза, бывший советский писатель, Сергей Владимирович Михалков, родился в царской России, в городе Москве 13 марта (28 февраля по ст. ст.) 1913 года. Первые свои шаги сделал в доме № 6 по улице Волхонке, что неподалеку от Кремля. В старом справочнике московских домовладельцев сказано: «Волхонка. Дом № 6. Домовладелец Сергей Владимирович Михалков (брат моего деда). Строительная контора С. Маршак». Странное предзнаменование, связавшее эти две фамилии спустя двадцать лет!

Помню, как няня Груша водила меня гулять в Александровский сад, к храму Христа Спасителя… Но прежде несколько слов о моем отце.

> «Владимира Александровича Михалкова я знаю в течение двадцати лет. Судьбе было угодно за это время сталкивать нас в самых разнообразных жизненных положениях. Я был его учителем, добрым знакомым, поверенным в делах и, наконец, подчиненным. Владимир Александрович глубоко порядочный человек, неутомимый работник, весьма опытный и талантливый администратор. Я совершенно уверен в том, что Владимир Александрович будет ценнейшим работником у Вас в правлении».

Я держу в руках пожелтевшую от времени служебную записку, датированную 31 марта 1923 года, и память воскрешает образ моего отца, так и не дожившего до своего пятидесятилетия. Умер он в городе Георгиевске на Северном Кавказе от крупозного воспаления легких 24 декабря 1932 года. Были бы тогда, в начале тридцатых годов, на вооружении нашей медицины антибиотики, может, и дожил бы до наших дней этот полный творческой энергии, целеустремленный и бесконечно преданный своему любимому делу человек.

Когда я думаю об отце, мысль невольно ведет меня в более отдаленное прошлое. Хочется вспомнить об отце отца, о дедах, прадедах, пращурах. На ум приходят пушкинские строки «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», за которыми — мысль поэта о том, что каждый человек должен быть

неравнодушен к истории своей семьи, своего рода, знать, какое участие принимали его предки в истории Отечества.

Со временем это побудило меня заинтересоваться моей родословной. Оказалось, что в различных архивах нашей страны хранится большое количество старинных документов Михалковых.

Михалковы — древний русский род, ведущий свое начало, согласно старинному преданию, из Литвы. Как известно, в XIV веке западные русские земли оказались под властью Великого княжества Литовского. В XV веке многие русские жители этого края, избегая притеснений со стороны литовских феодалов, не желая переходить в католичество, растворяться в чужой им этнической среде и терять свою принадлежность к русскому народу, переселялись на Русь — в Москву, Тверь и другие города.

Выехал в первой половине XV века из Литвы в Тверь, на службу к великому князю Ивану Михайловичу Тверскому, и некто Марк Демидович. От его потомков Киндыревых «ответвились» Михалковы.

> «Михалковы в свойстве с Шестовыми, родом великой старицы Марфы Ивановны, матери царя Михаила Федоровича. Первым „постельничим“ вновь избранного царя был человек ему не сторонний, а именно Михалков.
>
> Связи Михалкова с Шестовым не объясняют ли этот выбор, так как постельничие были люди царям не чужие».

Так записано в сборнике «Старина и новизна» (книга XVII, 1914 г.).

Боковые ответвления генеалогического древа рода Михалковых ведут к ближайшим родственным связям с Толстыми и к дальним… выходят к Янковским (к Николаю Васильевичу Гоголю).

В разное время Михалковы проявляли себя на самых разных поприщах военной и государственной службы. Многие из них пролили свою кровь в боях за Отечество, иные оставили о себе память как видные деятели русской культуры.

В допетровские времена были среди Михалковых и простые воины, и «служилые люди», и в разных чинах «люди начальные».

Первый постельничий молодого царя Михаила Федоровича — Константин Иванович Михалков — был наместником трети Московской (умер в 1628 г.).

Федор Иванович Михалков служил воеводой в Романове, Тотьме и Чебоксарах. В Смутное время, в годы иноземного нашествия на Русь, он, по выражению тех времен, «не покривил»

и сохранил верность Отечеству, за что ему в 1613 году «за службу против польских и литовских людей» и за «московское сидение» была пожалована вотчина «по приговору» боярина князя Дмитрия Пожарского.

В Государственном историческом музее в Москве, Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, Государственном архиве Ярославской области, в ряде других архивов России, в том числе и в ЦГАЛИ, хранится большой семейный архив Михалковых (грамоты, челобитные, около 14 тысяч листов семейной переписки от середины XVII до начала XX века). По этим документам можно проследить жизненный путь многих представителей древнего русского рода. В г. Рыбинске, рядом с которым в селе Петровском была усадьба моих предков, есть музей, почти полностью состоящий из предметов, когда-то принадлежавших нашему роду. Так вот, в запасниках этого музея обнаружены иконы, которые являют собой духовную ценность нашей семьи и разыскиваются мною в течение многих лет. Думаю, особый интерес представляют две иконы, а именно: Спас Нерукотворный и Богоматерь Владимирская.

На обороте первой иконы написано: «Сим образом благословил сына своего Сергей Владимирович Михалков 29 августа 1881 года. Этот образ принадлежал стольнику и постельничему Константину Михалкову — четвероюродному брату царя Михаила Федоровича Романова».

На обороте второй иконы есть надпись чернилами: «Сим образом благословили служителя своего Феофана Григорьева г-н Сергей Владимирович Михалков и супруга Мария Сергеевна Михалкова в 1830 году апреля 27 дня, а написан оный образ около 1650 года прадедушкой Сергей Владимировича Михалкова Петром Дмитриевичем Михалковым, что в Петровском близ Рыбинска».

Даже в лихие годы Октябрьского переворота, когда национализировалось имущество владельцев усадеб, единственное, что им оставляли, — это духовную ценность, семейные иконы. Полагаю, что данным иконам не место в запаснике краеведческого музея, — они должны находиться в нашей семье и переходить по семейной линии от поколения к поколению. У меня есть дети, внуки и даже правнуки, и я хотел бы, чтобы жизнь их была освящена той духовной Верой, которую несли семейные иконы их славным предкам.

Как пример служения нашему Отечеству можно привести судьбу Дмитрия Васильевича Михалкова, умершего в 1684 году. За свою сорокалетнюю службу Отечеству этот русский воин участвовал во многих походах во время Русско-шведской и

Русско-польской войн середины XVII века. В неудачном для России конотопском сражении 1659 года был тяжело ранен. «И на том Конотопском бою в приход хана Крымского, — пишет своей рукой Д. В. Михалков, — я… тяжело ранен саблею великою раною — больше половины пересечена шея на великую… силу и голова на плечах удержалась». Несмотря на тяжелое ранение, воин оставался в строю и вновь был ранен во время жарких боев между русскими войсками и татарской армией визиря Кара-Мустафы под Чигирином летом 1678 года.

Продолжали Михалковы служить Родине в разных армейских чинах в допетровское и послепетровское время.

В эпоху Петра в знаменитый Семеновский полк был записан солдатом Петр Дмитриевич Михалков. В этом полку он, как гласит документ о его отставке, «во всех походах был везде безотлучно» и вышел в отставку в 1715 году в чине подпоручика.

Мой прапрадед, Сергей Владимирович Михалков (1789–1843), прошел путь в Семеновском полку от унтер-офицера до подпоручика, отличился в сражениях против наполеоновских войск под Аустерлицем в 1805 году, при Фридланде в 1807 году, за что был награжден боевыми орденами России.

Заметный след в истории русской культуры оставил его сын и мой прадед, действительный статский советник Владимир Сергеевич Михалков (1817–1900), женатый на княжне Елизавете Николаевне Голицыной. Он блестяще окончил в 1839 году Дерптский университет. В архиве этого университета (г. Тарту) до сих пор хранится его конкурсное сочинение на тему «Об американской системе наказания», удостоенное золотой медали. Высокообразованный человек, он посвятил себя деятельности на ниве народного образования, приобрел широкую известность как крупный коллекционер и владелец одной из лучших частных библиотек России.

«Достигнув преклонного возраста, желая не только сохранить свое собрание, но и предоставить его в общественное пользование, В. С. Михалков позаботился о его будущем и сделал соответствующие завещательные распоряжения», — писала рыбинская «Верхневолжская правда» (12 октября 1986 г.) в статье «Село Петровское и его обитатели», сопровождая статью портретом моего прадеда.

Мой дед, Александр Владимирович Михалков, штаб-ротмистр Кавалергардского полка, страдал душевным заболеванием, связанным с потрясением после смерти жены, и потому сам он был в отставке, а имущество его под опекой. Опекуном был назначен генерал-лейтенант В. Ф. Джунковский. Будучи в должности товарища министра внутренних дел, Джунковский

снискал уважение в революционных рабочих кругах, и, когда в первые послереволюционные годы он был арестован ЧК, делегация рабочих добилась его освобождения. Последние годы своей жизни Джунковский был церковным старостой в одном из приходов Москвы. В тридцать седьмом году его вновь арестовали, и он разделил участь многих представителей своего класса. В. Ф. Джунковский был моим крестным отцом.

Мой отец, Владимир Александрович Михалков, получил образование на юридическом факультете Московского университета. Он выполнил волю своего деда, и родовая библиотека в 1910 году влилась в основной фонд Библиотеки Академии наук в Петербурге, где и хранится по сей день.

Помню себя ребенком в родовом имении Назарьево под Москвой. Я стою с няней возле дома, а отец со второго этажа бросает мне красивую конфету — «Чернослив в шоколаде».

Помню октябрьские дни семнадцатого года, когда с улицы доносилось «Вихри враждебные веют над нами» и мама уводила детей в комнаты с окнами, выходящими во двор.

Помню себя в имении Ольгино в Амбросиевске, Области войска Донского. В комнате пахнет персиками, разложенными по всему полу большой комнаты с выходом в сад. Помню охрану из донских казаков.

До сих пор целы и находятся под охраной государства могилы моих предков: прадеда, прабабки и брата прадеда, похороненных возле назарьевского храма. Храм, до сих пор не восстановленный, занят под всевозможные бытовые службы, а сам дом усадьбы вошел в комплекс санатория им. Куйбышева. Я недавно отдыхал в этом санатории и гулял по тем же дорожкам, по которым когда-то бегал в коротких штанишках.

Мне было одиннадцать лет, когда умер В. И. Ленин.

Спустя пятнадцать лет, в 1939 году, мне был вручен в Кремле первый орден Ленина…

В первые годы становления советской власти разрушенное народное хозяйство страны нуждалось в помощи образованных специалистов — представителей русской интеллигенции.

Мой отец оказался в их числе. Энергичный, деловой и дальновидный человек, начав фактически с пуля, отец стал впоследствии одним из основоположников промышленного птицеводства страны. В 1932 году ему была предложена кафедра профессора в Воронежском сельскохозяйственном институте. Он дал согласие, но в Воронеж переехать не успел. В том же году он умер в г. Георгиевске от воспаления легких.

26 декабря 1986 года в Тимирязевской сельскохозяйственной академии состоялось юбилейное заседание, посвященное 100-

летию со дня рождения известного ученого-птицевода В. А. Михалкова.

1925 год.

Мне двенадцать лет. Я хожу по домам подмосковного поселка Жаворонки и предлагаю приобрести брошюру под названием «Что нужно знать крестьянину-птицеводу». Брошюра издана Книгосоюзом. Автор ее — мой отец.

Человек по своей натуре масштабный и инициативный, он был одержим идеей перестройки мелкого крестьянского птицеводства в крупное государственное. Уже вторая книга отца называлась: «Почему в Америке куры хорошо несутся?»

Однажды мы получили из-за границы, кажется из Лондона, оригинальную посылку: в ней лежал упакованный в вату десяток крупных яиц. Яйца поделили между курами-наседками. Три яйца оказались «болтунами», зато из остальных вывелись… утята! Это были предвестники ставшей потом столь популярной у нас в стране породы яйценосных уток индийский бегун, ярым поклонником и пропагандистом которых был мой отец.

Вспоминается и другой семейный случай, на этот раз характеризующий моральные устои моего отца. Мне, тринадцатилетнему юнцу, посчастливилось выиграть в лотерее московского ГУМа… бутылку портвейна! Гордый своей удачей, я вернулся домой и простодушно протянул ее отцу:

— Это тебе, папа!

— Где ты ее взял? — спросил отец.

— Выиграл в лотерее!

Отец молча вышел во двор, на моих глазах отбил горлышко бутылки об угол мусорного ящика и, вылив вино на землю, спокойно, но веско сказал:

— Никогда не играй! Запомни! И я на всю жизнь запомнил…

Моя мать, Ольга Михайловна Михалкова, — урожденная Глебова. Ее предки тоже служили на военной и государственной службе, активно участвовали в походах и войнах, которые приходилось вести России. Достаточно вспомнить прадеда моей матери, Михаила Петровича Глебова (1789–1852), участника Отечественной войны 1812 года, заслужившего в сражении при Гельзберге 29 мая 1814 года золотое оружие с надписью «За храбрость». Женщина безгранично добрая, мягкая и беззаветно преданная семье, она в прошлом была сестрой милосердия, некоторое время учительствовала, а затем целиком посвятила себя мужу и детям. Семья наша жила очень скромно, — всегда на что-то недоставало денег, и матери хватало забот: надо было воспитывать меня и моих младших братьев, Александра и Михаила, помогать отцу в его неутомимом изобретательстве

всевозможных механических кормушек и других приспособлений для разведения домашней птицы. Большую часть своих гонораров за книги отец тратил на осуществление своих изобретений.

За заслуги отца мать получала персональную пенсию. Умерла мама в Москве, в 1943 году.

Писать стихи я начал рано. Мне было немногим больше десяти лет, когда беспризорники, проникшие в нашу квартиру, похитили шкатулку с моими «сокровищами», среди которых, вместе с перочинным ножом и рогаткой, хранилась общая тетрадь с начисто переписанными первыми моими стихотворениями.

В 1945 году, в Горьком, после моего выступления в зале Горьковской филармонии знавшая когда-то нашу семью А. Н. Румянцева передала мне бог весть как сохранившиеся у нее восемь моих стихотворений, датированных 1924–1925 годами. Была среди них и моя первая басня. Она заканчивалась моралью:

Мораль сей басни такова.
Что много тех людей на свете белом,
Которым надо рассказать,
Что людям лучше помогать
Не только словом, но и делом.

Жили мы тогда круглый год в Подмосковье на даче, принадлежавшей неким Яковлевым, занимая первый этаж дома, одиноко стоявшего в запущенном парке. Ходить в школу было далеко, и потому первоначальное образование я получил в семье.

Рядом с дачей Яковлевых в небольшом флигеле жила семья, с которой мы дружили. Мы не знали, чем занимаются наши соседи, возвращающиеся порой ночью из города. Время было неспокойное, полное всевозможных слухов. Однажды осенней ночью дача и флигель были неожиданно окружены вооруженными людьми, а соседи арестованы. Они оказались членами преступной банды, орудовавшей в Москве.

Кто-то из знакомых порекомендовал родителям взять для присмотра за детьми оставшуюся без работы прибалтийскую немку. Эмма Ивановна Розенберг вошла в нашу семью и с присущей ей немецкой педантичностью взялась за воспитание своих подопечных.

Я с душевной теплотой вспоминаю эту сухопарую, жилистую старую деву, заложившую в мой характер основы самодисциплины и обучившую меня немецкому языку настолько, что я еще в детстве мог свободно в первоисточнике читать Шиллера и Гете. Не прошли мимо меня и приключенческие романы немецкого автора Карла Мая. Я зачитывался ими при

свете карманного фонаря, накрывшись с головой одеялом, в те часы, когда детям было положено спать.

Не обошлось в моем домашнем воспитании и без сельского священника. Две зимы кряду наезжал к нам на своей лошадке три раза в неделю молодой о. Борис, он же Борис Васильевич Смирнов (был арестован и расстрелян). В его задачу входило преподавать мне основы географии, истории русского языка. По своей инициативе он попытался было занять меня и Законом Божьим, однако старания его были безуспешны, ибо «агитки» Демьяна Бедного начисто вытеснили из моей головы и Новый, и Ветхий Заветы.

В обычную школу я пошел с четвертого класса, после переезда семьи в Москву.

Я читал Маяковского, Есенина, Демьяна Бедного в газете «Копейка». Влияние именно этих поэтов сильно сказалось на моих детских поэтических опытах. Но больше всего я любил сказки Пушкина, басни Крылова, стихи Лермонтова и Некрасова.

Коротая вечера, я выпускал домашний «литературно-художественный» журнал, был одновременно и редактором, и художником, и единственным автором этого издания. Читателями моего журнала были домашние и ближайшие родственники, посещавшие нас.

Приведу одно из стихотворений, «опубликованных» в моем «журнале».

РЕКА

Как змея извиваясь
Меж крутыми брегами,
Течет речка в озера
Голубыми водами.

По берегам растут ивы,
Что раскинули ветки,
Посредине же речки
Рыбаки тащат сети.

Ее воды прозрачны,
Дно песчано, глубоко,
По берегам же местами
Растет кучкой осока.

Верхоплавки играют,
Щуки ходят кругами,
Течет речка в озера
Голубыми водами.

Отец без моего ведома послал несколько стихотворений на отзыв известному московскому поэту Александру Безыменскому. «У мальчика есть способности. Однако трудно сказать, будет ли он поэтом. Могу только посоветовать: пусть читает и продолжает писать стихи», — гласил ответ.

Домашние публикации меня не удовлетворяли. Я мечтал напечататься по-настоящему.

Сочинив однажды в стихах «Сказку про медведя», я переписал ее печатными буквами и направился в одно из московских издательств. Оно помещалось в небольшом особняке под № 7 по Гоголевскому бульвару. Это было частное издательство Мириманова, выпускавшее детские книжки. Волнуясь, вошел я в помещение, в котором приятно пахло типографской краской. Меня провели к «самому главному». Маленький щуплый старичок с козлиной бородкой, в толстовке, принял меня как настоящего автора. Он предложил мне сесть, мельком просмотрел рукопись и попросил оставить на несколько дней. На прощание он протянул мне три рубля. Это был мой первый денежный аванс! Надо ли рассказывать, что я, выйдя за ворота, тут же оставил его у моссельпромщицы, торговавшей с лотка ирисками и соевыми батончиками.

А спустя неделю я держал дрожащими пальцами напечатанный на издательском бланке ответ, в краткой, но убедительной форме отклонявший мою рукопись как непригодную для издания. Письмо было адресовано мне, однако сперва случайно попало в руки отца. Он не обратил внимания на инициалы адресата и вскрыл его. Не разобравшись, отец принял ответ издательства на свой счет, — он как раз ждал письма из какого-то журнала, куда послал свою статью.

Сколько еще подобных отказов получил я из разных редакций, пока, наконец, в июльской книжке журнала «На подъеме» за 1928 год (г. Ростов-на-Дону) не проявились мои первые «по-настоящему» напечатанные стихи «Дорога»:

Черный ветер гнет сухой ковыль,
Плачет иволгой и днем и ночью,
И рассказывают седую быль
Зеленеющие бугры и кочки.

Гнутся шпалы, опрокидываясь вдаль,
Убегая серыми столбами.
И когда мне ничего не жаль,
Кочки кажутся верблюжьими горбами.

«Очень не восхищайтесь, учитесь работать и шлите нам свои стихи», — писал мне, пятнадцатилетнему начинающему поэту, секретарь редакции, высылая в Пятигорск авторский номер журнала (к этому времени наша семья переехала из Москвы в Пятигорск).

Город мой, Пятигорск!
Мой приветливый город
Руки к солнцу простер,
Украшая Кавказ.

И не зря говорят:
Ты и близок и дорог
Тем, кто видел тебя
Хоть один только раз!

Город мой, Пятигорск!
Это в сумраке синем
Неподвижный орел
На заветной скале.

Здесь великий поэт —
Сын великой России —
В смертный час остывал
На горячей земле!

Пятигорск, Пятигорск!
Ставрополье родное!
Золотые дубы на груди Машука,
Строгий профиль Бештау —
Вы повсюду со мною,
Память в сердце о вас
Глубока и крепка!

Как я уже упоминал, в 1927 году Терселькредсоюзом на постоянную работу была приглашена из Москвы группа специалистов-птицеводов. Одним из первых откликнулся на этот призыв мой отец. Думаю, что он оставил Москву не без умысла:

лучше было быть подальше от органов, следящих за «бывшими». Мы поселились на окраине Ново-Пятигорска, в небольшом, одноэтажном, сложенном из самана доме № 231 по Февральской улице, в непосредственной близости от ипподрома.

Большой знаток и любитель лошадей, отец брал нас — меня и моих братьев, Михаила и Александра, — по воскресеньям на скачки. В высоких желтых сапогах и в таком же желтом кожаном картузе, он сам походил скорее на заядлого «лошадника», чем на птицевода. Общительный и веселый, не терпящий никакой грубости в обращении, взыскательный к себе и другим, он всегда был окружен единомышленниками и учениками.

— Мне бы и в голову не пришло поехать работать на Терек, да разве устоишь, если Владимир Александрович приглашает?! — признался мне много лет спустя верный друг моего отца, зоотехник-селекционер И. Г. Зайцевский.

Отец целыми днями пропадал на птицефермах, на организованной им первой в СССР инкубаторно-птицеводческой станции, в командировках по Терскому краю. В свободное время он изобретал, писал. Наибольшей известностью у птицеводов пользовались его работы: «Чем хороши и почему доходны белые леггорны», «Предварительное кормление яйценосных кур», «Что такое пекинская утка и какая от нее польза», «Новые пути кооперирования птицеводства», «Разведение уток, гусей, индеек» и другие популярные брошюры. Менее чем за десять лет было опубликовано около тридцати его работ.

Много лет спустя в журнале «Птицеводство» (№ 10, 1967 г.) я в числе ветеранов советского птицеводства увидел имя отца.

> «В конце двадцатых годов Владимир Александрович переехал в г. Пятигорск, он стал работать в окружном животноводческом кооперативном союзе. Человек, обладавший исключительной творческой энергией, постоянным стремлением принести максимальную пользу, он не жалел времени и сил для внедрения в практику всего нового, прогрессивного, передачи своих знаний и опыта молодым специалистам. Его деятельность оставила заметный след в развитии птицеводства в Ставропольском крае…»

В 1966 году решением исполкома Пятигорского городского Совета депутатов трудящихся мне было присвоено звание «Почетный гражданин города Пятигорска», а в 1981 году — звание «Почетный гражданин города Георгиевска». Эти звания я мысленно делю сегодня со своим отцом.

Благосклонно относясь к моим литературным упражнениям,

отец предложил мне как-то написать десяток четверостиший для сельскохозяйственных плакатов, посвященных птицеводству, автором которых он являлся. Я охотно выполнил заказ. Четверостишия, прославлявшие птицеводов и агитирующие за современные методы птицеводства, были опубликованы. Отец крепко пожал мне руку, и это рукопожатие было для меня дороже всякого гонорара.

К тому времени я уже стал автором краевой газеты «Терек», выходившей в Пятигорске. Первой моей публикацией в этой газете была «Казачья песня» (1929):

Качалась степь осокою,
Гармонь драла бока…
Казачка черноокая
Любила казака…

Я был зачислен в актив при Терской ассоциации пролетарских писателей (ТАПП), которой руководил в те годы известный на Тереке драматург Алексей Славянский.

Это была колоритная фигура. Он ходил в черкеске с газырями, затянутый серебряным наборным поясом, при кинжале, и от всего его облика так и веяло казачьей удалью и Гражданской войной.

Вспоминаются литературные вечера, на которых читали свои произведения пятигорские литераторы Воробьев, Трумпельдор и другие. Все они были значительно старше меня, чаще публиковались, но, к сожалению, не оставили большого следа в литературе последующих лет.

Многим обязан я моему школьному учителю русского языка и литературы А. Сафроненко, по-отечески поддержавшему меня в стремлении стать настоящим писателем.

— У нас был Лермонтов, теперь у нас Михалков! — любил он пошутить в нашей школьной аудитории.

Мне не довелось встречаться ни с М. Горьким, ни с В. Маяковским. Потрясенный смертью великого поэта, я написал стихи и послал их в редакцию одной из московских газет с просьбою не высылать мне гонорар. Стихи напечатаны не были.

В 1930 году, по окончании пятигорской школы 2-й ступени имени 25 октября, я решил начать самостоятельную жизнь.

«…Посылаю сына в Москву, чтобы попытаться поставить его на ноги. Его задача — получить нужное для писателя образование — путем работы в библиотеке, посещения театров, диспутов и общения с людьми, причастными к культуре. Если в течение года он сумеет двинуться вперед и будут какие-либо

надежды, то возможно учение в литературном техникуме, если нет — он поступит на завод рабочим и потом будет учиться по какой-нибудь специальности…» — писал отец в письме своей сестре М. А. Глебовой, проживавшей в столице.[1]

Мне исполнилось семнадцать лет.

— Больше всего ты любишь писать стихи. Попробуй свои силы. Учись дальше. Попробуй вылечиться от заикания. Работай над собой. Может быть, со временем из тебя что-нибудь и выйдет. Но главное, чтобы из тебя вышел человек! — напутствовал он меня, провожая в Москву.

Страдая с детства дефектом речи — заиканием, я никогда не стеснялся своего недостатка. В определенных трагикомических обстоятельствах я так умел обыграть свое заикание, что в школе никому из моих сверстников и в голову не могло прийти посмеяться надо мной.

Человек, лишенный чувства юмора, чаще всего обидчив и потому несчастен. Ему трудно жить среди людей. Он мнителен и любую безобидную шутку в свой адрес может воспринять как оскорбление. Зато бесценно свойство человека, умеющего посмеяться над собой. Это я хорошо усвоил с детства.

Полный надежд, готовый преодолеть любые житейские невзгоды, я покинул отчий дом.

* * *

Существовать на литературный заработок было трудно. В течение трех последующих лет я сменил ряд профессий: работал разнорабочим на Москворецкой ткацко-отделочной фабрике, был помощником топографа в геолого-разведочной экспедиции в Восточном Казахстане и в изыскательской партии Московского управления воздушных линий на Волге. Мне пришлась по душе дружная кочевая жизнь геологоизыскателей — жизнь, полная романтических неожиданностей, трудностей и приключений. Но я не оставлял мечты о литературном творчестве.

С 1933 года я стал более или менее часто печататься в столичной периодике. Опубликованная в «Огоньке» песня «Марш эскадрилий» была неожиданно перепечатана «Правдой». К этому времени относится начало моей долголетней дружбы с такими выдающимися мастерами советской эстрады и театра, как Рина Зеленая и Игорь Ильинский. В их исполнении впервые зазвучали со сцены и по радио мои стихи для детей.

Меня зачислили на внештатную работу в отдел писем редакции «Известий». Здесь я впервые встретил ставшего на

многие годы моим близким другом молодого, но уже популярного писателя и фельетониста, доброго, умного, талантливого Льва Кассиля. На всю жизнь останется для меня примером этот чудесный человек, один из зачинателей советской детской литературы. Он был вторым браком женат на дочери великого русского певца Леонида Собинова — Светлане, и в их доме всегда царила неповторимая атмосфера счастья, любви и творчества. Лева Кассиль вел семинары молодых писателей, и многие литераторы должны быть ему благодарны за бесценные советы и помощь.

Молодые поэты и прозаики тридцатых годов выступали на страницах многотиражек, в рабочих и студенческих аудиториях, по командировкам редакций выезжали на новостройки и в колхозы страны. Для меня, как и для многих моих товарищей и сверстников по литературному объединению при журнале «Огонек» (А. Недогонов, Е. Долматовский, Л. Ошанин и др.), равно как и по Литературному институту имени А. М. Горького (К. Симонов, М. Алигер, С. Васильев и др.), стало насущной потребностью творчески откликаться на события времени. Я писал стихи о челюскинцах, о перелете Чкалова, о пограничниках, о событиях в Испании и Абиссинии, — обо всем, чем жило тогда наше поколение.

Вслед за первым сборником стихов, выпущенным в библиотечке «Огонька», стали выходить мои книжки, в которых все большее место занимали стихи для детей.

Мои творческие начинания в области детской литературы были замечены. В 1937 году я был принят в члены Союза советских писателей.

Я был увлечен студенткой нашего института, высокой, статной девушкой с большой русой косой за плечами.

Встречаю я ее как-то в Доме литераторов.

— Хочешь, я посвящу тебе стихи и опубликую их завтра в «Известиях»? — обратился я к ней, зная заранее, что стихи мои уже стоят на полосе очередного номера газеты.

— Попробуй! — улыбнулась моя избранница.

Я поспешил в редакцию, успел заменить название стихотворения и вставил имя девушки в текст стихов. Наутро в «Известиях» вместо «Колыбельной» появилось мое стихотворение «Светлана».

Надо признаться, что моя попытка снискать благосклонность моей избранницы мне так и не удалась. Но стихи привлекли внимание другого человека, от которого зависели жизнь и смерть миллионов советских людей.

Меня пригласили в Центральный Комитет партии. Принял

меня ответственный работник ЦК — Сергей Динамов.

— Ваши стихи понравились товарищу Сталину! — сказал он мне после небольшой паузы, внимательно разглядывая сидящего перед ним молодого автора. — Товарищ Сталин поинтересовался условиями вашей жизни. Не надо ли чем помочь?

Дочь Сталина звали Светланой. Мог ли я предполагать такое совпадение?

Наступило тревожное время.

Газеты захлебывались гневом и негодованием, клеймя в своих публикациях «врагов народа», «шпионов» и «диверсантов». По стране шли судебные процессы. Навсегда исчезали люди любых профессий. Исчезли поэты — Павел Васильев, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков. Я знал их, дружил с ними. За что их арестовали? Кто следующий? Может быть, и до меня дошла уже очередь? — невольно думал я. Думал и боялся, что однажды ночью придут и за мной.

Мы боялись не верить тому, что писали газеты, передавало радио. «Может быть, они действительно в чем-то виноваты?» — утешал я себя, узнавая о новых арестах. Доживи мой отец до 1937-го и последующих лет разгула сталинских, бериевских и ежовских беззаконий, не исключено, что наша семья разделила бы участь многих семей «врагов народа», «вредителей» и «классовых врагов». Аргументов для расправы над моим отцом по тем временам было бы предостаточно: знание английского языка, книга с подозрительным названием «Почему в Америке куры хорошо несутся?» (а у нас плохо?!), дворянское происхождение — все это могло сыграть трагическую роль в судьбе нашей семьи. Но как говорится, Бог миловал! Пронесло!

1939 год. В противовес арестам публикуется первый Указ правительства о награждении большой группы писателей: Шолохов, Катаев, А. Толстой, Стальский, Фадеев… Среди молодых — Симонов, Алигер, Долматовский… Самуил Маршак и я награждены орденами Ленина. Полная неожиданность! Такой высокий орден начинающему литератору!

Через год мне присуждают Сталинскую премию «за стихи для детей». Еще через год — вторую Сталинскую премию за фильм «Фронтовые подруги». Это ли не «охранные грамоты» по тем временам? Ну, теперь уж не посадят, думал я.

В отличие от большинства своих соратников, Сталин много читал. Он был в курсе всех литературных событий, принимал личное участие в награждении орденами деятелей литературы и искусства, присуждении премий своего имени. Его непредсказуемые оценки художественных произведений приносили авторам не только поощрения, но и беспощадно-

разносную критику в партийной печати, партийных документах. Невозможно было предугадать реакцию Сталина на ту или иную прочитанную книгу, на просмотренный им фильм в кремлевском просмотровом зале. И легко себе представить душевное потрясение тех творцов, которым пришлось испытать на себе и пережить сталинские «проработки». Долгое время они не могли потом прийти в себя, войти в нормальное творческое состояние.

Известно, что не без ведома «Хозяина» попадали в тюремные застенки многие талантливые представители литературы и искусства всех национальностей, навлекшие на себя гнев и недоверие главного вершителя судеб миллионов советских граждан. Зачастую репрессивные санкции против честных и невинных людей принимались с подачи ближайшего окружения Вождя. И нетрудно предположить, чем бы в свое время могла завершиться судьба Л. Леонова, М. Булгакова, Б. Пастернака, И. Эренбурга и Ю. Олеши, избежавших ГУЛАГа Подозрительность и коварство Сталина не имели предела…

Но были художники, чье творчество отвечало вкусам Сталина, нравилось ему, и он не обходил их своим благосклонным вниманием, которое могло оказаться и временным. Здесь можно, в первую очередь, назвать писателей Н. Вирту, Алексея Толстого, Константина Симонова, А. Корнейчука, режиссеров кино М. Чиаурели, Гр. Александрова и И. Пырьева, актрис Любовь Орлову, Марину Ладынину, актера Бориса Андреева и некоторых других. Видимо, к этим именам справедливо причислить и мое имя — детского писателя.

* * *

22 мая 1941 года в Кремле состоялся правительственный прием по случаю первого присуждения Сталинских премий.

По окончании приема ко мне подошел человек в штатском и предложил последовать за ним. Мы прошли через Георгиевский зал и очутились в небольшой гостиной. Здесь уже находились писатели А. Корнейчук, Н. Вирта, кинорежиссер Г. Александров с Любовью Орловой. Помнится, был еще С. Герасимов с Тамарой Макаровой.

Нас принимал Сталин.

Сталин: Давайте посмотрим с вами один фильм! Он называется «Если завтра война». Располагайтесь, товарищи!

Мы разместились в креслах. Погас свет. Зажегся киноэкран. После просмотра довольно посредственного фильма в гостиной появился А. Жданов. Между присутствующими завязалась беседа.

Вирта: Товарищ Сталин! А как вы думаете, будет война?

Сталин (*сухо):* Вы, товарищ Вирта, занимайтесь своим делом, а мы будем заниматься своим.

Корнейчук: Товарищ Сталин! Вы бы не могли поручить мне какую-нибудь ответственную работу?

Сталин: Посмотрим, товарищ Корнейчук.

Я в разговор не вступал. Впервые видел я Сталина так близко, что мог дотронуться до него рукой. Этого было для меня достаточно.

Тем временем Жданов сел за рояль. Начались танцы.

Воспользовавшись паузой, Сталин подошел к роялю и сказал что-то Жданову. Тот улыбнулся и заиграл частушечную мелодию. Сталин вполголоса, но так, что я его хорошо слышал, пропел несколько нецензурных русских частушек.

Ровно через месяц началась Великая Отечественная война.

Корнейчук получил назначение в МИД СССР на пост заместителя министра.

Что хотел сказать нам Сталин, пригласив на просмотр фильма с таким названием? Почему он пригласил именно нас? Это так и осталось для меня загадкой.

На примере собственной литературной судьбы у меня сложилось представление о том, что большинство людей родится с задатками каких-либо способностей. Важно только, чтобы среда, в которую попадает человек, способствовала их выявлению. Любая способность может превратиться в дарование, если ее вовремя доброжелательно заметить, точно направить и разумно поддержать. Но направлять и поддерживать — это тоже талант, доступный не всем. Мы знаем, как иные доброжелательные литераторы, стремясь выпестовать молодого автора, начинают дописывать, «дотягивать» его слабые произведения вместо того, чтобы помочь «начинающему» понять, в чем слабость его творений. Если автор не дает себе труда исправить недостатки самостоятельно, а с удовольствием принимает в подарок чужие строчки, мысли и образы, он ничему не научится и повторит свои ошибки. Если же начинающий литератор вам заявляет, что ему легче написать новое произведение, чем исправить уже написанное, знайте, что он безнадежен, — писателя-профессионала из него не выйдет.

Сколько мы знаем одаренных художников, которые пишут посредственные пейзажи или натюрморты, в то время как пафос их дарования — в сатирическом жанре! Как часто артист, обладая: острокомедийным талантом, мнит себя на сцене героем-любовником. Один из любимейших и прославленных актеров, будучи юношей, пришел в Московский Художественный театр

держать экзамен. Он читал, конечно, то, что ему казалось наиболее выигрышным, — героическое стихотворение «Человек», начинавшееся следующими строками:

Пусть перл созданья
Ты, могучий царь творенья,
Кто дал Тебе венец
Твой золотой?

Представляете эти стихи, полные ложного пафоса, в исполнении… Михаила Михайловича Яншина, ибо речь идет именно о нем. Явное несоответствие характера произведения и данных исполнителя было настолько разительным, что экзаменаторы во главе с Лужским дружно засмеялись и попросили Яншина прочитать лучше басню Крылова. Она-то и помогла увидеть яркое комедийное дарование этого актера Божьей милостью. Все сказанное имеет прямое отношение к автору этих строк. В двадцать лет я писал стихи для взрослых — довольно посредственные стихи. Одни были немного лучше, другие — немного хуже. Они публиковались в газетах и журналах, но все это был, так сказать, поэтический «средняк». Это я понимал.

На моем молодом литературном пути было много памятных встреч и знакомств, жизнь щедро одарила меня дружбой с людьми незаурядными. Многим из них я обязан на всю жизнь.

Александр Александрович Фадеев.

Он был душевно щедр и скромен, добр и отзывчив, резок и принципиален в суждениях даже тогда, когда в чем-либо ошибался. Он любил читать вслух стихи, петь русские песни, бродить с ружьем по лесам и болотам, общаться с друзьями. Он умел спорить и полемизировать, защищать то, что ему не нравилось, нападать на то, что было противно его натуре.

Он был демократичен в самом прямом смысле этого слова, и его обаяние покоряло собеседника раз и навсегда.

Таким я знал Александра Фадеева на протяжении двадцати пяти лет. Мне было двадцать три года, когда я, почитатель его «Разгрома», опубликовал в «Огоньке» стихотворение, посвященное А. Фадееву. Он заподозрил начинающего поэта в желании польстить ему, одному из руководителей Союза писателей. Увидев автора, он сказал ему это, глядя в глаза. Но автор незрелых виршей написал эти стихи вполне искренне, а Фадеев сменил гнев на милость, сказав при этом, что «стишки-то все-таки не ахти!».

Так состоялось наше знакомство.

Мои первые стихи для детей сразу обратили на себя внимание. Он взял на себя негласное шефство над молодым детским писателем и в 1938 году выступил в «Правде» со статьей «Стихи С. Михалкова», в которой с большой убежденностью поддерживал мои опыты в новом для меня жанре детской поэзии.

С начинающим литератором, в которого он верил, Фадеев говорил всегда как равный с равным. Его разговор носил часто нелицеприятный характер, но никогда не разочаровывал собеседника, а, наоборот, окрылял. И если уж Фадеев хвалил, то похвала его была стопроцентно надежной. Его тонкий вкус художника и поэтические привязанности давали право так думать.

Мы часто бывали на охоте. Ездили обычно одной и той же компанией: художник, актер, доктор и еще один-два человека из близких знакомых. Это были незабываемые поездки! Фадеев полностью отключался от городской сумятицы с ее нескончаемыми совещаниями и заседаниями, растворялся в природе, и не было веселее собеседника за чайным столом в натопленной избе, когда наступает традиционная минута охотничьих рассказов, забористых шуток и непосредственных воспоминаний. Фадеев умел слушать других, и его искренний заливистый смех был достойной наградой тому, кто, в свою очередь, сумел занять компанию своей «байкой».

На охоте можно было говорить с Фадеевым о чем угодно, только не о делах. В таких случаях он мрачнел, отвечал неохотно и, наконец, мог даже оборвать собеседника на полуслове Может быть, поэтому он и ездил на природу чаще всего с людьми «нелитературного цеха».

О его принципиальности можно судить хотя бы по такому факту, имеющему прямое отношение к автору этих строк.

В 1949 году на сцене Большого театра Союза ССР с успехом шла комическая опера Б. Сметаны «Проданная невеста». Спектакль был выдвинут на соискание Сталинской премии. В числе коллектива участников и создателей спектакля стояла и моя фамилия как автора русского текста. На одном из решающих заседаний Комитета по Сталинским премиям (членом которого был и я) по предложению Фадеева, являвшегося председателем комитета, моя кандидатура ко всеобщему удивлению была снята с голосования.

После заседания Александр Александрович как ни в чем не бывало пригласил меня пообедать. Мы сидели у него дома вдвоем за обеденным столом, и я, естественно, не удержался, чтобы не вернуться к интересующему меня вопросу. Ведь ни у кого, кроме Фадеева, не было сомнений в том, что я, как автор русского

текста «Проданной невесты», наряду с балетмейстером и художником спектакля, режиссером и исполнителями могу считаться полноправным кандидатом на соискание высокой премии.

— И не думай! — сказал простодушно Фадеев, когда я изложил ему мои «веские доводы». — Ты можешь писать оригинальные произведения, а этот твой текст, может быть, сам по себе и хорош, да не самостоятелен! За эту работу премии тебе не полагается, и ты ее не получишь! Это я тебе говорю! Да, да! Вот так! Пиши больше для детей…

Спектакль получил Сталинскую премию. В списке удостоенных звания лауреата я себя не искал. Но Фадеева полюбил и зауважал еще больше. Он был не из тех, кто мог «порадеть родному человечку», поступаясь своими принципами.

В самые ответственные моменты Саша, как мы привыкли называть его в нашей семье, мог на несколько дней исчезнуть из поля зрения кремлевского начальства, и тогда чекисты искали его по всей Москве. Иной раз он мог завалиться к нам на ул. Горького посреди ночи, и моя жена Наташа укладывала его спать в маленькой комнате при кухне.

Я не знаю, мучила ли его совесть, подписывал ли он, как руководитель Союза писателей СССР, какие-либо документы, давая согласие на арест оклеветанных писателей, но его явно постоянно что-то тревожило, бередило его память, и в какой-то момент он скрывался — ему надо было забыться.

Трагедия не заставила себя долго ждать: выстрелом из старого нагана он рассчитался со своей нелегкой жизнью человека, который искренне верил Сталину. А он верил…

Вечная память моему старшему другу Саше Фадееву!

Самуил Яковлевич Маршак.

Я познакомился с ним в середине тридцатых годов.

Пионерский отдел Московского комитета комсомола предложил мне принять участие в конкурсе на пионерскую песню. С комсомольской путевкой в кармане я выехал в один из пионерских лагерей Подмосковья, где прожил с ребятами около месяца. Вместе с ними ходил в походы, купался, удил рыбу, зажигал пионерские костры.

По возвращении я написал несколько песен и совершенно неожиданно для себя несколько веселых стихов, которые отнес «на пробу» в редакцию журнала «Пионер». Редактором журнала был талантливый писатель и журналист, один из неутомимых организаторов детской литературы — Борис Ивантер (погиб на фронте в первые же месяцы войны).

Мои стихи «Три гражданина» Ивантеру понравились, и они

появились на страницах журнала. Успех меня окрылил. Теперь я дерзнул сочинить целую поэму для ребят. Это был первый вариант «Дяди Степы».

Прочитав поэму, Ивантер мне сказал:

— Ну вот! Теперь мы начали всерьез писать для детей. Надо бы вас познакомить с Маршаком.

Маршак жил в Ленинграде. И вот редакция «Пионера» командирует меня с рукописью «Дяди Степы» на консультацию к Маршаку. Это была вторая в моей жизни творческая командировка. Признаться, не без душевного трепета вошел я в здание ленинградского Дома книги на Невском проспекте, где в нескольких тесных комнатах размещалась редакция детского отдела, возглавляемого С. Маршаком.

Высказав мне несколько точных, проницательных суждений, он обычно добавлял в конце:

— И никогда не забывайте, голубчик, что по книгам детских писателей ребенок учится не только читать, но и говорить, мыслить, чувствовать.

«Друг мой Маршак!» — так говорил о Самуиле Яковлевиче Горький.

Со смертью Самуила Яковлевича Маршака опустел капитанский мостик большого корабля советской литературы. Но корабль уверенно продолжал свой путь по солнечному курсу, по-прежнему открывая детям чудесные архипелаги новых стихов, новых повестей, новых сказок.

Мы знали бойца — Маршака,
И вдруг его рядом не стало —
Упал знаменосец полка,
Но знамя полка не упало!

Бойцы продолжают поход,
На знамени солнце играет.
Маршак с нами рядом идет:
Поэзия не умирает!

Мне не забыть Корнея Ивановича Чуковского, который, узнав о том, что я награжден орденом Ленина (1939 г.), приехал ко мне домой, чтобы поздравить с высокой наградой. Веселый и озорной Мойдодыр, добрый и мудрый Айболит, Корней Иванович отличался от Маршака большей академичностью и несколько меньшей общественной активностью. Оставаясь кумиром для всех поколений малышей, он последние десятилетия мало пи — сал для них, посвятил себя главным образом литературоведческой

работе, однако его выступления по вопросам и проблемам детской литературы, его уникальная книга «От двух до пяти» навсегда останутся яркими страницами истории «суверенной державы» — литературы юного поколения.

Последнее время Корней Иванович жил в подмосковном дачном поселке писателей Переделкино. Наезжая в Москву только по самым неотложным делам, он вел жизнь литератора-труженика, начинал свой рабочий день чуть ли не с восходом солнца.

Незваных гостей он умел со свойственной ему лишь одному лукавой учтивостью вовремя выпроваживать за ворота, однако с приглашенными был неизменно радушен и остроумен.

Многие годы Чуковский вел своеобразный дневник-альбом автографов, известный под названием «Чукоккала», заполняя его записями, стихами, пародиями и рисунками своих современников, чем-либо заинтересовавших его на жизненном пути. Попасть на рукописные страницы этой книги считалось честью.

19 апреля 1937 года, при очередном посещении дома Чуковских, мне была предоставлена возможность записать что-либо в «Чукоккале». И вот что я написал:

Я хожу по городу, длинный и худой,
Неуравновешенный, очень молодой.
Ростом удивленные, среди бела дня
Мальчики и девочки смотрят на меня…

На трамвайных поручнях граждане висят,
«Мясо, рыба, овощи» — вывески висят,
Я вхожу в кондитерскую, выбиваю чек,
Мне дает пирожное белый человек.

Я беру пирожное и гляжу на крем,
На глазах у публики с аппетитом ем.
Ем и грустно думаю: «Через 30 лет
Покупать пирожные буду или нет?

Повезут по городу очень длинный гроб,
Люди роста-среднего скажут: „Он усоп!“
Он в среде покойников вынужден лежать,
Он лишен возможности воздухом дышать.

Пользоваться транспортом, надевать пальто,
Книжки перечитывать автора Барто.

Собственные опусы где-то издавать,
В урны и плевательницы вежливо плевать.
Посещать Чуковского, автора поэм,
С дочкой Кончаловского, нравящейся всем».

Естественно, что подобные стихи можно было написать только в том возрасте, в каком я пребывал в первые годы моего знакомства с Корнеем Ивановичем Чуковским.

С гордостью храню я письмо мудрого Корнея, в котором он пишет:

> «…Я с большим волнением прочитал, не отрываясь, всю Вашу книгу „Вчера, сегодня, завтра…“. Раньше я прочитал те классические стихотворения, которые знают наизусть с самого дня их рождения… и бессмертного „Дядю Степу“».

Москва. Малый Черкасский переулок, дом № 1. Третий этаж. Это — Детгиз, Детиздат, издательство «Детская литература».

Отсюда в 1936 году вышел и зашагал по свету изданный отдельной книжкой с рисунками А. Каневского мой «Дядя Степа». Здесь я свел знакомство и завязал дружбу с неуемным и легендарным, самым юным командиром полка времен Гражданской войны — Аркадием Гайдаром. Здесь в коридоре издательства я впервые был представлен тогда уже популярной детской писательнице Агнии Барто и почтительно пожал руку познавшему тайны природы волшебнику слова Михаилу Пришвину.

Созданное при непосредственном участии М. Горького и руководимое в разные годы талантливыми организаторами и издателями детской книги, издательство детской литературы стало в ряд крупнейших издательств мира, выпуская из года в год многомиллионными тиражами лучшие произведения русской, национальной и мировой классики, современных советских и зарубежных авторов.

С благодарностью вспоминаю и энергичную и волевую женщину, Людмилу Викторовну Дубровину. Сменив военный китель на гражданское платье, она возглавила после войны самое мирное учреждение на свете — Детиздат. Я высоко ценю ее доверие ко мне.

Особое уважение и признательность вызывает у меня образ другого фронтовика, тяжело раненного в боях, бывшего минометчика, Константина Федоровича Пискунова. Он двадцать шесть лет руководил издательством. Человек исключительной

скромности и большого личного обаяния, беззаветно преданный любимому делу, он удачно сочетал в себе деловые и моральные качества умелого администратора и вдумчивого, талантливого воспитателя не только вверенного ему коллектива редакторов, но и многих литераторов и художников, ставших впоследствии известными писателями и иллюстраторами книг для детей. Я редко встречал человека, который мог бы так искренне радоваться и считать для себя праздником каждую новую творческую удачу молодого, начинающего или уже маститого, признанного автора. Многие из нас обязаны его вниманию, его советам и дружеской принципиальной критике, продиктованной лишь одним желанием: подарить ребенку новую, добротную книжку!

В апреле 1936 года я женился на дочери художника Петра Петровича Кончаловского — Наталье. Она была старше меня на десять лет и имела пятилетнюю дочь Катю от первого брака. Красивая, зрелая женщина успела уже прожить шесть лет в Америке со своим мужем А. Богдановым, работавшим представителем «Амторга». Ее брак с двадцатитрехлетним юношей был полной неожиданностью как для родителей, так и для многих ее друзей. За ней ухаживали и добивались ее благосклонности известные московские художники, «Стихи в честь Натальи» посвятил ей выдающийся поэт Павел Васильев. Но всем им не повезло. Повезло мне.

Надо признаться: Наташа не хотела выходить за меня замуж. Да и ее мать, Ольга Васильевна, дочь великого русского художника Василия Сурикова, не слишком одобряла сложившиеся отношения своей взрослой дочери с начинающим поэтом, ездившим по Москве на велосипеде. Зато сам Кончаловский всегда весьма радушно принимал меня в своем доме и признавался, что ему нравятся мои стихи для детей.

Я настаивал на регистрации брака, боясь потерять любимую, обаятельную, умную женщину, и в конце концов Наташа сдалась. Перед тем как идти в ЗАГС, мы зашли в «забегаловку», выпили водки, а после регистрации купили четверть белого свирского вина и отправились отмечать событие к нашему другу — поэту Михаилу Герасимову и его красавице жене Нине. Через год оба они были арестованы. Миша погиб в лагере, а Нина, со сломанной судьбой, утраченным здоровьем, вернулась из ссылки и некоторое время потом жила у нас.

Маленькую Катю удочерил, и впоследствии она вышла замуж за писателя Юлиана Семенова.

В 1939 году родился мой сын Андрей.[2]

Творческая непринужденность, насыщенная искусством

атмосфера дома Кончаловских, где частыми гостями бывали композитор С. Прокофьев, пианист В. Софронский, писатели А. Толстой, Вс. Иванов, Илья Эренбург, скульптор С. Коненков, артисты Иван Москвин, Борис Ливанов и многие другие выдающиеся современники, во многом способствовали творческому развитию Натальи, да и меня, вращающегося в этом обществе. Наталья становится писательницей, пишет популярную поэму в стихах «Наша древняя столица» и повесть «Дар бесценный», посвященную жизни и творчеству ее деда, великого русского художника В. И. Сурикова, создает текст к классическим операм «Дон Жуан», «Фальстаф», «Фра-Дьяволо», «Манон» и др.

В ту пору я дружил с милым, богемистым представителем ленинградской плеяды обэриутов поэтом Александром Введенским. Мы часто бывали вместе. Он буквально на ходу сочинял веселые детские стихи, и в Детиздате их охотно печатали. В первые дни войны Саша был арестован и где-то погиб.

Часто навещал меня легендарный футурист Алексей Крученых. Он приходил с толстым портфелем, набитым очередным уловом: книгами с автографами авторов, рукописями и прочими биобиблиографическими материалами, которые он собирал. Я часто пополнял его «запасник» черновиками своих стихов и автографами. Алеша был высокообразованным человеком, живым представителем футуристического цеха, приятелем Маяковского. Он ценил наши дружеские с ним отношения, и я, не скрою, любил этого неряшливо одетого, интеллигентного человека — живую историю отечественной поэзии.

Петр Петрович Кончаловский, выдающийся русский художник, член Академии художеств, был яркой, колоритной фигурой. Он оказался не в чести у «сильных мира сего», и руководители Союза художников, признавая его как мастера, часто обходили своим вниманием. Кончаловский не писал портреты вождей. Однажды ему предложили написать портрет Сталина.

— А он будет мне позировать? — спросил Петр Петрович.

— У Сталина нет на это времени — ответили ему.

— А я реалист и не могу писать портрет по фотографии! Я пишу только того, кто мне может позировать! — твердо сказал Кончаловский.

В доме Кончаловских в свое время часто можно было встретить В Хлебникова. Лежа на диване, он что-то записывал на бумажных листочках В. Маяковского после какого-то инцидента в доме Кончаловских не принимали. Его невзлюбили.

Как художник Петр Петрович был неутомим и до конца своей жизни работал у себя в мастерской и на даче, в Буграх под Малоярославцем, где проводил все лето. Уже в зрелом возрасте он выучил испанский язык Его широкая русская натура и обаяние привлекали к себе многих представителей искусства и культуры. Я счастлив, что имел возможность с ним часто встречаться. Одна из его знаменитых «Сиреней» висит у меня в кабинете…

Война на пять лет разлучила меня с семьей. Я бывал дома наездами, возвращаясь из действующей армии и вновь уезжая на фронт.

В год Победы у меня родился сын Никита.[3]

Воспитанием детей в нашей семье занималась жена Наталья. До самых последних своих дней она была тем духовным стержнем в доме, вокруг которого шла жизнь.

Я никогда не мешал сыновьям, понимая, что у каждого человека своя дорога и он сам себе ее выбирает. Вообще о сыновьях говорить трудно: они давно взрослые, семейные люди, у каждого — свои взгляды на жизнь и искусство. Но вот на что я хочу обратить внимание особо: бытует обывательское понятие «писательские дети». Почему мы часто с гордостью говорим о рабочих династиях? Почему для людей искусства другие критерии?

Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в походе наших войск в Западную Украину. Это явилось началом моей литературной деятельности военного писателя-корреспондента.

22 июня 1941 года я с группой литераторов находился в Риге. Услышав рано утром сообщение о том, что нужно ждать важных известий — выступления Молотова, я тут же покинул гостиницу и первым же поездом уехал в Москву. Я понял: вот-вот начнется война, если уже не началась, потому что услышал по радио на немецком языке фразу: «Всем судам немедленно вернуться в порты своей приписки».

Бомбили станцию Даугавпилс, но наш состав благополучно ее проскочил.

27 июня по предписанию ГЛАВПУРа я выехал на Южный фронт.

Мне 28 лет. Я получил назначение в редакцию армейской газеты 22-й армии, позднее попавшей в окружение.

— Почему не в одну из центральных газет? — возмущаюсь я.

— От службы не отказывайся, на службу не навязывайся! — говорит мне мать, провожая на войну.

В Виннице меня перехватывает редакция фронтовой газеты «Во славу Родины». Приказом Политуправления меня зачисляют в

штат ее сотрудников. В Одессе я контужен во время налета вражеской авиации.

* * *

Мы познакомились накануне, на одном из последних спектаклей одесского театра оперетты, понравились друг другу, и вот мы одни, в полутемной большой комнате старинного особняка, душным июльским вечером, при раскрытых во двор окнах, за которыми звездное небо над притихшим приморским прифронтовым городом.

— Знаешь, — полушепотом говорит мне Марина, — больше всего я боюсь, что достанусь немцам. А потом они меня у бьют, когда узнают, что я дочь бригадного комиссара… Оставайся сегодня у меня. Кто знает, что будет завтра…

Я глажу ее теплую девичью руку и молчу. Я вспоминаю жену Наташу. Ее прекрасное заплаканное лицо и прощальный поцелуй. Ее крестное знамение, которым она меня благословила при последнем «Я буду тебя ждать!».

Я поднимаюсь, обнимаю девушку, прижимаю ее голову к своей груди.

— Завтра! Приходи ко мне завтра в гостиницу «Красная», — говорю я. — Спросишь внизу меня. Нет, лучше я встречу тебя у подъезда, на улице. Пойдем к морю…

— Я приду! — шепчет она и целует меня в губы… …Пять… Пять с половиной… Шесть без четверти…

Шесть! Она не пришла.

— Кого ты тут поджидаешь? — не без намека спрашивает меня капитан Друз.

— Назначил свидание одной прекрасной незнакомке! — в тон заданного вопроса отвечаю я.

— Не пришла, значит, и не придет! — уверенно парирует капитан. — Пошли к морю! Подышим!

Мы идем по Пушкинской улице вниз, в сторону набережной. И вдруг до меня доносится едва уловимое шмелиное гудение. Я непроизвольно поднимаю голову и вижу заходящее на большой высоте с моря на город звено немецких самолетов. И в тот же момент сливаются в одно свист и разрывы бомб, вой сирен, стрельба зениток, грохот разрушающихся зданий, и нет уже ни солнца, ни света…

Взрывная волна бросает меня на землю. Что-то рушится, падает, бьет меня по спине, по животу. В рот набивается известковая пыль. И так же внезапно все стихает. Я слышу «отбой воздушной тревоги» и начинаю ощупывать себя. И тут я замечаю, что моя гимнастерка, мои брюки в теплой крови. Первая мысль:

если ранен в живот — застрелюсь! Достаю пистолет. Еще раз ощупываю себя.

Нет, я не ранен. Это не моя кровь. Это кровь капитана Друза. Он мертв.

Я выбираюсь из-под обломков стены разрушенного здания, возле которого нас застал налет. Бреду с пистолетом в руке назад, по Пушкинской улице. И тот я вижу ее! Она лежит на асфальте, раскинув руки. Я узнал ее по зеленой кофточке, в которой она была в театре…

Она боялась, что ее убьют немцы. Они убили ее… Если бы Марина могла не опоздать ко мне на свидание 22 июля.

Вместе с редакцией отступаем до Сталинграда. После контузии новым приказом Политуправления меня переводят в редакцию центральной газеты Военно-воздушных сил Красной армии «Сталинский сокол», где я служу до конца войны. За выполнение заданий командования меня награждают орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Работа в военной печати сблизила меня с такими видными журналистами, как Николай Кружков и Габриэль Эль-Регистан. В газете «Во славу Родины» работали вместе со мной известные писатели — Борис Горбатов, Константин Паустовский, Илья Френкель, Николай Кружков, Владимир Поляков. Некоторые из них уже побывали на Карельском перешейке. В «Сталинском соколе» был не менее авторитетный писательский коллектив: братья Тур, Натан Рыбак, Г. Эль-Регистан.

Выполняя задание командования, я писал очерки, заметки, а также стихи и юмористические рассказы, тексты к политическим карикатурам и листовки. Мы, армейские журналисты, не просили у редактора двух недель для того, чтобы написать стихотворение или очерк. Мы писали, сидя где-нибудь на пеньке в лесу или в землянке, все, что тогда было нужно нашему читателю в солдатской шинели. И пусть не много из того, что в те годы написано, осталось жить в наших авторских сборниках, но это была великолепная школа оперативности, внутренней собранности, воспитания чувства ответственности и медленного, трудного, капля за каплей, накопления опыта.

Здесь уместно вспомнить известное суждение А. Пушкина: «Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство: не думаю Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху и влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных».

Памятна мне морозная ночь на полевом аэродроме, когда я с непередаваемым волнением провожал на боевое задание моих

друзей — летчиков Северо-Западного фронта, вылетавших в партизанский край. На борт самолета грузили пачки сочиненных мной листовок. Помню их заголовки: «Пусть не дрогнет твоя рука», «Ты победишь!», «Не быть России покоренной!».

…Забудь сегодня слово «жалость»
И ненависть зажги в груди
Враги сильны
И их осталось
Еще немало впереди.

Так бей врага без сожаленья,
Не пощади и не прости
К несовершенным преступленьям,
К еще нетронутым селеньям
Орду убийц не допусти.

Нам ночи жгла зола пожарищ,
Дым пепелищ слепил глаза
Но не от дыма мне, товарищ,
Зрачок туманила слеза.

И нам с тобой забыть едва ли,
Как на асфальте площадей
Мы жертвы с виселиц снимали
И в детских лицах узнавали
Черты родных своих детей.

Вот почему мы твердо знаем,
За что деремся на фронтах,
За что ночей недосыпаем
В сырых, холодных блиндажах,

Шагами меряем болота,
Седеем, мерзнем, устаем
И неприступные высоты
Своими жизнями берем

Представляя в 1942 году на Северо-Западном фронте редакцию центральной газеты Военно-воздушных сил Красной армии «Сталинский сокол», я подружился с коллективом фронтовой газеты «За Родину» и не раз выступал на страницах этой газеты.

В конце лета военные летчики вывозили из партизанского

края осиротевших детей. Вместе с корреспондентами фронтовой газеты *и* я поехал на полевой аэродром встречать сирот.

Среди детей была дочь зверски замученного фашистами учителя из села Быстрый Берег Белобелковского района Валя Петрова, двух с половиной лет. Фотокорреспондент П. Бернштейн сделал снимки. Когда снимки были отпечатаны, я попросил его дать мне портрет Вали Петровой, и 9 сентября 1942 года он появился на первой полосе фронтовой газеты Северо-Западного фронта «За Родину» с моими стихами:

Посмотри хорошенько на этот портрет
Русской девочки двух с половиной лет
Быстрый Берег — лесная деревня звалась,
Та деревня, где жизнь у нее началась

Где се молодая крестьянская мать
Научила ходить и слова понимать,
Где ее Валентиной с рожденья назвали,
Где росла она, русская девочка Валя.

Посмотри хорошенько на этот портрет
Русской девочки двух с половиной лет.
Шоколадом маня, подзывая к себе,
Немец бил ее плетью, ночуя в избе,

Поднимал над землею за пряди волос,
Вырвал куклу из рук и с собою унес
Это немцы ее «партизанкой» назвали,
Это немцы отца у нее расстреляли.

Разве сердце не скажет тебе: «Отомсти»?
Разве совесть не скажет тебе «Не прости»?
Слышишь, матери просят. «Она не одна!
Отомсти за таких же других, как она»

Посмотри и запомни, товарищ, портрет
Этой девочки двух с половиной лет.

В ходе наступательной операции 4-го Украинского фронта по освобождению Крыма 2-я гвардейская армия 8 апреля 1944 года освободила город Армянск. В это время мы с Эль-Регистаном находились при штабе 17-й воздушной армии в Аскании-Нова.

11 апреля 19-й танковый корпус с ходу взял Джаикой и пошел на Симферополь. Вслед за танками тем же путем

двинулись и мы на нашем джипе, в сопровождении двух автоматчиков.

По всему фронту развернулось преследование отступающего противника. Немецкие и румынские войсковые соединения были деморализованы. Отрезанные друг от друга и потерявшие связь войска плохо ориентировались в положении на фронте.

— Давай свернем налево к тому населенному пункту! — предложил я Габо, когда мы остановились на перекур.

Недолго думая мы сошли с основной трассы, по которой еще утром прошли наши танки, и вскоре оказались на тихой окраине населенного пункта. Через несколько минут мы выскочили из переулка на небольшую площадь и резко затормозили — площадь кишела солдатами в зеленых шинелях. Группа румынских офицеров обратила на нас внимание.

Что делать? Еще мгновение, и мы в руках противника!

— Не глуши мотор! — только успел сказать Габо водителю, когда к нам уже приблизился пожилой румынский офицер. Не успел он раскрыть рот, как Габо огорошил его по-французски: — Какая часть? Кто командир?

Офицер растерянно, тоже по-французски, отрапортовал. Он хотел что-то спросить, но Габо приложил руку к козырьку и толкнул локтем водителя. Тот понял, дал полный газ, и мы рванули в тот же переулок, из которого только что вынырнули.

Одеты мы были в меховые летные куртки, на головах офицерские фуражки с «крабами». Только при внимательном рассмотрении можно было на них заметить красные звездочки. Наши солдаты были в плащ-палатках. А армянин Эль-Регистан был сам похож скорее на румына, чем на советского офицера. Его смелость и находчивость помогли нам избежать в лучшем случае плена.

— Это надо отметить! — сказал Габо, доставая флягу. И мы ЭТО достойно отметили по пути в Симферополь.

Через два дня столица Крыма была освобождена.

Официально Вена была взята 13 апреля 1945 года. 4-я гвардейская армия под командованием генерал-полковника Н. Захватаева вела уличные бои, когда 11 апреля мы с Эль-Регистаном, в сопровождении двух автоматчиков, искали в аристократическом квартале Партер место для ночлега.

Небольшие комфортабельные особнячки, покинутые наспех бежавшими хозяевами, зияли раскрытыми окнами. Двуспальные кровати, казалось, хранили еще тепло человеческих тел. Подушки пахли дорогими лосьонами. Предметы дамского туалета были разбросаны по комнатам. В шкафах висели немецкие военные мундиры с орденскими колодками вперемежку с вечерними

дамскими платьями.

В одном из домов мы наткнулись на полулежавшего в кресле мертвого военного в форме войск СС. У его ног на ковре валялся офицерский «Вальтер». На тахте, лицом вниз, лежала убитая выстрелом в висок молодая обнаженная женщина.

Видимо, не надеясь спастись бегством от стремительно наступавших гвардейцев Захватаева, эта немецкая пара покончила жизнь самоубийством.

Мы заняли соседний дом. На той же улице остановился и член Военного совета армии генерал-майор Дмитрий Трофимович Шепилов.

Утром мы зашли к Шепилову. В одной из комнат наше внимание привлекла горка с коллекцией охотничьих ружей. Заядлый охотник, Эль-Регистан не удержался от восклицания:

— Дмитрий Трофимович! Да тут ведь у нас целый клад! Вам повезло! Смотрите, какие ружья! Какие трофеи!

— Я не занимаюсь на войне барахольством! — твердо ответил Шепилов.

В отличие от известных нам фронтовых генералов, Шепилов брезговал добыванием трофеев в освобождаемых от фашистов городах.

Летом сорок третьего года в разгар военных событий правительство страны приняло решение о создании нового Государственного гимна СССР взамен «Интернационала», который должен был остаться партийным гимном.

Я и мой давний друг Габо (Габриэль Аркадьевич Уреклян, выступавший в печати под псевдомимом Г. Эль-Регистан) большую часть времени находились на фронте и лишь наездами бывали в Москве. Габо останавливался в гостинице «Москва», я — на своей квартире.

Зайдя как-то в ресторан «Арагви» за «подкреплением», я встретил там группу известных московских поэтов. Товарищи собрались в ресторане пообедать после «важного» совещания у К. Ворошилова.

— Что за «важное» совещание? — поинтересовался я.

— Будет создаваться новый гимн Советского Союза. Объявлен конкурс на лучший текст! — последовал ответ. — Были приглашены все «песенники»!

По возвращении в гостиницу я поделился этой новостью с Габо.

— Но почему же не пригласили меня? — не без некоторой обиды задал я вопрос своему другу.

— Ты же сам сказал, что пригласили «песенников», а ты детский поэт! — ответил Эль-Регистан.

— Но я же все-таки сочинил несколько песен! — возразил я…

В ранний утренний час следующего дня звонок в дверь поднял меня с постели. На пороге стоял Габо.

— Мне приснился сон, что мы с тобой стали авторами гимна! — прямо с порога заявил он. — Я даже записал несколько слов, которые мне приснились!

Габо протянул мне гостиничный счет, на котором я прочитал: «Великая Русь», «Дружба народов», «Ленин»…

«А почему бы нам действительно не попробовать свои силы? — подумал я. — Ведь не боги же горшки обжигают?»

Но как пишутся гимны, никто из нас двоих не знал. Каково должно быть его содержание? Какую стихотворную форму лучше избрать?

Первым делом надо заглянуть в энциклопедию.

«Гимн — торжественная песнь… Гражданская молитва народа…»

Содержание? Надо взять за основу Конституцию СССР.

Стихотворный размер? Мы вспомнили часто звучавший по радио «Гимн партии большевиков» со словами В. И. Лебедева-Кумача на музыку А. В. Александрова. Решили взять за основу стихотворного размера первый куплет этой торжественной песни.

Мы принялись за работу. Я сочинял, Габо вносил предложения, редактировал формулировки.

Сказано — сделано.

Сочиненный текст послали по почте Дм. Дм. Шостаковичу.

Вернувшись из очередной поездки на фронт, мы узнали, что великий композитор написал музыку на наши слова и что все варианты текстов и музыки, представленные на рассмотрение высокой комиссии во главе с К. Ворошиловым, в самом разнообразном исполнении еженедельно прослушиваются комиссией в Бетховенском зале Большого театра СССР.

Нам удалось попасть на одно из них.

Правительственная комиссия после очередного прослушивания выносила свое предварительное суждение: «Представленные варианты гимна пока не отвечают необходимым требованиям. Надо продолжать работу».

Не имея возможности находиться в Москве, мы снова по заданию своего командования вылетели на фронт. И вдруг мы получаем приказ срочно вернуться в Москву. Нас вызывают в Кремль, к Ворошилову.

Клим Ворошилов! В нашем представлении — легендарный полководец, с именем которого связано многое в истории нашей страны: период Гражданской войны, военные парады на Красной площади. Мы были тогда далеки от мысли, что не без его ведома,

а подчас не без его прямого участия уходили в небытие действительно легендарные военачальники, маршалы Советского Союза, командующие армиями. Его подпись скрепляла документы, становившиеся смертными приговорами многим соратникам. Только смерть Сталина уберегла его самого от подобной трагической участи.

Рассказывают, что однажды Сталин, испытывая на верность своего товарища по партии и по руководству страной, спросил Ворошилова:

— Ты можешь застрелить ради меня свою любимую собаку?

И Ворошилов на глазах у Сталина застрелил любимого пса.

Сама судьба свела счеты с верным сатрапом Верховного главнокомандующего. Ворошилов полностью оглох.

В глубоком безмолвии, наедине со своими мыслями, медленно уходил он из жизни, увенчанный многими высшими наградами за подвиги, которых он не совершал. И ушел, оставив после себя недобрую память… Итак, мы в Кремле.

— Товарищ Сталин обратил внимание на ваш вариант текста! — говорит, обращаясь к нам, Ворошилов. — Очень не зазнавайтесь! Будем работать с вами!

Перед маршалом на столе лежит отпечатанная в типографии книга в красной обложке. В ней собраны все варианты текста будущего гимна СССР, представленные десятками авторов на конкурс. На 83-й странице закладка: наш текст с пометками Сталина.

— Основа есть, — продолжает Ворошилов. — Но вот, посмотрите, замечания товарища Сталина. Вы пишете: «Свободных народов союз благородный». Товарищ Сталин делает пометку «Ваше благородие?». Или вот здесь: «созданный волей народной». Товарищ Сталин делает пометку: «Народная воля?». Была такая организация в царское время. В гимне все должно быть предельно ясно. Товарищ Сталин считает, что называть его в гимне «избранником народа» не следует, а вот о Ленине сказать, что он был «великим».

До поздней осени мы были заняты доработкой текста. Пишем новый припев. Уточняем, переписываем заново. Всем композиторам страны предложено писать музыку на наши слова. Продолжается прослушивание вариантов музыки, но теперь уже только на наш текст.

Пошли первые отклики. Нам приходилось слышать от собратьев по перу, что, дескать, не стоило в советском гимне употреблять слово «Русь», поскольку это понятие архаическое, древнее и сегодня звучит диковато. Но нам казалось, что именно это слово привлекло внимание Сталина. «Великая Русь» —

понятие собирательное, в нем есть и сегодняшний день. За этим понятием стоит огромная слава и история русского народа. Как не вспомнить здесь некрасовские строки:

Сила народная,
Сила могучая,
Совесть спокойная,
Правда живучая.

26 октября 1943 года в десять часов вечера состоялось очередное прослушивание музыки Государственного гимна. Мы с Эль-Регистаном сидели в пустом зрительном зале Большого театра. В правительственной ложе находились руководители партии и правительства по главе со Сталиным. Варианты гимна исполнял Краснознаменный Ансамбль песни и пляски Красной армии под руководством профессора А. В. Александрова.

Около двенадцати часов ночи прослушивание окончилось. Было ясно, что хоровое исполнение не дает полного представления о музыке. Принимается решение назначить еще одно прослушивание в исполнении симфонического и духового оркестра.

Мы с Габо сидели дома за чайным столом и делились впечатлениями о минувшем вечере. Многое нам казалось необъяснимым и удивительным. В те дни в Москве проходила конференция трех великих держав. На фронте разворачивались ожесточенные сражения. Позади были Сталинградская и Курская битвы, сражение за Днепр, впереди — окончательное снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Советской Прибалтики, выход советской армии на государственную границу, начало изгнания врага за пределы СССР. Народное хозяйство прилагало героические усилия для выполнения напряженного плана. И в это время правительство уделяет столько внимания созданию гимна Советского Союза!

Наши размышления прервал телефонный звонок.

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин!

— Надеюсь, не разбудил?.. — Знакомый голос с явным грузинским акцентом. — Прослушали мы сегодня гимн. Куце получается.

— Как понять, товарищ Сталин?

— Мало слов. Ничего не сказано о Красной армии. Надо добавить еще один куплет. Отразить роль нашей армии в героической борьбе против захватчиков. Показать нашу мощь и веру в победу.

— Когда это нужно? — спрашиваю я.

— Когда напишете — пришлите. А мы посмотрим, — сухо ответил Сталин и положил трубку.

До рассвета мы сочинили и варьировали новый куплет гимна. Поработав еще целый день, передали Ворошилову новое четверостишие, а заодно и несколько вариантов строф и отдельных строк нового третьего куплета.

28 октября главный редактор газеты «Сталинский сокол», бригадный комиссар В. П. Московский, находит нас по телефону и сообщает о срочном вызове к Сталину.

За нами послан автомобиль «линкольн». Знакомый нам уже полковник из охраны Сталина нервничает:

— Никак не могли вас найти! Вас ждут!

Чекисты, а не могли найти! Въезжаем в Кремль. Подъезжаем к одному из подъездов. У нас не проверяют документов. Проводят прямо в приемную Сталина.

Здесь в ожидании вызова на доклад к главнокомандующему сидят два прославленных военачальника. Мы узнаем их. Маршалы не без удивления смотрят на майора и капитана в нечищеных сапогах, навстречу которым поднимается из-за стола помощник Сталина Поскребышев.

Указывая нам на массивную дверь с большой бронзовой ручкой, он сухо говорит:

— Проходите. Вас ждут. Где вы пропадаете?

В темпом тамбуре между дверьми машинально крестимся и переступаем порог державного кабинета.

На часах 22 часа 30 минут.

У стены, под портретами Суворова и Кутузова, длинный стол для совещаний. Справа, вдали, столик с разноцветными телефонными аппаратами. За длинным столом в каком-то напряженном молчании сидят «живые портреты»: Молотов, Берия, Ворошилов, Маленков, Щербаков… Прямо напротив нас стоит с листом бумаги в руках сам Сталин.

Мы здороваемся:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

Сталин не отвечает. Он явно не в духе.

— Ознакомьтесь! — говорит Сталин. — Нет ли у вас возражений? Главное, сохранить эти мысли. Возможно это?

— Можно нам подумать до завтра? — отвечаю я.

— Нет, нам это нужно сегодня. Вот карандаши, бумага… — приглашает нас к столу Сталин.

Мы садимся напротив «живых портретов». Необычная обстановка смущает.

— Что? Неудобно здесь работать? — спрашивает Сталин, улыбаясь. — Сейчас вам дадут другое место.

Майора и капитана проводят в комнату рядом с приемной. Приносят чай, бутерброды. Мы голодны. Сначала едим, пьем чай.

Запев третьего куплета не ложится в размер предыдущих. Однако выход из положения есть. Множество вариантов этого четверостишия, написанных накануне, помогают нам быстро решить задачу. Но мы не торопимся. Для солидности выдерживаем время. Возвращаемся в кабинет Сталина. Маршалы в приемной все еще ждут приема у главнокомандующего. Но тот занят: утверждается новый гимн Советского Союза!

После короткого обсуждения нового варианта нового четверостишия Сталин обращается к членам политбюро:

— Каких захватчиков? Подлых? Как вы думаете, товарищи?

— Правильно, товарищ Сталин! Подлых! — соглашается Берия.

— На этом и остановимся! Товарищ Щербаков, пусть этот текст отпечатают сейчас на машинке. А вы пока посидите с нами, — обращается к нам Сталин.

Так появился куплет, в котором были строки:

Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем!

В приемную мы выходим вместе с Берия.

— А если мы вас отсюда не выпустим? — зловеще шутит кремлевский инквизитор.

В иных обстоятельствах эта «шутка» стоила бы нам дорого.

Зоя Федорова, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии, любимица кинозрителей, была на редкость миловидной и обаятельной женщиной. Мы были в давних дружеских отношениях. Зоя снималась в моем фильме «Фронтовые подруги».

Популярную киноактрису, как и многих других привлекательных женщин, не миновал похотливый взгляд наркома внутренних дел Лаврентия Берия. Когда-то она обратилась к нему в связи с арестом своего отца, рабочего Путиловского завода. Берия благосклонно пошел навстречу просьбе убитой горем молодой женщины, и невинно арестованный был освобожден. У Берия была хорошая память на женские лица, — он запомнил Зою. Память Зои сохранила благодеяние всемогущего хозяина Лубянки. Поэтому, когда однажды ее попросили украсить своим присутствием «дружеский ужин в кругу влиятельных лиц», она согласилась принять приглашение.

Помощник Берия, поставщик живого товара полковник

Саркисов, в назначенный час любезно препроводил Федорову к месту встречи, в особняк Берия на улице Качалова. Однако обещанное общество не собралось. Стол в столовой бы сервирован на двоих. Лаврентий Павлович Берия предложил первый тост за здоровье и процветание таланта выдающейся советской кинозвезды. А затем… затем, разгоряченный выпитым коньяком и присутствием желанной ему очередной жертвы, кремлевский Казанова сбросил китель и прижал к своей густо-волосатой груди сопротивляющуюся актрису.

— Да вы похожи на обезьяну! — вырвалось у Зои. — Теперь я понимаю, зачем вы меня заманили!

Берия вспылил. Он привык к более покорным жертвам. Отбросив Зою на диван, он стремительно вышел из комнаты.

Тот же полковник Саркисов проводил испуганную женщину до автомобиля и швырнул к ее ногам букет роз.

— Эти цветы вам на гроб! — сухо сказал полковник.

Актриса Зоя Федорова была арестована как американская шпионка. Несколько раз ее допрашивал сам Абакумов. Во Владимирской тюрьме она встретила певицу Лидию Русланову, жену арестованного генерала Крюкова из окружения маршала Г. К. Жукова, с которым Берия имел свои счеты.

Все это спустя несколько лет рассказала мне вернувшаяся из мест заключения сама Зоя Федорова, измученная, постаревшая звезда советского киноэкрана. Наша семья была одной из первых, к кому она пришла за советом и помощью.

К тому времени Берия и его ближайшие сатрапы были по суду расстреляны за все злодеяния, которые они успели совершить. Невинно осужденные люди мало-помалу стали возвращаться из мест ссылки.

А спустя несколько лет труп Зои Федоровой был обнаружен на ее московской квартире. Убийство произошло при загадочных обстоятельствах. Жертва сидела в кресле, когда преступник выстрелил ей в затылок.

Преступление до сих пор покрыто тайной.

Очередной вариант текста был передан в Ансамбль А. В. Александрова. Наиболее удачно звучала музыка Д. Д. Шостаковича и А. И. Хачатуряна. Однако имелась в виду возможность использования уже известной музыки А. В. Александрова для «Гимна партии большевиков». Куплеты нового варианта текста, кроме припева, хорошо ложились на эту мелодию, ибо авторы слов еще на первой стадии работы взяли за образец его стихотворный размер. Переписать припев в нужном размере удалось быстро.

Итак, в соревнование вступали два варианта гимна. Один,

основной, — тот, на который писали музыку многие композиторы, и второй, как бы запасной, на музыку А. В. Александрова. Таким образом, мелодия «Гимна партии большевиков» могла стать мелодией гимна Советского Союза.

…Однажды в музее Сталина в Гори меня попросили оставить запись в книге посетителей. Я написал: «Я в него верил, он мне доверял». Так ведь оно и было! Это только теперь история открывает нам глаза, и мы убеждаемся в том, что именно он, Сталин, был непосредственно повинен во многих страшных злодеяниях.

Тиран, садист, сатана. Режиссер кровавых политических спектаклей и сам непревзойденный актер в жизни. Вождь, снискавший фантастическую любовь народных масс и уважение государственных деятелей мира. Не человек, а явление. Персонаж, достойный пера Шекспира.

А как осмыслить, например, такой эпизод? В дни работы над тестом гимна СССР меня разыскали на фронте и привезли к командующему фронтом генерал-лейтенанту Курочкину. Тот говорит:

— Срочно звоните Ворошилову, он интересовался, где вы пропадаете?

Дозваниваюсь до Ворошилова, слышу в трубке:

— Товарищ Сталин просит у вас узнать, можно ли изменить знак препинания в такой-то строке?

Естественно, я не возражал. Но что это? Блажь? Или в этом факте заключен какой-то скрытый смысл?

Наступил день окончательного утверждения гимна.

В пустом зале Большого театра сидели оба автора текста гимна. Это был их последний экзамен. В правительственной ложе — члены правительства и политбюро.

В исполнении симфонического оркестра Большого театра под управлением А. Ш. Мелик-Пашаева, военного духового оркестра под управлением генерал-майора С. А. Чернецкого, Краснознаменного Ансамбля песни и пляски Красной армии под управлением А. В. Александрова один за другим звучат для сравнения гимны иностранных держав. Исполняется старый русский гимн «Боже, царя храни!», гимны Д. Д. Шостаковича и А. И. Хачатуряна на слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. Наконец, на музыку «Гимна партии большевиков» звучит отдельный вариант нашего текста с новым припевом. Этот вариант и утверждается правительством.

Авторов приглашают в гостиную правительственной ложи. Здесь руководители партии и правительства. Кроме тех, с кем мы уже встречались за последнее время, присутствуют В. М. Молотов.

К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, А. И. Микоян, Н. С. Хрущев. Здесь же М. Б. Храпченко — председатель Комитета по делам искусств, дирижеры А. Ш. Мелик-Пашаев, С. А. Чернецкий и А. В. Александров, композитор Д. Д. Шостакович.

В гостиной щедро накрыт стол.

— Ну что же, по старому русскому обычаю надо «обмыть» принятый гимн! — говорит Сталин и приглашает всех к столу. Меня и Эль-Регистана он сажает по правую и левую руку.

Здесь рассказ следует продолжать в форме диалога.

Регистан (*пытается положить на тарелку Сталина кусок ветчины):* Разрешите за вами поухаживать, товарищ Сталин?

Сталин (*отодвигает свою тарелку):* Это я за вами должен ухаживать, а не вы за мной. Здесь я хозяин… Кстати, кто вы по национальности?

Регистан: Я армянин.

Сталин (с *иронией):* А почему вы Эль-Регистан? Вы кому подчиняетесь: муфтию или католикосу?

Регистан: Католикосу, товарищ Сталин!

Сталин: А я думал, муфтию…

Регистан *(встает, поднимает бокал):* Разрешите мне произнести тост?

Сталин: Разрешаем.

Регистан: Я хочу поднять этот бокал за тех, кто с нами работал: за товарища Волошилова, за товарища Молотова и, наконец, за товарища Сталина…

Щербаков *(резко):* С этого надо было начинать!

Регистан *(растерянно):* Я хотел сказать…

Сталин (*перебивая Регистана):* Разрешите мне реплику?! У Чехова есть рассказ про купца, который больше всех пожертвовал на храм, а его фамилию в газете написали последней. Купец обиделся. Я не купец… Продолжайте, товарищ Регистан!

Регистан *(оправдываясь):* Я хотел назвать по порядку тех, кто с нами работал…

Сталин *(обращаясь ко всем):* Мы приняли новый гимн страны. Это большое событие… Александр Васильевич Александров создал в свое время музыку «Гимна партии большевиков», которая больше всего подошла для гимна Советского Союза. (*Обращаясь к Шостаковичу.)* Ваша музыка звучит очень мелодично, но что поделать, гимн Александрова более подходит по своему торжественному звучанию. Это — гимн могучей страны, в нем отражена мощь государства и вера в победу… Товарищ Щербаков! Нам, видимо, надо принять постановление Совнаркома? И назначить день первого исполнения гимна. Мы можем успеть дать команду нашему радио исполнить гимн в новогоднюю ночь?

Щербаков: Можем, товарищ Сталин!

Щербаков выходит. Через некоторое время он возвращается с проектом документа. Сталин читает его.

Сталин *(мне):* А вы, Михалков, не заглядывайте! Тут мы и без вас обойдемся.

Я: Извините, товарищ Сталин! Я случайно…

Сталин: И не заикайтесь! Я сказал Молотову, чтобы он перестал заикаться, он перестал.

Молотов улыбается.

Сталин (в *сторону Калинина):* Наш Михаил Иванович в последнее время стал плохо слышать.

Калинин улыбается.

Щербаков: Предлагаю выпить за товарища Сталина!

Все поднимают бокалы. Пьют.

Сталин *(мне):* Не надо пить до дна за каждый тост. С вами неинтересно будет разговаривать. И не робейте!

Я: Я не робею, товарищ Сталин!

Сталин: Мы нахалов не любим, но и робких тоже не любим. Вы член партии?

Я: Я беспартийный.

Сталин *(помолчав):* Это ничего. Я тоже был беспартийный…

Регистан: Товарищ Сталин, пусть Михалков прочитает свои стихи.

Сталин: Про дядю Степу? Послушаем.

Я читаю стихи. Сталин одобрительно смеется.

Я: Можно я прочитаю еще военные стихи?

Сталин: Прочитайте.

Я читаю стихотворение «Письмо жене». По мере того как я читаю, Сталин мрачнеет.

Сталин *(серьезно):* Эти стихи мне не нравятся. В них настроение сорок первого года. Вы напишите стихи с настроением сорок четвертого года и пришлите их нам с Молотовым.

Я обещаю написать такие стихи.

(Вскоре я сочинил «Быль для детей» и послал ее в Кремль на имя Сталина. Стихи были затем без моего ведома опубликованы одновременно в «Правде», «Комсомольской правде», «Пионерской правде». Видимо, на это было указание Сталина.)

Можно сказать, что все присутствующие за столом члены политбюро не принимали никакого участия в разговоре. Они ограничивались короткими репликами, поддакивали. Приглашенные товарищи тоже чувствовали себя скованно. Только мы с Регистаном вели себя свободно, если не сказать развязно. Выпитое вино оказывало свое действие. Мы настолько забылись,

где и с кем находимся, что это явно потешало Сталина и неодобрительно воспринималось всеми присутствующими, особенно сидящим в конце стола М. Б. Храпченко, так и не притронувшимся к еде.

Когда я, по предложению Регистана, разыграл с ним юмористическую сценку, основанную на фольклоре военного времени, Сталин хохотал буквально до слез.

Было пять часов утра, когда «отец всех народов» молча поднялся, прервав этим выступающего Регистана. Все вышли из-за стола. Провожая нас до дверей, Сталин неожиданно для всех картинно раскланялся с нами, изображая поклон испанского идальго. Этого уж никто не ожидал.

Нас развезли по домам.

— Где ты был? — спросила жена, открывая мне дверь.

— У Сталина, — ответил я.

— Ложись спать. Завтра поговорим.

Только на следующий день мы с Габо осознали все безумие и рискованность нашего поведения в обществе Сталина.

— Вы ходили по острию ножа! — сказал нам М. Б. Храпченко, — но, кажется, все обошлось. Есть указание выдать вам для встречи Нового года на пятьсот рублей продуктов по твердым ценам. Поздравляю вас с огромной победой, значения которой вы себе еще не представляете.

Как ни странно, эта встреча со Сталиным, его вопрос о моей партийности не предопределил мое немедленное вступление партию.

В члены КПСС я вступил спустя семь лет. В мае 1950 года мне был вручен партийный билет…

Будучи беспартийным, я к своим сорока годам уже имел высокие правительственные награды, был одним из авторов Государственного гимна СССР, и ради каких-либо карьерных соображений мне не надо было вступать в партию. Тем не менее, я твердо знал, что смогу принести обществу гораздо больше пользы, если вступлю в ряды КПСС. В самом деле, разве я мог бы организовать и возглавить всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль», будучи беспартийным? Как бы я смог критиковать, осуждать и изобличить в неблаговидных поступках и преступлениях членов партии, задевать самолюбие многих начальников, вплоть до руководителей союзных и автономных республик? Это было исключено!

Ни для кого не секрет, что в советском обществе на все маломальски видные и ответственные посты рекомендовались в первую очередь члены КПСС. Трудно было себе представить на посту главного редактора газеты, в должности ректора института,

на командной должности воинского соединения, в звании командира производства человека без партийного билета в кармане. Вся номенклатура в структуре советских учреждений должна была быть партийной.

Везде и во всем члену партии отдавалось предпочтение, будь ли это поездка за рубеж или присвоение ученой степени, представление к награде или даже улучшение жилищных условий. Поэтому для того, чтобы полнее проявить себя в той или иной деятельности, многие подавали заявление о приеме в члены КПСС. Эти люди не были карьеристами, это была единственная возможность укрепить свои жизненные позиции в обществе, которое развивалось в рамках тоталитарной, жесткой идеологической системы.

Иные выбирали себе путь продвижения по партийной лестнице — шли работать в партийный аппарат, выдвигались на руководящие должности и низовые партийные организации, со временем восходили на партийный олимп.

При всем этом человек, вступивший в партию, тут же становился ее заложником. Исключение из партии грозило провинившемуся крахом служебной карьеры, бесперспективным будущим, а то и элементарным лишением личной свободы. В силу этого член партии, подчиняясь партийной дисциплине, старался делом и словом доказывать свою преданность «руководящей и направляющей» идеологии. Инакомыслие в партии не допускалось.

Было в свое время такое понятие, как «советский человек». Это понятие относилось к категории нравственной. Предполагалось, что «советский человек», особенно за рубежом, был эталоном советской морали. Можно было быть «советским гражданином», но не обладать качествами «советского человека». По этой аналогии член коммунистической партии мог не быть настоящим коммунистом, ибо «коммунист» — понятие идейно-нравственной категории, и не всякий член партии оправдывал звание «строителя коммунизма».

Высшее партийное руководство провозглашало и утверждало высоконравственные призывы и лозунги во имя претворения в жизнь коммунистических идеалов. Однако известный «Моральный кодекс коммуниста» во многих случаях не становился руководством для видных представителей высшего партийного эшелона. Хорошо известные нам руководители КПСС откровенно злоупотребляли своим положением в партии и государстве. Дорогие преподношения, «царские охоты», бытовые излишества, сам образ жизни, возможный благодаря особым привилегиям, не позволяли считать их коммунистами.

Видимо, не случайно в результате политических изменений в нашем обществе многие партийные идеологи, ранее призывавшие с партийных трибун к преодолению трудностей во имя «светлого коммунистического завтра», вышли из партии, изменили свое мировоззрение, устремились в предпринимательство и, став приверженцами частной собственности, неожиданно проявили интерес к религиозным обрядам. Как говорится, опомнились!

Были ли эти люди когда-нибудь коммунистами?

Однозначно: не были!

Но было в партии и немало подлинных коммунистов. Они делали свое дело, искренне веря в превосходство социализма над капитализмом. В годы войны они вступали в партию на поле боя, шли в лагерных колоннах заключенных с пением «Интернационала». Они погибали в застенках советских тюрем, не отказываясь от своей партийной принадлежности. Вот они-то и были подлинными коммунистами. Их можно уважать за верность пусть утопическим, но тем не менее светлым идеалам.

Я знал настоящих коммунистов и в руководстве партийных организаций, и в аппарате ЦК КПСС, но не они определяли политику высшей партийной элиты, которая считала себя «Умом, Честью и Совестью нашей эпохи».

В 1991 году я не вышел, а выпал из КПСС. И в моем преклонном возрасте предпочитаю оставаться вне какой-либо партии.

В ночь на новый, 1944 год по Всесоюзному радио прозвучал новый гимн Советского Союза. Он прозвучал мощной здравицей в Честь советского народа, армия которого освобождала оккупированную территорию и ломала хребет фашизму.

А в 1945 году в застенках Лубянки палач Абакумов продолжал вершить свои черные дела, но авторы только что утвержденного Сталиным Государственного гимна были ему уже не по зубам. У них была «охранная грамота». Однако Абакумов не упустил случая расправиться с братом одного из авторов. По его распоряжению привезли с фронта на Лубянку моего младшего брата Михаила. Ему, прошедшему немецкие лагеря и организовавшему в лесах Латвии партизанскую группу, предъявляется обвинение в измене Родине. Михаила осуждают на пять лет. (Впоследствии его полностью реабилитируют «за отсутствием состава преступления» и награждают орденом Славы.)

Арестован и наш общий друг Николай Кружков.

— Твои дружки, Михалков и Регистан, давно уже у нас и во всем признались! — шантажирует Абакумов полкового комиссара Николая Кружкова, редактора газеты «Красная звезда».

Ни мой брат, ни Кружков не знают, что мы на свободе и являемся авторами Государственного гимна СССР.

Никогда не забуду тяжелого взгляда Абакумова, когда в 1949 году в ресторане отеля «Метрополь», на приеме в честь Мао Цзэдуна, Сталин подозвал меня к столу правительства и познакомил «вождя китайского народа» со мной.

— Это человек смотрит на нас как на детей! — неожиданно сказал Сталин.

В его представлении я, видимо, так и остался автором стихотворения «Светлана» и других детских стихов.

Мог ли я тогда подумать, что спустя двадцать семь лет (в 1970 г.) мне придется по решению новых руководителей партии и правительства убирать из текста гимна имя Сталина и вносить в него другие коррективы? А спустя еще двадцать лет (в 1990 г.) читать в советских газетах нелестные замечания в мой адрес и рекомендации, предлагающие заменить текст гимна как не соответствующий по своему содержанию политике партии и государства? Нет, этого я предвидеть не мог. Впрочем, действительно, какая уж сегодня «дружба народов»? Какая «сила народная»? Какой «Союз нерушимый»?

В год создания гимна СССР мне было 30, а Г. Эль-Регистану — 45 лет.

Невысокого роста, стройный, худощавый, Эль-Регистан был олицетворением стремительной энергии и искрящегося жизнелюбия. Но близкие друзья знали, какие огромные физические нагрузки выдерживали его по-мальчишески хрупкие плечи, какое огромное эмоциональное перенапряжение выдерживало подчас его неугомонное сердце.

Армянин по национальности, он родился в Самарканде 15 декабря 1899 года.

Журналист Эль-Регистан был выдающийся. Недаром Алексей Толстой в одной из своих статей включил его в тройку лучших журналистов страны.

Мы были близкими друзьями, такими, о которых говорят, что они и часа не могут обойтись друг без друга. И все-таки я видел его урывками. Он стремительно врывался в мой дом, бросал на тахту какой-нибудь необычный сувенир — расплющенную о скалу пулю басмача, привезенную с памирской пограничной заставы, или обломок фюзеляжа самолета Молокова, на котором они совершили вынужденную посадку во льдах в районе Таймыра, обрушивал на нас лавину блестящих рассказов о своем недавнем путешествии и, не успев их даже записать в блокнот, снова куда-то спешил — убегал, уезжал, улетал.

За те короткие двадцать лет, что отпустила ему жизнь на

творчество, он написал десятки рассказов, очерков, фельетонов, которые чуть ли не ежедневно появлялись во всех газетах Средней Азии и во многих центральных газетах и журналах. В них бился пульс времени; они были убедительно достоверны; в них всегда присутствовал автор — не только очевидец, но и участник событий.

Беломорканал, Балхаш, Караганда, Кузбасс, Магнитка, Сталинградский тракторный, Уралмаш, Сибмаш — таким был главный репортерский маршрут Эль-Регистана.

Его полеты на север дали книги «Необычное путешествие» и «Следопыты далекого Севера». Тянь-шаньские впечатления легли в основу сборника «Стальной коготь». 30-е годы принесли Эль-Регистану книги очерков «Большой ферганский канал» и «Москва — Каракум — Москва», фильм «Джульбарс». Только один раз он позволил себе не отрываться от письменного стола целых два месяца.

Это было, когда мы трудились над текстом Государственного гимна Советского Союза. Я часто вспоминал это время, работая над повой его редакцией.

Умер Габриэль Эль-Регистан совсем молодым — в сорок пять лет. Его смерть была тем более нелепа, что он прошел невредимым всю войну — от первых ее дней до последних. Прошел не только как военный корреспондент, но и как беззаветно храбрый офицер, всегда стремившийся попасть первым туда, где было особенно трудно. Лишь фронтовики могут в полной мере оценить его боевой путь. Болота Калининского фронта, горящие леса и нивы Западного. А потом победное наступление наших войск: 3-й Украинский фронт — с ним он прошел от Сиваша до Черного моря; 3-й Белорусский — от советских войск — Румыния и Венгрия.

Вот таким был мой соавтор по работе над гимном.

Далеко позади остались военные годы. Но каждый раз, приходя к Вечному огню у Кремлевской стены, зажженному в память о Неизвестном солдате, я думаю о своих друзьях, оставшихся на полях сражений, и гляжу на свои строки, что выбиты на граните: «ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН». Когда я сочинял эти слова, я испытывал чувство великой благодарности к миллионам наших людей, отдавших жизнь за будущее всей земной цивилизации.

Доброе знакомство связало меня с прообразом Сталина — народным артистом Михаилом Геловани. Он, так же как Демьян Бедный, был моим соседом по дому, в котором все мы жили.

С Демьяном Бедным мы не раз варили раков, с Геловани ели шашлыки из «Арагви» и пили грузинское вино.

Он был лучшим исполнителем роли вождя и даже в быту, казалось, не мог выйти из образа оригинала. Эта медлительность в жестах, многозначительные паузы в разговоре во многом лишали его собственной индивидуальности.

В ресторане «Арагви» к нему относились с особым почтением, и все его заказы выполнялись незамедлительно. Грузинский ресторан Самтреста «Арагви», в доме № 8 по ул. Горького, пользовался славой у москвичей. Иначе и быть не могло! Он же был грузинским! Продукты везли в ресторан самолетами прямо из Грузии. В отдельных кабинетах отмечались торжественные события: юбилейные даты, награждения. Даже в дни войны, когда в Москве с питанием было трудно, в «Арагви» можно было хорошо выпить и закусить, а то и прихватить с собой домой свежий лаваш, готовый шашлык, бутылку вина или водки «Тархун». Все московские и приезжие грузины были его гостями. Не скрою, и я был частенько в этом ресторане, когда наездами с фронта бывал в Москве. Меня любили официанты, верили мне «в долг», и перед моим отъездом на фронт, когда я зашел с ними попрощаться, они накрыли стол и угостили меня за свой счет…

* * *

Народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов, друг нашей семьи, был ярким, самобытным представителем русского театра. Его могучий талант восхищал и покорял. Лучше Ливанова никто не смог бы сыграть Ноздрева в «Мертвых душах», да и в нем самом, в его характере было что-то «ноздревское» — неистребимо русское. Ливанов был не только талантливейшим актером, но в такой же степени и одаренным карикатуристом. Его дружеские карикатуры на деятелей Московского Художественного театра, писателей и просто знакомых заявляли о нем как о большом мастере этого жанра.

Не могу не вспомнить один из курьезных эпизодов, связанных с Ливановым, свидетелем которого я случайно оказался.

Часто бывая среди приглашенных на правительственных приемах, великий артист не отказывал себе в удовольствии опрокинуть одну-другую рюмку спиртного.

Однажды на одном из кремлевских приемов, вскоре после разоблачения культа Сталина, Ливанов с бокалом в руках приблизился к столу президиума. Ему явно хотелось обратить на себя внимание Хрущева. Но и сам он находился в поле зрения товарищей, следящих за порядком. Один из них подошел к нему и тихо сказал:

— Борис Николаевич! Мы тут поблизости. Если вы себя нехорошо почувствуете, то мы к вам подойдем и отвезем на машине домой!

Ливанов кивнул и еще ближе подошел к столу правительства. Выбрав подходящий момент, когда Хрущев узнал великого артиста и помахал ему рукой, Ливанов вдруг своим громовым, сочным голосом произнес:

— Я пью за здоровье товарища Сталина… Хрущева! Осознав трагичность своей невольной оговорки, он растерянно посмотрел вокруг себя и упавшим голосом спросил:

— Где этот… с машиной! С кем не случается?

Живой классик Алексей Николаевич Толстой пользовался всеобщим авторитетом. Он завораживал собеседника своей простотой, глубиной и блеском ума, яркой, сочной, образной речью и еще чем-то, что присуще, хотя и в разной степени, всем замечательным людям.

В пору нашего с ним знакомства я уже не был новичком в литературе: мои книги для детей были отмечены читателем и общественностью, но имя Толстого вызывало у меня почти суеверное благоговение.

Жил Толстой в Москве. Тогда он много и напряженно работал, но для постороннего глаза эта напряженность была вряд ли заметна. Он часто созывал гостей, любил щедрое застолье, острое слово и сам был замечательным рассказчиком: рассказывал в лицах, как настоящий актер. Алексей Николаевич был вежлив в обращении, зато порой резок и удивительно прям в суждениях. В Союзе писателей Толстой бывал довольно часто. Его утомляли будничные, нетворческие дела и заботы. Но если он брался за что-нибудь, то быстро добивался своего.

Хорошо помню Алексея Толстого в первые недели войны. Он был озабочен, в его движениях появилась стремительность, в высказываниях — предельная, солдатская определенность. Его патриотические статьи волновали глубиной и содержательностью. Он отлично чувствовал истоки народной стойкости, в его страстной публицистике, как правило, отсутствовали риторика и общие места.

В те трудные времена писательская братия была сплочена более обыкновенного: перед лицом грозных событий, всколыхнувших всю страну, забылись все неизбежные споры и пристрастия, как нечто второстепенное, малозначительное или даже пустяковое. Многие уходили на фронт, многим из ушедших не суждено было вернуться: московская писательская организация за годы войны потеряла почти треть своего состава.

Почему-то особенно запомнилась первая статья Алексея

Толстого из большого публицистического цикла, написанная через несколько дней после нападения фашистской Германии. Называлась она «Что мы защищаем?». В статье чувствовалась тревога большого русского писателя за судьбы народа и его культуру.

В творчестве Толстого меня всегда поражала самобытная широта его русской натуры, энциклопедические знания, редкое умение сочетать беллетристичность, увлекательность повествования с поразительной глубиной социального анализа. Сколько бы ни прошло времени, какие бы таланты ни выдвинула отечественная литература, Алексей Николаевич Толстой всегда останется ее драгоценностью.

Умер Толстой неожиданно. Чувство потери было всеобщим, но было и сознание того, что его творчеству суждена долгая жизнь. В военную пору Алексей Николаевич однажды посоветовал мне попробовать свои силы в басенном жанре.

— Тебе лучше всего удаются стихи, в которых ты идешь от фольклора, от народного юмора. Не начать ли тебе писать басни? — посоветовал мне Толстой.

Честно говоря, аллегорическая поэзия представлялась мне чем-то в достаточной степени архаичным. Затем произошло следующее. Страна отмечала юбилей Крылова. По радио, с подмостков эстрады, с газетных страниц звучали гениальные крыловские творения. Они заражали людей смехом, рождая в сердцах радость, гнев, иронию, сарказм. Видимо, и в число крыловского юбилейного комитета я попал по рекомендации Алексея Толстого.

Часто с благодарностью думаю я о его проницательности, — он сумел в моих стихах для детей разглядеть басенное начало и подсказать мне новую верную жанровую дорогу.

Зная, сколь опасен эзоповский язык самого жанра басни, я, посоветовавшись с Эль-Регистаном, рискнул послать свои первые басни непосредственно Сталину. «Ответ» я получил через газету «Правда», где вскоре были опубликованы с рисунками Кукрыниксов басни «Заяц во хмелю» и «Лиса и Бобер».

Читательский успех «Зайца во хмелю» и «Лисы и Бобра» во многом определил судьбу этого незаслуженно забытого жанра. Правда, на первых порах мне не раз приходилось слышать: «Время аллегорий прошло. Этот жанр устарел. Зачем его возрождать? Басня сегодня никому не нужна!» Однако сама жизнь доказала обратное. Меня поддержала газета «Правда»: она стала публиковать мои басни, как бы открывая дорогу этому жанру. Басня звучала по радио и с эстрады в исполнении Игоря Ильинского и других артистов — мастеров художественного

слова. Обнаружилось, что у нее есть немало поклонников, что авторы басен живут и работают в разных концах страны, нуждаются в поощрении и признании.

Правда, во внезапно хлынувшем на страницы периодики басенном потоке было много издержек: иные сочинители, пользуясь аллегорическими средствами, с завидной легкостью очеловечивая животных и предметы, заставляли своих «героев» блеять, мычать и кудахтать по самому ничтожному поводу: вели наивный нравоучительный разговор, сводя его в конечном итоге к убогому морализаторству, поверхностной дидактике.

Такого рода просчеты тоже были поучительными. Я понял на практике, что басня отнюдь не фельетон, что сама по себе басенная форма еще ничего не решает, ибо нужны художественные поиски, открытия. Надо сказать, что простота, лаконичность, сюжет, юмор не даются баснописцу легко. Басенный хлеб приходится добывать на ниве в поте лица своего.

Жизнь жанра можно сопоставить с жизнью человека. Жанр, как и человек, переживает золотую пору детства. Время молодости. Прекрасной зрелости. Наступает старость, приходит смерть. Не так ли угас жанр оды и мадригала? Однако жанр, в отличие от человека, обладает способностью и к возрождению. Для этого должны, видимо, возникнуть соответствующие условия. Крылов столько сделал в сфере басни, что многие считали ее возможности исчерпанными. У Крылова были предшественники и последователи. Но имя Крылова затмило все имена. Работа Демьяна. Бедного дала басне новую силу. Недаром он в свое время писал:

Как можно басне умереть?
С народным творчеством она в родстве немалом.
И это я имел в виду,
Когда в двенадцатом году,
Ища кратчайшие пути к народным массам,
Им в баснях ненависть внушал к враждебным классам!

Теперь, говоря об истории литературно-политической сатиры в XX столетии, мы не можем не вспомнить и политических басен Демьяна Бедного.

Я старался придать басне многогранность, обращаясь к различным сторонам действительности. Поэтому приходилось пристально приглядываться к всевозможным житейским ситуациям, высматривая в них то, что волнует многих, что является в данное время типическим, носит обобщающий характер.

Особенность мышления художника такова, что какая-нибудь деталь, частность, случайно подслушанный диалог могут неожиданно возбудить его фантазию, подсказать тему и сюжет будущего произведения.

Сюжет басни «Тихий водоем» родился у меня во время осенней охоты. Сидя на вечерней зорьке в шалашике и прислушиваясь к доносящимся до меня по ветру из ближней деревни мычанию коров, щелканью пастушьего кнута и лаю собак, я почему-то представил себе дикую кряковую утку, нашедшую себе приют в стаде домашних уток. Зачем ей лететь в далекие края, рисковать в пути жизнью, если она может присоединиться к своим сородичам — домашним уткам — и спокойно, сытно жить среди них возле тихого водоема, подумал я. Так родилась басня, в которой я хотел высмеять самоуспокоенность иных моих собратьев по перу.

Пес-попрошайка, постоянный гость одного из ресторанов Кисловодска, откликнулся на кличку Шарик и подошел к моему столу за подачкой, а через минуту повернул голову к другому столику, откликнувшись на брошенный ему «Бобик!». Этот маленький факт позволил мне написать басню «Шарик-Бобик» о людях без гордости и самолюбия, не желающих честно трудиться, промышляющих подачками.

Писателю необходимо живое общение с читателями. Он не может жить вне общения с тем, для кого творит. Наш читатель — читатель особенный. Он не только ревностно следит за судьбой и творчеством любимых писателей, но, читая книги, весьма охотно откликается на просьбу издательства сообщить свое мнение о прочитанном произведении, сам нередко вступает в переписку с автором книги, радуется его успехам, огорчается неудачей, советует, подсказывает, делится личными переживаниями. Иные читательские письма впрямую подсказывали мне тему или сюжет той или иной басни. Так, например, одно из читательских писем подсказало мне сюжет басни «Лев и ярлык».

В работе над басней меня воодушевляло и то, что басни мои стали переводиться на языки народов нашей страны, что у них появились превосходные художники-иллюстраторы, что также было возрождением давней отечественной традиции. Нельзя было не восхищаться работами К. Ротова, Евг. Рачева, А. Каневского, Кукрыниксов, А. Лаптева, И. Митурича. Каждый из художников создавал свой особый басенный мир, опираясь, разумеется, на литературные образы.

Мало-помалу в широком басенном потоке стала просматриваться и глубина. Появились запоминающиеся произведения. Превосходно потрудились сатирики Украины,

Армении. В Белоруссии басни писал веселый и мудрый Кондрат Крапива, чья сатира получила всесоюзное звучание. Все разговоры, что басня не созвучна современности, что она отдает архаикой, были начисто сняты. Думаю, что сам по себе жанр обладает способностью получать новое наполнение.

Каждому автору приятно увидеть свой труд, любовно и со вкусом изданный. Мне пришлось испытать волнующее чувство глубокой признательности, когда я получил небольшую иллюстрированную книжечку, выпущенную издательством «Гутенберг» в Тегеране. Мою басню «Лев и ярлык» перевела на персидский язык студентка факультета русского языка Высшей школы по подготовке переводчиков Жале Назирфард под руководством декана факультета Искандера Заихияна. Басню сопровождало предисловие и послесловие, воспроизводился русский оригинал, подстрочный перевод и стихотворный пересказ произведения.

Язык басенных образов исключительно доходчив, — его принимают буквально все. Об этом, в частности, писал мне г-н Нисимото Сиодзи, переводчик моих басен на японский язык.

Басни — значительная полоса в моей литературной биографии. Они дали мне возможность выхода ко взрослому читателю.

Острая политическая карикатура всегда была на вооружении нашей армии и народа. Известно, что жанр политической сатиры требует от художника и поэта максимальной оперативности, понимания международной обстановки и актуальных задач внешней политики, остроты и дипломатического такта.

Рассчитанная на массового читателя политическая карикатура на международную тему должна быть решена в рисунке и в сопровождающей его подписи просто, ясно и доходчиво. Удачное сочетание рисунка и подписи под ним — гарантия успеха сатиры.

Они дошли до стен рейхстага,
Друзья: боец и командир.
И стены были им бумагой
Для первых подписей за мир!

(рис. М. Абрамова, 1945 г.)

Чтоб в мире дело мира крепло
И чтоб нигде и никогда
Не превращались в груды пепла
Сады, деревни, города —

Народы мира без поблажки
Сегодня сообща должны
Держать в смирительной рубашке
Всех поджигателей войны!

(См. вкл. рис. Б. Ефимова, 1949 г.)

Мне пришлось многие годы работать с Борисом Ефимовым, сочиняя стихотворные подписи под его карикатурами в газете «Известия». Его фантазия всегда поражала меня. С ним было приятно сотрудничать. Доброжелательный, веселый, мастер своего дела, Борис Ефимов был для меня образцом подлинного газетчика-снайпера.

Однако мои стихотворные подписи чаще появлялись в газете «Правда» под рисунками Марка Абрамова. Оригинальные решения его сюжетов на международные темы, лаконизм и выразительность графического исполнения в сочетании с поразительной, чисто журналистской настойчивостью, применяемой им в личном общении с автором этих строк во имя оперативной «подтекстовки» рисунка, приводили к желаемому результату: карикатура, сопровождаемая стихами, вовремя попадала на страницу газеты.

За три десятилетия нашей творческой дружбы с М. Абрамовым было издано более двадцати альбомов и подборок карикатур со стихотворными подписями на международные и внутренние темы.

За заслуги в области сатиры мне в 1979 году была присуждена Международная болгарская премия «Хитрый Петр», и я заслужил звание почетного гражданина веселого города Габрово.

Наша во многом идеологизированная детская литература воспитывала детей в духе преданности коммунистическим идеалам, советского патриотизма, обожествления Ленина, любви к партии, к ее революционным традициям.

Таковы были требования школьных программ. У детской литературы было две цензуры — общая и педагогическая.

Я тоже внес свою лепту в дело идеологического воспитания подрастающего поколения. Однако большинство моих произведений для детей дошкольного и младшего школьного возраста дали мне возможность включить их в мой трехтомник «Избранные произведения», вышедший в 1991 году в издательстве «Художественная литература», поскольку они отражают подлинный духовный мир ребенка.

Работая в поэзии для детей, я всегда мечтал о том, чтобы

написать повесть-сказку, которая была бы понятна и интересна детям всего мира, составляющим, на мой взгляд, лучшую часть человечества, которую нельзя не любить. Хотелось написать сказку, в которой происходили бы самые невероятные и фантастические приключения. И была бы она — волшебной и вполне современной историей.

Вчерашняя фантастика сегодня — будничная реальность. Современные воздушные лайнеры — какое привычное дело, а ведь только вчера дети с замиранием сердца слушали о волшебных коврах-самолетах. На самом простеньком и небольшом экране можно теперь увидеть куда больше, чем в чудесном сказочном зеркальце.

Изменилась жизнь, и теперь сказка должна быть совершенно иной, чем она была раньше. Самый легкий путь — путь стилизации и переделки старых сюжетов. Но кого может увлечь штопанье и перелицовка ветхого старья?

Скучная сказка — такая же нелепость, как горячее мороженое. Много лет в моем воображении рисовалась фабула, виднелись лица героев будущей сказки, но я никак не отваживался взяться за перо. Сюжеты, придуманные мною, почти всегда реализуются, хотя и не сразу. Некоторые из них месяцами, а то и годами ждут своей очереди. В этом случае они хранятся в папке «невыполненных заданий». В течение нескольких лет я не раз доставал из этой папки записанное на одной страничке вступление к сказке для того, чтобы начать над ней работу. И всякий раз с несколькими новыми пометками эта страничка попадала обратно в папку — сказка «не вытанцовывалась».

Произведение нельзя сочинить. Оно должно родиться.

Однажды, когда я проводил отпуск в Карловых Варах, как-то само собой возникло название заветной сказки — «Праздник непослушания». Рука сама потянулась к перу и бумаге. Написалась первая фраза, которую я так мучительно искал столько лет: «Этого никогда не было, хотя могло бы и быть, но если бы это на самом деле было, то…»

Переехав из Карловых Вар в Дом творчества болгарских писателей в Варне, я за два месяца завершил работу над первым вариантом сказки.

В нескольких словах сюжет сказки заключался в следующем.

В небольшом сказочном, но в то же время вполне реальном городе произошло невероятное событие: взрослое население, измученное дорогими, любимыми, но грубыми, капризными и упрямыми детьми, в знак протеста и своего бессилия покидает город. Город во власти детей. Свобода без ограничений! Однако дети в сказке начинают скоро замечать, что без родителей, без

взрослых они не могут обходиться. Самый радостный момент всей сказки, ее сюжетная кульминация — возвращение родителей, получивших письмо в стихах: «Мамы! Папы! Нам без вас — все равно, что вам без нас!»

Сюжет был продуман от начала до конца.

Но надо было найти интонацию. Добиться художественной простоты. Моя цель была вовсе не в том, чтобы развеселить маленьких читателей, хотя и это немаловажно. Убежден, что веселье, забавность должны присутствовать в произведении для детей, ибо ощущение счастья — естественное состояние ребенка. Но у меня была и сверхзадача. Я хотел, чтобы взрослые, читая сказку, вспомнили, что они сами когда-то тоже были детьми. В качестве эпиграфа к сказке я мог бы взять известное высказывание Жан-Жака Руссо: «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов». Дети не должны чувствовать себя воспитуемыми. Ведь искусство воспитания заключается еще и в том, чтобы оставаться незаметным. Сказка моя должна была нести в себе глубокий педагогический смысл, воспитывая образами и сюжетными коллизиями, но отнюдь не унылой дидактикой, утверждать право общества на разумный порядок, выступать против анархии в любом ее проявлении.

Издательство «Арена» в ФРГ выпустило сказку «Праздник непослушания» под озорным названием: «Ура, бастуют родители!» Сказка переведена в настоящее время уже на несколько европейских языков, и, не скрою, мне приятно было узнать похвальный отзыв президента Международной организации детской книги, профессора Ниило Висепаа, отметившего в моем произведении продолжение традиций, берущих начало в творчестве великого Ганса Христиана Андерсена.

Служа детской литературе, я руководствуюсь мудрым высказыванием А. Герцена: «Художественная потребность идет у детей вперед, они в книге ищут наслаждения, а не пользы. Оттого они очень рано различают два рода книги — один, который они читают, а другой, который им велят читать».

В 1971 году я был избран действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1993 году — академиком Российской академии образования и Международной славянской академии.

Театр я люблю с детства.

Еще в 1925 году в подмосковном поселке Дарьино группа детей решила своими силами поставить спектакль. Для постановки выбрали театральную сказку «Любовь к трем апельсинам» Карло Гоцци. Ребятам выпало редкое счастье: в этом

же дачном поселке отдыхал тогда величайший мастер русского театра Константин Сергеевич Станиславский. Его заинтересовал детский спектакль; он пришел на репетицию, дал нам много полезных советов. Спектакль получился веселый, интересный. Ставил спектакль старший из ребят Гриша Кристи, мой двоюродный брат, впоследствии ближайший помощник и ученик К. С. Станиславского, доктор искусствоведческих наук. А злую ведьму в спектакле пришлось играть мне.

Спустя двадцать лет на тему сказки «Любовь к трем апельсинам» я написал комедию для детей «Смех и слезы», известную также под названием «В стране игр, или Веселое сновидение». Но первую свою пьесу сочинил в 1938 году. Она была написана по мотивам повести Марка Твена «Принц и нищий» и называлась «Том Кенти». Критика упрекала меня, молодого драматурга, за несколько вольное обращение с материалом мировой классики, однако спектакль, талантливо поставленный моим другом, режиссером Валентином Колесаевым на сцене Государственного центрального театра юного зрителя (Госцентюз), окончательно утвердил мое пристрастие к драматургии и театру. А пьеса «Том Кенти» через тридцать пять лет вновь обрела жизнь на сцене Московского театра юного зрителя, в том же помещении, на той же сцене, где она когда-то заявила о себе.

За «Томом Кенти» последовали пьесы: «Коньки» (1938), «Особое задание», «Смех и слезы» (1945), «Красный галстук» (1946), «Я хочу домой» (1949), «Зайка-Зазнайка» (1951), «Чужая роль» (1953), «Сомбреро» (1957), «Забытый блиндаж» (1962), «Первая тройка, или Год 2001-й» (1970), «Дорогой мальчик» (1973), «Товарищи дети» (1981), «Сон с продолжением» (1988). Поставленные на сцене многих театров страны и за рубежом, большинство из них обязаны своему рождению в первую очередь Центральному детскому театру, его талантливому коллективу. 2 апреля 1978 года на сцене Центрального детского театра, в год пятидесятилетия моей литературной и общественной деятельности, спектакль «Сомбреро» прошел в тысячный раз.

Мне посчастливилось работать с выдающимися мастерами советского театра: А. Акимовым, А. Брянцевым, Ю. Завадским, И. Ильинским, В. Плучеком, Б. Покровским, Б. Равенских, Р. Симоновым, В. Топорковым, Г. Товстоноговым, В. Андреевым. Репетиции моих пьес, над которыми они работали, были для меня и школой, и праздником.

Считая себя драматургом театра для детей, я тем не менее написал несколько пьес для взрослых. Среди них «Раки» (1953), «Охотник» (1954), «Памятник себе…» (1959), «Эцитопы бурчелли»

(1961), «Пощечина» (1974), «Балалайкин и Ко» (по мотивам романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», 1973), «Пена» (1975), «Постоялец» (1977), «Пассаж в Пассаже» (по мотивам рассказа Ф. М. Достоевского, 1978), «Эхо» (1980), «Товарищи-граждане» (по мотивам рассказов В. Шукшина, 1980), «Скверный анекдот» (по мотивам рассказа Ф. М. Достоевского, 1987).

В том же 1938 году, когда была написана моя первая пьеса для детей, я впервые переступил порог киностудии. Нужно было написать текст к мультипликационному фильму «В Африке жарко». С той поры моя творческая связь с кинематографом не прерывалась. По моим сценариям поставлено более тридцати мультипликационных и художественных фильмов, в их числе: «Фронтовые подруги» (1940 г., в соавторстве с М. Розенбергом, «Лен-фильм»), «У них есть Родина» (1949 г., в студии имени М. Горького), «Комитет 19-ти» и «Вид на жительство» (1972 г., в соавторстве с А. Шлепяновым, «Мосфильм»).

Придавая большое значение развитию сатирического жанра в кино и его действенной силе, я возглавил Всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль» и с 1962 года являюсь его организатором и главным редактором.

— Что вам нужно для того, чтобы начать выпускать сатирический киножурнал? — спросили меня в ЦК КПСС.

— Не мешать! — ответил я. — Если не справлюсь, меня можно будет заменить!

И все тридцать лет, как ни странно, не мешали.

Сатира не может развиваться под всеобщие аплодисменты: кому-нибудь она обязательно должна не понравиться, кого-то обязательно заденет за живое, обидит, обозлит. В этом ее назначение. Однако писатель-сатирик должен быть, как минер, уверен в том, что заряд сработал точно и в заданном направлении. В противном случае он рискует подорваться сам. Видимо, не случайно большая популярность «Фитиля» у народа, он неизменно пользуется успехом.

В 1946 году группа советских военных кораблей совершала переход из Балтийского в Черное море. Переход обещал быть интересным, и командование приняло на борт флагмана «Лена» двух писателей, корреспондентов. Мне впервые удалось побывать в Англии и в Гибралтаре, на острове Мальта и в Стамбуле. Написанная за время похода в содружестве с моим добрым другом Львом Кассилем книга «Европа — слева» открыла для моего творчества перспективы еще одного литературного жанра.

Пришлось мне в последующие годы побывать в США и Мексике, в Японии и Испании, Монголии и Бразилии, Ирландии и

Алжире, Франции и Греции, на Кубе, а также во многих других странах мира, однако очерковых книг о своих путешествиях я больше не писал. И все же впечатления от знакомства с новыми странами, с бытом и нравами народов, их образом жизни, наконец, личные контакты с деятелями культуры этих стран не проходят бесследно для писателя.

Так, например, неоднократные поездки в Чехословакию и личное знакомство с виднейшим чешским ученым-музыковедом, профессором Зденеком Неедлы побудили меня написать русский текст к чешским операм «Проданная невеста» Б. Сметаны (1948) и «Черт и Кача» А. Дворжака (1954). Эти две комические оперы, поставленные на сцене ГАБТа СССР и Пермского государственного театра оперы и балета, дали возможность советским зрителям и ценителям музыки ознакомиться с подлинными жемчужинами чешской музыкальной культуры.

Мне неоднократно приходилось представлять нашу страну на различных форумах, конгрессах, симпозиумах и конференциях, посвященных проблемам мировой литературы, театра и кинематографа для детей. Я работал в жюри Международного фестиваля детских фильмов в Тегеране, в качестве председателя неоднократно возглавлял жюри Международного московского фестиваля фильмов для детей, выступал на заседаниях исполкома Международной организации детского театра в Брюсселе, Бордо и Софии, участвовал в работе исполкома Международной организации детской книги в Праге, Амрисвилле, Ницце, Вене, Афинах, Рио-де-Жанейро, Токио.

Мне довелось познакомиться со многими писателями, чье творчество служит нравственному воспитанию молодежи. Здесь мне хотелось бы назвать в первую очередь лауреатов Международной премии имени Ганса Христиана Андерсена, шведскую писательницу Астрид Линд-грен, итальянского писателя Джанни Родари и немецкого поэта Джеймса Крюса — озорных выдумщиков и мастеров литературы, заслуженно пользующихся любовью и признанием миллионов читателей.

В мировой детской литературе есть сегодня отличные книги, созданные на десятках разных языков. И каждая новая хорошая детская книга — это праздник для тысяч и тысяч новых граждан планеты Земля!

Верный своему убеждению, что настоящий профессионал-литератор должен пробовать свои силы во всех жанрах, я не мог отказать себе в удовольствии попытаться донести до русского читателя звучание детских стихов выдающегося польского поэта Юлиана Тувима, тонкого и лирического еврейского поэта Льва Квитко и задорного любимца болгарской детворы Асена Босева. И

если мне это в какой-то мере удалось, то, вероятно, лишь потому, что юмор и интонация переводимых мною стихов были мне творчески родственны и близки по духу.

Многие читатели интересуются: «Как вы работаете? Есть ли у вас режим рабочего дня?»

Я работаю круглосуточно. Это, естественно, не значит, что двадцать четыре часа в сутки я просиживаю за письменным столом. Напротив, иной раз подолгу к нему не подходишь, неделями вовсе не берешься за перо. Но клетки мозга, ведающие творческой лабораторией, работают постоянно в заданном направлении. И если начал работу, скажем, над новой пьесой, мысли, независимо от окружающей обстановки, все время возвращаются к неродившимся еще персонажам, воображение вынашивает характеры героев, разрабатывается и уточняется сюжет, придумываются отдельные фразы будущих диалогов, откристаллизовывается драматургическая ситуация, — одним словом, идет «процесс сочинения». Даже во сне иной раз мои герои не оставляют меня в покое. Так продолжается до тех пор, пока замысел не созреет до того долгожданного момента, когда уже пора сесть за стол.

Когда произведение «созрело» и само просится на бумагу, от него уже трудно оторваться. Для этого, как ни странно, совсем не обязательно находиться в атмосфере спокойного рабочего кабинета. Важная сцена в комедии «Эцитоны бурчелли» дописывалась мной за столом президиума одной конференции. Многие из присутствующих, видимо, полагали, что «строчу» текст своего выступления.

Известно, что, если разбудить спящего человека, ему потом не так легко погрузиться в сон и тем более продолжать прерванное сновидение. Точно так же писателю в момент активной творческой работы мучительно трудно отрываться от нее, а потом вновь начинать жить жизнью своих героев. И как сложно объяснить людям, вторгающимся в твое творческое состояние (сновидение!), что писательский труд не так прост, как это кажется некоторым.

Люблю переделывать, переписывать написанное, создавать новые и новые варианты, испытываю от этого трудно передаваемое наслаждение. Правлю, вычеркиваю даже то, что было написано когда-то давно, много лет назад. Мне часто звонят из издательства редакторы и спрашивают: «Какой же у вас вариант окончательный?» Отвечаю: «Самый последний!»

Убежден, что для писателя черновик — поле битвы, сражение, которое он должен выиграть. Сам постепенно чувствуешь, как слова приобретают многозначительность,

появляется подтекст, который раньше был почти незаметен. Он — этот подтекст — существовал, но о нем знал только автор. Смысл же работы в том, чтобы сделать читателя соучастником своего творческого процесса. Великое счастье — находить отклик в сердцах читателей.

Сводила меня судьба и с Хрущевым. Поначалу мне нравилась эта самобытная личность, его мужество, когда он первым осмелился восстать против культа Сталина, против сталинских репрессий. Он первым заговорил о всеобщем разоружении. С приходом Хрущева явно начала меняться обстановка в стране.

Помню, на одном из писательских съездов Хрущев делал доклад. Он отложил в сторону, видимо, заготовленный ему текст и начал говорить «от себя». Он говорил долго, любопытно, не всегда грамотно и обо всем. Но все-то все-таки не сказал. Говоря о литературе, он ничего не сказал о таком жанре, как сатира. А это было для меня важно, поскольку я выпускал всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль», и он далеко не всем нравился.

После доклада ко мне подошли наши чиновники от литературы и недвусмысленно заметили: «Хрущев ничего не сказал о сатире. Нужна ли она теперь?»

Чиновники только и прислушивались к каждому слову свыше: не сказано — значит, не надо.

Я понимал: положение надо исправить.

И вот на приеме в Кремле, в Георгиевском зале, я подошел к Хрущеву:

— Вы ничего не сказали о сатире.

— Что такое? — удивился Хрущев. — А почему я должен был что-то еще сказать?

— А потому, — ответил я. — Вы же знаете, что каждое ваше слово будут теперь цитировать, изучать, и если вы ничего не сказали о сатире, то значит, вы, Никита Сергеевич, к этому жанру плохо относитесь, и это может иметь роковые последствия не только для литературы.

— А где же мне это сказать? — заинтересованно спрашивает Хрущев.

— А вот скажите прямо в микрофон!

Хрущев подошел к микрофону и обратился в зал:

— Вот тут товарищ Михалков говорит, что я ничего не сказал о сатире. Сатира нам нужна, она нам очень помогает! — И повернулся в мою сторону: — Ну, вот я и сказал!

Я опять обращаюсь к нему:

— Надо, Никита Сергеевич, чтобы ваши слова попали в стенограмму доклада.

Хрущев подозвал редактора «Правды» П. А. Сатюкова и дал указание:

— То, что я сказал сейчас о сатире, вставьте в доклад! Этот эпизод лишний раз возвращает нас ко времени, когда мнение малокомпетентных в делах литературы и искусства партийных руководителей могло решать многое в нашей жизни.

Вспоминается один из пленумов ЦК. Раньше на пленумы приглашалось много гостей. Однажды перед началом очередного пленума ЦК ко мне обратились некоторые товарищи, ратовавшие за сохранение памятников старины. Они попросили меня передать Хрущеву письмо, в котором предлагалось создать общество охраны памятников культуры. Об этом я, собственно, и говорил, выступая на трибуне.

Передаю Хрущеву в президиум письмо, а он не берет:

— Не возьму!

Я настаиваю, а он опять:

— Не возьму!

Я в дурацком положении: на глазах всего пленума идет у нас обмен репликами. В конце концов Хрущев уступил и с сердитым видом принял письмо. И вот я жду, когда кто-нибудь из выступающих меня поддержит. Ни один человек не поддержал! Все в кусты ушли!

В заключительном слове Хрущев говорит:

— Вот тут Михалков защищает памятники старины… — и выступил против содержания переданного мной письма. И тут же на трибуне что-то порвал. Не знаю, что именно: то ли текст письма, то ли свои заметки.

По всей Москве поползли слухи: дескать, Михалков вылез, а ему дали по мозгам. Злые языки всегда найдутся!

Однако со временем общество по охране памятников истории и культуры было создано и достойно служит Отечеству.

Остался в памяти и более веселый эпизод. На одном из пленумов ЦК два первых секретаря крайкомов сидят в зале и хохочут. Хрущев из президиума к ним сердито обращается: «Вы что, на концерт пришли? Что вы там смеетесь?» Один из них отвечает: «Извините, мы тут басни Михалкова читали!» Книжку мою они купили в киоске во время перерыва. Вот так всегда: серьезное и смешное часто идут рядом.

Екатерина Алексеевна Фурцева была далеко не заурядной личностью. Красивая, молодая ткачиха, выбирая свой жизненный путь, пошла по «партийной линии». Войдя в руководство районной партийной организации, она вскоре выбралась на партийный олимп. Ее приметил Хрущев.

Однако, когда на партийном Олимпе стали меняться

привязанности и симпатии, Фурцева должна была оставить партийный пост в ЦК КПСС, — ее назначили министром культуры СССР. Для Екатерины Алексеевны это назначение однозначно означало отторжение от «святая святых».

Как член коллегии Министерства культуры я принимал участие в заседаниях, которые проводила Фурцева. Культурой огромной многонациональной страны она руководила на ощупь. Партийное руководство, видимо, считало, что культурой могут руководить все, у кого есть «партийное чутье».

Слабо разбираясь в проблемах искусства, министр Фурцева вела ответственные беседы с видными представителями культуры зарубежных стран, открывала художественные выставки, выносила эмоциональные министерские суждения по просмотренным спектаклям, представляла на международных фестивалях советскую культуру, принимала решения, касающиеся судеб талантливых режиссеров и актеров, художников и музыкантов. В этой среде у нее были любимчики и те, кого она не понимала, не хотела понять и потому не любила. Мне не один раз приходилось выступать в защиту талантливейшего Ильи Глазунова, к которому Фурцева относилась недоброжелательно. Правда, этому во многом способствовали наветы со стороны административно-командного руководства Союза художников СССР.

И все же надо признать, что Екатерина Алексеевна, учась на ходу править советской культурой, старалась прислушиваться к советам профессионалов, входящих в состав коллегии министерства и приглашаемых со стороны на заседания и совещания в стенах министерства. При этом она могла отстоять и разрешить к показу тот или иной спектакль, вызывающий сомнения у цензуры и партийных инстанций, поддержать награждение творческого работника вопреки мнению партийного руководства его организации. Однажды в своем кабинете Екатерина Алексеевна со слезами на глазах по-человечески мне призналась:

— Понимаете, Михалков, сил больше нет! Ничего не могу в верхах пробить. Раньше могла, а теперь не могу! Не слушают! Не хотят понимать!

К сожалению, и сама она далеко не все понимала и, не понимая, выносила подчас нелепые решения.

Шел, к примеру, в Ленинградском театре комедии острый, очень смешной сатирический спектакль драматурга Д. Аль «Опаснее врага». Ленинградские партийные власти были недовольны театром, хотели спектакль запретить. Послушная печать уже внесла свою лепту в осуждение спектакля. Разгорелись

страсти. Для разрешения конфликта потребовалось вмешательство министра. Приехала Екатерина Алексеевна в сопровождении двух штатских товарищей, посмотрела спектакль и в Доме искусств собрала театральный актив.

— Главная ошибка театра, — заявила она собравшимся, — состоит в том, что роли отрицательных персонажей в этом спектакле были поручены лучшим актерам. Этого не надо было делать. Надо заменить актеров!

Этот эпизод стоит в ряду аналогичных нелепостей вроде запрещения актеру, игравшему в кино роль Ленина, сниматься затем в фильме в роли Николая II.

Ну что ж! Если, по Ленину, государством может управлять кухарка, то искусством могла руководить ткачиха.

Мне не раз приходилось встречаться и с Л. И. Брежневым. Он производил на меня впечатление доброжелательного и контактного человека.

Вспоминаются некоторые эпизоды моего с ним общения.

Одно время Ленинские и Государственные премии обходили произведения литературы и искусства для детей. Им предлагалось соревноваться в общем потоке на равных условиях с произведениями для взрослого читателя и зрителя. Талантливое произведение для детей не могло встать вровень с объемным романом известного автора или симфонией видного композитора. Это было явно несправедливо. Несмотря на мои обращения к лицам, от которых могло зависеть изменение положения по присуждению высоких премий, старания были безуспешными. Предварительно заготовив целый пакет проблем, касающихся детской литературы и искусства, я попросился на прием к Генеральному.

В назначенные день и время я явился в ЦК КПСС и был принят Леонидом Ильичом.

— Что там у тебя? — добродушно обратился ко мне Брежнев. — Рассказывай, с чем пришел!

— Детская литература нуждается в авторитетной поддержке! — говорю я. — Многие издательства отмечены правительственными наградами, многие, кроме издательств, выпускающих книги для детей и юношества. Нуждается во внимании и театр для детей. У нас великолепный профессиональный детский театр, пользующийся популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Почему почетные звания народных артистов СССР даются главным образом актерам взрослого театра? А ведь в детском театре есть непревзойденные мастера сцены!

Брежнев слушал внимательно, и по выражению его лица я

понимал, что пришел не зря.

— Ну, все у тебя? — спросил Брежнев, когда я закончил свою вдохновенную речь. — Давай сюда все твои бумажки! Я их еще потом сам посмотрю, — сказал Генеральный и протянул руку за моими заметками.

Вскоре были утверждены специальные Ленинские и Государственные премии СССР за произведения для детей и юношества. Ведущие издательства детской и молодежной литературы получили правительственные награды. Ведущим актерам детского театра были присвоены награды и почетные звания народных артистов СССР.

Однажды в издательстве «Детская литература» меня настиг звонок из ЦК. У телефона был Брежнев.

— Ну как, будут еще указания? — не без юмора спросил знакомый голос. — Я, кажется, все выполнил? Вопрос о награждении детских писателей решим несколько позже.

Мне оставалось только поблагодарить Генерального за проявленное ко мне внимание.

В день моего шестидесятилетия отдельным указом Президиума Верховного Совета СССР мне присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой звезды Героя и ордена Ленина. Этому предшествовал звонок по телефону.

— С вами будет говорить Леонид Ильич! — предупредил меня помощник Генерального. — Не занимайте телефон.

Напрасно просидел я возле телефона до позднего вечера. Ожидаемого звонка так и не последовало. Было много посторонних звонков, но звонка Брежнева я так и не дождался.

Не скрою, награждение столь высоким почетным званием лишило меня спокойного сна, и я, поднявшись утром раньше обычного, занимался утренним туалетом, когда меня оторвал от бритья первый телефонный звонок.

— Слушаю! Кто это? — не слишком любезно спросил я, подняв трубку.

— Ты чего с утра лаешься? — ответил мне знакомый голос.

— Кто это? — переспросил я.

— Не узнаешь? Зазнался? — ответил тот же голос. Только тут до меня дошло: звонит Брежнев.

— Простите, не узнал! — извинился я. — Слушаю вас, Леонид Ильич!

— Вчера никак не мог дозвониться! — сказал Брежнев. — Я уж своим чекистам велел тебя разыскать. Ты что, был на даче, что ли?

— Дома сидел, вашего звонка ждал, — ответил я.

— У тебя весь вечер телефон был занят, — повторил

Брежнев. — Ну, поздравляю тебя с Героем. Мы тут решали этот вопрос на политбюро, чем тебя наградить. Твои книги для детей есть в каждой школе, в каждом доме, в каждой семье. Тебя знает вся страна. Решение приняли единогласно, так что поздравляю! Вчера тоже о тебе у меня на даче говорили. Был у меня кое-кто, ты их не знаешь. Как-нибудь еще увидимся. Дел у меня, понимаешь, навалом, все — от коров до послов. Ну, бывай здоров, Сережа!

На одном за кремлевских приемов секретарь Союза писателей поэт Николай Тихонов предложил присутствующим выпить за здоровье Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.

Стоящий рядом со мной с бокалом в руках немного уже подвыпивший балкарский поэт Кайсын Кулиев неожиданно громко произнес:

— А я не могу!

— Почему? — спросил Брежнев.

— Михалков пьет лимонад! — пояснил Кулиев.

— За мое здоровье не пьют лимонад! — тоном не терпящим возражений сказал Генеральный.

Оправдываться, а тем более пререкаться не имело смысла. Я был вынужден принять и осушить протянутый мне бокал с коньяком. Вот так, даже за праздничным столом, партийное руководство страны вынуждало нас идти на компромиссы!

Малообразованный, тяжелобольной партийный функционер К. У. Черненко, являясь членом политбюро, имел большое влияние в партийном и государственном аппарате. Он был правой рукой Генерального и пользовался его особым доверием, получая из его рук высокие правительственные награды. Его грудь украсили три Золотых Звезды Героя Социалистического Труда, золотая медаль лауреата Ленинской премии.

В общении со мной Черненко бы доступен и доброжелателен. Обращаясь к нему по ряду вопросов, я находил с ним общий язык. У него тоже в семье были читатели моих книг. Вот почему я однажды взял на себя миссию весьма деликатного свойства.

Как-то на приеме в итальянском посольстве я разговорился с митрополитом Белорусским и Минским Филаретом. В беседе от поделился со мной заботами Русской православной церкви в связи с приближающимся тысячелетием Крещения Руси. Святейший синод ставил перед Советом по делам религии вопрос о передаче церкви одного из московских монастырей. Для этого должно было быть решение Совета министров СССР и других вышестоящих инстанций. Совет, благосклонно относясь к этой просьбе, не решался поднять деликатный вопрос на должном

уровне, боясь получить прямой отказ. Тем более что бывший Первый секретарь Московского городского комитета партии, член политбюро Гришин был категорически против открытия в Москве каких-либо новых культовых центров. Вопрос повис в воздухе.

— Вы бываете в верхах, — закончил свою «исповедь» митрополит Филарет. — Не могли бы вы нам помочь?

Вскоре я попросился на прием к Черненко и рассказал ему о разговоре с митрополитом.

— Почему же патриарх Пимен сам не обратился с этой просьбой? — удивился Черненко.

— Он не имеет на это права, — пояснил я. — Церковь отделена от государства, и все церковные дела вершатся через Совет по делам религии.

— Так чего же Куроедов не помогает? — спросил Черненко.

— Куроедов боится, что ему откажут. Вы же знаете Гришина? — сказал я. — Константин Устинович, вы русский человек, помогите в решении этого вопроса!

— Ладно, — согласился Черненко. — Скажите Куроедову, что я разрешил патриарху Пимену обратиться лично к Брежневу. Он напишет, а мы тут разберем…

Я незамедлительно передал содержание моего разговора с Черненко В. А. Куроедову.

На послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена Генеральный начертал: «Внести предложение».

Православной церкви был передан Свято-Данилов монастырь в центре Москвы, и великий праздник тысячелетия Крещения Руси прошел по всей стране с должной торжественностью.

Праздничный концерт в Большом театре СССР в присутствии представителей всех религий, партийной и советской общественности был открыт песнопением «С нами Бог!».

В 1988 году 11 ноября, в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря митрополит Филарет сказал слово на отпевании моей жены Наташи. Патриарх Московский и всея Руси Пимен прислал мне свое соболезнование:

«…Молюсь о упокоении Вашей супруги, новопреставленной Наталии Петровны.

Призываю Божие благословение на Вас, Вашу семью и на труды Ваши».

Я давно заметил, что большинство людей, общающихся с власть имущими, не решаются ставить перед ними вопросы, связанные с просьбами других людей, дабы не навлечь на себя неудовольствие начальства и не лишиться возможности при необходимости обратиться самим по личному вопросу.

Не отказываясь от сыпавшихся на него высоких

отечественных и зарубежных наград, Брежнев проявлял «высочайшую» щедрость и к своим соотечественникам.

Мой двоюродный брат Петр Петрович Глебов был отмечен двумя высокими правительственными наградами в один и тот же день.

Этому предшествовал звонок Брежнева бывшему заведующему отделом культуры ЦК КПСС В. Ф. Шауро.

— В фильме «Тихий Дон» играет Григория Мелехова артист Глебов. Есть у него звание? — поинтересовался Генеральный.

— Он народный артист РСФСР, — последовал ответ.

— Представьте к народному СССР! Пришлите документы!

Документы были незамедлительно посланы наверх. Вскоре последовал новый звонок Генерального.

— Оказывается, Глебов защитник Москвы? Представьте к ордену Ленина.

И документы были незамедлительно посланы наверх.

В один и тот же день последовали друг за другом два указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении П. П. Глебову звания народного артиста СССР и награждении орденом Ленина. Небывалый случай!

Петр Глебов, находившийся в это время на гастролях далеко от Москвы, посчитал дружеским розыгрышем поздравление друзей, сообщивших ему эту весть из Москвы по телефону.

— Тебе присвоили народного артиста СССР! — сообщали друзья по телефону.

— Бросьте меня разыгрывать! — отвечал Глебов.

— И еще с орденом Ленина! — добавляли товарищи.

— Идите к черту! — отвечал Глебов. — Давайте спать!

Но наутро пришли уже официальные поздравления, рассеявшие все сомнения моего брата.

К концу жизни Брежнев находился в явно склеротической прострации. Продолжая оставаться на своем посту, он не мог уже общаться с политическим собеседником без заранее подготовленного текста. Он плохо слышал, еще хуже говорил. Состояние его здоровья давало повод сочинять о нем анекдоты, недалекие от истины.

В Московском Художественном театре идет премьера спектакля «Так победим!». В ложе руководители партии во главе с Генеральным.

На сцене появляется Ленин.

— Надо аплодировать? — спрашивает Брежнев у сидящего рядом члена Политбюро Тихонова.

Во время действия Брежнев поднимается и выходит в комнату отдыха. Его больше интересует хоккейный матч, транслируемый

Центральным телевидением.

В это время на сцене происходит встреча Ленина с американским бизнесменом Хаммером. Эпизод уже прошел, когда Брежнев вернулся в ложу.

— Что там было? — спрашивает Брежнев у Тихонова.

— Была сцена Хаммера у Ленина.

— А Хаммер что, опять приехал? — интересуется Брежнев.

Все эти реплики Генерального хорошо слышит зрительный зал, потому что, несмотря на слуховой аппарат, Брежнев плохо слышит и потому неестественно громко говорит.

Как-то, вернувшись из Софии, где проходила детская ассамблея, я привез Брежневу медаль участника этого детского праздника и, будучи у него на приеме, вручил ему этот памятный знак.

— С какой стороны ее носить? — спросил Генеральный, рассматривая красивую медаль на голубой ленте.

— Видимо, справа! — ответил я.

— Справа у меня уже нет места, — задумчиво сказал Брежнев и отложил медаль в сторону.

Думается, места не оказалось бы и на левой стороне.

Необъяснимо быстро Брежнев утратил связи с реальностью. Наверное, потому, что по характеру он был сибаритом. Как говорится, «красиво жить не запретишь». Но когда такой личности придается бесконтрольная власть, создаются все условия для удовлетворения любых ее потребностей. А угодничество и вседозволенность окружающих как бы стимулируют безнаказанность в тех слоях общества, для которых личное благополучие превыше всего. Нарушения социалистической законности — приписки, казнокрадство и коррупция, парадная показуха, тотальный бюрократизм в годы застоя при попустительстве высшей иерархии в государственном аппарате — разъедали общество, тормозили его развитие. Здоровые же силы практически не имели возможности противостоять этой беспринципности чиновников и руководителей. Колесо истории катилось не в ту сторону. Рождалось недоверие и к тому, что провозглашалось с трибун, и к средствам массовой информации, и к руководству страной.

Перелистываю подшивки газет за последние десятилетия…

«…И слова благодарности мы прежде всего обращаем к партии, ее Центральному Комитету, Политбюро, верному ленинцу, выдающемуся борцу за мир на земле, за счастье советских людей товарищу Леониду Ильичу Брежневу…»

«…Новый подъем, переживаемый советской прозой, поэзией и драматургией за последние годы, — это результат

созидательного, творческого климата, в котором живет наша страна…»

Сколько же подобной идеологической дребедени наопубликовали мы и наговорили с трибун собраний, конференций, пленумов, съездов?

Сколько сольных и хоровых приветствий-поздравлений исполнили мы в честь высших партийных руководителей страны, по случаю присуждения им высоких наград, званий и премий?

Все это было! Было! В этой насыщенной призывами и обязательной для всех партийной апологетике текла наша жизнь.

Тексты основных докладов и выступлений на съездах творческих союзов, как правило, согласовывались в Идеологическом отделе ЦК КПСС, где выступающим давались рекомендации в духе последних партийных установок. И тем не менее, на съездах и форумах прорывалась живая, творческая мысль, нарушая композицию намеченного сверху сценария, вызывая недовольство представителей Старой площади. И появились, несмотря ни на что, свежие, яркие талантливые произведения, и общественное мнение оказывалось сильнее картонных идеологических догм. Судьбу этих произведений решал сам читатель и зритель

Мне сегодня неловко за многие «пассажи» в моих публичных выступлениях того «застойного» времени. Надеюсь, что делю эту неловкость со многими моими товарищами по работе в Союзе писателей, в Комитете по Ленинским премиям, в Министерстве культуры СССР. Да, все это было! Было! И не хотелось бы, чтобы это время вернулось. Хотя нельзя, как это делают сегодня новоиспеченные демократы, единым махом перечеркнуть многое, ради чего мы жили и творили в то сложное и противоречивое время.

«Серым кардиналом» партийной верхушки был М. Суслов. Его боялись, перед ним заискивали, не любили. Многие годы держал он в своих руках нити идеологического правления страной. Ни одно важное решение не принималось без его участия. Касалось ли это награждения писателя, издания его произведения, выдвижения на ту или иную должность в идеологической сфере или проведения съезда творческого союза. Он ходил в галошах и ездил с дачи в Москву со скоростью 50 километров в час, что выводило из себя следовавших за ним других водителей: они боялись обгонять члена политбюро.

…Я считал, что имя Гумилева должно быть возвращено русской поэзии. С этим вопросом я был на приеме у Суслова. Он равнодушно выслушал меня и сухо произнес: «Посмотрим, посмотрим…»

Так ничего и не было сделано, пока само время не распорядилось вернуть отечественной литературе имя великого русского поэта, а с ним имена многих других.

Профессор Рыбаков — видный стоматолог — рассказывал мне, как его однажды пригласили к Суслову, у которого заболел зуб. Усадив пациента в кресло, профессор попросил его открыть рот.

— А нельзя ли как-нибудь без этого? — спросил Суслов.

Видимо, ему казалось неприемлемым сидеть с открытым ртом перед врачом. Умер он, как известно, от тяжелого нарушения мозгового кровообращения.

Мой брат Михаил в 1950 году приехал в г. Пятигорск и навестил дом № 231 по улице Февральской, где прошло его детство и откуда он уехал девятилетним мальчиком. На крыльцо вышла женщина и окликнула его:

— А вы что здесь стоите, молодой человек?

— Я здесь жил в детстве.

— Когда же это было? Зайдите в дом.

Мой брат вошел в дом и увидел в комнате на стене портрет двух мужчин. В одном из них он узнал М. Суслова.

— Да, это он самый! — подтвердила хозяйка. — Старший брат моего мужа.

— А кто же ваш муж?

— Сапожник.

— Начальник?

— Нет, рядовой сапожник.

— Старший брат, наверное, вам помогает?

— Нет, ни разу не был у нас в семье, в этом доме.

— Как же так?

— Да так. Мы о его приезде в Пятигорск в санаторий ЦК только по газете узнаем или по радио. С тех пор, как вознесся в партии, так от своих близких отказался… Стесняется…

Этот разговор говорит сам за себя. Партийная сталинская элита изолировала себя даже от своих родных.

* * *

— Твои сочинения я знаю с детства! — говорит Михаил Сергеевич Горбачев и протягивает мне свою книжку «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», изданную в 1987 году.

На титульном листе автограф: «Дорогому Сергею Владимировичу Михалкову с чувством дружбы и уважения.

М. С. Горбачев».

Мне неоднократно приходилось общаться с этим улыбчивым партийным руководителем «с человеческим лицом», встречая понимание и поддержку. Я верил в его преданность социалистическим идеалам, видел в нем убежденного партийного деятеля, взявшегося за коренные преобразования в партии, за решительные перемены в жизни советского общества. Однако в течение последующих лет, поднявшись на высшую ступень государственного и партийного руководства, завоевав во всех влиятельных международных кругах авторитет выдающегося советского лидера, Горбачев, под давлением развивающихся в советском обществе центробежных сил, начал трансформировать свои политические взгляды, покорно менять свою политическую позицию и в итоге стал в глазах народа чуть ли не главным виновником развала великой Советской державы. На каких же глиняных ногах держалась идеологическая система нашего государства, если за столь короткий срок она могла до основания развалиться, похоронив под своими обломками провозглашенные ею «коммунистические идеалы»?

Полагаю, что Горбачев не мог предвидеть финала как своей личной судьбы политического деятеля, так и судьбы того общества, гражданином которого он являлся.

Разительна амплитуда отношения граждан бывшего Советского Союза к имени Горбачева — от признания заслуг до открытой ненависти!

Бесспорно одно: имя это определяет во многом непредвиденный исторический поворот «для нашей страны и для всего мира».

Будущее моего Отечества на сегодняшний день непредсказуемо.

Да поможет нам Бог!

Я не мыслю советскую поэзию без Твардовского. Когда у меня плохое настроение, я снимаю с полки вечную солдатскую книгу «Василий Теркин» и перечитываю ее. На посту редактора «Нового мира» он был, как теперь говорят, человеком нового мышления. Смелым, честным, бескомпромиссным, требовательным к себе и к людям. На таких, как он, держалось и держится искусство.

Русская литература XX века создавалась в Советской России и в лучших своих образах перешагнула границы всех стран. Эту литературу создавали советские писатели.

Современники часто не видят или не хотят видеть великое, которое рядом с ними.

К сожалению, в нашей творческой среде все еще могущественна зависть, даже когда речь идет о неоспоримом

таланте.

Я много лет дружу и принимаю участие в судьбе не имеющего себе равных художника Ильи Глазунова. Признание народа он получил. Широко известен за рубежом. Глазунов искренне хочет возродить традиции русской живописи. Он признан мастером портрета. У него много талантливых учеников. Он есть, и никуда от этого не уйдешь. Однако до сих пор не получил признания от собратьев по цеху. Являясь почетным членом двух испанских академий, он не был избран в Академию художеств страны, не получил ни одной Государственной премии. Это ли не конкретное проявление цеховой зависти?

Не могу не сказать о Владимире Высоцком. Он в искусстве — уникальная творческая личность, хотя я не считаю его великим поэтом. Он великий бард, глашатай своего времени. Это такой же народный талант, как Шукшин, которого я очень люблю. Когда Высоцкий умер, меня удивило отсутствие некролога. Я даже пытался помочь появлению его в печати. Звонил, убеждал. Мне отвечали: «Хорошо. Да, да, разберемся, посмотрим». Но некролог так и не появился.

Так называемые «инстанции» вершили свой неправый суд даже над ушедшим из жизни талантом!

Пришлось утешаться тем, что похороны Высоцкого превзошли все мыслимые некрологи. И когда мой сын Никита выступал на панихиде в Театре на Таганке, я сказал ему: «Ты молодец, что нашел такие слова в час прощания с Володей!»

Чувствую ли я свою вину в том, что подчас шел на поводу у «инстанций»? Шел не один, а со многими вместе.

В первую очередь вспоминаю Бориса Пастернака. В атмосфере морального террора, развязанного вокруг имени этого выдающегося поэта современности, многие писатели, в том числе и я, не нашли в себе мужества противостоять и проголосовали за исключение Пастернака из Союза писателей. Сегодня стыдно и горько об этом вспоминать.

Искренне сожалею, что вместе с теми литераторами, кто сегодня так превозносит Солженицына, в свое время и я выступал в его осуждение. Идеологический пресс Старой площади давал о себе знать!

Однако, возглавляя впоследствии Литературную секцию Комиссии по присуждению премий в области литературы и искусства при новом правительстве РСФСР, я лично внес предложение о присуждении российской премии А. И. Солженицыну за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Мое предложение было единогласно поддержано.

Не знаю, искупил ли я свою вину перед великим

Гражданином и общественным деятелем, но полагаю, что никогда не поздно осознать свои ошибки.

Хорошо, что время ставит все на свои места.

Впрочем, было и такое: помню, как громили талантливую повесть Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». В Дубовом зале Центрального дома литераторов буквально уничтожали автора этого произведения. Я не счел тогда возможным участвовать в этой «кампании» и резко выступил в поддержку автора. Недавно Дудинцев сам напомнил мне об этом.

За время моей многолетней депутатской деятельности в Верховных Советах РСФСР и СССР мне не раз приходилось вмешиваться в судьбы людей, обращавшихся ко мне за помощью. В целом ряде случаев я брал на себя обязанности ходатая по чужим делам, и меня часто можно было видеть в приемных руководителей министерств, ведомств, правоохранительных органов всех рангов, куда я приходил в поисках справедливости и законности, ибо всегда руководствовался принципом: «У бумаги должны быть ноги».

Вспоминается такой случай. Известный медик, профессор С., работавший в одном из московских медицинских институтов, еврей по национальности, был публично оклеветан, и, хотя клевета вскоре была дезавуирована, руководство института выразило профессору недоверие, освободив его от занимаемой должности. Все его попытки восстановить свое доброе имя и вернуться в институт разбивались как о каменную стену.

Видя явную несправедливость, я решил взять на себя хлопоты по его делу. Однако и мне отказывали во всех инстанциях, куда бы я ни обращался. Всюду меня любезно принимали, внимательно выслушивали, обещали разобраться и помочь, но на этом все кончалось. Решив довести дело до конца, я счел возможным обратиться лично к члену политбюро Егору Кузьмичу Лигачеву. Его партийная ортодоксальность не мешала ему проявлять человечность по отношению к людям. В общении с ним я всегда отмечал это свойство его характера.

Справедливость была восстановлена: профессор С. вернулся в институт, где он до этого проработал около тридцати лет. Руководство института признало случившееся недоразумением.

Оглядываясь с высоты своего преклонного возраста на прожитую жизнь и соотнося свою судьбу с судьбами других советских людей, могу признаться, что мне в жизни везло. Я не разделил участи сотен тысяч моих соотечественников в сталинских лагерях, не попал в фашистский плен и не был убит на войне, как десятки военных корреспондентов. Я рано нашел себя как детский писатель и сатирик. Мне повезло на друзей, на

умных, талантливых, доброжелательных наставников. Я дорожил и дорожу любовью моих читателей, а это люди всех возрастов. Это ли не счастливый итог жизни? В 1993 году мне минуло 80 лет.

Поздравляя меня с днем рождения, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй вручил мне награду православной церкви — орден Св. Сергия Радонежского. Правительство России наградило меня орденом Дружбы Народов.

Однажды на пресс-конференции в Италии меня спросили:

— Почему вы, известный при Сталине человек, уцелели?

— Даже самые злостные браконьеры не могут отстрелять всех птиц! — ответил я.

Мне кажется, что судьба человека зависит от цепи случайностей. Сегодня, перебирая в памяти события своей жизни, вобравшей все перипетии нашей эпохи, я всерьез думаю о банальной вещи — о его величестве случае.

* * *

Красное знамя великой Страны Советов, могучей ядерной державы — СССР!

Оно полыхало на баррикадах революции, осеняло в боях героев Гражданской войны и многонациональной советской армии на фронтах Великой Отечественной. В мае сорок пятого оно взвилось над рейхстагом в поверженном Берлине, возвестив миру о победе над фашизмом.

Под этим красным знаменем утверждали советскую власть, строили и боролись за «светлое будущее» миллионы честных бесправных тружеников, и под этим же знаменем шли на пытки и смерть невинные узники сталинского ГУЛАГа. Их тоже были миллионы!

Красное знамя моей многострадальной, терпеливой Родины! Мы привыкли к нему с детства. Мы клялись ему на верность в пионерских лагерях, в военных гарнизонах, на полях сражений. Семьдесят четыре года оно было символом нашей имперской государственности. Под ним прошла и моя долгая жизнь гражданина и художника. А я присягал этому Красному знамени.

И вот, в одночасье, развалилась советская империя! Нет больше государства с названием СССР! Рухнул «Союз нерушимый», похоронив под своими обломками, казалось бы, незыблемые структуры партийно-государственного аппарата с его равнодушной к судьбе человека правоохранительной и карательной системой, прогнившей экономикой, «развитым

социализмом» и призрачными коммунистическими идеалами.

12 июня 1991 года хозяином Московского Кремля стал первый Президент России, бывший кандидат в члены Политбюро КПСС — Борис Николаевич Ельцин.

Кремлевские куранты отбили последний час СССР. В предновогодние дни 1991 года с купола Кремлевского дворца был спущен Государственный флаг бывшего Советского Союза. На его место взмыл в ночное небо флаг России — трехцветное знамя моих предков, верой и правдой служивших под ним Российскому государству.

В 1970 году писатели России избрали меня на своем съезде председателем правления Союза писателей РСФСР.

Черед двадцать лет, в декабре 1990 года, на очередном съезде, я оставил этот пост.

Я был советским писателем…

С. Михалков
О МЛАДШЕМ БРАТЕ

P.S. Не так давно меня посетила знакомая учительница. Она зашла ко мне с сыном — восьмилетним Мишей. Пока мы разговаривали, мальчик скромно сидел в сторонке и внимательно разглядывал мои ордена и медали, висящие под стеклом на стене. Нашу беседу прервало неожиданное появление Ильи Глазунова. Учительницу охватил восторг.

— Запомни, Миша, — проникновенно обратилась она к сыну, — ты присутствуешь при встрече знаменитых людей — твоего любимого поэта Сергея Михалкова и его друга, великого художника Ильи Глазунова! Это — исторический момент! Ты можешь всем рассказывать, что присутствовал при историческом моменте!

Миша понимающе кивнул. Попрощавшись, мои гости ушли.

На улице, как потом мне рассказывала моя знакомая, Миша неожиданно и как-то растерянно сказал:

— Мама! Двух стариков я видел, а где исторический момент?..

В конце 1945 года я вдруг получил неожиданное известие. Из Лефортовской тюрьмы, от младшего брата Михаила: «Я здесь…» Страшное известие. Особенно по тем временам. Во всех отношениях страшное! Первые вопросы: «Почему? За что?»

Но мои предки подарили мне выдержку, хладнокровие и способность искать выход из создавшегося положения… Этим я и стал заниматься тогда, в тот тяжкий для души день…

Но долго, со смаком описывать, каково мне было тогда, — не стану… Впрочем, кому-то может показаться, будто автор гимна Советского Союза, который уже гремел из миллионов репродукторов, — не имел оснований для больших переживаний…

…Вернусь в 1941-й. Когда мы, все три брата Михалковых — я, старший, Александр — средний и Михаил, — служили в рядах Красной армии. Я знал, что Михаил (ему было девятнадцать) в самом начале войны после окончания погранШколы прибыл в Особый отдел 79-го погранотряда, находившийся в Измаиле. Потом узнаю, что этот отряд, и мой брат в том числе, десять огненных дней удерживали кусок нашей границы по Дунаю… Потом они прорывались к своим…

В августе сорок первого, когда я служил на Южном фронте, узнал, что Миша находится поблизости, то есть здесь, на Южном

фронте. Схватил машину, поехал… Так хотелось повидаться!

Но не успел. В воинской части знали:

— Ваш брат сегодня ночью ушел на особое задание…

Напомню: мы все, три брата, отлично владели немецким языком благодаря своей воспитательнице Эмме Ивановне…

А мама наша к тому времени уже успела получить повестку с фронта о том, что ее сын… пропал без вести. Конечно же я поспешил сообщить маме, что Миша жив, здоров, воюет…

А дальше — опять от Миши никаких никому известий. Вдруг в январе сорок второго получаю письмо от военврача, где он сообщает: «Я знал вашего брата Мишу. В октябре сорок первого он был расстрелян фашистами».

В сорок третьем умирает наша мама. Ей было шестьдесят три года…

В начале сорок четвертого ко мне домой пришел нежданный гость — Дмитрий Цвинтарный — и рассказал:

— Я знал Вашего брата Михаила, был с ним в одном немецком концлагере в Днепродзержинске… Оттуда мы бежали вместе с ним в феврале сорок третьего…

В марте сорок пятого получаю письмо от латыша Жана Кринки. Этот неведомый мне доброжелательный человек пишет:

> «Сообщаю Вам, что Ваш младший брат Михаил несколько месяцев жил у меня на хуторе Цеши, партизанил, бил фашистов и в сентябре сорок четвертого ушел через фронт к своим…»

«Так где ты, Миша?» — думалось мне и ночью, и днем…

И вот — «Я здесь…». То есть в Лефортовской тюрьме. И это в то время, когда наши советские люди не по одному разу отпраздновали Победу, когда на улицах Москвы столько счастливых улыбок, цветов, а из распахнутых окон далеко окрест разносятся голоса самых любимых певцов, певиц и особенно часто «Синенький скромный платочек…». И конечно же эта:

> Хорошо на московском просторе,
> Светят звезды Кремля в синеве,
> И, как реки встречаются в море,
> Так встречаются люди в Москве…

Хорошо-то хорошо… Но ведь как кому… За что мой брат попал в каменную ловушку лефортовского узилища? Ему всего двадцать три… Миша всегда презирал опасность, был азартным, любил экстремальные ситуации.

Много-много лет спустя выйдут сборники его стихов. И там будет такое четверостишие, которое не сочинить на холодную голову, от нечего делать. Называется оно «Смерть связиста»:

Гудел металлический овод,
А в поле, в горячих хлебах,
Работал разорванный провод
В его посиневших губах…

Позже, много позже выйдет в свет автобиографическая повесть Михаила «В лабиринтах смертельного риска», откуда не только читатели, но и мы, родные, узнаем, наконец, подробности его весьма неординарной военной биографии. Здесь же — такие точные зарисовки тех непростых, нешуточных дней. Вот эпизод попытки выскочить из окружения:

«— Левее, левее! — говорю я.

— Правее! Резко правее! — обрывает меня командир. Колонна ушла вправо.

— Надо было левее, — сказал я. — Мы еще до двух тополей не доехали.

— Правильно едем! — настаивает командир. — Правее бери! Скоро должна быть дорога…

Глухо урча моторами, машины шли без огней, через большое поле, прямо по целине.

— Стоп! — скомандовал командир и вышел из машины. — Вытянуться цепочкой всем, кроме раненых, — приказал он. — И следовать друг за другом на расстоянии видимости. Двинулись! — И сам пошел первым.

Мы проплутали зря. Цепь разорвалась. Спустя некоторое время вынуждены были вернуться к машинам. Начальник ругался площадной бранью, обвинял в неудаче всех, кроме себя.

— А ты вали отсюда к чертовой матери! — неожиданно выпалил он и, повернувшись по мне спиной, сел в машину.

Я соскочил с подножки и, уязвленный незаслуженной грубостью, забрался в кузов продовольственной машины и улегся рядом с поваром-грузином под брезентом на мешке с мукой.

Машины некоторое время еще двигались, а затем снова остановились.

— Разведчик! Разведчик! Где он там? —

послышались голоса.

— По твою душу, — улыбнулся грузин.

— Разведчика к командиру!

И я снова стою на подножке и снова показываю дорогу. Некоторое время едем молча.

— Где же твои тополя? Нет их нигде! — злится командир. — Пошел вон!

Меня прогнали и опять вызвали. И так несколько раз. В кромешной тьме машины ехали неизвестно куда, и только с рассветом, проплутав всю ночь по полям, мы наконец выбрались на грунтовую дорогу и помчались вперед, ощетинившись винтовками. Возле маленького полустанка колонна попала под вражеский обстрел и, на ходу приняв бой, распалась. Машина с продовольствием, на которой я ехал, очутилась совсем одна в небольшой березовой рощице, на окраине местечка Зеленая. В селе были немцы. Винтовки мы закопали в рощице — кончились боеприпасы, продукты передали хозяевам крайнего дома, рядом с которым мы оказались и где довольно искусно большими зелеными ветками замаскировали машину.

Командир в кожаном ремне не был виноват, что от нас ушли другие командиры и конный взвод ночью запропастился неизвестно куда. Надо было не ругаться с ними, а посоветоваться. А он хотел все делать сам, хотя в ночной темноте ориентироваться не мог. Всех обругал, всех разогнал, и из-за его безалаберных команд рассеялись остатки штаба этого соединения.

Что делать? Той же ночью мы с поваром и с двумя бойцами двинулись по направлению к Николаеву. Один из бойцов был мой бывший напарник по разведке, узбек. В ближайшем же селе от нас отстал повар-грузин, он был очень толстый мужчина, шагать пешком для него было страшной мукой. Потом куда-то пропал второй боец. Остались мы с узбеком вдвоем. А вскоре я и его потерял, и вот при каких обстоятельствах. Напоролись мы на немцев. Спали они в придорожном кювете — рядом лежал на боку мотоцикл без колеса, а несколько в стороне — их танкетка без гусениц. Мой напарник решил прикончить их финкой. Как только мы обсудили план действий, со стороны танкетки раздался окрик — нас заметили, и тут же резанула автоматная очередь. Немцы вскочили с земли, и нас обоих как ветром сдуло: разбежались в разные стороны и растворились в

темноте… Остался опять один. На рассвете заметил стог сена и направился к нему. Приземлился на чей-то сапог. Кто-то выругался, и из-под стога выбрался черноволосый мужчина в немецкой фуфайке, за ним — второй, белобрысый парень. Оба без оружия, и у меня оружия не было (командир в реглане отобрал ТТ, когда я уходил в разведку, да так и не вернул). Не успели мы и слова сказать друг другу, как перед нами, словно из-под земли, вырос верховой немец.

— Лос! Пошоль! — Дуло его автомата прочертило полукруг, указывая нам путь…

Все произошло в один миг — и вот под конвоем верхового немца мы следуем в село, к дому с мезонином, над крышей которого развевается фашистский флаг. Нас вводят в помещение. Обыскивают. Появляется офицер.

— Зольдат? — обращается он ко мне.

— Нет.

— Зольдат? — обращается он к белобрысому парню. Тот молчит, словно воды в рот набрал. Офицер подходит к черноволосому:

— Юде? (Еврей?)

Тот не понимает вопроса. Он грузин. Офицер бьет его по лицу:

— Цап-царап! Немецкий! — говорит он, тыча стеком в фуфайку, и, повернувшись к фельдфебелю, добавляет: — Erschiessen![4]

— Zu Befehl![5] — вытягивается в струнку пожилой фельдфебель.

Нас троих выводят наружу. Улица пустынна. В домах словно все вымерло. Две винтовки наперевес: одна — впереди, другая — позади. За плетнем стоит босая женщина в белой косынке. Маленький испуганный мальчонка держится за ее подол. Мы поравнялись.

— Матка, лопат, копат! — кричит немец.

Женщина не понимает. Тогда немец жестом показывает, что ему надо. Женщина уходит и выносит из сарая три лопаты. Идем дальше… Миновав село, выходим на картофельное поле. Один немец очерчивает палкой продолговатый квадрат, другой передает нам лопаты. Оба немца отходят в сторону. Мы начинаем рыть землю.

Стоя в стороне, в трех шагах от нас, каратели с холодным равнодушием глядят, как наши лопаты врезаются в рыхлый украинский чернозем, выбрасывают

комья земли вместе с картофелинами и, порой разрезая их, обнажают белую, сверкающую влагой сердцевину… Ах, до чего же крупна и хороша эта украинская картошка!

Яма под нами становится все глубже, мы уже в ней по колено. Немец показывает, чтобы копали не вширь, а вглубь…

— Бистро! Бистро! — приговаривает он.

— Могилу для себя роем, расстреливать будут, — шепчу я грузину.

В черных блестящих глазах под густыми бровями я вижу, как вспыхивает его ненависть, как задвигались давно не бритые скулы, сжались крепкие челюсти.

— Hast du Feuer?[6] — спрашивает один каратель другого, вынимая сигарету из портсигара.

— Komm![7] — отвечает тот.

Немцы чуть отошли от нас в сторону, закуривают. В это мгновение грузин с лопатой наперевес одним прыжком вылетает из ямы. Я выскакиваю вслед за ним. И мы оба со всего маху оглушаем карателей лопатами, потом бьем еще раз и все трое разбегаемся в разные стороны… Меня укрывают кукурузные заросли».

В разгар сражений за нашу Родину о Мише мало что было известно. И сегодня нелегко представить себе, что ему пришлось пережить… Как ему удалось, не робея, попасть в замок Мольнара, что в пятнадцати километрах от Будапешта. Он вспоминает:

«…По крутой железной винтовой лестнице мы поднялись наверх. Гулко отзванивали ступеньки под ногами.

— Тише! — сказал Шандор.

Он открыл ключом дверь и впустил меня в небольшой чуланчик. Из буфетной пробивался ослепительно яркий свет, доносился звон посуды. Шандор осмотрел меня, поправил галстук-бабочку на крахмальной манишке и, улучив момент, когда буфетная была пуста, быстро провел меня между столами и шкафами прямо в столовую, где шли последние приготовления к торжественному приему.

Предчувствие неизвестности рождало во мне необъяснимую тревогу. Вместе с ней возник и юношеский азарт. Он подхлестывал, будоражил…

Столовая была отделана дубовыми панелями, под темным дубовым потолком сверкали две громадные

бронзовые люстры с хрустальными подвесками. На стенах были развешаны старинные фаянсовые тарелки с охотничьими сюжетами, прямо над хозяйским креслом, похожим на готический трон, висели портреты Гитлера и Хорти. Лакеи в серых ливреях с золотыми галунами сновали между столами с графинами и подносами. Шандор провел меня в холл. Прямо перед собой я увидел большое зеркало в позолоченной раме: на него шли двое — Шандор и с ним стройный элегантный юноша, с гладко зачесанными набриолиненными волосами, чуть тронутыми сединой висками, с темными усиками на тщательно выбритом, настороженном лице. Это был я.

Мы смешались с толпой входивших гостей. Мелькали обнаженные плечи дам, бриллианты, пышные прически, дорогие меха, в воздухе витал тонкий аромат духов. Все это двигалось рядом с аксельбантами, эполетами, генеральскими мундирами, увешанными орденами… Среди гостей был и Отто Скорцени — личный агент Гитлера. Высшее общество, фраки и мундиры. Совсем как на театральной сцене. А за стеклянной дверью, перед парадным входом, гестапо отбирало приглашения и пропуска.

— Сейчас я тебя представлю моим родителям, — шепнул Шандор и подвел меня к старому, седовласому господину. Справа стояла его жена — худая, пожилая дама, сильно декольтированная и подкрашенная, возле нее красовалась Ева, и я сразу узнал ее. В жизни она казалась еще привлекательнее, чем на фотографии. Возгласы, реплики, поцелуи и приветствия витали в холле.

— Папа, позволь представить тебе моего друга из Берлина. — Шандор не успел сказать моей фамилии (а может быть, он уже забыл ее).

Хозяин замка торопливо кивнул мне — за нами шел какой-то немецкий туз в генеральской форме со своей фрау, чудовищно перегруженной гримом, локонами и драгоценностями (видимо, вывезенными из всех стран Европы). Я посторонился, уступая генералу дорогу к венгерскому вельможе, почтительно склонившему свою большую седую голову. Ева оказалась со мной рядом, она улыбнулась мне стандартной киноулыбкой. Почтительно приветствовав ее, я отошел в сторонку и тут же услышал голос Шандора:

— А-а! Господин Мержиль, очень рад вас видеть!

Какими судьбами? Вы надолго к нам в Будапешт?

— Здравствуйте, милый Шандор! Очень рад, очень рад нашей встрече. Как поживаете? Как служба?

— Благодарю вас, все в порядке… Сегодня, кажется, будем дегустировать ваши вина?

— Да, да! Я представил вашему отцу большой набор французских вин. Между прочим, скажу по секрету, есть бургундское двенадцатого года… Букет ошеломляющий! — Коммерсант произносил немецкие слова с явным французским акцентом. — Да, простите, — спохватился Шандор. — Разрешите мне представить вам моего друга из Берлина. — Он указал рукой в мою сторону.

— Карл Вицепхаммер! — невнятно произнес я.

— Очень рад, очень рад! — расплылся в улыбке француз. — Позвольте узнать, вы из каких же Виценхаммеров, из кельнских?

— Нет, нет, я — берлинец, — поспешил я отречься от однофамильцев.

Тут, к счастью, раскрылась дверь и вся толпа приглашенных двинулась к трапезе. За столом я оказался между Шандором и коммерсантом. Отто Скорцени, со шрамом через все лицо, сидел напротив, рядом с Фуиком — одним из заместителей Геббельса по пропаганде, его посещение этого раута не было случайным. (Как я узнал позднее, Отто Скорцени со своими молодчиками-террористами, переодевшимися, как и он сам, в штатское, имея чрезвычайные полномочия Гитлера, прибыл в Будапешт, чтобы повлиять на правительство Хорти и заставить венгерского диктатора продолжать войну на стороне Германии, а неугодных в лице некоторых генералов, которые завязывали контакты с русскими и пытались склонить войска к выходу из фашистской авантюры, срочно ликвидировать.)

Столы в зале были расставлены буквой „П“. За каждым гостем стоял его личный официант. Можно было заказать любое блюдо и закуску по своему желанию.

Ужин был роскошный. Но я не мог по достоинству оценить его, потому что вынужден был все время следить за Шандором — какой вилкой и каким ножом он пользуется? Я едва прикасался к блюдам, совершенно не представляя себе, как надо управляться со спаржей, артишоками, устрицами, омарами, креветками. Блюд

было так много и все такие изысканные, что я был все время настороже — как бы в чем-нибудь не промахнуться.

Начались тосты. Первым с большим пафосом выступил Функ.

…Мог ли я в тот момент допустить такую утопическую мысль, что пройдет некоторое время и этого самого Функа, заместителя Геббельса по пропаганде, я буду допрашивать как переводчик в штабе 8-й гвардейской армии у генерала Виткова? Нет, не мог! Это еще не произошло, это будет позже, в апреле 1945 года».

А еще с моим младшим братом случится вот что:

«— Господин капитан, все лишнее выложить на стол. — Оберштурмбаннфюреру лет около пятидесяти, он лысый, тучный, голос у него жирный, рокочущий.

Я выкладываю пистолет ТТ, планшет с картами, вынимаю из кобуры „Вальтер“, снимаю с руки компас.

— Часы тоже? — спрашиваю я.

— Часы можете оставить.

— Носовой платок?

— Оставьте.

— Тогда все.

Свой автомат я поставил в углу комнаты при входе в штаб полевой жандармерии.

— Вы свободны, — говорит толстяк лейтенанту и фельдфебелю, присутствующим здесь.

Те уходят, и мы остаемся с оберштурмбаннфюрером с глазу на глаз.

— Садись! — рокочет он.

Я сажусь на стул и чувствую, что в заднем кармане лежат „Браунинг“ и запасные обоймы.

— Когда вы отстали от части?

— Двадцать пятого июля.

— В каком районе?

— Недалеко от города Ауце, шли с юга на северо-восток, на Тукумс.

— Где ваша офицерская книжка?

— Осталась в повозке, вместе с другими документами. Там был мой чемоданчик с личными вещами.

— Как же вы отстали от обоза?

— Из-за одной женщины. Отлучился по личным

делам. А на обратном пути в темноте лошадь, перепрыгивая через канаву, оступилась и вывихнула ногу. Всю ночь я с ней провозился, не мог вправить. Отвел на ближайший хутор, а в Тукумс был вынужден добираться на попутной машине. Но в Тукумсе обоза не оказалось, он где-то застрял в стороне от главной магистрали. В поисках его я потерял несколько суток. Начал искать штаб полка — не нашел. Штаб своей дивизии тоже не нашел и явился в штаб полка 218-й дивизии. Оттуда направлен к вам.

— Кто командир вашего полка?

— Полковник Крепе.

— У меня пока все, — пророкотал толстяк, записав мои показания. — К сожалению, я вынужден вас задержать, господин капитан. Правда, условия у нас неважные, но я думаю, что ваше дело в ближайшие дни уладим. Так что придется немного потерпеть. Я постараюсь облегчить, как смогу, вашу участь. Выходить из помещения вы сможете, когда захотите, только будете давать знать. Я распоряжусь. Питаться будете лучше, чем другие. Табаком я вас обеспечу.

— Спасибо за заботу, — буркнул я.

— Лейтенант! — гаркнул толстяк. — Отведите капитана. — И тут же добавил, обращаясь ко мне: — Пояс и кобуру тоже оставьте здесь.

И вот меня приводят в какой-то сарай. Кругом кромешная тьма. Понемногу привыкаю, различаю деревянную лестницу, которая ведет на второй этаж, — там какое-то помещение, видимо с окном. Хозяева хутора занимают полдома, тайная полевая полиция — две комнаты. Рядом с нашим сараем — свинарник (слышно похрюкивание свиней). У хозяина есть и корова. Кроме меня, в сарае еще трое — немецкий солдат и двое гражданских: все они лежат внизу на соломе. В углу стоит параша. Я ложусь рядом с арестованными. Они молчат, я тоже. Два раза в день нас выводят во двор. Меня конвоируют отдельно.

„Не обыскивали, — думаю я. — Значит, не положено обыскивать офицера дивизии СС по уставу или потому, что взят не с поличным“.

Арестанты каждый день меняются. Одних уводят, других приводят. Вот привели трех русских и одного латыша-подростка и в тот же день увели. Потом были два литовца и немецкий солдат-дезертир. Потом

доставили еще одного русского, лет тридцати пяти, в ватнике.

На четвертый день оберштурмбаннфюрер вызвал меня к себе в кабинет.

— Могу вас порадовать, дорогой капитан! — объявил он. — Я же сказал вам, что не пройдет и недели, как я улажу ваше дело. Ваш вопрос решен. Вам полагалось два года концлагерей за дезертирство, но вы их избежали. Вам крупно повезло!

— Так что же решило начальство? — поинтересовался я.

— Ваша часть найдена. Правда, она уже в Германии, но я добился своего. Я надоедал, пока они не выслали сюда в котел офицера из штаба вашей дивизии. Он уже вылетел самолетом в Латвию — пришла радиограмма. Он вас заберет с собой, он вас знает лично. Таков порядок! Прибудете к себе в часть, а там все образуется. Чего только на фронте не бывает. Головы теряют люди, не только офицерские книжки. Ну как, надеюсь, вы довольны?

Я обомлел.

— Ну конечно, господин оберштурмбаннфюрер. Отлично! — с трудом выдавил я, стараясь улыбнуться, и тут же почувствовал, что капли холодного пота выступили у меня на спине под кителем и на лбу.

— Ждите. Сегодня, в крайнем случае завтра ваш коллега уже будет здесь.

„Очная ставка! Очная ставка!“ — стучало в мозгу, когда я шагал под конвоем через двор. Ноги стали ватными, и я их не чувствовал. „Очная ставка! Он знает убитого офицера лично… Я погиб!“

Было около десяти часов вечера. Я лежал на соломе, лихорадочно обдумывал свое положение и искал выход. Лежу, нервничаю. Прошусь в уборную. Стою там, наблюдаю за часовым. В щели между досками вижу второго, который сидит на крыльце, покуривая. „Да, отсюда не выйти! Перепрыгну через забор — скосит из автомата. Убью обоих часовых — из дома выскочат другие…“

Возвращаюсь в сарай, меня окликает толстяк. Иду к нему, как на плаху. Вхожу. Он один, протягивает мне сигареты.

— Ну как, замучились ждать? Скоро, скоро… Не беспокойтесь, а то бы суд… Зачем вам это нужно?!

Сейчас стало строже… Но у вас, надеюсь, все обойдется… Сначала мне, правда, предложили привезти вас в Салдус, но я сказал: „Дорога плохая — дожди…“ — „Ладно, — говорят, — офицер к вам сам приедет. Передадите с рук на руки“. Отдыхайте, уже одиннадцать часов.

Снова сижу в сарае. В кармане у меня сигареты, кусок сыра и кусок колбасы от обеда. Остальным давали только хлеб и кофе. Я придвигаюсь к русскому в ватнике. Дергаю его в темноте за рукав. Двое других спят, прижавшись друг к другу. В сарае холодно. Даю соседу колбасу, сыр, сигарету. Он доволен, начинает жевать.

Через некоторое время шепчу ему по-русски:

— Поднимись наверх. Поговорить нужно.

Русский удивлен. Услышав русскую речь, он соглашается. Крадучись, лезем на второй этаж. В вечерних сумерках можно различить небольшую железную печурку, стоящую под окном.

— Как тебя зовут?

Парень несколько озадачен.

— Григорием звать, — помедлив, отвечает он.

— А ну подсади меня, я погляжу наружу. — Я встаю на печурку, подтягиваюсь на руках. Григорий поддерживает меня за ноги…»

Поздней ночью Михаил все-таки с помощью Григория прыгнул вниз… и потерял сознание. И кое-как встал, и ушел, ушел… Очнулся в палате для немецких раненых… потом — в трюме… Потом был Кенигсберг…

Было и такое:

«Как-то я спустился вниз, на первый этаж. Вижу, пожилая немка в белом накрахмаленном халате убирает коридор, подметает пол. Около палатных дверей, где я стоял, образовалась куча мусора. Я обратил внимание на клочки газет и вдруг, на одном из них, к своему удивлению, прочитал: „Стихи С. Маршака и К. Чуковского“. Я поднял с пола кусок газеты и незаметно для окружающих прочитал два стихотворения. Это была власовская антисоветская газета на русском языке, и вымели ее, очевидно, из палаты власовцев.

С детства я хорошо знал и любил стихи Маршака и Чуковского. Знал их стиль, творческий почерк, их поэтическое лицо и поэтому сразу безошибочно определил, что это фальшивка. Люди, работавшие у

немцев в печатных органах, чьи-то бездарные стихи подписывали фамилиями известных советских писателей для того, чтобы порадовать власовцев, мол, и Маршак, и Чуковский давно уже перешли на немецкую сторону и сотрудничают в их прессе. Дешевый трюк!»

И все-таки — Лефортовская тюрьма? Нет, не сразу. Было еще и это:

«…Наконец-то личность моя установлена — пришли документы из Москвы. Следователь стал мягче, уже не стучит рукояткой пистолета по столу, дает закурить. Из ямы меня перевели в сарай, стало чуть теплее.

И вот меня снова вызывает начальник Смерша 8-й гвардейской армии генерал Витков Григорий Иванович. Вхожу в его кабинет. Наручники и кандалы сняты. Конвой остался за дверью. Генерал сидит за небольшим письменным столом справа от входа. Он невысокий, крепкий, круглолицый.

За его спиной большая карта Европы. На столе ваза с фруктами, генерал курит „Казбек“. Напротив меня — длинный стол под зеленым сукном. За столом сидят шесть полковников — все в орденах и медалях. Стою по стойке „смирно“.

— Вот вы вчера рассказывали, что присвоили себе кличку Сыч, — обращается ко мне генерал. Глаза его смотрят на меня спокойно и, как мне кажется, дружелюбно. — Так вот, — продолжает он, — расскажите нам все, что связано с этим именем, с этой кличкой. Когда вы себе ее присвоили? Зачем? Для какой цели? Словом, все по порядку, и как можно подробнее.

Я стал рассказывать и говорил долго и подробно. Все, что я говорил, быстро печатал на пишущей машинке секретарь — мужчина, одетый во все кожаное.

Сведения, накопленные в памяти и зашифрованные в записной книжке, данные о гитлеровской армии, которые по крупицам собирались мною за долгие годы пребывания во вражеском тылу, — сейчас все взято на учет. Моя работа как агитатора-пропагандиста, распространение среди населения советских листовок и сводок Совинформбюро, участие в создании партизанских групп. Рассказал о зверствах фашистов на оккупированной территории, о расстрелах. Привел много фактов, цифровых данных. Рассказал о побегах из фашистских лагерей, о том, как использовал знание

немецкого языка… Воспользовавшись небольшой паузой, один из полковников встал:

— Товарищ генерал, разрешите закурить!

— Успеете. Слушайте лучше. Полковник сел.

Я рассказывал о фашистских танковых дивизиях СС „Великая Германия“ и „Мертвая голова“, о Швейцарии, Турции, о патриотической борьбе советских людей в Днепропетровске, Днепродзержинске, на территории Румынии, Латвии…

— Ясно, — сказал генерал. — Так вот, — обратился он к одному из полковников, назвав его по фамилии. — Это и есть тот человек, кличка которого зарегистрирована у нас как кличка неизвестного разведчика-партизана. Примите к сведению. — И тут же обернулся ко мне: — А вы не хотели бы поработать у нас переводчиком?

— Служу Советскому Союзу!

И с этого дня я помогаю как переводчик двум полковникам допрашивать крупных немецких чинов, гражданских и военных. Работа идет напряженная, многочасовая. Нахожусь в подчинении начальника следственного отдела капитана Халифа Михаила Харитоновича».

И все-таки — Лефортово? Мои домашние, тихо переговариваясь, собирали для Миши посылку с продуктами… Я же складывал одно к другому письма людей, которые знали моего брата Мишу там, где он действовал, в тылу врага. Я считал эти свидетельства живых людей самыми важными документами; разумеется, о том, в чем обвиняли моего брата, уже знал, допытался… Но нисколько не верил в справедливость выдвинутых против него обвинений. Миша был увлекающийся, так сказать, рисковый человек в самом хорошем смысле этого слова. И одновременно и прежде всего — он любил Отечество, Родину, как и все мы, Михалковы. И когда я в военной прокуратуре услыхал эту формулировку — «измена Родине», — не поверил, нет, нисколько. Уж что-что…

Да… жизнь каждого из нас устроена так сложно, с такими непредсказуемыми поворотами судьбы, столько в ней боли, хотя с виду, с фасада — одни вроде зеркала и фейерверки…

Уверенный в своей правоте, знающий, как легко подчас беззаконию рядиться в белые одежды правды, я пошел на прием к заместителю министра внутренних дел генералу Чернышеву. Со своим письмом и с письмами тех, кто писал о младшем брате в

военные годы в мой адрес.

Меня встретил неторопливый, уравновешенный человек… Он сказал:

— Что я могу сделать? Даже если вы и правы… Ваш брат в руках Смерша… Я же к этой организации не имею никакого отношения.

Я было приуныл. Но генерал добавил:

— Обещаю вам одно: проверить данные, которые касаются его партизанского прошлого на территории Латвии.

Через некоторое время меня пригласили к Чернышеву, и я услыхал:

— Подтвердилось: ваш брат действительно организовал в Латвии партизанскую группу, которая действовала в тылу у немцев. Теперь я советую вам поговорить с Берия…

Проснулся в то утро под первые аккорды гимна, приободрился и спустя время набрал номер, который помню и доныне. Голос секретаря:

— Сейчас соединю…

— Товарищ Лаврентий Павлович…

Излагаю суть дела. Ответ короток. В голосе с грузинским акцентом — властность и категоричность:

— Ваш брат — плохой человек. Но если вы сомневаетесь… ладно, я пришлю полковника, чтобы он все перепроверил…

Могу, конечно, написать, что я испытал, дожидаясь… Но не стану. Многим и многим пришлось в то время куда как тяжелей и безысходней…

Наконец меня вызвали телефонным звонком все туда же, к генералу Чернышеву. Там, в кабинете, находился и тот самый полковник из Смерша. Он спросил меня едва ли не с ходу:

— Почему ваш брат сразу не застрелился?

Для незнающих поясню: сдаваться в плен советский воин не имел права, в крайнем случае он должен был кончить жизнь самоубийством… Я ответил:

— Он не сдавался в плен, если опираться на свидетельства очевидцев. Он попал в плен вместе с тысячами других солдат и офицеров, которые оказались в безвыходном положении. И не собирался засиживаться в плену — бежал из калининградского концлагеря. Подтверждение — в письмах.

— Настоящие патриоты стреляются! — сухо отозвался полковник… То есть получалось — брат твой — враг твой, ибо не настоящий патриот… Впрочем, если ты горой стоишь за своего брата-непатриота, то, выходит, сам-то ты кто?

— Однако если пишут совсем незнакомые люди и рассказывают, как мой брат партизанил и как он под видом немца

добывал важные разведданные… — не отступал я.

— Это все еще надо доказать! — был ответ. — Проверить-перепроверить! Займемся!

Разговор, что называется, не получился… Михаилу «влепили» пять лет. Из них целых три года он отсидел в одиночке, в лефортовской камере.

Чего же от него требовали? Подписать предъявленные обвинения в измене Родине. Таскали на допросы, пытались поймать, запутать… и опять: «Подпиши!»

— Нет! Не подпишу!

— Ах, так! Иди в одиночку! Вызову через год! Шел, куда сказали. Через год:

— Подпишешь?

— Что Родину не люблю и предал ее?

— Да.

— Не подпишу!

Он другое писал в той одиночке, в своей голове:

Может быть, не следует,
Может быть, не надо бы
Вспоминать смоленские
Каменные надолбы.

Только эти надолбы,
Из земли торчащие,
Были как заступники,
В дым войны смотрящие.

Только эти надолбы
Грудью твердокаменной
Защищали Родину
От брони и пламени

И почти два месяца
Сдерживали ворога…
За Смоленск захватчики
Заплатили дорого!

Я сдался не сразу, нет, пошел «в бой» за Мишу к председателю Военной коллегии генералу Чепцову:

— За что ему дали пять лет? Он же не совершил никаких преступлений против Родины!

Ответ:

— Он надевал на себя форму офицера СС. Он не должен был

этого делать.

Идиоты! Но я опять пытался убеждать:

— Так ведь он убил этого офицера! И эта форма служила ему камуфляжем! Он же руководил партизанской группой!

— Сергей Владимирович, — мягко, сердечно так, по-отечески произнес генерал. — Ему дали не «целых» пять лет, а «только» пять лет. В наше время это не срок, дорогой поэт, в наше время за измену Родине дают двадцать — двадцать пять лет, а то… и высшую меру.

Слава богу, после Лефортова Михаила отправили не в края не столь отдаленные, а в лагерь под Рязанью.

Не скрою, мой приезд в этот лагерь — с орденами Ленина, Красной Звезды, со значками лауреата Сталинской премии на пиджаке… со славой одного из авторов гимна — произвел определенное впечатление на лагерное начальство.

Я не узнал Мишу в первое мгновение… Он был в такой заношенной робе… Он так глядел на меня… Мы крепко обнялись и поцеловались… И остались одни, и он долго-долго рассказывал мне, как и что произошло с ним за многие-многие месяцы войны. А я смотрел на его голые руки, торчащие из коротких рукавов, на впалые, давно не бритые щеки, на разбитые ботинки… А он меня утешал:

— Я-то еще что! Здесь у многих даже ботинок нет, кто в чем, иногда и босые… по замерзшей земле… А чтобы хоть как-то спастись от голода — выкапываем из-под снега картошку… мелкая, промерзшая… но есть можно…

И после лагеря брату моему не разрешили вернуться в Москву. Он стал жить в Рязани, снимал комнату. Я навещал его, помогал… Потом, уже после смерти Сталина, Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрит дела осужденных и «за отсутствием состава преступления» снимет с Михаила все обвинения. Более того, он будет награжден орденом Славы.

13 июня 1968 года ему придет такое письмо от Елизаветы Голуб со станции Долинская:

> «…Ушли Вы тогда провожать немца. Родные легли спать, я с опаской жду Вашего возвращения, читаю книгу… Вы вернулись и встали у меня за спиной. Боже! Что делать? Немец ведь, от него всего можно ожидать. Ночь. Все спят „Почему вы считаете, что в Германии текстильная промышленность хуже развита, чем в Советском Союзе?“ — вдруг произнесли Вы по-русски, и я вспомнила какие-то слова насчет текстильной промышленности, когда ругалась с отчимом. Мысли

несутся вихрем. Он все знает… Все понимает… Станет известно, что я сбежала из вагона, когда меня увозили в Германию, что ровно год живу в Долинской без учета на бирже труда. Станет известно, что вторично вырвалась из немецких когтей, обманув врачей на медкомиссии… Смотрю в книгу, а буквы сливаются, боюсь поднять голову. Но, собрав всю волю, ответила вопросом на вопрос:

„Кто вы? Откуда вы знаете русский язык? Где учили его?“ — „Угадайте“.

И в этом русском слове, произнесенном Вами, мне вдруг почудилось что-то веселое, задорное, детское… Какая это удивительная была ночь! Мы разговорились. Долго беседовали. Вы вспоминали школьные годы, братьев, маму. Помнится, говорили, что в детстве жили в Пятигорске. Болел отец. Вам приходилось носить ему из аптеки кислородные подушки. Говорили о немецком языке. „Язык врага надо знать — это наше оружие!“ Когда я уходила спать, то оставила на столе безобидную записку, надеясь, что заметите ее утром. Но утром Вас в доме уже не было, а я с чердака в щель все смотрела: „Может, уже уехали…“ Днем, видимо разыскивая меня, Вы по лестнице забрались на чердак и уселись рядом.

„Прочли мою записку?“ — „Да“. — „Так кто же вы? Знаю, что москвич, а дальше?“ — „Я скоро должен ехать. Соберите всех к столу. Я должен вам кое-что рассказать“. Это звучало как приказ. И мы спустились вниз. „Славка! — сказала я братишке, что прятался на чердаке. — Ты слышал, что он сказал? Что будем делать?“ — „Надо всех созвать“.

Мы вытащили из ямы Якова Фомича (он потом погиб под Яссами). Вся семья собралась за столом, и Вы сидели рядом со всеми. Вы говорили, что немцы повсюду отступают, советовали, как нам быть, в нашей тесной хате Вы провозгласили тосты за освобождение, за победу, за счастливое возвращение наших войск… В это время с улицы донесся сигнал машины.

„Это за мной, — сказали Вы. — Верьте в нашу победу!“ — были Ваши последние слова.

Опомнившись, я посмотрела в окно. Вы на ходу цеплялись за грузовую машину. Рыжий немец, смеясь, втаскивал Вас за руки в кузов. Машина повернула за угол и увезла Вас навсегда…

Теперь я буду знать, что Николай Соколов — это тот

самый „немец“, которого мало знала, но которому поверила…

Посылаю Вам свою фотокарточку, так как у меня другой нет, посылаю старую. На этом фото только семь лет отделяют меня от встречи с Вами.

Оставайтесь живы, здоровы. Желаю Вам больших успехов в труде и личной жизни.

С уважением

Елизавета Голуб».

Девушкой юной была Елизавета. А моему брату Михаилу еще не исполнилось и двадцати… И он столько уже знал про войну. И столько еще ему предстояло узнать и про войну и про жизнь…

После камеры Лефортовской тюрьмы и лагеря Михаил вышел не униженным, потухшим, угрюмым… Он быстро нашел себе дело, много работал, писал стихи… И юношеская его общительность осталась с ним, и многие, многие годы никто из тех, кто знал его послевоенного и видел его улыбчивые глаза, не мог и предположить, что ему довелось вытерпеть, выдержать. И сохранить благорасположение к людям… И «оставить на память потомкам» собственный расстрел — на память и, думаю, в назидание, чтобы знали — биться за жизнь стоит до последнего. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не терять надежды.

В своей книге брат вспоминает:

«— Сынок, а сынок! — снова слышу над самым ухом.

Прихожу в себя. Ничего не пойму. Где я?

Слышу голос старика:

— Заболел ты, горячка у тебя. Второй день бредишь. Все плывет перед глазами. „Вот и смерть пришла…“ И мерещится смерть с косой, костлявая, в белом балахоне, что-то мне шепчет и улыбается… Голова чугунная.

Жарко, нечем дышать.

— А ну, скинь рубашку, — говорит старик. — Э, браток, так у тебя тиф. Все тело в сыпи. Здесь врач был из военнопленных, он тебе таблетки в рот совал… Найти бы его…

Я сползаю с нар, пытаюсь выйти на воздух.

— Погоди! — Старик сует мне в руку грязный узелок. — Деньги твои, — шепчет он, — сберег, а то пропали бы.

Я с трудом вспоминаю, откуда у меня эти деньги… Шатаясь, иду по коридору. И вдруг роняю узелок, и

деньги рассыпаются. Какой-то плешивый заключенный в обмотках мгновенно присел на пол и сгреб бумажки раньше, чем я успел опомниться.

— Отдай! — кричу. — Не твои!

— И не твои! — зло огрызается он и бьет меня по лицу кулаком.

Я падаю, поднимаюсь. Из носа хлещет кровь. Вытираю рукавом, выхожу во двор. Пощупал карман, в нем еще пачка. „Тысячи три будет“, — подумал и пошел к тюремному „базару“. Заключенные, попавшие в рабочие бригады, приносят в зону продукты, продают их втридорога.

Пробираюсь среди сидящих на земле. Слышу крик, оборачиваюсь — матрос. Он подходит ко мне.

— На твои деньги! — И он возвращает мне пачку денег, отнятую у плешивого. — Я его, гада, поймал — и за яблочко. — Он делает выразительный жест рукой.

— Задушил?

— Придавил. Может, и задушил, — брезгливо говорит матрос. — Подлюга! Мразь болотная! — И он смачно сплевывает себе под ноги.

К нам приближается мужчина с бородкой и в пенсне (очень похож на Антона Павловича Чехова) — это бывший военврач 1-го ранга. Я лично его не знаю, а он меня узнает, протягивает порошки:

— Вот лекарство. Примите-ка, голубчик, и оставьте на вечер.

— Что это?

— Хина.

— От малярии, что ли?

— Глотайте. Не бойтесь, не отравлю.

Я глотаю порошок.

— Если бы не эти порошки, — говорит врач, — вас давно бы свезли в ров, молодой человек… А вам, полагаю, следует еще пожить… — Он уходит. Матрос тоже куда-то исчез. Все плывет у меня перед глазами, едва держусь на ногах, но покупаю за сто рублей луковицу, за двести — пять картофелин, за пятьсот беру напрокат котелок, за триста — две щепотки махорки. Отдаю двести рублей за щепотку сухого листа (листья с деревьев здесь тоже курят), сто рублей за полкотелка воды, немного дров и два сухаря приобретаю за триста рублей. Пришлось купить и спички. Подошел к яме с нечистотами, в ней несколько трупов. Мертвый с тремя

шпалами по-прежнему лежит здесь. Пистолета не видно.

Выбираю место — здесь найти свободный клочок еще можно. Сажусь, хочу развести костер. Владелец котелка присаживается рядом, помогает. Сотни жадных, голодных глаз впиваются в меня. Я отдаю кому-то щепотку листьев. Делюсь сухарем с владельцем котелка, и он за это возвращает мне деньги. Свертываю „козью ножку“. Люди нагибаются надо мной, чтобы хоть подышать махорочным дымом. Сырые дрова тлеют и дымят. Подкупаю еще дров. Но вода так и не закипела. Пришлось съесть сырую картошку и запить ее некипяченой водой.

„Обед“ окончен. Надо искать немцев-барахольщиков. Они тут как тут. Подхожу. Кое-как, жестами и отдельными немецкими словами, объясняю, что мне надо.

Наконец один из них понимает меня.

— А-а, — тянет он, улыбаясь, — хочешь Freiheit?.. Wo ist das Geld?[8]

— Вот!

Немец пересчитывает, говорит:

— Мальо, мальо!

Я пожимаю плечами:

— Больше нет.

— А, es genug! — машет он рукой. — Komm![9] — И вдвоем повели меня в неизвестном направлении.

Под их конвоем оказываюсь за пределами тюрьмы. Ноги не слушаются. В голове шум, мутит.

— Болен?

— Да.

— Некорошо, некорошо, — сочувственно произносит худой немец, спрятавший в карман мои деньги, и добавляет: — Бу-дэж ла-за-рэт!

И вот конец пути. Передо мной открывается дверь барака, до отказа набитого людьми. Женщины, старики, дети стоят, прижавшись вплотную друг к другу. Меня тычком впихивают в этот ад, и дверь с внешней стороны защелкивается на задвижку.

— Что это? Кто здесь?

— Евреи из Кировограда, — доносится сдавленный старческий голос.

В те кровавые дни 1941 года немцы в Кировограде и его окрестностях собирали и расстреливали еврейское население.

Так я очутился в лагерном „лазарете“. Ничего не скажешь, немцы-„барахольщики“ хорошо „пристроили“ меня…

Наутро следующего дня к сараю подкатила французская грузовая машина, с брезентовым верхом и отброшенным бортом. Ворота сарая распахнулись.

— Лос! — гаркнул фашист.

Я попадаю в первую машину, вместе с детьми, женщинами и стариками. Нас привозят ко рву.

Выгружаемся. И вот я стою около рва, длинного, широкого, сплошь заваленного трупами. Машины все прибывают. Справа и слева — танкетки с жерлами спаренных пулеметов. Рядом с ними — рота карателей, у каждого убийцы фашистская свастика на рукаве — это молодчики из зондеркоманд, гестаповцы, сотрудники службы безопасности…

Каратели не курят, стоят молча с автоматами наперевес. Расстояние от одной танкетки до другой — метров сто. Мы — в середине. Машины все прибывают. Обреченных уже человек восемьсот.

Как только прозвучала команда: „Feuer!“[10] — мои ноги подкосились, и я в полуобморочном состоянии упал почти на самый край обрыва. Крики, стоны, ругань, молитвы, душераздирающие вопли, стрельба из крупнокалиберных пулеметов, автоматные очереди — все слилось в один истошный смертельный вопль… На меня упало несколько трупов. После первой „свинцовой обработки“ началась вторая. Сначала по груде простреленных тел двинулась рота карателей: они добивали живых. Потом с противоположной стороны двинулась новая волна убийц… И наступила тишина. Только изредка доносились приглушенные стоны и отдельные пистолетные выстрелы.

Меня спасло чудо. При первой „свинцовой обработке“ вся толща тел не была пробита, а при второй — не было разгона пулям, в первой же жертве они застревали. Это и спасло мне жизнь. Меня даже не ранило.

Зазвучали команды, и каратели стали растаскивать трупы и бросать в ров. Очередь дошла до меня. Замираю, не дышу. Тащат за ноги, лицом по траве… Лечу вниз… Меня заваливают трупами, дышать становится все тяжелее, груз все прибавляется, сплющиваются ребра, легкие…

Шевелиться было крайне трудно, руки то упирались в чьи-то головы, то ощущали чью-то еще теплую липкую кровь.

Я был жив, один среди тысяч мертвых. И когда я понял это, то напряг последние силы, подпер руками грудь и попытался пролезть между мертвыми телами к краю обрыва — к земле, единственному, что здесь было живым, кроме меня. Но сил не хватало, и я потерял сознание…

Очнулся глубокой ночью. Сначала не мог понять: где я, что со мной. Потом ожила память, и первой мыслью было — поскорее выбраться наверх, наружу. Я не мог шевельнуть ни одним суставом. Но неистребимая жажда жизни все же заставила меня карабкаться навстречу спасительному воздуху.

Земля, моя живая, влажная, теплая мать-земля, была, наконец, под ладонями! С какой надеждой хватался я за цепкие корни кустарника, протискиваясь между мертвыми телами. И вот первый целебный глоток кислорода… В голове зашумело, загудело, кровь застучала в висках…

Я сел на краю обрыва, ноги были чужие, будто ватные. Передо мной зиял кировоградский ров смерти, прикрытый пеленой ночного тумана. Кружился снег…

Еле пришел в себя, отдышался. Луна озарила страшное зрелище… Вдали я заметил тень человека, видимо такого же „счастливца“, как и я…

Быстро перебираюсь на противоположную сторону рва, хочу бежать, но не могу, падаю и ползу неведомо куда, как затравленный зверь, спасающийся от преследования…»

Любой человек — загадка для другого. Вроде бы я все-все знаю про Михаила, но сейчас бывает, что гляжу на него с удивлением: «Как же, как ты через все это прошел? Я же помню тебя веселым мальчишкой, безобидным, смешливым юношей, который любил приласкаться к маме…» И любил стихи, те, «жалостливые», некрасовские, которые все мы, семьей, любили и почитали:

Поздняя осень.
Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она…

А тут такое:

«Шел всю ночь. Мела метель.

Наконец решил, что пора расстаться с капитанскими сапогами, которые могут меня выдать. Сел в снег и стянул с ноги сапог. Аккуратно отрезал охотничьим ножом голенище по щиколотку. Это же проделал со вторым сапогом и, обувшись в импровизированные полуботинки, зарыл в снег пару голенищ. Потом я решил отделаться еще кое от чего, принадлежащего капитану Мюллеру, разорвал на клочки письма медсестер из польницкого госпиталя и развеял их по ветру.

В темноте вышел на проезжую дорогу. Здесь было идти значительно легче. Вдруг впереди увидел тень верхового. Мы поравнялись. Не дожидаясь вопросов, выхватил „Вальтер“ и разрядил его в полицейского. Тот, так и не сказав ни слова, рухнул с коня. Я опрометью бросился наутек и побежал снова по целине прочь от дороги, все дальше и дальше, пока совсем не задохнулся и не упал в снежную яму…

Через несколько часов, на рассвете, в маленьком немецком городишке я уже нанимался работать к мяснику, внешность которого полностью оправдывала его профессию. Это был тучный тип, краснощекий, с тройным подбородком, не дававшим ему возможности глядеть под ноги, а его крошечные, заплывшие глазки напоминали мне глаза австралийского попугая.

Поистине судьба бросила меня сюда, в это чудовищное заведение, специально, чтобы дать возможность переоценить ценности. Каждое утро в ворота бойни вводились одна за другой коровы. На ноги им надевались обручи с цепями, на рога — металлические наконечники с проводами, подключенными к току высокого напряжения. Секунда, и корова валилась мертвой. Тут же лебедка поднимала коровью тушу, переворачивала на цепях вверх копытами, восемь рабочих свежевали ее, спускали кровь, разделывали тушу на части, подвешивали части на крюки, гнали конвейером в другие цеха. Кровь сливалась в жбаны на кровяную колбасу, шкуры тут же отправлялись на кожевенные предприятия, кости, копыта, рога — все сортировалось. Ничего не пропадало, все до мелочи подсчитывалось, из всего извлекалась

польза. И так корова за коровой…

Меня поставили к машине — мясорубке. Она была выше моего роста, и я должен был с неимоверными усилиями, упираясь в ручку обеими руками, вертеть колесо. Фарш тут же поступал в мешалку с солью и специями, а потом шел к трубке, соединяющейся с еще теплыми, промытыми кишками. Получалась колбаса, которую время от времени рабочий перевязывал шнуром и подвешивал на крюки.

Вертеть эту адскую машину было невероятно трудно. Все работали молча, и только слышались команды:

— Гони кишки!

— Ящик для костей!

— Еще ведро для крови!

— Ток!

— Свежевать!

— Вагонетку для шкур!

На рабочих (в основном эвакуированных из разных мест) были негнущиеся фартуки из клеенки (свою одежду они оставляли в специальных шкафах при входе). Руки за день так уставали, что к вечеру пальцы едва сгибались. За работу полагалось всего три марки в день, мясной обед и одна сигара. Ночлега хозяин не предоставлял, и потому мне пришлось с большим трудом снять угол в переполненной гостинице.

С неделю меня никто не беспокоил. На восьмой день хозяйка гостиницы попросила меня сдать в полицию документы. Я отговорился тем, что мои документы на работе, хотя в действительности их вообще у меня не было. И даже офицерское удостоверение вместе с „Вальтером“ я спрятал на чердаке полуразрушенного дома. Импровизированные полуботинки с отрезанными голенищами я выменял на базаре на старые эстонские унты, приплатив хорошие деньги. Собственно, единственным где козырем, где минусом мог служить у меня только „Браунинг“.

— Непременно захватите свои документы сегодня же, — беспокоилась хозяйка гостиницы. — Вечером я обязана сдать их в полицию для регистрации.

Я кивнул в знак согласия и вышел из ее приюта, зная, что больше сюда не вернусь.

Решив послать к чертям собачьим и мясорубку, и жирного мясника, я тут же из гостиницы отправился на вокзал и уехал, но теперь уже на восток, навстречу

фронту. В ту же ночь я был снят с поезда, как не имеющий документов.

…Двор был обнесен десятиметровой кирпичной стеной. Земля залита цементом, и по нему белыми линиями обозначены три трека. Посредине двора — круглая железная клетка с вертящимся сиденьем на высоком постаменте. Здесь сидит фашист-автоматчик в черных очках и в каске. Он медленно вращается на сиденье, наводя автомат на три ряда заключенных, прогуливающихся по тюремным трекам. Два крайних ряда идут в одном направлении, средний — им навстречу. В среднем ряду политзаключенные — в кандалах и наручниках, соединенные цепями. Они идут друг за другом, и цепи монотонно звенят: „дрень, дрень, дрень…“ Я, сам не знаю почему, принялся искать среди политзаключенных Эрнста Тельмана. Мне казалось, что он именно здесь и я его вот-вот увижу. Всматриваюсь в хмурые, суровые лица заключенных и никак не могу отыскать знакомое по фотографии лицо.

Каска автоматчика, сидящего в клетке, тускло поблескивает под лучом зимнего солнца, сверкают черные зловещие очки, кружится ствол автомата, семь минут узники в полосатой одежде ходят по кругу. С кирпичной степы, сверху, глядят на них два пулеметных ствола. В холодном январском небе кружатся редкие снежинки. У входа кучками стоят охранники и покрикивают:

— Молчать!

— Не разговаривать!

— Не отставать!

— Шире шаг!

Камера, в которую я попал, сырая, темная, на четверых. Два старика и молодой парень — все немцы, заняты тем, что плетут корзины из ивняка. Мне было предложено заняться этим же делом, но я отказался, ссылаясь на то, что никогда не плел корзинок, и мне принесли использованные конверты, которые я должен был отмачивать, переворачивать и склеивать — в Германии не хватало бумаги.

В обед открывается окошко-кормушка, проделанное в двери, и в камеру передают миски с какой-то вареной бурдой из тухлой капусты и свеклы. На второе получаем каждый по две вареные картофелины. Утром и вечером — по ломтику хлеба с маргарином или

повидлом и эрзац-кофе. Прошло два дня. Наступает третье тюремное утро. Закончился завтрак. Сижу в камере, клею конверты. Соседи плетут корзины. Все работают молча. Всматриваюсь в лица немцев. О чем они думают? О чем? О свободной Германии без фашизма? О своей семье?.. Один из немцев, самый пожилой, чему-то улыбается. Что у него на уме? И вообще, что они за люди… Как понять немца?

Вот жизненные факты, которые я запомнил в дни своих скитаний. Бомбят немецкий городок, а дворник подметает улицу. Парадокс, но факт! Он имеет приказ и выполняет его даже под бомбежкой.

Немец-врач, покидая с семьей разбомбленный городок, не забывает сиять с входной двери своей квартиры дощечку с расписанием часов приема. В этот, казалось бы, самый горький час его жизни он не забывает о своих клиентах: люди могут прийти и будут напрасно ждать.

Гестаповец конфискует старый костюм казненного — пригодится и это.

Палач в Дахау прибивает весной к виселице скворечник — он так любит птичек.

А как понять ту немку — старую седую женщину, которая в поезде назвала двух польских девочек „свиньями“? Как понять ее? Неужели Гитлер, придя к власти, и впрямь сумел убедить ее, уже немолодую женщину, что все поляки — свиньи?

А как можно понять главного хирурга немецкого госпиталя в городе Александрия Отто Драма? Человек, казалось бы, гуманной профессии, спасавший жизни одним людям, других посылал на смерть? Разве в обязанности хирурга входило вмешиваться в административные дела лагеря и быть одновременно палачом? Его бесчеловечное отношение к пленным — результат выполнения гитлеровских заповедей, гласивших: „Забудь на войне, что ты человек! Тебе разрешается убивать людей — убивай! Главное — меньше всего раздумывать и размышлять. Всякие размышления лишь сокращают жизнь и сушат мозги. За тебя думает фюрер. Завоюешь одну страну, завоевывай другую. Умрешь — так суждено. Победишь — получишь землю, дом, автомобиль и много рабов…“

Повсеместно был провозглашен лозунг: „Повелевай, фюрер, мы следуем за тобой!“ „Мы должны, — говорил

Геббельс, — апеллировать к самым примитивным, к самым низменным инстинктам масс. Немецкий народ надо воспитывать в абсолютно слепом восприятии веры…“

Я поглощен своими мыслями. Немцы плетут корзины. Они молчат. Один из них улыбается. Что у него на уме? Надзиратель смотрит в глазок. А я все склеиваю конверты и думаю, думаю…

С немцем, самым пожилым, молчаливым и истощенным, с руками изуродованными изнурительным физическим трудом, я встретился глазами, и мы улыбнулись друг другу, хотя каждый думал о своем.

За тюремным окном — далекие взрывы. Немцы, не отрываясь от работы, прислушиваются к бомбежке. Молчат. Передач никто не получает. Очевидно, все неместные.

…Война пришла и сюда… В камере тихо. Немцы плетут корзины. Внезапно открывается дверь и появляется тюремщик:

— Фридрих Доннер, к следователю! Латыш-колонист немецкого происхождения Фридрих

Доннер — это я! Шагаю за тюремщиком, спускаемся на первый этаж. Стражник пропускает меня вперед. За столом в камере с зарешеченными окнами сидит мужчина средних лет в синем гражданском костюме.

— Садитесь!

Допрос шел на немецком языке. Я присел возле стола.

— Год рождения?

— 1924-й.

— В армии служили?

— Нет, не приходилось.

— Каким образом попали в Германию?

— В сентябре прошлого года, когда латышское население выехало в Германию из Либавы, очутился в Лейпциге. Но я был разлучен с отцом. Отца перевели в Шпремберг, и тогда я решил проехать и отыскать его…

— А где же ваши документы?

— Еще в Латвии их отобрали у меня и так и не вернули.

— Значит, вы попали в рабочий лагерь? — допытывался следователь.

— Да что вы! Я жил в городе на частной квартире и работал переводчиком при одном из лагерей для

перемещенных лиц в Лейпциге, у майора Холингера.

— Кто этот Холингер?

— Начальник лагеря.

— Какими языками владеете?

— Немецким, латышским, русским.

— Выходит, из Лейпцига вы просто сбежали?

— Зачем? От кого? Я отпросился у майора Холингера к отцу на несколько дней, сел в поезд и поехал в Шпремберг, но был снят с поезда и доставлен сюда.

— Откуда у вас „Браунинг“?

— Мне подарил его майор Холингер.

— За что?

— За хорошую работу в качестве переводчика.

— Но вы же не военнослужащий? — допытывался следователь.

— А при чем тут военнослужащий? Я два года был переводчиком у командира роты капитала Берша в танковой дивизии СС „Великая Германия“, тоже не был аттестован как солдат, но всегда был при оружии, и это там поощрялось. Ходил и в военной форме, и в штатском.

Зацепившись за Берша, следователь стал скрупулезно допрашивать меня, пытаясь в чем-либо уличить, но здесь я был на сто процентов неуязвим, и все мои ответы, касающиеся 2-й штабной роты Берша, звучали настолько точно и правдиво, что следователь в конце концов поверил, что все было именно так, как я отвечал, — и поверил в мою добросовестную службу на благо немецкого рейха.

— Вы убедили меня, — сказал следователь. — Я верю в вашу искренность. И я за вас спокоен.

Потом в непринужденной беседе я узнал, что, оказывается, следователь родился в русской семье в Германии, куда его родители эмигрировали в 1919 году. И 2-й штабной ротой капитана Берша он заинтересовался только потому, что сам с начала войны служил переводчиком при штабе танковой дивизии СС „Великая Германия“ и капитана Берша знал лично…

— Ну что же, — сказал следователь, как бы подводя итог своего допроса, — желаю здравствовать и честно служить великой Германии!

— Благодарю за доверие!

В эту минуту вошел еще какой-то штатский и отвлек

внимание следователя, видимо, более серьезным вопросом, чем мой. Меня отправили обратно в камеру. Я был спокоен: Латвия, наверно, уже освобождена советскими войсками и проверить мои выдумки невозможно. К тому же сейчас в Германии сотни тысяч перемещенных из самых различных стран Европы, и разобраться, кто сбежал из Германии, а кто — в Германию, было просто немыслимо.

На следующий день меня вызвали в тюремную канцелярию, вернули одежду, вернули „Браунинг“ и отослали в военную комендатуру для зачисления в фольксштурм — народное ополчение.

И вот снова солдатская форма. „Все лучше, чем полосатая куртка“, — думал я, подпоясываясь ремнем и пристраивая на голове пилотку. В кармане у меня солдатская книжка, на плече винтовка, в руке лопата и кирка, я иду в строю фольксштурмистов — рыть окопы на окраине городка.

Но рыть пришлось недолго, всего один день. Наутро я был снова вызван в комендатуру.

— Вы владеете двумя языками?

— Так точно, господин лейтенант.

— Мы направляем вас в Познань, в школу переводчиков. Лопату у нас есть кому держать, а иностранными языками владеют не многие, поэтому вот вам предписание: Отправляйтесь на вокзал и следуйте по указанному маршруту.

Я вышел из военной комендатуры, обрадованный тем, что мне снова предстоит дорога на восток».

М. Михалков
В ЛАБИРИНТАХ СМЕРТЕЛЬНОГО РИСКА

Пролог

1941 год. Ноябрь. Моя мать в Москве получила с фронта повестку, в ней говорилось: «Ваш сын… пропал без вести…»

1942 год. Январь. Моему брату Сергею Михалкову незнакомый военврач сообщил в письме: «Я знал вашего младшего брата Мишу. В октябре 1941 года в городе Кировограде он был расстреляй фашистами».

1944 год. Декабрь. Когда моей матери уже не было в живых, к моему брату Сергею Михалкову зашел гость, он оказался военнослужащим Дмитрием Цвинтарным. «Я хорошо знал вашего брата Мишу, — сказал он. — Я был с ним в фашистском лагере в городе Днепродзержинске, оттуда мы вместе бежали в феврале 1943 года…»

1945 год. Март. Мой брат Сергей Михалков получает письмо от латыша Жана Кринки, этот незнакомый товарищ писал: «Сообщаю вам, что ваш младший брат Михаил несколько месяцев жил у меня на хуторе Цеши, партизанил, бил фашистов и в сентябре 1944 года ушел с вражеской стороны через фронт к своим…»

1945 год. Май. Кончилась война. Никто из моих родных не знает, жив ли я, где я и что со мной…

Что же со мной произошло? Где я был всю войну? Об этом я и хочу рассказать. Пусть мои воспоминания хоть небольшой веточкой вплетутся в вечно живой венок всенародной памяти о той жестокой войне.

Глава 1
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

На фронтовых дорогах

Память… Память… Она снова возвращает меня к тем незабываемым дням сентября 1941 года, к тем боям, когда, зажатые со всех сторон в клещи фашистскими танковыми и пехотными частями, героически бились с врагом около тысячи бойцов и командиров, возглавляемые генерал-полковником М. П. Кирпоносом.

В роще Шумейково близ хутора Дрюковщина наши бойцы и командиры стояли насмерть… Я хорошо помню эти жестокие бои на Полтавщиие, ибо почти с самого начала войны находился в охране штаба Юго-Западного фронта. Рощу бомбила вражеская авиация, поливали огнем фашистские танки, артиллерия, минометы. С пашей стороны, особенно по ночам, на сгоревших кукурузных полях одна штыковая атака следовала за другой.

— В атаку! Вперед! — слышался мужественный голос Михаила Петровича Кирпоноса.

Был намечен прорыв из окружения отдельными группами. Схватки с врагом носили очаговый характер.

В те дни в неравных боях погибли командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос, член Военного совета Бурмистенко, генерал Тупиков и многие командиры.

Лишь после войны я узнал, что генералы Добыкин, Данилов и Пашохов с группой командиров штаба фронта пробились тогда к своим, а о судьбе генералов Потапова, Писаревского, бригадного комиссара Кальченко и дивизионного комиссара Рыкова до сих пор ничего не известно…

Мне с группой бойцов тогда удалось вырваться из тисков вражеского окружения… Посоветовались. Разработали план дальнейших действий. После нескольких стычек по ходу движения нас осталось двое — я и боец-армянин. Однажды ночью, сняв часового и раздобыв у немцев двух лошадей с седлами, мы верхами ушли в южном направлении. Через дней пять на лошадях вплавь переправились через Днепр. Но и за Днепром оказалась та же неразбериха. После бомбежки потеряли лошадей. Мой попутчик был ранен в ногу, и мне пришлось пристроить его к отступающему медсанбату. Я остался один.

Как-то под вечер вышел из лесопосадки.

Тяжелая картина открылась моим глазам. Дороги заполнены

нескончаемыми колоннами беженцев. Кто — в повозках, кто — на фурах, кто — верхом. Большинство бредет пешком, многие разуты. Женщины, прижимая к груди младенцев, тащат за собой детские коляски со скарбом. Старики с мешками и узлами за спиной еле плетутся, опираясь на палки. Маленькие дети, ухватившись за подолы матерей, хнычут, чего-то просят, семенят по пыльному тракту. Скрипят арбы и телеги. Гремят привязанные к чемоданам и ручным ящикам кастрюли и чайники. Кто-то кричит, кто-то ругается, кто-то крестится и причитает, но в массе своей люди идут молча.

Несметные толпы идут на восток.

С группой военнослужащих минуем разбомбленные сожженные села. Кое-где догорают дома. Закопченными скорбными обелисками высятся на пепелищах несгоревшие кирпичные печи. Согбенные старухи, скрестив руки, провожают нас печальными взглядами: то ли жалеют, то ли осуждают…

Гонят скот. Столб сизой густой пыли висит над морем животных — ржущих, хрюкающих, мычащих, блеющих. На обочинах дорог — разлагающиеся и уже вздувшиеся трупы лошадей, свиней, коров, расстрелянных фашистами с воздуха.

Часто раздается команда: «Воздух!» Бойцы спрыгивают с машин и из кюветов открывают беспорядочную стрельбу по немецким самолетам. «Мессершмиты» и «Хейнкели» группами по десять — пятнадцать машин, на бреющем полете поливают все вокруг свинцовым дождем.

Потом в небе воцаряется тишина, а на земле стонут раненые, слышны душераздирающие вопли женщин, детей. На дорогах, в придорожных кюветах, в кукурузных полях остаются тела погибших.

Вижу какую-то военную машину. Грузовую. Забрался в нее. В кузове четыре бойца, узнал, что их командир лейтенант Петров, он в кабине шофера.

…Мы в пути. Под колесами хорошая грунтовая дорога. Крутом пустынные поля. Ни одной встречной машины. Едем час, два, петляем по балкам. Откуда-то издалека доносится орудийная стрельба, глухие взрывы. Вскоре машина останавливается в селе у дома, в котором находится штаб дивизии. Петров уходит. Маскируем машину и располагаемся в саду. Здесь несколько дальнобойных орудий. Время от времени они ведут огонь.

— Фронт далеко? — спрашивает один из бойцов.

— Не так чтобы очень. — Усатый артиллерист, видимо, толком сам не знает.

Устраиваемся неподалеку в окопе, надо подкрепиться. Возвращается Петров.

— Как дела?

— Хреново! — бросает он. — Штаба нашего нет. Куда уехал — никто не знает.

Ночь коротаем тут же возле окопа, на траве.

…Новое фронтовое утро. В лучах поднимающегося солнца поблескивают капельки росы. Яблоневый сад дремлет… Завтракаем. Появляется Петров. Он хмур. Садится на бревно, задумчиво курит.

Лейтенант и бойцы оставляют меня у себя.

Садимся на машину и вскоре вклиниваемся в колонну наших отходящих войск. Едем в сторону города Николаева.

Движемся медленно, задерживают пробки. Нас обгоняет пехота. Строй шагает в облаке пыли. В глазах бойцов тревога и усталость. Жарко, душно.

— Подвезите, братки! — просит раненый. Он опирается на палку.

— Лезь, пехота! — Помогаем раненому забраться в кузов грузовика.

Едем и едем…

— Подвезите! — отчаянно кричит красноармеец с перевязанной головой.

— Лезь!

Проходит еще час. Наша машина уже переполнена ранеными. Выбираемся на проселочную дорогу, переваливаем через бугор. Перед нами — огромное поле, на нем значительное скопление войск, повозки, лошади, пушки, машины. Копнами сена бойцы маскируют боевую технику.

Добираемся до середины поля. Неожиданно в небе появляется «рама» — вражеский воздушный разведчик. Петров куда-то уходит. Ждем час, два… Как сквозь землю провалился… Иду его искать и вскоре нахожу: он лежит под грузовой машиной и о чем-то разговаривает с командирами разных родов войск, подсевших к нему. Их шестеро. Старший по званию — с тремя кубиками на петлицах — артиллерист. На траве расстелена карта.

— Надо разведать обстановку в этом селе, — предлагает артиллерист, тыча пальцем в карту. — Кто пойдет?

Петров замечает меня.

— Сможешь разведать?

— Смогу.

— На, держи, — говорит лейтенант и передает мне пистолет ТТ. — Да переоденься в штатское, — добавляет он.

Поручено выяснить — нет ли в селе немцев. До села километра три. Приказано вернуться не позднее семи часов вечера…

…Немцев в селе не оказалось. В сумерках возвращаюсь обратно. С разных сторон доносится стрельба. Переваливаю через бугор, и — о, ужас! — поле совершенно пусто. Лишь несколько грузовых машин догорают вдали, вокруг валяется множество лошадиных трупов.

Неожиданно появляется какой-то грузовик и на полном ходу пересекает поле. Вслед за ним из-за молодого леска вынырнул еще один. Бегу наперерез. Машина резко тормозит на ухабах, и я успеваю прыгнуть на подножку кабины, сильно ударившись плечом о кузов. Откуда-то из-за бугра через все поле тянутся огненные стрелы трассирующих пуль. Но не видно пи цели, пи того, кто стреляет.

Мы проскакиваем зону огня. Стемнело. Въезжаем в село. Накрапывает дождь. Ищу Петрова и его бойцов, но их нигде нет. Уже в полной темноте подхожу к незнакомой походной кухне и получаю гороховый суп со свининой, хлеб и пачку папирос «Звездочка». Поужинав, пробираюсь среди машин и останавливаюсь возле группы командиров. Со стороны слушаю разговор. Пожилой человек в кожаном реглане и хромовых сапогах, по-видимому старший, отдает какое-то распоряжение и, обернувшись, вдруг замечает меня.

— Кто такой?

— Рядовой Николай Соколов.

— Почему в штатском?

Объясняю, что был послан в разведку, но, вернувшись, своей группы не обнаружил.

— Документы!

— Нет у меня документов! — отвечаю я. — Был в охране штаба Юго-Западного фронта. Документы остались в разведотделе фронта. Уходя в разведку, мы их сдавали… С трудом вышел из окружения.

— Где это было?

— На Полтавщиие.

— Что, и там немец?

— Да, в основном — танки.

Рассказываю о гибели штаба Юго-Западного фронта.

— Ясно, — сквозь зубы цедит командир. Его суровое, обветренное лицо напряжено. — Раз разведчик, так тебе и карты в руки. С обстановкой знаком?

— Не совсем.

— Мы тоже в окружении. Немцы утром прорвали фронт. Вот с этим бойцом, — огоньком папироски он указал на стоящего рядом красноармейца, похожего на узбека, — пойдете в разведку. Задача — уточнить интервалы движения фашистских войск по

главной трассе. — Огонек папироски метнулся в сторону. — Разведать и обстановку на перекрестке дорог, нет ли ямы какой, чтобы задержки не было… Прорываться будем все сразу, впереди пойдут конные взводы, за ними — машины. Понятно?

— Понятно.

— Действуй! — Огонек папироски стремительно падает и гаснет под каблуком хромового сапога.

— Оружие есть?

— Есть.

— Какое?

— ТТ.

— Стрельбы не открывать, себя не обнаруживать. Выполняйте приказ!

Человек в кожаном реглане исчезает в темноте.

С бойцом-узбеком выходим из села. Друг друга мы не знаем, и оба молчим. Попадаем на проселочную дорогу, которая ведет к намеченному перекрестку. По бокам дороги — кукурузные поля. Высокие стебли тихо шуршат, словно перешептываются.

— Сойдем с дороги, — говорю узбеку. — Я пойду по правой стороне, ты — по левой, на перекрестке сойдемся.

В знак согласия он кивает. Расходимся. Я пробираюсь сквозь кукурузное поле. Надо мной смыкаются острые листья, сквозь них чернеет небо.

Прошел, пожалуй, с километр. Впереди — шум моторов, урчание танков. Кукурузные джунгли кончились. Пробираюсь ползком к оврагу. Залег в траве и наблюдаю. Своего напарника не вижу.

Метрах в десяти от меня по грунтовой дороге движется вражеская колонна с горящими фарами. Танки, мотоциклы, машины с автоматчиками и пушками на прицепах. Колонна громыхает, скрежещет траками. При свете луны лица немцев мертвенно-бледны, тускло мерцают каски. Наблюдаю за немцами со смешанным чувством смятения и любопытства.

Наконец колонна прошла. Засекаю время. Подползаю к дороге, прячусь в кювет, смотрю, откуда идут вражеские войска, — там яркий луч света… И снова мимо меня, совсем рядом, с грохотом проносятся танки, машины, пушки, мотоциклисты. Я лежу не шевелясь за кустом в придорожном кювете в трех метрах от мчащейся черной лавины. Земля дрожит. Меня обдает пылью и горячим дыханием бронеколонны.

Первая часть приказа — узнать интервалы движения вражеских колонн — выполнена. Осталась вторая. Я переползаю через дорогу и двигаюсь к перекрестку, пересекаю его и прячусь в кювете. Мимо меня снова движутся фашистские войска. Ну, вот и

эти прошли.

Перекресток обследован — дорога как дорога. Возвращаюсь в село. Докладываю обстановку командиру, тому, что в кожаном реглане.

— Товарищ Садыков все уже выяснил и доложил, — обрывает меня командир, и я вижу чуть в стороне своего напарника-узбека, молчаливо смотрящего на меня и как будто улыбающегося мне одними глазами. — В следующий раз не запаздывать! По машинам!

Одним махом минуем перекресток: впереди всадники, за ними машины. Проехали около четырех километров. Останавливаемся в лесопосадке.

— Теперь вместе с политруком разведаете местечко Шахты, — приказывает командир.

— Ясно.

— Действуйте! А ты, — командир кивает узбеку, — обследуешь вот это местечко. — И он карманным фонарем осветил карту. — Вот смотри…

И я снова в пути. Рядом — незнакомый политрук, пожилой, ему лет под сорок. Он в военной форме. На правом рукаве темнеет нашитая звездочка, рука крепко сжимает ТТ. Обращаюсь к нему:

— Товарищ политрук…

— Называй меня просто Вася.

Мне как-то неловко. К такому обращению с командирами я не привык, но мне нужно кое-что выяснить, узнать, что это за соединение, к которому я прибился, и поэтому спрашиваю:

— А что это за часть?

— Остатки штаба 224-й стрелковой дивизии, двадцать пять верховых, пять машин с бойцами и ранеными, одна машина с личными вещами и одна с продовольствием. Вот и весь наш «гарнизон».

Идем через картофельное поле на краю местечка Шахты. Ноги путаются в ботве. Продвигаемся медленно, стараемся не шуметь. Подбираемся к ограде — толстые железные прутья уткнулись в небо острыми копьями.

— Полезу! А ты лежи и жди.

Василий быстро перелезает через ограду и скрывается за домами. Лежу в траве. Слева доносится шум. Отползаю в кукурузу. Вдоль ограды с внешней стороны тарахтит немецкая танкетка. Смотрю ей вслед. Время тянется томительно медленно. Наконец политрук возвращается обратно. Вижу, как он карабкается на ограду, и — о, ужас! — одно неосторожное движение — и острые копья пронзают его штанину. В свете луны

на двухметровой высоте над гранитной основой ограды его фигура отчетливо видна. Только собирался вскочить и помочь, как где-то опять поблизости затарахтела танкетка, и в то мгновение, когда мне показалось, что политрук вот-вот спрыгнет на землю, он безжизненно повисает на железной ограде, прошитый пулеметной очередью…

Слышу за лесопосадкой глухой шум моторов. «Наши!» — мелькнуло в сознании.

Медлить нельзя. Пулей, через кусты, бегу обратно, вылетаю на дорогу. Вижу, как последняя машина уже набирает скорость. Мчусь что есть сил за нею и в резком рывке хватаюсь за борт. Пехотинцы подтягивают меня в кузов, посреди которого лежит запасное колесо. Машину сильно тряхнуло на ухабе, и я, высоко подлетев, плюхаюсь на этот жесткий круг.

— Запалы! — кричит кто-то.

Оказывается, я грохнулся на ящик с запалами, лежащий в центре колеса. Вскакиваю как ошпаренный. Бойцы мгновенно выбрасывают злополучное колесо вместе с ящиком из машины. Запалы зло шипят и уже в воздухе начинают взрываться, выбрасывая фейерверк искр и огня. В этом неестественно ослепительном свете я вдруг в последний раз вижу мертвого политрука Василия, повисшего на железной ограде…

Останавливаемся возле молодого березняка. Бегу к головной машине, докладываю о гибели политрука, о разведке. Командир слушает. Когда я упоминаю о танкетке, он перебивает меня:

— Знаю! Знаю! Я выслал конную разведку, она и обнаружила немцев. Пришлось уйти, не дожидаясь вас.

Ночь провели в березняке, замаскировавшись. Наутро вызывают к командиру.

— Садись, дело есть, — говорит он, разглядывая разложенную на траве карту. — Сначала узнай, где можно раздобыть воду для лошадей, а затем разведай дорогу до местечка Зеленая. Будем пробиваться. Здесь километров десять, не больше, там должны быть наши. Изучи и запомни дороги, чтобы ночью без задержки добраться до Зеленой. На все тебе сутки. Завтра к вечеру будь на месте. Завтракал?

— Нет.

— Иди подкрепись. ТТ с собой не брать, оставишь у меня. Действуй!

Мимо березняка проехали три мотоциклиста. Кто-то из наших срезал их из трофейного автомата, затем и мотоциклы, и трупы фашистов затащили в березняк.

Добродушный грузин — штабной повар — угостил меня медом, копченой колбасой, дал на дорогу махорки, и я

отправился выполнять задание.

Вода отыскалась быстро. Вернулся и доложил, что скоро ее привезет один старик. И правда, пока я готовился к дальнему пути, показалась старая кляча, запряженная в бричку, на которой громоздилась большая пожарная бочка с двумя красными ведрами. Командир поблагодарил старика.

Опять в пути. Разведка прошла удачно: к вечеру следующего дня доложил обстановку, и той же ночью решено было двигаться по разведанному пути. Я пошел отдыхать и, растянувшись на траве под густыми кронами деревьев, сразу заснул. С наступлением сумерек проснулся, и первое, что увидел, был пистолет, который чистил мужчина с двумя кубиками в голубых петлицах. Над нами шумели молодые березы.

— Слушай, разведчик! — обратился ко мне незнакомый командир. — Давай-ка махнем через Днепр. Вдвоем проскочим. — В сумерках я едва различил усталое лицо этого пожилого человека. — А то ведь с этим хвостом, — он кивнул в сторону машин, — пропащее дело… А? Как смотришь?

— Был я за Днепром. Там всюду немцы. На Полтавщине с трудом выбрался из котла.

— Так фашисты уж, наверное, к Москве поперли. На нашем пути будут только их третьи эшелоны. Проскочим. Нам надо скорее уйти в леса. А здесь, в степи, каждый суслик на виду. Ну как, пойдешь?

— Не могу, — ответил я. — Что ж я, этих людей брошу?

— Брось ерундить! Так не проскочим, где-нибудь да напоремся. Да и разброд у нас, каждый в свою сторону гнет. Начальника-то нет, а этот, в реглане… тоже мне хренов стратег! Никто подчиняться ему не хочет. Командир конного взвода разругался с ним начисто. Я тоже решил действовать самостоятельно. Вот и тебе предлагаю, за компанию…

Я наотрез отказался.

— Ну, как знаешь. Не настаиваю. Только тому, в реглане, не трепи. Ясно? Ночью уйду один. — И он быстро вскочил с земли, сунул пистолет в кобуру, хлопнул по ней ладонью, расправил на мускулистом торсе гимнастерку.

Через мгновение он исчез. Сумрак наступающей ночи поглотил его, а хруст веток под удаляющимися шагами заглушило резкое тарахтение. В двадцати метрах от березняка по дороге замигали фары немецких мотоциклов.

На краю гибели

Наши машины, сбросив маскировку, вытянулись из

березняка. Командир в реглане сел в головную машину, я встал на подножку и, всматриваясь в ночную темноту, показывал шоферу дорогу.

— Левее, левее! — говорю я.

— Правее! Резко правее! — обрывает меня командир. Колонна ушла вправо.

— Надо было левее, — сказал я. — Мы еще до двух тополей не доехали.

— Правильно едем! — настаивает командир. — Правее бери! Скоро должна быть дорога…

Глухо урча моторами, машины шли без огней, через большое поле, прямо по целине.

— Стоп! — скомандовал командир и вышел из машины. — Вытянуться цепочкой всем, кроме раненых, — приказал он. — И следовать друг за другом на расстоянии видимости. Двинулись! — И сам пошел первым.

Мы проплутали зря. Цепь разорвалась. Спустя некоторое время вынуждены были вернуться к машинам. Начальник ругался площадной бранью, обвинял в неудаче всех, кроме самого себя.

— А ты вали отсюда к чертовой матери! — неожиданно выпалил он и, повернувшись ко мне спиной, сел в машину.

Я соскочил с подножки и, уязвленный незаслуженной грубостью, забрался в кузов продовольственной машины и улегся рядом с поваром-грузином под брезентом на мешке с мукой.

Машины некоторое время еще двигались, а затем снова остановились.

— Разведчик! Разведчик! Где он там? — послышались голоса.

— По твою душу, — улыбнулся грузин.

— Разведчика к командиру!

И я снова стою на подножке и снова показываю дорогу. Некоторое время едем молча.

— Где же твои тополя? Нет их нигде! — злится командир. — Пошел вон!

Меня прогоняли и опять вызывали. И так несколько раз. В кромешной тьме машины ехали неизвестно куда, и только с рассветом, проплутав всю ночь по полям, мы наконец выбрались на грунтовую дорогу и помчались вперед, ощетинившись винтовками. Возле маленького полустанка колонна попала под вражеский обстрел и, на ходу приняв бой, распалась. Машина с продовольствием, на которой я ехал, очутилась совсем одна в небольшой березовой рощице, на окраине местечка Зеленая. В селе были немцы. Винтовки мы закопали в рощице — кончились боезапасы, продукты передали хозяевам крайнего дома, рядом с которым мы оказались и где довольно искусно большими

зелеными ветками замаскировали машину.

Командир в кожаном реглане был виноват в том, что от нас ушли другие командиры и конный взвод ночью запропастился неизвестно куда. Надо было не ругаться с ними, а посоветоваться. А он хотел все делать сам, хотя в ночной темноте ориентироваться не мог. Всех обругал, всех разогнал, и из-за его безалаберных команд рассеялись остатки штаба этого соединения.

Что делать? Той же ночью мы с поваром и с двумя бойцами двинулись по направлению к Николаеву. Один из бойцов был мой бывший напарник по разведке, узбек.

В ближайшем же селе от нас отстал повар-грузин, он был очень толстый мужчина, шагать пешком было для него страшной мукой. Потом куда-то пропал второй боец. Остались мы с узбеком вдвоем. А вскоре я и его потерял, и вот при каких обстоятельствах. Напоролись мы на немцев. Спали они в придорожном кювете — рядом лежал на боку мотоцикл без колеса, а несколько в стороне — их танкетка, без гусениц. Мой напарник решил прикончить их финкой. Как только мы обсудили план действий, со стороны танкетки раздался окрик — нас заметили, — и тут же резанула автоматная очередь. Немцы вскочили с земли, а нас обоих как ветром сдуло: разбежались в разные стороны и растворились в темноте…

Остался опять один.

На рассвете заметил в поле стог сена и направился к нему, чтобы передохнуть. Приземлился на чей-то сапог. Кто-то выругался, и из-под стога выбрался черноволосый мужчина в немецкой фуфайке, за ним — второй — белобрысый парень. Оба без оружия, и у меня оружия не было (командир в реглане отобрал ТТ, когда я уходил в разведку, да так и не вернул). Не успели мы и слова сказать друг другу, как перед нами словно из-под земли вырос верховой немец.

— Лос! Пошоль! — Дуло его автомата прочертило полукруг, указывая нам путь…

Все произошло в один миг — и вот под конвоем верхового немца мы следуем в село, к дому с мезонином, над крышей которого развевается фашистский флаг. Нас вводят в помещение. Обыскивают. Появляется офицер.

— Зольдат? — обращается он ко мне.

— Нет.

— Зольдат? — обращается он к белобрысому парню. Тот молчит, словно воды в рот набрал. Офицер подходит к черноволосому:

— Юде? (Еврей?)

Тот не понимает вопроса. Он грузин. Офицер бьет его по лицу.

— Цап-царап! Немецкий! — говорит он, тыча стеком в фуфайку, и, повернувшись к фельдфебелю, добавляет: — Erschiessen![11]

— Zu Befehl![12] — вытягивается в струнку пожилой фельдфебель.

Нас троих выводят наружу. Улица пустынна. В домах словно все вымерло. Две винтовки наперевес: одна — впереди, другая — позади. За плетнем стоит босая женщина в белой косынке. Она провожает нас скорбным молчанием. Маленький испуганный мальчонка держится за ее подол. Мы поравнялись.

— Матка, лопат, копат! — кричит немец.

Женщина не понимает. Тогда немец жестом показывает, что ему надо. Женщина уходит и выносит из сарая три лопаты. Идем дальше… Миновав село, выходим на картофельное поле. Один немец очерчивает палкой продолговатый квадрат, другой передает нам лопаты. Оба немца отходят в сторону. Мы начинаем рыть землю.

Стоя в стороне, в трех шагах от нас, каратели с холодным равнодушием глядят, как наши лопаты врезаются в рыхлый украинский чернозем, выбрасывают комья земли вместе с картофелинами и, порой разрезая их, обнажают белую, сверкающую влагой сердцевину… Ах, до чего же крупна и хороша эта украинская картошка!

Яма под нами становится все глубже, мы уже в ней по колено. Немец показывает винтовкой, чтобы копали не вширь, а вглубь.

— Бистро! Бистро! — приговаривает он.

— Могилу для себя роем, расстреливать будут, — шепчу я грузину.

В черных блестящих глазах под густыми бровями я вижу, как вспыхивает его ненависть, как задвигались давно не бритые скулы, сжались крепкие челюсти.

— Hast du Feuer?[13] — спрашивает один каратель другого, вынимая сигарету из портсигара.

— Komm![14] — отвечает тот.

Немцы чуть отошли от нас в сторону, закуривают. В это мгновение грузин с лопатой наперевес одним прыжком вылетает из ямы. Я выскакиваю вслед за ним. И мы оба со всего маху оглоушиваем карателей лопатами, потом бьем еще раз, и все трое разбегаемся в разные стороны… Меня укрывают кукурузные заросли.

Катя и ее подруга

Пять ночей, обходя немецкие посты, я пытался догнать наши отступающие части…

В одном из сел, зайдя в крайний дом, в котором собирался отдохнуть и попросить хлеба, напоролся на немцев, был схвачен, посажен в машину и вскоре под конвоем с такими же «скитальцами», как я, очутился в фашистском лагере в небольшом городке Александрия Кировоградской области.

Проснулся в лагерном бараке. Одна мысль сверлит мозг: бежать! бежать! бежать! Слышу крики на построение. Знание немецкого языка и от немцев, и от пленных скрываю. Быстро вскакиваю с голого пола и попадаю в колонну заключенных, выходящих в город. Весь день мы таскаем книги из городской библиотеки на улицу. Кое-что все же удалось спасти, в сутолоке прячу книги за батареи отопления. Немцы на улице обливают книги керосином, поджигают. В огромном костре коробятся и шуршат страницы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гете, Шиллера. Черными птицами порхают по ветру. Немцы гогочут.

Время обеда. Из лагеря привезли бачок баланды. Нам раздали железные миски. Кучно сели на землю и начали свою горькую трапезу. Откуда-то доносится лязг железных цепей. Через минуты две-три видим моряков, которых гитлеровцы ведут под усиленным конвоем. Тельняшки на моряках висят клочьями. Лица в синяках и кровоподтеках. На головах у многих окровавленные бинты. Они медленно бредут мимо нас, попарно закованные в цепи. Вместе с нами наблюдают за этой процессией местные жители. Какая-то старушка вынула из кошелки буханку хлеба: «Пан, пан! Разреши…»

— Weg! Weg![15] — Конвой отталкивает старушку прикладом винтовки.

Безрукий матрос встряхивает темными кудрями:

— Не надо, мать! Мы сыты!

— Во какие кольца обручальные мы у Гитлера заработали! — смеется другой, потряхивая цепями.

— Schnauze halten![16] — кричит конвоир.

Ночь. Стоит на мгновение опустить веки, как снова в глазах маячат черные птицы пепла от горящих книг, проходят закованные в цепи моряки. Отчаяние будоражит сознание, не дает уснуть, боль обжигает сердце.

Время сместилось. Прошлое кануло в бездну, как будто его и не было вовсе. Все обнажилось до предела, до крайности. Каждый нерв ощутим. «Так вот она какая, эта война, — жестокая, беспощадная, и в ней, в этой безжалостной, кровавой бойне, надо найти свое место… Бежать! Только бежать!»

…Ранним утром с небольшой группой заключенных под

конвоем я очутился на огромном дворе. Каменные строения расположены вокруг кольцом. Двое железных ворот охраняются с внешней и с внутренней стороны автоматчиками и выходят на параллельные улицы: на Перекопскую и Красноармейскую. До войны здесь было артиллерийское училище. Поблизости железнодорожная станция, об этом легко догадаться по паровозным гудкам.

Присматриваюсь и отчетливо сознаю — отсюда без посторонней помощи не вырвешься. Во дворе, кроме нас, пленных, работают много вольнонаемных и служащих из Александрии, у них в эту зону есть специальные пропуска. Кругом снуют немецкие солдаты и офицеры, за нами неотлучно следят лагерные конвоиры, запрещают общаться с вольнонаемными. Мы выполняем функции рабочей бригады. Одни таскают доски и бревна, другие — песок и глину для штукатурки центрального здания. Кто заделался столяром, кто — кузнецом. Три человека очищают от мусора двор. И на всех на нас нацелены фашистские автоматы. Обдумываю план побега.

Наступило время обеда. Нас собрали в бараке в общую кучу, и тут меня и еще одного заключенного послали под конвоем в здание немецкой кухни за хлебом. В хлеборезке под наблюдением немки работают две наши девушки. Одна специальной машинкой режет буханки белого хлеба, другая — намазывает тонкие ломтики маслом, вареньем, медом — все это только для солдат расположенной здесь немецкой воинской части. В деревянный ящик девушки собирают хлебные обрезки, за которыми мы и пришли.

Улучив момент, когда немка вышла из хлеборезки, я подошел к одной из девушек.

— Как тебя зовут? — тихо спросил я.

— Катя, — улыбнулась девушка и так приветливо на меня посмотрела, что я решился попросить ее о помощи.

— Ты поможешь мне?

Она озадаченно посмотрела на меня и после некоторой паузы кивнула. В ее глазах я прочитал вопрос: «А чем? А как?»

— Ты завтра работаешь?

— Нет, выходная. Сменщица выйдет.

— Вот и хорошо! — прошептал я. — Приходи, только не одна, а обязательно с подругой, в обед и встань на Красноармейской, на углу переулка напротив вой тех ворот. — И я показал рукой в нужную сторону. — Захвати с собой что-нибудь из одежды и обувь, а то ты видишь, в чем я…

— Хорошо!

Дверь отворилась, вошла немка с моим напарником, он

держал железный кувшин с эрзац-кофе. Я подхватил ящик с обрезками хлеба, и мы вышли в коридор. Конвой нас ждал.

Остаток дня я обдумывал каждый шаг, каждую деталь, тщательно взвешивал все за и против…

Утром нас погнали из лагеря — и снова на тот же огромный двор. Я очень нервничал, и бревна, которые были так тяжелы вчера, сегодня казались мне совсем легкими. Еще до обеда я оставил в коридоре здания, откуда собирался бежать, топор и пилу. Во время обеда в бараке, когда уже был роздан хлеб и заключенные уселись на землю с кружками, я подбежал к своему конвоиру и стал ему жестами объяснять, что, мол, забыл в коридоре инструмент.

— Лос! Бистро! — сказал он.

Вихрем помчался через двор. В моем распоряжении было всего три-четыре минуты. В коридоре вольнонаемные плотники под наблюдением немцев перестилали полы. Задержав дыхание, я медленно, делая вид, что что-то разыскиваю, пошел вдоль коридора… Сейчас будет дверь, за которой еще вчера я присмотрел висящий на степе ключ от уборной. Открываю дверь. Ключ висит. Хватаю ключ, кладу в карман и направляюсь в конец коридора. Ноги почти не слушаются. Сердце бьется учащенно. Открываю уборную (в которую входили только немцы), запираюсь на ключ изнутри, дергаю первую раму окна, за ней — вторую. В окно врывается уличный шум, мимо проезжают какие-то подводы, гудят машины, сиу-ют люди. Какой-то малыш кричит другому: «Гей, Панас, мамо тэбе шукае!..» На противоположной стороне улицы, на углу, сидит старушка, торгует семечками, и возле нее… — о, счастье! — стоит Катя с подругой. Махнул рукой. Катя заметила. Мерный стук кованых сапог заставил меня отпрянуть от окна. Но часовой не доходит до моего окна, останавливается, поворачивается, и я слышу мерные удаляющиеся шаги. Выглядываю, вижу метрах в пяти от меня спину, каску, локти с засученными рукавами, автомат на шее. Руки фашиста на автомате. Снова сигналю Кате. Подруга ее перешла дорогу, значит, поняла, что надо как-нибудь отвлечь часового, чтобы стоял ко мне спиной…

Катя быстро идет к моему окну. Лицо сосредоточенное, серьезное. Еще несколько мгновений, и я молниеносно освобождаюсь от деревянных постолов1 и с кошачьей ловкостью соскакиваю вниз, с подоконника на тротуар. Тут же накидываю протянутое Катей пальто, нахлобучиваю на бритую голову кепку, обуваюсь в чьи-то тапочки, и через несколько секунд мы с Катей пересекаем улицу и сворачиваем в переулок. Ее подруга все еще посмеивается и, жестикулируя, привлекает к себе внимание

немецкого часового…

Вспоминаю сейчас все это, и мне даже страшно подумать, на какой риск шли эти отважные девушки-комсомолки. Если бы не они, что было бы со мной?!

В гостеприимной семье

Катя и ее мать приютили меня на ночь. Наутро — в путь. В гражданской одежде, с противогазной сумкой через плечо, где были куски хлеба, початки вареной кукурузы и вареные бураки — дары моих добрых спасителей, — я выбрался из города.

Шагаю только по ночам, а днем отсиживаюсь в укромных местах.

Прошла неделя.

Отдохнув в чьем-то саду, заросшем густой крапивой, я как-то под вечер вышел на улицу большого села. Немцев здесь не было. Фронт, видимо, прошел стороной. На скамейке посреди сельской улицы собрались девушки. Парней — ни одного. Вокруг полно ребятишек. Я поравнялся с девчатами.

— Добрый вечер!

— Добрий вичер! Сидайте!

Я присел. Рядом со мной — белокурая франтиха с голубыми глазами. От нее пахнет французским одеколоном. Улучив момент, тихо спрашиваю:

— Ты здешняя?

— Нет.

— А откуда?

— Из Днепропетровска.

— А здесь что делаешь?

— За картошкой. Днепропетровский немецкий комендант дал машину с немецким шофером. А здесь гощу у родственников. — Она кивнула на окно дома, рядом с которым мы сидели.

Девушки расходятся, ребятишки тоже. Мы остались одни.

— А ты откуда?

— Отбился от части. К своим пробираюсь. Вот посижу с тобой чуточку и в Николаев подамся. Могу и тебя прихватить в попутчицы.

— В «попутчицы»… А может, ты ко мне в попутчики, — усмехнулась девушка. — Что это у тебя в сумке? Противогаз?

— НЗ.

— Что?

— Неприкосновенный запас.

— А ну-ка. — Она с любопытством заглянула в сумку и посмотрела на меня с сожалением. — Не позавидуешь тебе.

Я промолчал. «Днепропетровск уже под немцами» — эта новость ударила словно обухом по голове.

— Немецкие офицеры говорят, что и Ростов взяли, что к зиме будут в Москве.

«А Николаев? — подумал я. — Что, неужели и там уже немцы?»

Сидим молча.

Но вот она встала. В лунном свете вижу ее складную фигурку, на ногах туфельки на высоких каблуках.

— Ну, желаю тебе счастливого пути!

— Тебе тоже! — Я смотрю ей вслед, и какое-то необъяснимое чувство заставило меня задержаться. Скручиваю козью ножку, закуриваю.

В доме заплакал ребенок. Захлопнулось окно. Я встал и, машинально открыв калитку, вошел в сад. Тропинка повела меня между яблонями куда-то вниз, и в лунном свете я наткнулся на завешенный простыней вход в самодельное бомбоубежище. Постоял в нерешительности, нагнулся, легонько отстранил простыню и очутился внутри.

— Кто это?

Я зажег спичку и увидел знакомую девушку.

— А-а, попутчик НЗ! — засмеялась она и зажгла свечку. — Как же тебе удалось меня найти?

— Чутье подсказало, я ведь старый разведчик.

— Старый? Сколько же тебе лет?

— Девятнадцать.

— А мне двадцать два. Только не дыми на меня, пожалуйста. Здесь и так дышать нечем.

Я погасил козью ножку.

— Как тебя зовут?

— Люся. А тебя?

Я помедлил с ответом.

— Володя.

— Вот здорово!

— Почему?

— Да так… Совпадение… Моего мужа так звали.

— А ты замужем?

— Была… Есть хочешь? Принести тебе молока? — И, не дождавшись ответа, она проскользнула мимо меня к выходу. Вокруг такая тишина, что кажется, и войны никакой нет.

Люся вернулась с крынкой и свежей пшеничной буханкой. С наслаждением выпил вечернего молока, отломил кусок мягкого душистого хлеба.

— Слушай, — неожиданно произносит девушка. — А может

быть, ты останешься? Поедем в Днепропетровск. Ведь пропадешь. Поедем, а? — спрашивает она ласково, почти по-матерински, прикоснувшись к моей голове.

Чувствую, что меня захлестывает волна нежности… Кружится голова. Я плохо понимаю происходящее…

— Глупый! — Она гладит меня по голове. — О майн гот! [17] — произносит она по-немецки.

— Ты знаешь немецкий?

— Как же мне его не знать, если я немка.

— Как — немка? — удивился я.

— Очень просто, я родилась в немецкой колонии под Одессой, но немка только по отцу, мама у меня русская.

— Вот это да!

— Что улыбаешься?

— Я ведь тоже говорю по-немецки.

— Неужели? — И она задала мне несколько вопросов на немецком языке, на которые я легко ответил.

— Где ты учился? Или ты тоже немец? — Люся была крайне удивлена.

— Нет, я не немец… Но язык знаю с детства. У нас в семье жила немка Эмма Ивановна. Дома мы, дети, говорили только по-немецки. Когда она умерла, мне было десять лет, и мама моя преподавала немецкий язык в школе.

— Как это здорово! Сейчас немецкий тебе здорово пригодится… А то, что мы встретились, — это судьба. И ты будешь со мной счастлив! Я хочу, чтобы ты остался со мной. И никуда я тебя не пущу. Некуда тебе идти! Понимаешь — некуда! Где фронт, ты не знаешь, а бои теперь далеко на востоке. Всех мужчин немцы загоняют в лагеря и будут вывозить в Германию. А со мной ты не пропадешь, я тебя выручу… Ну как? Останешься?

Долго в эту ночь я не мог заснуть. Люся лежала рядом. Я всем существом ощущал ее близость, теплоту. Но я не дотронулся до нее — мне и так было хорошо.

На рассвете встал и вышел из убежища в сад. Поднималось солнце. Горланили петухи. Где-то тявкнула собака, на траве лежала густая роса.

Высоко в небе летели строем наши бомбардировщики, они, видимо, отбомбились глубоко в тылу врага и теперь под прикрытием «ястребков» возвращались на свои базы.

— Володя! Где ты?

Я обернулся. Люся, уже одетая, стояла у входа в бомбоубежище. На ней было платье в белую и синюю полоску. От нее веяло молодостью и силой.

— Ну, решил? Едешь со мной? Машина уже ждет. Тебе сейчас

надо пристроиться. Как же ты этого не понимаешь? Я помогу тебе в Днепропетровске. С приходом немцев мы оказались в привилегированном положении, пользуемся пайками, льготами. А мне ты можешь вполне довериться. Я всегда была активисткой. И комсомольский билет не выкинула, как другие, спрятала и берегу…

Я молчу. Сейчас, сию же минуту мне надо все решить. Как быть? Наши войска отступают. Отыскать знакомых бойцов практически невозможно. До фронта, судя по обстановке, сотни километров, и он все дальше и дальше откатывается на восток. Погибнуть от фашистской пули — проще простого. За колючей проволокой лагеря я уже побывал. Зачем лее погибать зря, как говорится, ни за понюшку табаку! Зачем? «А кто должен немцам дать прикурить? Кто хочет воевать, тот и здесь найдет свой фронт!» — как-то в лагере сказал мне один старик. Эти слова накрепко врубились в мое сознание… И я решил ехать с Люсей в Днепропетровск, постараться раздобыть немецкие документы, уйти в подполье и там действовать по обстановке…

В чужом доме

— Подумайте, вы идете на большой риск. Вы можете столкнуться со страшными неожиданностями. Вы так неопытны… — Мать Люси Ольга Петровна говорит спокойным негромким голосом, поглядывая на нас с затаенной печалью.

Мы сидим за столом в их маленькой столовой. В глиняных украинских плошках краснеют спелые, толстокожие помидоры, зеленеют свежие огурцы. Душистая буханка хлеба нарезана щедрыми ломтями. Меня угощают галушками со сметаной. Снеди вдоволь, но мне сейчас не до еды.

— Да, вы правы, Ольга Петровна; конечно, мы очень рискуем. — Я стараюсь не волноваться. — И мне вполне понятна ваша тревога. Немцам ничего не стоит нас разоблачить, все наши доводы о прежней супружеской жизни шиты белыми нитками. Но я все же надеюсь, что все обойдется благополучно. Во-первых, я говорю по-немецки, и это должно подкупить немецкого коменданта. Во-вторых, Люся знает его лично и тоже предполагает, что он не будет особенно копаться в наших документах. А в-третьих, успехи на фронте так вскружили им голову, что их сейчас нетрудно провести. Мы постараемся обмануть их, перехитрить.

— Ой ли! — Глаза Ольги Петровны смотрят на меня с нежностью и явным беспокойством.

А у меня одна мысль: «Надо рискнуть. Другого выхода пока

нет Потом все станет на свои места. А сейчас главное — получить немецкие документы».

Я посмотрел на Люсю и ее младшую сестру Клаву, они сидели напротив нас с Ольгой Петровной, не вмешивались в разговор.

Сквозь тюлевые занавески в комнату врывалось осеннее солнце, оно золотило обои, сверкало на полированной крышке пианино, и столб мельчайших пылинок напомнил мне подмосковное лето на станции Катуар. В памяти возникли счастливые минуты того незабываемого времени, которое сейчас потеряло для меня всякую реальность. И только седые волосы Ольги Петровны, разделенные ровным пробором, и глаза, полные печали, вдруг до боли напомнили мне мою мать Ольгу Михайловну…

Моя мать — высокая, худая, с постоянной папироской в длинных пальцах натруженной руки. У нее седые, коротко подстриженные волосы, чуть сутулая спина. Самое прекрасное в ее лице — огромные, черные, как у цыганки, глаза, то встревоженные, то смеющиеся. А сколько заботы о нас, детях, в каждом ее движении, в каждом жесте, в каждом ласковом слове!

Мать воспитывала нас одна. Отец рано умер.

Брат Сергей, ему двадцать один год, работает слесарем на заводе «Динамо». По вечерам, забравшись на чердак, чтобы ему никто не мешал, среди хлама, мусора, паутины и бродячих кошек — пишет свой первый в жизни роман. Ходит в длинной залатанной старой шинели, купленной по дешевке на базаре… У него здоровый цвет лица и широко раскрытые пытливые, совсем детские глаза. Он смешлив и остроумен. Он — душа семьи и единственный кормилец.

Брат Александр, ему шестнадцать лет, все время что-то мастерит. Любознательный, вечно что-нибудь изобретает. Суждения его безапелляционны. Он бережлив и деловит. Все технические неполадки в доме быстро устраняются его умелыми руками. Он учится в техникуме.

Миша — это я, мне двенадцать лет, я — пионер, ученик пятого класса «Б». Я всех люблю и всему радуюсь. Уши мои торчат. Штаны — выше колен. Учусь я на четверки и радуюсь, что нет троек. Гоняю в футбол и счастлив, когда в ворота противника влетает мой мяч. Если же мой змей поднимается выше всех в облака, я ликую и чувствую себя победителем стратосферы. Незабываемый день детства тот, когда Сережина жена Наташа (мой старший брат женился рано) сама сшила мне первые длинные брюки. Помню, я часами стоял на улице Горького, выставив вперед ногу, в надежде, что хоть кто-нибудь из

прохожих посмотрит на мою обнову. Но вечно спешащие по делам москвичи проходили мимо, не обращая на меня никакого внимания.

Вспомнилась наша зеленокудрая Башиловка, старенький двухэтажный деревянный дом. С соседями по квартире мы жили очень дружно. Эти скромные милые люди, Федор Андреевич и Мария Мироновна Королевы, любили мою маму и всячески ей помогали. Их сын Борис — красивый и умный парень, мой ровесник и друг…

Лето 1940 года. Бориса и меня призвали в армию. Помню, как наши семьи объединились для прощального обеда. Родители старались смягчить тревогу и горечь расставания, а мы, слегка захмелев, затягивали хором: «Как родная меня мать провожала…»

И вот я в доме у чужой матери, за чужим столом.

— Не знаю, не знаю, удастся ли вам получить у немцев документы, — как сквозь сон слышу слова Ольги Петровны. И снова возвращаюсь к действительности.

— Сейчас десятки тысяч людей слоняются без документов, — говорю я. — Немцы не в состоянии проверить каждого. Так что вы не беспокойтесь. Все будет хорошо, и документы получим. — Я рассеянно смотрю, как Клава грызет немецкое печенье, заедая его украинским клубничным вареньем.

Ольга Петровна с сомнением качает головой.

— Ах, дети, дети… А как же быть с Петром Петровичем? — говорит она и косится на Люсю. — Он может к нам зайти. Что ты ему скажешь?

— Он меня не предаст!

— Ой ли! Что-то не внушает он мне доверия, очень уж скользкий тип… расплывчатый какой-то… подозрительный…

— Какая ты, мама, пессимистка! Ни во что не веришь, всего боишься.

— С тех пор как в тридцать седьмом году арестовали твоего отца, я потеряла веру в людей… Разве он был виноват, что родился немцем? Добрый, преданный партии человек. Мы еще не знаем, что с нами будет, когда вернутся наши войска, да, да, не знаем. Ты же у немцев работаешь, пользуешься их карточками, их привилегиями… Как же мне не тревожиться за вас? — Ольга Петровна углом фартука смахнула накипевшие слезы и, глубоко вздохнув, промолвила: — Хоть бы вы не пострадали, такие молодые. Вам еще жить да жить…

Поздно вечером при свече Люся рассказала мне историю своего замужества. Ее муж был эстрадным артистом из Курска, приехал на гастроли в Днепропетровск. Они встретились, и, хотя Люся только что закончила школу, ничто не могло ее удержать:

она влюбилась, вышла замуж и уехала с мужем в Курск. Артисту, кроме всего прочего, понравилась ее немецкая фамилия. После регистрации брака он стал Владимиром Цвейсом. Вскоре был призван на флот и начал службу матросом на Черном море на крейсере «Красный Крым». Оттуда и прислал своей жене справку, и вот этот документ сейчас передо мной. Читаю: «Настоящая справка выдана моряку Черноморского флота Владимиру Цвейсу, удостоверяет о прохождении действительной службы…» Все в порядке, печати, подписи — документ настоящий, подлинный. Это и есть мой единственный документ, с которым я пойду к военному коменданту Днепропетровска Гендельману, чтобы «поговорить с ним по-немецки…».

— И помни, — говорит Люся. — Каждому человеку я буду представлять тебя как мужа. Пусть все знают, что ко мне вернулся муж. Здесь, в городе, с ним никто не знаком. Так уж получилось тогда, что он сразу увез меня в Курск.

В ту первую ночь в Люсиной семье мне было о чем поразмыслить. Я находился в безвыходном положении. Один! Совсем один.

А за окном оккупированного города жизнь полна тревог и опасностей. Каждый неверный шаг грозил неминуемой гибелью. Только под утро я смог забыться тревожным сном.

Хромов

— Чья это? — спрашиваю я у Ольги Петровны, снимая с полки в передней запыленную старую кепку.

— Боже мой! Это кепка моего мужа. Я ее спрятала и просто не представляю, как она сюда попала.

— Разрешите мне ею воспользоваться?

— Конечно, конечно. Берите! — Вдруг она спохватывается: — Куда же вы собрались? Вас могут схватить… В городе облавы.

— Не беспокойтесь, будет опасно — вернусь. Нахлобучив кепку, выхожу на улицу… Городские дома наглухо закрыли свои окна. Мимо них непрерывным потоком текут вражеские колонны, грохочут повозки и походные кухни. Немецкие солдаты, запыленные с ног до головы, в касках, с амуницией, сидя в открытых грузовых машинах, нагловато ухмыляясь, перебрасываются отдельными фразами и дружно гогочут.

Другие, под косыми взглядами прохожих, шагая в строю, пиликают на губных гармошках. Слышна мелодия модной эстрадной песенки «Лили Марлен».

На стенах домов и заборах белеют приказы немецкой комендатуры. Это объявления на немецком и украинском языках:

«За появление на улице позднее 8 часов до 5 утра — расстрел!», «За сопротивление оккупационным властям — расстрел!», «За укрывательство коммунистов и партизан — расстрел!».

«Новый порядок» уже действует.

Со слов Люси я знаю, что переправы взорваны советскими войсками, отошедшими на левобережье Днепра. Света в городе нет. Воды нет. Трамваи не ходят. Заводы не дымят — разрушены и демонтированы. Немцы развили активную деятельность по их восстановлению. Рабочих гонят на работу. Идет запись в полицию, но на службу принимают только тех, кто уже получил немецкие документы…

Иду по городу, присматриваюсь. К полудню становится жарко. Захожу в какой-то палисадник на окраине. Возле бочки умывается дородная женщина, наливая в пригоршню чистую воду из глиняного кувшина.

— Хозяйка, напиться можно?

— Хиба ж не можна! Иды сюды!

Подхожу. Она наливает мне колодезной воды в расписную кружку и пытливо смотрит на меня уголками прищуренных глаз. Открывается калитка, и в палисадник входит хромой мужчина.

— Що за хлопчик? — спрашивает он.

— Да тут зайшов… Хиба ж мало их блукае в що годину! — Она ловко подхватывает коромысло и легко входит в дом.

— А ну, зайди! — глухим низким голосом произносит мужчина, и я вслед за ним, сняв кепку, вхожу в горницу. В ней — чисто, ароматно пахнет травами, подвешенными пучками вдоль печки на шнуре. — Чого стоишь? В ногах правды нэмае, сидай!

Сажусь на лавку.

— Из какой дивизии?

Обдумываю, что сказать. Вопрос задан слишком прямо, в лоб.

— Рыбак рыбака видит издалека, — улыбается незнакомец. — Или за свою шкуру боишься? — добавляет он уже строже. — Не бойся. Бог не выдаст — свинья не съест. Давай начистоту. Сержант, нет? Или я ошибаюсь?

Рассказываю свою несложную биографию и каким образом оказался в Днепропетровске. Сказал, что я москвич Николай Соколов. Поставил акцепт на хорошем знании немецкого языка. Мой новый знакомый слушал внимательно, не перебивал. Мы сидели на лавке и в паузах пытливо посматривали друг на друга. Незнакомец мне нравился: мужественное лицо, военная выправка. Вдруг он встал, достал откуда-то с печки коробку, вынул из нее бинт, йод, затем сел на лавку, сиял сапог и начал перебинтовывать раненую ногу.

— Так где ж ты живешь? — спросил он.

Я ответил, что Люсин дом находится вблизи Горного института.

— А вы ранены?

— Во время бомбежки под Одессой покалечило. Стрептоцидика бы достать — сразу бы затянуло. Мокнет, холера ее забери, и щиплет. — Занятый своим делом, он продолжал задавать вопросы, я отвечал.

Так в мою жизнь вошел товарищ Хромов.

Я доверял своей интуиции, своему чутью, хотя и молодому, незрелому, доверял первому впечатлению о человеке и отвечал доверием на откровенный разговор. По жестам, по походке, по манере смотреть и говорить, по малейшим оттенкам голоса я мог определить характер человека, его сущность. И совсем не надо быть тонким психологом-физиономистом, чтобы распознать, кто он — друг или враг. Хорошего человека сразу видно, особенно во вражеском тылу. Хромов обладал чертами, присущими настоящим патриотам. Я поверил ему и не ошибся. Конечно, он не открыл мне всех своих карт. Долго прощупывал и наконец, когда утвердился в своих предположениях, в меру допустимого рассказал о себе. Я понял, что он из местного подполья, где соблюдается строжайшая конспирация. Кроме своей он назвал еще одну фамилию: Науменко.

— Если тебе удастся зацепиться за биржу труда или за самого коменданта, будешь нам полезен. В городе облавы, обыски. Немцы арестовали видных ученых, учителей, не успевших эвакуироваться, упрятали их в тюрьму… Дел по горло. Только рукава засучивай. И нам позарез нужны верные люди, особенно в их аппарате управления… Значит, завтра — в комендатуру? — переспросил Хромов.

— А куда ж денешься без документов?..

— Желаю успеха!

На следующее утро мы с Люсей отправились к военному коменданту Днепропетровска.

Город выглядел уныло и настороженно. Разбомбленные, разрушенные дома. Откуда-то из-за железной ограды тянуло тошнотворным, удушливым запахом дыма и гари.

Отброшенные с проезжей части улицы, злобно щетинясь, то там, то здесь торчат противотанковые «ежи», штабелями громоздятся мешки с песком. Следы недавних боев: разбитая военная техника, воронки от авиабомб… По улице ползут приземистые, как черепахи, танки с черными крестами на броне, тащатся автомашины с двойными прицепами, самоходные орудия. Подвыпившая немецкая солдатня с кузовов грузовиков громко горланит фашистские песни:

Если весь мир будет лежать в развалинах,
К черту! Нам на это наплевать!
Мы все равно будем дальше маршировать!
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
А завтра — весь мир!..

Истощенные, в лохмотьях, военнопленные группами под окрики и свистки полицейских расчищают захламленные улицы. Два сильных взрыва со стороны вокзала сотрясают землю. Что это? Дальнобойная советская артиллерия провела через Днепр массированный артналет или, возможно, советская разведгруппа — подрывники, получив приказ, взорвали то, что не успели взорвать отступавшие наши части?..

Выходим на проспект Карла Маркса. Пьяный немецкий патруль почему-то загоняет в дома женщин и детей. Истошные вопли, крики, автоматная дробь. Мостовая окрасилась кровью.

По улице Короленко поднимаемся в гору. Подходим к зданию военной немецкой комендатуры. Входим в вестибюль. Люся, переговорив с дежурным офицером по-немецки, обращается ко мне:

— Жди меня здесь! — и исчезает в канцелярии.

По коридору снуют немецкие офицеры и какие-то типы в штатском.

Люся вышла из канцелярии:

— Идем! Нет, не сюда. Нам к выходу, на улицу.

— Что узнала?

— Военный комендант этими делами не занимается. Дела бывших советских военнослужащих в ведении инспектора военной полиции — оберштурмбанпфюрера СС Пауля Шильтенбурга. К нему сейчас и пойдем…

В приемной нам навстречу поднялся из-за стола молодой красивый немец в штатской одежде:

— Вы к кому, фрейляйн?

— Нам нужно видеть инспектора Пауля Шильтеибурга.

— Разрешите узнать, по какому вопросу?

— По вопросу оформления на работу моего мужа.

— Этим занимается военная комендатура — 5-й отдел.

— Я там была. У моего мужа еще не оформлены документы. Меня направили сюда.

— Ваша фамилия?

— Цвейс.

— Одну минуточку! — Молодой немец исчез за дверью и вскоре появился снова: — Можете пройти.

Жду ее возвращения.

— Здесь можно курить? — спросил я по-немецки.

— Так вы и есть муж этой миловидной особы? — спросил молодой человек, пренебрежительно оглядев мой костюм и пододвигая мне пепельницу.

— Благодарю!

— Вы немец? У вас хорошее произношение.

— С детства говорю по-немецки.

— Местным жителям, знающим немецкий язык, мы оказываем особое внимание… Между прочим, я слышал, что в России существовало много немецких колоний: на Волге, где-то около Одессы и на Кавказе. Не так ли?

— Еще с незапамятных времен в России жили немцы-колонисты. (Я открываю портсигар с немецкими сигаретами).

Звонит телефон. Немец поднимает трубку:

— Кроммер у телефона!.. Яволь! — И уже ко мне: — Пройдите!

В кабинете за столом сидит грузный немец с блеклыми холодными глазами. Облокотившись на стол, он манерно держит в пальцах сигару. Люся сидит в кресле с пылающим от волнения лицом и тоже курит.

— Где вы служили советский армия? — процедил фашист на ломаном русском языке.

— Матросом на крейсере «Красный Крым». Нас высадили десантом недалеко от Николаева. Был ранен. Вот добрался до Днепропетровска и встретился с женой, — отвечаю по-русски.

— Когда прибыл город?

— Вчера.

— Erzöhl mir keine Witze![18] По-за-вче-ра! — ядовито уточнил он.

— Хотя да, позавчера.

— Haimat? Родина?

— Курск.

— Национальность — руски?

— Русский.

— Фамилия Цвейс?

— При регистрации брака в Курске я взял фамилию моей жены. По нашим законам это разрешается.

— О, ваш закон! Dummes Gesetz! Глупый закон! — Инспектор достал из папки какой-то бланк и начал записывать мои ответы. — Год рождений?

— 1920-й.

— Профессий?

— Артист эстрады.

— Ого! Артист! Lieder gesungen. Пойте песня.

— Нет, декламатор.

— О, штец-декламатор! Ausgezeichnet! Похвальный профессий… Прошу извенит! Маленький служебный формальность. Ваша правый рука! — Инспектор взял отпечатки моих пальцев правой руки, затем стал что-то быстро писать на листке чистой бумаги. — После десяти часов zehn Uhr принести сюда фаши фото. Сказать фотограф: «Полицейский служба». Фотограф города любой имеет наш циркуляр, знает формат. Этот справка, — он указал на справку Владимира Цвейса, — с красной флот bleibt hier, здесь оставит. И вы получайт Ausweis, документ. Ясно?

— Вполне!

Затем мы перешли на немецкий язык и довольно долго и пространно беседовали, затрагивая разные аспекты жизни. Как мне показалось, нашей беседой инспектор был доволен. Заканчивая наш разговор, он сказал по-русски:

— Сейчас следуй nach биржа труда к переводчик Шварц. По-русски «шорный», — сострил инспектор. — Вот Шварц моя записка…

Простившись, мы вышли на улицу. Все как во сне. В реальность происходящего трудно поверить.

Фотография

Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и, когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил немецкие документы и ночной пропуск. Позже, когда я уже начал работать на бирже труда, Шварц не преминул продать мне за солидную сумму отрез сукна защитного цвета, из которого частный портной сшил мне приличную спецодежду. На складе мне выдали хромовые сапоги.

Биржа труда находилась на улице Плеханова, рядом с детским парком, в трехэтажном здании. В подвале содержались арестованные. На первом этаже проводилась регистрация всего населения от десятилетнего возраста, а также работала медкомиссия — отбирала людей для отправки в Германию на каторжные работы. Здесь же сновали пьяные полицаи-хапуги. Утром они ловили в городе детей, приводили их сюда, запирали, а вечером отпускали домой, беря с родителей выкуп: часы, сапоги, сало…

— Позаботьтесь, чтобы очистили во дворе помещения от

хлама, там тоже будут содержать арестованных, подлежащих отправке в Германию, — как-то отдал распоряжение Шварц (он имел в виду два деревянных сарая, стоящие за домом). — И на днях к нам прибудут две переводчицы из местных. Начальник СД герр Платт и из гестапо гаупт-штурмфюрер Мульде проверяют сейчас их биографии, — добавил он, демонстрируя мне свою осведомленность.

Я по-прежнему жил у Люси. С Хромовым была установлена связь, и однажды, выполняя его поручение, передал на улице незнакомому человеку по установленному паролю чистые регистрационные бланки, подписанные военным комендантом. На мой вопрос «Чем я еще могу быть полезен?» незнакомец предложил мне вычеркнуть из списка № 12 две фамилии: Кичко и Свинаренко. «Эти — уйдут на задание!» — пояснил он. На бирже труда каждый завод регистрировался под определенным номером, и тот завод, о котором шла речь, имел № 12.

Шварц русского языка не знает, а по-немецки говорит быстро и неразборчиво. Но я понимал его, схватывая смысл сказанного, хотя отдельных слов просто не знал. Это касалось главным образом военной терминологии, философских изречений, которыми он пользовался в изобилии, и замысловатых цитат из речей Гитлера и Геббельса. Поэтому мне пришлось усиленно заняться самообразованием, углубляя знание немецкого языка. С первого дня пребывания на бирже труда я стал читать немецкие газеты и всегда спрашивал Шварца, как понять то или иное слово, фразу. Он охотно практиковал со мной, и эти уроки явно пошли мне на пользу. Это была своего рода шлифовка моего немецкого языка. С первого же дня работы на бирже я стал собирать определенные сведения о немцах и их прислужниках, которые передавал Хромову.

Однажды на биржу явился грузный, с отечным лицом человек в мешковатой одежде. Он присел возле моего стола и, понизив голос, конфиденциально заявил, что в моих же собственных интересах мне нужно его навестить. Он назвался Кривцовым. Сказал, что до войны работал подсобным рабочим хозяйственной бригады на металлургическом заводе имени Петровского, а сейчас восстанавливает там какую-то печь. Дал мне свой адрес.

В этот же день, сославшись на визит к зубному врачу, я получил у Шварца разрешение не быть на работе после обеда и, посоветовавшись с Хромовым, отправился по указанному адресу.

Вот и нужный мне дом. Поднялся на второй этаж. Постучался. Дверь открыл сам хозяин и провел меня в столовую.

— Присаживайтесь! — сказал он.

Я сел возле обеденного стола, на котором стояла большая

бутыль самогона, лежали нарезанная кусочками колбаса, хлеб, огурцы. Блюдо с еще теплыми пирожками с капустой было прикрыто чистым полотенцем.

— Отведайте пирожков. — Хозяин, глядя на меня, отвернул полотенце.

Из-за ширмы вышла маленькая сгорбленная старушка. Она поклонилась и ушла.

— Самогончику украинского прошу… по чарочке! — Хозяин разлил самогон в граненые стаканы. — Так, поехали! За знакомство! — добавил он.

Мы выпили и закусили.

— Ох и крепка! — крякнул я, обжигаясь.

— Закусывайте, закусывайте! Огурчики берите, колбаску. Вы меня извините, конечно, что я вас… так сказать… потревожил. Здесь дело такое… не совсем обычное… интимного характера, можно сказать. — С отекшего лица глядели на меня захмелевшие маслянистые глаза. — Меня зовут Петр Петрович. А вас?

«Потенциальный предатель. Не про него ли Ольга Петровна сказала: „Скользкий тип“?» — подумал я, а вслух сказал:

— Владимир Цвейс!

— Очень приятно! Между прочим, вашей личностью я не интересуюсь… У меня иные побуждения. — Он потянулся к бутылке самогона. — Еще по стаканчику хлопнем?

Я отказался.

— А я выпью. — И выпил. — Дело, видите ли, касается только Люси и ее семьи. Скажите, вы знаете Люсиного мужа? Вы его хоть когда-нибудь видели в лицо?.. Нет, не видели. А я видел и могу вам его показать. (С этими словами Кривцов извлек из кармана пиджака бумажник и вынул из него фотографию.) Вот, пожалуйста, полюбуйтесь.

Я смотрю на фотографию, на которой Люся снята со своим мужем. На обратной стороне надпись: «Дорогой маме в день свадьбы. Курск. 1937 год». Я ошеломлен, но стараюсь скрыть волнение. Хозяин прячет фотографию в бумажник и вкрадчивым голосом продолжает:

— Вот вы живете в нашем городе, считаетесь ее мужем, а у меня в бумажнике компрометирующий вас документик… А между прочим, Люся-то до вас жила со мной… и я ее люблю… Это ее мать-стерва против нашего брака… Но Люся все равно ходила сюда ко мне тайком… Вдруг исчезла. Жду день, жду два… Не приходит. Две недели прошло… А потом узнаю: муж к пей вернулся, моряк. Стал разузнавать, проследил. Вижу, муж — да не тот. Не тот, что у меня на фотографии… Вот тут-то я и решил побеседовать с вами начистоту. Я ведь, знаете ли, старше вас, и

намного. Это у меня последняя любовь, молодой человек. Если вы от нее уйдете — она вернется ко мне. А вы еще молоды, найдете себе другую. А кто вы, что вы, откуда здесь появились — не интересуюсь. Мне Люся нужна. Я одинокий, неухоженный, и время сейчас трудное… Война… Надо как-то выкручиваться… Удержаться, так сказать, на поверхности… Так вот, — он вдруг резко закупорил бутыль и стукнул кулаком по пробке, — сроку даю вам три дня. Не уйдете — пеняйте на себя.

— Хорошо, я подумаю. Подумаю, — повторил я. — Постараюсь…

Кривцов расплылся в улыбке, торопливо откупорил бутыль и, расплескивая самогон по скатерти, наполнил оба стакана:

— Ну вот и слава богу! А я, признаться, уж засомневался… А теперь вижу — славный ты хлопец! Сообразительный! Ну, Вова, давай вдарим еще по одной! — Он опрокинул стакан одним махом.

Я тоже выпил, но перенервничал и даже не почувствовал обжигающей крепости ядреного первача.

Держа дольку огурца на острие ножа, основательно захмелев, Кривцов обронил:

— Только чур, Вова, молчок. У меня — как в могиле. Ей — ни слова. Это дело мужское, наше, пусть при нас и останется. И вообще, сейчас лучше помалкивать — целей будешь!

— Это точно! — сказал я, а сам подумал: «Боишься меня, шкурник. Не знал бы я немецкого языка — ты меня давно выдал бы немцам…»

Когда дверь за мной захлопнулась, смолкло позвякивание цепочки и загремел дверной засов, я сошел вниз по лестнице и в изнеможении опустился на последнюю ступеньку. Вмиг протрезвев, сидя в кромешной темноте, я обдумывал свое катастрофическое положение…

Иду по ночному Днепропетровску, погруженный в свои тревожные думы. В городе — с первых дней оккупации — расстрелы, виселицы, грабежи, облавы, насилия. Еще на прошлой неделе, проходя по Пушкинскому проспекту, видел двоих повешенных с табличками: «Партизан», «Бандит». В городе развернулась массовая охота на коммунистов, комсомольцев и беспартийных активистов. Ежедневно дневные обыски и ночные аресты по заранее составленным «черным спискам». Этими делами занимаются особые зондеркоманды — из отъявленных мародеров и карателей. По городу рыщут профессиональные убийцы и наемные гестаповские агенты. Где-то во дворе школы на улице Мостовой расстреливают детей, а вблизи Ботанического сада в глубоком овраге уже лежат сотни замученных мирных

жителей. Но в городе в глубоком подполье остались люди, которые вступили в жестокую смертельную схватку с коварным врагом. И героизм был нормой их поведения…

Я иду к Люсе.

В тупике

— Где ты пропадаешь? Я так беспокоилась! — Люся встревожена моим долгим отсутствием. — Сегодня я в первый раз провела урок немецкого языка в школе. После работы зашла к тебе на биржу — но тебя уже не было. — Она протирает полотенцем тарелку, искоса поглядывает на меня.

— Уходил по поручению Шварца, потом снова вернулся.

— Когда это было? Я была там в пять часов, и Шварц сказал, что еще в два часа ты ушел к врачу.

Лица ее я не вижу, но чувствую, что она волнуется.

— Не знаю, как он мог тебе так сказать, если сам в два часа послал меня к военному коменданту.

— А я так беспокоилась.

— С чего бы это? — говорю я как можно мягче.

— Не знаю, какое-то предчувствие… И черная кошка перебежала мне сегодня дорогу… Есть будешь?

— Нет.

Мы входим в свою комнату.

— Ты никого ни в чем не подозреваешь?

— А кого я должен подозревать?.. И в чем? О ком ты? — отвечаю вопросом на вопрос,

— Да нет, я так просто. — Люся села на кровать и вдруг заплакала.

— Мама спит? — Я обнимаю ее за плечи.

— Спит.

— И Клава спит?

— И Клава. — Она успокаивается.

— Ты от меня что-то скрываешь, — снова начинаю я.

— Это не я скрываю, а ты, — произносит она раздраженно. — Так поздно стал приходить домой. Вечером, когда ты где-то пропадаешь, мне кажется, что тебя схватили. Я прислушиваюсь к каждому шороху и почему-то думаю: «Вот идут и за мной…»

Скрывая волнение, закуриваю сигарету. Мы лежим на широкой тахте.

— Выкинь эти глупые мысли из головы.

— А я ничего не скрываю от тебя. — Люся нежно прижимается ко мне. — Откуда ты *это* взял?

— Вот и хорошо, — отвечаю я, подумав, что о своей связи с

Кривцовым она умолчала. — Остерегайся лишних разговоров.

— Остерегаюсь… Мне всегда так не хватало тебя. — Она ласково гладит меня… — С кем это ты пил самогон?..

«Надо еще составить фальшивые документы об инвалидности на здоровых людей, которых готовят к угону в Германию», — мелькнуло в сознании, и я забылся тревожным сном…

Мне снился Днепр, лодка… Я куда-то все плыл и плыл… Слышалась где-то немецкая речь… Снилась тюрьма…

Когда я проснулся, меня охватило тревожное предчувствие неотвратимой беды.

Прошло два дня, полных тревог и раздумий.

На бирже все благополучно. Я не чувствую, что Густав Шварц в чем-то меня подозревает. Он приказывает. Я выполняю.

И вдруг пропал Хромов. Обыска у хозяйки не производили, и за ее домом слежки как будто не было. Значит, его взяли где-нибудь на улице. Жив ли он? Где находится? Ничего этого я не знаю. Как в воду канул подпольщик, конспиратор, строгий наставник и верный товарищ.

Нить оборвалась.

Вторым в нашем звене был Науменко.

Обычно он присылал связного, через которого я передавал бланки-документы с печатью и подписью военного коменданта. Эти аусвайсы выручали военнопленных, бежавших из фашистских лагерей. Тот же связной передавал мне фамилии тех, кого следует вычеркнуть из списков, поступающих на биржу. Это списки с фамилиями рабочих, которых немцы регистрировали как «не явившихся на работу без уважительных причин». Подпольный центр нуждался в помощи своих членов, поэтому люди отправлялись выполнять задания, выходили за черту города и часто по нескольку дней отсутствовали. Чтобы скрыть от немцев истинное положение дел, я вычеркивал из списков нужные фамилии из числа неявившихся, и благодаря этому полицаи лишались возможности их искать по домашним адресам.

И сейчас, на мою беду, связной от Науменко в назначенный им срок тоже не появился. Я был в полном неведении. По условиям конспирации адреса его я не имел. Фотография у Кривцова изобличает меня. Интуитивно чувствую приближение беды. Это бывает у людей, работающих в экстремальных условиях. Инстинкт самосохранения заставляет принять единственно правильное решение — сорваться и уйти с концами — и как можно скорее.

Третий блок

Наступило утро моего ухода из Люсииого дома. Люся в своем сиреневом платьице собралась идти в школу, где преподавала немецкий язык. Она долго прилаживала косынку, словно оттягивала минуту прощания, о котором вовсе не догадывалась. Наши взгляды встретились в зеркале, висевшем в передней… И вот я в кабинете Шварца.

— Zur Stelle![19] — рапортую я.

— Ist gut![20] — отвечает Шварц, копаясь в каких-то бумагах. Он передает мне несколько листков. Это списки рабочих, которые вчера не явились на работу. Приказывает проверить, находятся ли они сегодня на своих местах. Если снова кто-нибудь отсутствует, следует немедленно послать полицая по их адресам и привести их к Шварцу. — Я разберусь, — говорит он. — Саботажникам и дезертирам место в лагерях, а не на свободе!

— Jawohl! Ihr Befehl wird ausgeführt![21] — отвечаю я. Шварц берется за телефонную трубку, я ухожу. В моем кабинете спиной ко мне сидит теперь машинистка, она что-то печатает.

— Доброе утро, Лора!

— Доброе утро!

Знакомлюсь со списками, читаю протоколы следствия по одному делу, связанному с «саботажем» — порчей станков, звоню на заводы…

С трудом досиживаю до конца рабочего дня.

Уходя с работы, вернее, оставляя ее навсегда, я кладу в ящик письменного стола серебряный портсигар, купленный на рынке, и бутылку французского коньяка, которую Шварц вручил мне в субботний день за мое «хорошее знание немецкого языка», со словами: «Вот мой подарок!» Пусть, обнаружив все это, он подольше сомневается в том, что я исчез навсегда…

Выхожу на улицу и мысленно взвешиваю все за и против. Мой арест, конечно, поставил бы под удар семью Люси, но есть и другая сторона дела. Что подумают немцы, если я исчезну? Возможно, допросят Люсю. Но что она может сказать? Ровным счетом ничего. Она и на самом деле ничего не знает о моей подпольной работе, и к тому же ей, как фольксдойч, немцы должны поверить. А Кривцов? Он тоже Люсю не предаст — это не в его интересах…

На окраине города, у реки, я пробрался к домику знакомого старика рыбака, где накануне оставил свой гражданский костюм.

Хозяин ждал меня у крыльца. Я быстро переоделся, запихнул немецкую форму в мешок и попросил зарыть ее поглубже.

— Сделаем! — спокойно сказал он. Передавая ему пакет, я сказал:

— А это — документы, имеющие интерес для советского

командования. Когда вернется наша армия, передайте кому следует. Я вам доверяю. Здесь данные на отдельных лиц из здешней военной комендатуры, биржи труда и их прислужников. (Документы я подписал кличкой Сыч.)

— Передам. Как же не передать, сынок. Раз надо, так надо. — И ушел с моим пакетом, завернутым в немецкую газету, в сарай.

Потом мы беседовали у него в доме. Жил он один. Жена умерла. Двое сыновей на фронте.

С наступлением темноты я сел в лодку-плоскодонку (старик специально вытащил ее для меня со дна реки на берег), вставил уключины, попробовал весла…

Я решил перебраться на противоположную сторону Днепра и идти к Харькову, где-то там шли бои…

Только отчалил — ветер донес немецкую речь. Слышу смех. Замираю. Из-за тучки выглянула луна, она-то меня и подвела. Двое патрульных остановились на берегу.

— Komm her![22] — крикнул один.

Они подошли ближе. В руках тускло поблескивают черные автоматы. Делать нечего, причалил, молчу. Говорить по-немецки не решаюсь. Примут за еврея — расстреляют. Документы я уже уничтожил — и зря, ночной пропуск мне бы сейчас пригодился… Но на лодку надо иметь специальное разрешение, это мне известно. Сказать, что хотел ловить рыбу, — так у меня ни сети, ни удочки.

— Steig raus![23]

В мгновение я был вытолкнут из плоскодонки и обыскан. Так, не успев опомниться, я оказался не на противоположном днепровском берегу, а в концентрационном лагере.

Это был лагерь барачного типа на улице Чичерина, недалеко от тюрьмы. Окрылись ворота, меня провели в дежурное помещение и принялись допрашивать с переводчиком. Спрашивали по-немецки, я отвечал по-русски.

— Солдат?

— Нет.

— Кто ты?

— Ученик десятого класса.

— Где ты живешь?

— Сейчас нигде.

— Как — нигде?

— Приехал к бабушке в этот город в первую неделю войны, а она умерла. Ее дом разбомбили. Вот и скитаюсь.

— Откуда ты приехал?

— С Кавказа.

— Кавказ большой. Из какой области?

— Из Пятигорска.

— Где там жил?

— Февральская улица, дом 231, это в Новом Пятигорске, недалеко от ипподрома… И сад у нас там большой… и огород…

— Зубы нам здесь не заговаривай… «огород», — оскалился фельдфебель, начальник лагерного конвоя.

Полицай с лицом уголовника обыскивает меня и, стоя навытяжку перед немецким фельдфебелем, рапортует:

— Ни оружия, ни документов не обнаружено! Переводчик переводит.

Фельдфебель, посасывая трубку, с пренебрежением поглядывает на меня, и я вижу, что он мне не верит.

— Бродяжничал, а костюм-то новый, — насмешливо произносит он. — Ну ладно! — бросает он переводчику. — Давай его в третий блок. И переодеть. Завтра оформим.

Полицай отводит меня в каптерку. Надеваю тюремную полосатую форму и деревянные постолы.[24] Одежда моя отобрана. Голова обрита наголо. Обувь конфискована. Сапоги явно понравились: теперь их будет носить полицай.

В третьем блоке душно и грязно. Люди спят вповалку на двухъярусных деревянных нарах на соломе. У некоторых тоненькие одеяла. Подушек ни у кого. Блочный надзиратель не спит. Дежурит.

Мне отводят место, я забираюсь на пары, вытягиваюсь на соломе и стараюсь забыться.

Утром получаю жестяную кружку с эрзац-кофе без сахара и небольшой кусок заплесневелого черного хлеба. Хлеб делит дежурный по блоку, и обижаться на него не приходится. Мне досталось столько же, сколько и остальным.

Выхожу на построение, и вот уже в колонне заключенных шагаю по Днепропетровску на вокзал разгружать состав с продуктами. Никто об этом еще не знает, а я знаю — подслушал разговор немцев.

Женщины, дети, старики бросают нам — кто кусок хлеба, кто — картошку, кто — вареную брюкву, лук. Арестанты ловят. Конвоиры отгоняют жителей прикладами, что-то кричат, бранятся. Один из конвоиров, с автоматом на плече, по-детски оттопырив губы, играет на губной гармошке. Дробно и вразнобой стучат деревянные постолы заключенных: руп! руп! руп! руп! Шагаем в шеренгах по четыре человека. Я — в середине колонны, вторым с краю… Надо же так случиться: вижу в толпе Люсю. Стоит с портфелем, шла в школу. Она в сиреневом платье, с косынкой на голове. С тревогой вглядывается в колонну. Лицо бледное, осунувшееся. Наверное, всю ночь не сомкнула глаз, все

меня ждала… А теперь не знает, что и подумать… Правда, я мог черкнуть записку, но решил не оставлять следов. И сейчас мог бы подать знак, но прохожу мимо, с опущенной головой. Так надо, для ее же безопасности…

Вот и вокзал. Нас выводят на платформу. Оцепление плотное, с овчарками. Длинный эшелон из шестидесятитонных пульмановских вагонов. Немецкий офицер приказывает:

— Надо разгрузить этот эшелон. Здесь сорок вагонов. Вас двести человек. Распределитесь по группам, по пять человек на вагон. (Как чисто шпарит по-русски, сволочь! И где только научился!) Трое будут переносить грузы в помещение вокзала, двое будут отдыхать. Потом отдохнувшие будут работать, а уставшие — отдыхать. Ясно?

Строй молчит.

— Значит, всем все ясно. Немецкое командование предупреждает, чтобы ни один ящик не был разбит, чтобы ни один мешок не был разорван. Иначе виновники будут наказаны по всей строгости военного времени. Это приказ! За нарушение приказа — расстрел на месте! Если же вы будете исполнительными и быстро разгрузите эшелон, немецкое командование вознаградит вас. Можете приступить к работе!

Заключенные разделились на группы. Я попал в группу, которая будет разгружать шестой вагон от конца.

Немцы срывают пломбы, снимают замок и открывают дверь. Трое из нас получают от своих товарищей груз на спину и уходят. Я оказался в «отдыхающей» двойке. Спустя час, когда и мне пришлось потаскать изрядные тяжести, снова попадаю в группу, которая разгружает вагон. Читаю немецкие фабричные этикетки на ящиках, рулонах, бочках и мешках: «шоколад», «яблочный компот», «вино», «мука»…

Полвагона разгружено. Видна противоположная стена вагона, в которой есть вторая дверь. Рядом с дверью на высоте человеческого роста замечаю отверстие, в которое, видимо, зимой выходила труба железной печурки. Заглядываю в это отверстие — на путях эшелоны, платформы, паровозы; одни движутся, другие стоят под парами. Да, железнодорожный узел большой… Немцев не видно. Просовываю руку в дыру и дотягиваюсь до крюка. Рывок — и крюк сброшен. Невероятно! Замка нет, только пломба. Странно, но факт!

Пытаюсь отодвинуть дверь. Я знаю, она на колесиках и быстро откроется, ее надо только зацепить. Но чем?

Ничего подходящего под рукой нет. Осматриваюсь. Молодой круглолицый парень следит за мной, все видит и все понимает. Не раздумывая, он разбивает об пол ящик с плитками шоколада и

срывает с него железный обруч. Подходит наша тройка. Мы кладем им на спины тяжелые ящики. Они уходят. Момент самый подходящий. Мой напарник прилаживает обруч к косяку двери:

— На, цепляй!

После нескольких рывков дверь со скрипом поддается. Просунув голову в образовавшуюся щель, вижу, что немцев поблизости нет. Охрана только внешняя, с перрона.

— Прыгай! — шепчу я напарнику и, оставляя постолы в вагоне, лечу вниз на песчаную насыпь.

«Повезло», — мелькнуло в сознании. Мой напарник следует за мной. Мчусь сломя голову, проскакиваю под вагонами, снова бегу. Перед нами — эшелон с углем, он тронулся.

— Одежду бы сбросили! — кричит нам железнодорожник, помахивая красным фонарем.

Сбрасываем полосатые тюремные рубашки и уже на ходу, как кошки, прыгаем на подножку вагона, а затем быстро карабкаемся наверх. Прыгаем в один из открытых бункеров, замираем, едва переводя дух. Уголь в бункере лежит на середине — горой, а по углам — свободное пространство. Снаружи нас не видно. Над нами чистое небо. Ярко светит осеннее солнце. Эшелон с углем набирает скорость.

Друг по несчастью улыбается, он уже успел вымазаться угольной пылью.

— Здорово драпанули! — усмехается он. — Дали дрозда! В третий раз срываюсь, и все ловят, гады. Кругом одни поля — и мы у них как бельмо на глазу! Но теперь все, дудки! Ушел с концами! Теперь не накроют — ушлым стал!.. А ты давно в лагере?

— Вчера накрылся. Сегодня смылся!

— Силен!

Мелькнула мысль: «Как там старик? Не взяли ли его немцы за нарушение приказа о лодках, ведь гражданским лицам иметь их строго запрещено. Нарушение приказа — расстрел! А может, старик и не признался, что это его лодка, тем более что она была брошенная…» Эта мысль преследовала меня, пока я не убедил себя, что «все обойдется».

Минут двадцать лежим молча, затем поднимаем головы. Перед нами поля Украины. Хлеба стоят стеной. В небе беззаботно порхают стрижи и ласточки и плывут куда-то друг за другом курчавые облака.

Часа два спустя, когда состав брал небольшой подъем, мы решили спрыгнуть и полдня пролежали в пшенице. К вечеру расстались. Я решил все же податься в Николаев. Еще на Полтавщине многие командиры говорили: «Вот бы пробиться на Николаев, там наверняка паши и кораблей много». Но мне и

нескольких часов не пришлось побыть на свободе: под вечер напоролся на полицая с собакой, которая обнаружила меня спящего на пустыре в бурьяне. Я бы и от этого холуя удрал, но трое немцев с винтовками стояли неподалеку в стороне.

Зоны смерти

Через день попал в длинную колонну заключенных, которых перегоняли из Кременчуга в Кировоград, через Днепр по жидкому временному мосту, наспех наведенному немцами. Потом шли полями под лучами солнца, хотя был уже конец октября.

Это был кошмарный этап. Нас шали быстрым шагом. По обе стороны колонны ехали танкетки, скакали верховые. Немцы-конвоиры зверствовали. Отстающих пристреливали.

Ночью спали на голой земле. Питались только тем, что из жалости давало население, — походных кухонь немцы с собой не брали.

Помнится, за всю дорогу мне где-то перепал початок вареной кукурузы: он был еще теплый и очень вкусный даже без соли. Воды не было. Мучила жажда.

Немцы торопились, покрикивали и все гнали, гнали… Я шагал босиком, и мне было чуть легче, другие натерли в пути кровавые мозоли и в конце концов тоже поснимали обувь и несли ее в руках.

Нас было около пяти тысяч человек.

…И вот мы у Кировограда. Людей, даже не обыскивая, загоняли в зоны, обнесенные колючей проволокой. Таких зон, как мне показалось, были десятки. В них томилось, как я узнал позже, более пятидесяти тысяч советских граждан, ставших невольниками.

В зоне, куда я попал, большинство составляли военнопленные. Проволока шла в три ряда и прочно окольцовывала наш участок. Участки плотно прижаты один к другому, и так на несколько километров.

По коридорам между зонами ходили немцы с овчарками. У ворот каждой зоны — несколько автоматчиков. День и ночь люди находились на голой земле под открытым небом…

Проснувшись утром, я увидел, что немцы вызывают и уводят из зоны «евреев и комиссаров». Днем нас сгруппировали по сотням и вывели «на обед». Мы миновали множество зон и очутились на большом армейском полигоне, оцепленном колючей проволокой. Более тридцати котлов, из которых валил пар, стояли в ряд. Колонны по четыре человека в шеренге подходили к котлам и получали баланду: немытые кишки и всякая требуха до

кипячения не доводились — делалось это специально для того, чтобы после такого «обеда» люди страдали поносами и дизентерией. (Я видел этих несчастных, корчившихся в предсмертных муках от диких болей в желудке.) Каждый получал один черпак баланды. Кто подставлял котелок, кто — миску, кто — тарелку. Я подставил кепку. (От тюремной одежды я успел избавиться еще на воле, рубашку сбросил сразу после побега на днепропетровском вокзале, а брюки мне вынесла из хаты какая-то добрая старушка, и там же в селе мальчуган дал мне старую кепку.) На четверых давали один круг жмыха, но разделить его на части было просто невозможно, так крепко он был спрессован.

Отойдя на некоторое расстояние от котлов, я быстро покончил с баландой и ждал свою порцию жмыха. Вдруг слышу крики, шум, немецкую брань… Смотрю, около одного из котлов — свалка, видимо, поссорились из-за жмыха или баланды. Автоматчики шарахнули по этой куче несколькими длинными очередями. Люди бросились врассыпную. Убитые остались лежать на земле…

К вечеру я снова попал в свою зону. А через два дня нас перевели в кировоградскую тюрьму. Я пристроился в одной из камер на втором этаже по соседству с двумя стариками украинцами. От них я многое узнал. В тот период немцы заигрывали с украинцами и частенько из лагеря отпускали их домой: оккупантам нужна была рабочая сила, чтобы убирать созревший урожай. Местным жителям выдавались документы — аусвайсы, но, чтобы получить такой документ, надо было пройти особый «экзамен». Заключенного вводили в один из специально оборудованных бараков. Посредине стоял стол, накрытый черным сукном. На стене висел портрет Гитлера. За этим длинным столом сидели старосты, назначенные фашистами. Старосты были из местных жителей-украинцев и хорошо знали свой район. В стороне, за небольшим столом сидели холеные немецкие офицеры и переводчик. Входил заключенный, называл свое место жительства. Старосты начинали утомительный опрос: «А из какого села? Есть ли рядом речка? На какой стороне улицы ты жил? В каком доме? Скажи фамилию председателя колхоза, где ты до войны работал? Была ли тогда рядом с селом МТС, и если была, то сколько в ней было тракторов и каких марок?..»

Если заключенный не врал и его ответы удовлетворяли старосту, его отпускали на волю, выдавали аусвайс. Допрос немцы и старосты вели очень строгий, перекрестный, докапывались до истины, им было важно не выпустить из лагеря ни одного русского.

По совету моих соседей-стариков я заучил правдоподобную

«легенду» и на завтрашнем таком «экзамене» пытался выдать себя за украинца из Уманьской области. Но я провалился, меня разоблачили, поняв, что я русский, и вместо аусвайса мне назначили порку и перевели в другой барак.

Мордатый полицай, командовавший экзекуцией, стоял возле барачного окна. Пороли сразу двоих: меня и еще одного заключенного. Со спущенными штанами мы лежали на деревянных скамейках. Один полицай сидел у меня на ногах, другой хотел сесть на голову, но я сказал: «Не тронь голову» — на что он с ухмылкой бросил:

— Орать будешь!

— Не буду! — ответил я.

— Побачимо! — ухмыльнулся другой полицай.

Прикусив губу, со стиснутыми зубами, обливаясь потом, я лежал на скамейке, обхватив ее двумя руками. Били меня топкими кусками резины, отрезанными от автомобильной шины. Били по очереди два полицая-украинца, стоявшие по бокам скамейки. После каждого удара палачи смачивали резиновые плети в ведре с водой.

Мордатый, разжиревший полицай, с фашистской повязкой на рукаве, отдавал команды — по своему личному усмотрению. Когда очередь дошла до меня, он пробасил: «Всыпь-ка ему тридцать горячих! Хлопец жилистый — выдюжит!» (Мог ли я тогда знать, что этого толстомордого ублюдка полицая я сам лично расстреляю в феврале 1943 года в одном из сел под Харьковом?)

А пока меня били. Сначала было ужасно больно — мокрые плети обжигали тело. Потом боль притупилась. «Крещение» я выдержал, но идти сам не мог: дрожали и подкашивались ноги, бил озноб, кружилась голова, мутилось сознание…

И вот я снова в тюрьме, снова на своем обжитом месте, на втором ярусе деревянных нар. Камера невелика и набита людьми до отказа. Со мной рядом, почти друг на друге, лежат человек двадцать. Грязь. Зловоние. Духота. У многих дизентерия. Параши в камере нет.

— Что, сынок? — обращается ко мне все тот же старик. — Тяжко?

Я молчу. Лежу на животе — на спине лежать не могу.

— Изверги! — говорит он. — До чего ж довели людей!

Мне жарко. Тело горит. На бок не повернуться, ноют суставы.

Лежу на локтях, подперев голову руками, горючие слезы текут по щекам.

— Сынок, а сынок!

Кое-как прихожу в себя. Все та же тюремная камера.

Задыхаюсь от жуткой вопи. Ощущаю и сильную боль — к окровавленному телу прилипла рубашка. Бородатый старик тормошит меня за плечо.

— На, поешь! — и сует мне в руку кусочек жмыха.

— Воды бы…

— Воды нет.

— Мочу скоро пить будем, — говорит скуластый мужчина, свесивший ноги с противоположных пар. Он докуривает немецкую сигарету. — Кому?

Окурок переходит из рук в руки. От жмыха во рту сладковатый привкус, вызывающий тошноту. Хочется есть, но еще больше — пить. Сколько в таких условиях может выдержать человек, доведенный до кондиции?

На тюремном дворе раздается выстрел, но никто не обращает на него никакого внимания.

В камеру входит пленный боец с забинтованной головой.

— Кто там стрелял? — спрашивает сосед-матрос.

— Наш один застрелился, — отвечает боец. — С тремя шпалами. Полком, говорят, командовал. Встал около ямы и сам себе пустил пулю в лоб… Так с пистолетом в яму и упал.

— И сейчас там лежит? — спрашивает усатый мужик с длинным лицом.

— А где же ему быть, там и лежит. С орденом Красного Знамени на груди.

— А немцы?

— Подошли к яме. «Капут» — говорят. И ушли.

— И пистолет не достали? — не унимается матрос.

— Да разве его оттуда достанешь. Там метров восемь глубины. — Матрос стремительно вышел из камеры.

«Шарап»

Медленно пробираюсь к выходу в коридор. Пол скользкий от нечистот. Люди сидят неподвижно, кто-то едва жив, а кто-то уже мертв.

— Опять штабелями сегодня в ров свозить будут, — говорит лысый однорукий пехотинец.

— Вот так и свезут всех, — бросает кто-то из сидящих на ступеньке лестницы.

Выхожу на воздух. Моросит дождь со снегом. Вокруг сплошное людское море. И сквозь это людское месиво пробираются два немца. У каждого в руках длинная палка.

Они отнимают вещи, обыскивают полураздетых, полуживых узников. Уходят с награбленным и возвращаются вновь.

Приглядевшись и прислушавшись к тому, что делается на территории тюремного двора, я поздним вечером отзываю в сторону усача и матроса:

— Говорят, те двое немцев — барахольщики с палками — за тридцать тысяч советских денег выпускают человека на волю.

Мои слова не оставляют их равнодушными.

Наверху, на чердаке тюрьмы, уголовники играют в карты. Решаем устроить у них «шарап»: одного толкнем на горящий фитиль и — берем «банк»!

Втроем лезем на чердак. В полутьме сидят люди. Три группы. Подбираемся к одной из них. Играют в «очко». На «банке» куча денег. Один из неиграющих держит зажженный фитиль.

— Стук! — кричит банкомет.

— Тише, ты, сука! Гитлера разбудишь! — шипит уголовник с корявым рубцом через правую щеку. — Иду по «банку»!

Мы незаметно подкрадываемся. Матрос сильно толкает одного из наблюдающих на «осветителя». Втроем идем на «шарап». Я хватаю несколько пачек сторублевок и быстро ретируюсь. В темноте — свалка, матерщина, крики, стоны. Кого-то поранили бритвой или ножом.

Уже внизу подсчитываем «трофеи». У меня семнадцать тысяч. У матроса пять тысяч. Усач пустой.

— Не повезло! — говорит он. — Не успел! Пойду еще. — И он снова лезет на чердак.

Лежу на нарах, не сплю. Вши копошатся на теле роями. Моментами мерещатся кошмары. Прижимаю деньги к голой груди. В камере темно. Тихо. Душно. И вдруг чувствую, что кто-то меня обыскивает.

— Что надо?

— Дай хлеба, — слышу чей-то умоляющий голос.

— Откуда у меня хлеб?

— Ты же на работу ходил.

— Никуда я не ходил.

И забываюсь тяжелым сном.

Расстрел

— Сынок, а сынок! — снова слышу над самым ухом. Прихожу в себя. Ничего не пойму. Где я? Слышу голос старика:

— Заболел ты. Горячка у тебя. Второй день бредишь. Все плывет перед глазами. «Вот и смерть пришла…»

И мерещится смерть с косой, костлявая, в белом балахоне, что-то мне шепчет и улыбается… Голова чугунная. Жарко, нечем дышать.

— А ну, скинь рубашку, — говорит старик. — Э, браток, так у тебя тиф. Все тело в сыпи. Здесь врач был из военнопленных, он тебе таблетки в рот совал… Найти бы его…

Я сползаю с нар, пытаюсь выйти на воздух.

— Погоди! — Старик сует мне в руку грязный узелок. — Деньги твои, — шепчет он, — сберег, а то пропали бы.

Я с трудом вспоминаю, откуда у меня эти деньги… Шатаясь иду по коридору. И вдруг роняю узелок, и деньги рассыпаются. Какой-то плешивый заключенный в обмотках мгновенно присел на пол и сгреб бумажки раньше, чем я успел опомниться.

— Отдай! — кричу. — Не твои!

— И не твои! — зло огрызается он и бьет меня по лицу кулаком.

Я падаю, поднимаюсь. Из носа хлещет кровь. Вытираю рукавом, выхожу на двор. Пощупал карман, в нем еще пачка. «Тысячи три будет», — подумал я и пошел к тюремному «базару». Заключенные, попавшие в рабочие бригады, приносят в зону продукты, продают их втридорога.

Пробираюсь среди сидящих на земле. Слышу крик, оборачиваюсь — матрос. Он подходит ко мне:

— На твои деньги! — И он возвращает мне пачку денег, отнятую у плешивого. — Я его, гада, поймал и за яблочко. — Он делает выразительный жест рукой.

— Задушил?

— Придавил. Может, и задушил, — брезгливо говорит матрос. — Подлюга! Мразь болотная! — И он смачно сплевывает себе под ноги.

К нам приближается мужчина с бородкой и пенсне (очень похож на Антона Павловича Чехова), это бывший военврач 1-го ранга. Я лично его не знаю, а он меня узнает, протягивает порошки:

— Вот лекарство. Примите-ка, голубчик, и оставьте на вечер.

— Что это?

— Хина.

— От малярии, что ли?

— Глотайте. Не бойтесь, не отравлю. Я глотаю порошок.

— Если бы не эти порошки, — говорит врач, — вас давно бы свезли в ров, молодой человек… А вам, полагаю, следует еще пожить… — Он уходит. Матрос тоже куда-то исчез.

Все плывет у меня перед глазами, едва держусь на ногах, но покупаю за сто рублей луковицу, за двести — пять картофелин, за пятьсот беру напрокат котелок, за триста — две щепотки махорки. Отдаю двести рублей за щепотку сухого листа (листья с деревьев здесь тоже курят), сто рублей за полкотелка воды,

немного дров и два сухаря приобретаю за триста рублей. Пришлось купить и спички. Подошел к яме с нечистотами, в ней несколько трупов. Мертвый с тремя шпалами по-прежнему тоже лежит здесь. Пистолета уже не видно.

Выбираю место — здесь найти свободный клочок еще можно. Сажусь, хочу развести костер. Владелец котелка присаживается рядом, помогает. Сотни жадных, голодных глаз впиваются в меня. Я отдаю кому-то щепотку листьев. Делюсь сухарем с владельцем котелка, и он за это возвращает мне деньги. Свертываю козью ножку. Люди нагибаются надо мной, чтобы хоть подышать махорочным дымом. Сырые дрова тлеют и дымят. Подкупаю еще дров. Но вода так и не закипела. Пришлось съесть сырую картошку и запить ее некипяченой водой.

«Обед» окончен. Надо искать немцев-барахольщиков. Они тут как тут. Подхожу. Кое-как, жестами и отдельными немецкими словами, объясняю, что мне надо.

Наконец один из них понимает меня.

— А-а, — тянет он, улыбаясь. — Хочешь Freiheit?.. Wo ist das Geld?[25]

— Вот!

Немец пересчитывает, говорит:

— Мальо, мальо!

Я пожимаю плечами:

— Больше нет.

— А, es genug! — машет он рукой. — Komm![26]

И они вдвоем повели меня в неизвестном направлении. Под их конвоем оказываюсь за пределами тюрьмы. Ноги не слушаются. В голове шум, мутит.

— Krank? Болен?

— Да.

— Некорошо, некорошо, — сочувственно произносит худой немец, спрятавший в карман мои деньги, и добавляет: — Бу-дэш ла-за-рэт!

И вот конец пути. Передо мной открывается дверь барака, до отказа набитого людьми. Женщины, старики, дети стоят прижавшись вплотную друг к другу. Меня тычком впихивают в этот ад, и дверь с внешней стороны защелкивается на задвижку.

— Что это? Кто здесь?

— Евреи из Кировограда, — доносится сдавленный старческий голос.

В те кровавые дни 1941 года немцы в Кировограде и его окрестностях собирали и расстреливали еврейское население.

Так я очутился в лагерном «лазарете». Ничего не скажешь, немцы-барахольщики хорошо «пристроили» меня…

Наутро следующего дня к сараю подкатила французская грузовая машина с брезентовым верхом и отброшенным бортом. Ворота сарая распахнулись.

— Лос! — гаркнул фашист.

Я попадаю в первую машину, вместе с детьми, женщинами и стариками. Нас привозят ко рву. Выгружаемся. И вот я стою около рва, длинного, широкого, сплошь заваленного трупами. Машины все прибывают. Справа и слева — танкетки с жерлами спаренных пулеметов. Рядом с ними — рота карателей, у каждого убийцы фашистская свастика на рукаве — это молодчики из зондеркоманд, гестаповцы, сотрудники службы безопасности…

Каратели не курят, стоят молча с автоматами наперевес. Расстояние от одной танкетки до другой — метров сто. Мы — в середине. Машины все прибывают. Обреченных уже человек восемьсот.

Как только прозвучала команда: «Feuer!»[27] — мои ноги подкосились, и я в полуобморочном состоянии упал почти на самый край обрыва. Крики, стоны, ругань, молитвы, душераздирающие вопли, стрельба из крупнокалиберных пулеметов, автоматные очереди — все слилось в один истошный смертельный вопль… На меня упало несколько трупов. После первой «свинцовой обработки» началась вторая. Сначала по груде простреленных тел двинулась рота карателей: они добивали живых. Потом с противоположной стороны двинулась новая волна убийц… И наступила тишина. Только изредка доносились приглушенные стоны и отдельные пистолетные выстрелы.

Меня спасло чудо. При первой «свинцовой обработке» вся толща тел не была пробита, а при второй — не было разгона пулям, в первой же жертве они застревали. Это и спасло мне жизнь. Меня даже не ранило.

Зазвучали команды, и каратели стали растаскивать трупы и бросать в ров. Очередь дошла до меня. Замираю, не дышу. Тащат за ноги, лицом по траве… Лечу вниз… Меня заваливают трупами, дышать все тяжелее, груз все прибавляется, сплющиваются ребра, легкие…

Шевелиться было крайне трудно, руки то упирались в чьи-то головы, то ощущали чью-то еще теплую липкую кровь.

Я был жив, один среди тысяч мертвых. И когда я понял это, то напряг последние силы, подпер руками грудь и попытался пролезть между мертвыми телами к краю обрыва — к земле, единственному, что здесь было живым, кроме меня. Но сил не хватало, и я потерял сознание…

Очнулся глубокой ночью. Сначала не мог понять: где я, что со мной. Потом ожила память, и первой мыслью было — поскорее

выбраться наверх, наружу. Я не мог шевельнуть ни одним суставом. Но неистребимая жажда жизни все же заставила меня карабкаться навстречу спасительному воздуху…

Земля, моя живая, влажная, теплая мать-земля, была наконец под ладонями! С какой надеждой хватался я за цепкие корни кустарника, протискиваясь между мертвыми телами. И вот первый целебный глоток кислорода… В голове зашумело, загудело, кровь застучала в висках…

Я сел на краю обрыва, йоги были чужие, будто ватные. Передо мной зиял кировоградский ров смерти, прикрытый пеленой ночного тумана. Кружится снег…

Еле пришел в себя, отдышался. Луна озарила страшное зрелище… Вдали я заметил тень человека, видимо такого же «счастливца», как и я…

Быстро перебираюсь на противоположную сторону рва, хочу бежать, но не могу, падаю и ползу неведомо куда, как затравленный зверь, спасающийся от преследования…

Страх

Ночью в каком-то селе подхожу к дому. Весь в грязи и крови. Меня обмывают чьи-то заботливые руки, переодевают, кормят и укладывают в сарае на солому. Я тут же засыпаю…

В сарае у этой доброй украинской женщины я прожил несколько дней. Немного окреп. Отошел от пережитого, а потом простился с хозяйкой, поблагодарил ее и ушел. Снова шагаю в южном направлении…

Заночевал в одном из сел, спал в теплой хате, на чистой простыне, на соломенном матраце. И вдруг облава! Немцы оцепили село, прочесывали каждый дом, выгоняли подростков и стариков на улицу. Не успел я опомниться, как очутился в машине.

…Затемненный городок. Мелькают улицы… Приехали! Нас выгружают, проводят через ворота в барак.

Полутемно. Стонут раненые. Барак длинный и широкий. Чем-то он мне знаком. Где-то я его уже видел. Стараюсь вспомнить. Ах, как же! Это — александрийский лагерь! Здесь я уже побывал. Неужели снова в Александрии?! Надо проверить себя. Если это так, то я знаю — выйдешь во двор, слева в глубине — уборная, рядом — вышка, на ней часовой с пулеметом.

Выхожу, все так! Я был здесь в сентябре, а сейчас конец ноября. За три месяца где меня только не мотало! Даже подумать страшно…

Возвращаюсь в барак. Сажусь рядом с дверью, ведущей в

караульное помещение, надо подслушать, что говорят немцы. Но узнать ничего не удалось. Прислонившись к стене, я заснул.

— Строиться! Всем выходить во двор! Команда заставила меня очнуться.

Светает. Выхожу из барака, становлюсь в строй. «Неужели меня здесь узнают? — смотрю внимательно на охранников. — Нет, мы все для них на одно лицо».

Молодой краснощекий украинец-переводчик (раньше я его не видел) ходит перед строем.

— Профессия?

— Каменщик, — отвечает чей-то голос.

— Профессия?

— Штукатур.

— Профессия?

— Плотник.

Переводчик что-то записывает на листке бумаги. Подходит ко мне:

— Профессия?

— Стекольщик, — буркаю наугад.

Так были отобраны пятьдесят человек. В эту рабочую бригаду попал и я. Под конвоем нас вывели на улицу. Снег растаял. Холодно. Вскоре колонна остановилась. Налево — кладбище. Направо — железные ворота. И снова я на огромном дворе бывшего артиллерийского училища (отсюда один раз я уже бежал). Теперь это территория немецкого госпиталя.

Почти ничего не изменилось с тех пор, как я здесь побывал. Правда, двор стал чище, снесен разбитый каменный дом, выстроены два деревянных сарая.

В этот день мы убирали двор, сгребали в кучи снег, расставляли в главном корпусе госпиталя кровати, таскали выструганные доски. Мне с одним пареньком поручили скоблить столы в столовой. Повар-немец снабдил нас скребками, тряпками и тазом с водой. Конвоир сначала следил за нами, потом вышел во двор курить. Воспользовавшись его уходом, мы присели на лавку отдохнуть. Не успели и словом перемолвиться, как послышался резкий визгливый голос:

— Встать!

Мы вскочили. Разъяренный офицер подскочил к нам и принялся отпускать оплеухи, потом накинулся на конвоира, нещадно браня его за то, что мы лодырничаем. Бледный как полотно конвоир, стоя навытяжку перед офицером, что-то бормотал в свое оправдание. Офицер снова ударил меня по лицу. Я чуть не вскрикнул от обиды и боли, сжал кулаки, но вовремя сдержался…

— Выдать им лопаты, пусть роют яму за кузницей, и там их расстрелять как собак! — гаркнул офицер и, похлопывая нервно по глянцевому голенищу сапога гибким стеком, быстро ушел.

Я отчетливо понял каждое слово.

И вот опять ведут на расстрел. Опять лопаты. Опять по бокам равнодушные конвоиры. Вот и кузница. Роем землю.

— Глубже! Глубже! — командуют фашисты. Мы уже по шею в яме. Пошел снег.

У ворот автоматчик, я его вижу, за воротами — второй.

Острая боль от пузырей на ладонях заставляет осознать безвыходность положения, полную безысходность. Куда будут стрелять? В голову или спину?.. И тут первый раз в жизни я почувствовал животный страх. Он овладел всем моим существом, руки перестали слушаться, окостенели суставы. Я отчетливо ощущал, как расширяются зрачки глаз. «Вот сейчас, вот сейчас… — единственная мысль сверлила мозг. — Сейчас эти комья навалятся на меня, я пока еще жив, но уже стою в своей могиле. Через несколько минут все будет кончено… Сейчас, сейчас грянет выстрел, и я ничего не почувствую… какой-то миг… Скорей бы!..» Страх смерти полностью парализовал мою волю. Холодный пот ручьями стекал с лица, туманил глаза, я ощущал его на груди, на спине, на ногах. Руки кровоточат, но боли я почему-то не чувствую…

И вдруг слышу:

— Вылезайте на обед! — Сказано по-немецки.

Я поднял голову и увидел глаза конвоира. От моего взгляда ему стало не по себе, и он отвернулся. Я едва выбрался из ямы. Есть ничего не мог — спазмы сдавливали горло, я не мог глотать, колотила нервная дрожь. Что случилось, почему нас вдруг помиловали, до сих пор понять не могу… После обеда мы снова работали — таскали доски. А в яме, вырытой нами, я видел потом кухонный мусор и отбросы.

С тех пор как увижу мусор — консервные банки, картофельные очистки, испытываю тошнотворное чувство беспомощности и обреченности.

Номер 19

Прошло три недели. Мы продолжали обслуживать госпиталь. Это и стало нашей постоянной работой. По вечерам в лагерь мы уже не возвращались. Спали в сарае в самом центре двора под замком. Конвой был также закреплен за госпиталем.

Начали прибывать первые раненые. Их снимали с машин, кого в баню, кого — в операционную, кого — в перевязочную,

мертвых — в морг.

К этому времени началась регистрация. Как и многие из моих товарищей, я скрыл свою настоящую фамилию. Нам принесли деревянные планшетки с номерами. Я выбрал номер 19 — по числу своих лет. Нас подстригли под нулевку и выдали лагерное обмундирование.

Три раза в день нам полагался жидкий эрзац-кофе и немного хлеба. Разумеется, мы голодали, и каждый старался где-нибудь раздобыть съестного.

Каждая пара заключенных имела своего конвоира, который перед начальником конвоя отвечал за нас головой и поэтому следовал за нами неотступно — если одному требовалось отлучиться по нужде, шли все трое. Я, как и в первый раз, был назначен «бригадиром по питанию», но теперь в хлеборезке Катя уже не работала. Сейчас здесь работали другие девушки. Они нам тоже сочувствовали, и мы не раз находили в ящике под хлебными обрезками масло и мед. Все это мы честно делили между всеми. Заключенные работали по специальности: кто — сапожником, кто — портным, кто — плотником. На мою долю выпадали разные работы.

Многим заключенным тогда помогала и едой и одеждой красивая, застенчивая девушка из вольнонаемных Галя Рациборская.

От плотника из вольнонаемных, дяди Вани, я узнал, что Катя, работавшая раньше в хлеборезке, опасаясь угона в Германию, уехала в деревню и живет там у родственников. Так что за судьбу Кати можно было не тревожиться, а о ее подруге, которая работала с ней вместе в хлеборезке, плотник ничего не знал.

Немки-медсестры и врачи жили в отдельном трехэтажном доме рядом с нашей общей территорией. Вход в их дом охранялся часовым. Все немки носили специальную форму. На головах — белые накрахмаленные шапочки с красным крестом. Весьма словоохотливые с фашистами, к нам они относились с явным пренебрежением. Среди них все же была одна довольно симпатичная женщина. Высокая, полная, с очень добрым миловидным лицом. До войны она жила в Берлине с тремя детьми. Муж ее был хозяином пивного бара. Эти подробности я подслушал в столовой во время ее разговора с шеф-поваром. В госпитале она заведовала продовольственным складом. Когда она видела кого-либо из нас, то всегда почему-то улыбалась, приветливо кивала и иногда подбрасывала нам к мусорному ящику пачки махорки. Когда она отходила, ребята, улучив момент, отвлекали конвоира и подбирали это сокровище.

— Пропало оружие! Если пистолет не будет найден,

несколько арестантов будут расстреляны!

Главный хирург госпиталя Отто Шрам стоял в дверях сарая с переводчиком. Хирург — маленького роста, юркий, с подергивающимся злым лицом и бегающими глазами, он производил омерзительное впечатление, но специалистом был первоклассным, блестяще делал сложнейшие операции. В данный момент этот деятель из службы милосердия почему-то взял на себя миссию судьи и карателя.

— Пистолет пропал у раненого немецкого полковника. Я повторяю, — дергаясь и гримасничая, кричал хирург. — Кто из вас похитил оружие? Даю вам сроку одну ночь! Найдите виновного и верните оружие! Чтобы утром оружие было возвращено!

Дверь сарая захлопнулась, и часовой повесил замок.

Мы были в недоумении. Кто из нас мог совершить такое? Всю ночь мы не спали, допытывались друг у друга, говорили о нелепости этого поступка. Доказывали, убеждали, просили признаться — но все было безрезультатно.

Наутро Отто Шрам в окружении конвоя стоял в дверях сарая.

— Оружие найдено?

— Нет, не найдено, — ответил дежурный по бараку.

— Три дня без еды и взаперти! Если на четвертый день оружие не будет найдено — расстрел!

Нас снова заперли на замок.

О чем мы только не передумали за эти три дня — виновного среди нас так и не оказалось. На четвертый день нас вывели во двор. Возле сарая стояла машина с фашистской эмблемой — череп и кости. Рядом с машиной — взвод карателей.

— Где оружие? — гаркнул главный хирург. Строй молчал.

— Я последний раз спрашиваю. Где оружие?

Строй молчал.

— Приказываю выйти из строя номеру первому, десятому, двадцатому, тридцатому, сороковому!

Пятеро шагнули вперед.

— Эти пять человек будут через час расстреляны. Среди вас есть вор, который похитил оружие! — брызгая слюной, кричал Отто Шрам.

Строй молчал.

— Увезти! — приказал он.

Каратели стали заталкивать пятерых наших товарищей в машину… Их расстреляли.

А на следующий день мы узнали, что пистолет был найден в сапоге того самого полковника. Он, видимо, случайно смахнул его с кровати или стула, ворочаясь в ночном бреду.

Дежурный санитар вынес сапог из палаты в кладовую, и кладовщик, разбирая обувь (поступление раненых было очень большим), обнаружил этот пистолет в сапоге и сам положил его на стол Отто Шрама.

В лотерее смерти мой номер 19 оказался счастливым, он выиграл мне жизнь…

Звали его Дмитрием. Это был коренастый, круглолицый, черноволосый украинец. До войны работал в Сумском исполкоме. С первых же дней войны был связан с подпольем, но его схватили немцы и доставили в лагерь Александрии. Жена и двое детей остались в Сумах, и он ничего не знал об их судьбе.

У заключенных Дмитрий Цвинтарный пользовался уважением. Он был связан с кем-то из вольнонаемных, получал сводки Совинформбюро, и от него мы узнавали о положении на фронте…

Он доверял мне и был со мной откровенен. «Терпи, сейчас бежать нельзя, — говорил он мне. — Сбежишь — за тебя невинные могут лишиться жизни. Ты же, наоборот, следи здесь за каждым, чтобы какой-нибудь одержимый не смылся бы без нашего ведома. Зорко следи! Надо разобраться в людях, отобрать надежных и устроить побег организованно, групповой. Обстановка сама подскажет, когда и как действовать…»

Я доверял Цвинтарному, и все, что он говорил, было для меня законом.

Бойко — остролицый, смуглый, невысокий. Сдержан и скрытен, нелегко идет на сближение. Я к нему тоже проникся и доверием, и уважением. Как я узнал позже, Бойко был сотрудником Кишиневского НКВД, этим объяснялся склад его характера. Он, как и я, быстро нашел общий язык с Цвинтарным, и, таким образом, нас — единомышленников — стало трое.

Первая в моей лагерной жизни подпольная группа.

В офицерском «обществе»

Хорошо помню Днепродзержинск весной 1942 года, дом на перекрестке двух центральных улиц, в котором был размещен переведенный из Александрии немецкий военный госпиталь. Нас привезли в отдельном вагоне под конвоем и закрыли в большом зале. Зал был разделен колоннами, окна с массивными решетками выходили во двор.

После расстрела наших пятерых товарищей нас осталось сорок пять человек, и мы сразу были распределены по рабочим местам; портных, плотников, сапожников, слесарей направили в мастерские при госпитале.

Мой товарищ Цвинтарный стал истопником в прачечной, я же попал «на этаж» в помощники санитару Паулю. Мне было выдано подержанное немецкое обмундирование. Пауль был старый, ленивый немец, туговатый на ухо, вдобавок у него постоянно что-то болело. Пауль немного знал русский язык, но чаще разговаривал жестами.

Моей обязанностью было следить за чистотой в пяти офицерских палатах и делать уборку в коридоре, но только тогда, когда не было высокого госпитального начальства на нашем этаже, а так у меня был стул, и я, когда был свободен, сидел на нем на лестничной клетке. Правда, меня могла использовать и немка — сестра-хозяйка, помочь принести в хлеборезку продукты с центральной кухни, сходить в прачечную за чистым постельным бельем, в мастерские; выполнял я и другие разные мелкие работы по указанию и под наблюдением Пауля.

Ночами, лежа на своей жесткой железной кровати, ворочаясь с боку на бок, я непрестанно думал о побеге. «Бежать! Только бежать!» — это была единственная мысль, которая снова и снова до боли сверлила уставший от напряжения мозг. Когда же осуществить побег? Сколько можно ждать! Стоит ли так дальше жить? Но в памяти вставали легендарные Камо и Котовский. Эти герои были для меня живым примером. Их воля была сильнее кандальных цепей, железных решеток и глухих тюремных стен. И я обретал душевную силу.

Шли дни. Желаемое пока не исполнялось. Я мучительно искал выход из создавшегося положения. Моя деятельная натура не могла мириться с подобными обстоятельствами. Но риск побега должен быть оправдан. И я ждал этого дня… И отдельные эпизоды из прожитой лагерной жизни, всплывая по ночам, наводили на некоторые размышления…

Вспомнилась такая картина.

За колючей проволокой кировоградского лагеря находилась куча песка. Гитлеровцы ради забавы заставляли пленных заниматься бессмысленной работой — нагружать в тачку песок, отвозить его в другой конец зоны, там ссыпать в кучу и тут же снова наполнять тачку и доставлять на прежнее место. По команде «Лос! Бистро!» заключенные должны были бежать с нагруженной тачкой. И они бежали, спотыкались, падали от изнеможения, вставали и снова бежали под издевательский смех и выкрики немцев. Кто не выдерживал этого «марафона» и бросал тачку — того настигала пуля. Но большинство заключенных выполняли приказ фашистов. Они не просто подчинялись грубой силе и делали это не только от страха. Нет, совсем нет! Они переносили все муки, все страдания и унижения, чтобы сохранить

жизнь для борьбы. Они были борцами, и они боролись! Об этом говорили их глаза, полные гнева и презрения. И в этом молчаливом поединке я видел терпение и мужество советских людей, их моральное превосходство над гитлеровцами.

Вспомнив этот лагерный эпизод, я понял, что в любом, даже самом крайнем и безнадежном положении нельзя падать духом и опускать руки. Жизнь — это вечное сражение!

Мне вспомнился и случай из жизни александрийского лагеря. Как-то на утреннем построении на плацу немецкий офицер скомандовал: «Коммунисты и евреи — шаг вперед!» И тогда вышел из строя один наш товарищ. Он не был ни коммунистом, ни евреем. Фашисты увезли его на расстрел. Этот героический поступок вместе с тем был бессильным протестом, порывом отчаяния и гнева. «Нет, нельзя так просто и бессмысленно отдавать свою жизнь, — думал я. — Нужно бороться, бороться до конца! Герой — кто погибнет с честью, но дважды герой тот, кто продолжает выполнять свой долг в адских условиях и сумеет остаться в живых!»

Сейчас бежать нельзя. Надо терпеливо готовить побег, постараться вырвать на свободу как можно больше узников. А для этого требуется получше разобраться в обстановке и изучить врага.

В госпиталь непрерывно поступали немецкие офицеры. Я наблюдал за ними, стремился изучить характеры, привычки, вкусы. Среди офицеров попадались и австрийцы. Родом из альпийских деревень, вскормленные тирольским сыром и молоком, они в большинстве своем были добродушными, и их физиономии были даже весьма привлекательными. Эти люди не вызывали у меня чувства страха или неприязни. Другое дело офицеры-арийцы, люди, так сказать, «чистых голубых кровей». Их разительно отличали от австрийцев лающий металлический голос, холодный взгляд, жестокость. Общаться с этими «гордецами» было чрезвычайно опасно, и даже в их обличье была нескрываемая враждебность.

Все они, конечно, считали себя представителями «высшей расы», верили в свое высокое предназначение, перешедшее к ним якобы от предков и дававшее им право властвовать над всеми людьми на земном шаре. Многие раненые читали книгу своего фюрера «Майн кампф» («Моя борьба») и фанатически исповедовали националистический девиз: «Германия, Германия превыше всего! Только мы — немцы — господствующая в мире нация, мы самые цивилизованные, самые культурные, все остальные народы — полуживотные».

Иногда, наслушавшись в палатах такого бреда, я

останавливался в коридоре возле Пауля и пытался, глядя на него, найти в нем хотя бы одну миллионную долю подтверждения гитлеровской «теории» о превосходстве арийской расы. «Пауль — сверхчеловек!» Смешно было даже подумать об этом. А то, что гитлеровцы его, Пауля, считали представителем «высшей расы», для него самого не имело ровно никакого значения. Все помыслы сосредоточивались на осуществлении единственной цели — как бы поменьше поработать, повкуснее пожрать, побольше выпить шнапса, а потом завалиться спать.

Звериная фашистская идеология развращающе действовала на молодых немецких офицеров и превращала их в свору убийц. Да, убийство у них возведено в ранг дела чести и почета — это их профессия. За зверства, истязания, уничтожение людей немецким извергам на грудь вешались Железные кресты!

Нисколько не стесняясь, а даже, наоборот, хвастая друг перед другом, они рассказывали, как расстреливали и пытали советских людей.

Сцены массовых казней, расстрелов обычно запечатлялись немецкими офицерами на пленках и фотографиях, которые они с большим удовольствием показывали друг другу в палатах, посылали домой. На снимках можно было увидеть убитого советского милиционера с вырезанной на груди пятиконечной звездой, сожженных в церквах школьников, клейменных каленым железом военнопленных…

И после демонстрации таких фотографий гитлеровцы могли преспокойно есть, пить, распевать песни.

Мне бросилась в глаза и их жадность, эгоистичность, мелочность. Если один у другого попросит сигарету, то, конечно, только заимообразно, возвращая же долг, он отдавал сигарету непременно той же марки. Когда возвратить было нечего, он платил стоимость сигареты. Такова была норма их отношений. Это никого не удивляло, было вполне обычным, общепринятым.

Однажды в офицерской палате я услышал из уст молодого лейтенанта восторженную тираду. Держа в руках письмо из дому, он воскликнул, обращаясь к майору: «Господин майор! Моя крошка Эльза (речь шла о его жене) пишет, что ей в день рождения преподнесли девяносто семь роз. Еще бы три, было бы ровно сто!» Как о само собой разумеющемся он сообщил, что его жена пересчитала все принесенные ей в подарок цветы, и добавил еще такую фразу: «Живых роз было восемьдесят, а бумажных — семнадцать». — «А много было гостей?» — спросил майор. «Двенадцать человек, — сделав ударение на цифре, улыбнулся лейтенант. И тут же, заметив, что я стою со шваброй в руках рядом с его кроватью, крикнул: — Ходи, ходи, Иван! Пошель!»

Немцам, которых я увидел здесь, была свойственна слащавая сентиментальность, чувствительность, не имеющая ничего общего с подлинным человеческим чувством. Дешевая слезливость уживалась у них с душевной черствостью и аморальностью.

Истые нацисты, воспитанные гитлерюгендом (организация фашистской молодежи), самодовольно ухмылялись, делились своими былыми похождениями, рассказывали о том, как сиживали в мюнхенском публичном доме, развлекаясь с толстыми блондинками, громко рассказывали похабные анекдоты.

Среди офицеров я встречал и матерых шпионов, побывавших в советском тылу. Слушая их похвальбу, я старался запомнить их фамилии и все ими сказанное. К счастью, ни заключенные, ни администрация не знали, что я владею немецким языком, а между тем пребывание в офицерских палатах помогало мне шлифовать знание языка, обогащать лексику, в скором времени я стал четко различать диалекты.

Конечно, среди немецких офицеров были и высокопорядочные люди, образованные и культурные, которые сознавали всю пагубность тоталитарного преступного гитлеровского фашистского режима для всей нации с 1933 года, когда Гитлер затеял кровавую вакханалию по всей Германии, уничтожая евреев, и особенно трагично для немецкого народа обернулась авантюра Гитлера, когда он, возомнив себя сверхчеловеческим гением, упиваясь военными успехами на Западе, оккупируя одну за другой страны Европы, решил нагло вторгнуться в 1941 году на территорию Советского Союза, надеясь на легкую победу. Правда, их откровенные взгляды на гитлеровский режим и военную обстановку они высказывали друг другу не в палате открыто, при всех, а в туалете.

Были и такие офицеры, которые относились ко мне с сочувствием, говорили: «Иван, хорошо!» — и под видом пищевых отбросов подсовывали мне еду, что было весьма кстати…

Жизнь в немецком госпитале шла своим чередом, и мы — сорок пять заключенных — продолжали тянуть свою тяжелую лямку. Коля-ленинградец по совету Цвинтарного на вокзале при разгрузке эшелонов с ранеными забирал у мертвых немцев оружие и, возвращаясь в госпиталь, рискуя жизнью, украдкой прятал его в огромный ящик для бинтов и мусора, стоявший во дворе. Это оружие маляр «дядя Коля» — подпольщик Филипп Демьянович Скрипиик — тайно вывозил с территории госпиталя и прятал в городе в укромном месте, как говорится, на черный день. Таким образом в городе у нас образовался небольшой склад оружия, которое мы собирались использовать после побега. Бойко

занимался разработкой плана наших будущих действий. Я во всем помогал Цвинтарному и Бойко и по их совету еще пристальнее присматривался ко всему, что происходило вокруг нас, и прежде всего в офицерских палатах.

Теперь находившиеся здесь раненые обсуждали между собой проблемы, рожденные войной.

«Каждый новый ребенок высшей арийской расы — это подарок Гитлеру!» — кричали немецкие газеты. Ярые сторонники идей искусственного выведения чистопородной арийской расы печатали статьи о необходимости мероприятий, при которых «самый достойный мужчина» мог бы оплодотворять множество женщин, а остальные должны были бы удовлетворять свой половой инстинкт с помощью специальных государственных институтов проституции; одним из таких проповедников был некий профессор Х. фон Эренфельз.

Предприимчивые тыловики, ссылаясь на этот «приказ», принуждали к сожительству жен и невест фронтовиков. Тревожные вести приходили к раненым офицерам в письмах из дому. Многие не без оснований беспокоились насчет верности своих жен…

Один майор-австриец как-то утром с иронией сказал: «Кому как, господа, мне это не угрожает. У меня нет ни жены, ни невесты, а моя девяностолетняя бабушка вряд ли кого-либо может заинтересовать в сексуальном отношении…»

К слову сказать, этот майор спас мне жизнь. И было это так. Однажды в воскресенье (когда главный хирург Отто Шрам обычно обхода не делал и не оперировал), перед самым концом рабочего дня я сидел на кровати майора и помогал ему (он был без рук) играть в карты. Вдруг в палату ворвался санитар Пауль. «Шеф!» — крикнул он и обеими руками схватился за голову. В его глазах я прочитал смертельный страх.

Для пояснения этого критического момента еще раз хочу напомнить, что ходить в офицерские палаты без разрешения госпитального начальства я не имел права. Пауль сам, облегчая себе жизнь, на свой страх и риск посылал меня туда делать уборку. И поэтому встреча с главным хирургом в офицерской палате грозила мне страшной карой.

Недолго думая я метнулся под кровать майора с его картами в руках и притаился, ибо другого выхода у меня просто не было. Пауля как ветром сдуло. В палату со своей свитой вошел Отто Шрам.

Со стороны картина выглядела довольно смешной. Все офицеры ехидно улыбались. «Чему это вы улыбаетесь?» — спросил главный хирург. Палата молчала. «Я повторяю, — сказал

строго Шрам, — почему вам так смешно?»

И тут после мучительной паузы, когда моя жизнь уже висела на волоске, майор, как бы извиняясь, произнес: «Видите ли, нам здесь рассказали один смешной анекдот, господин полковник…» — «А-а, анекдот, — протянул главный хирург, — тогда ясно», — и подошел к кровати, где умирал румынский генерал. Генерал бредил. «Он сегодня умрет, спасти его нельзя, господа». И с этими словами Шрам удалился из палаты.

Я выбрался из-под кровати и под одобрительные возгласы офицеров (для них это было просто развлечение) моментально исчез. Надо сказать, что раненые недолюбливали главного хирурга за вздорный характер и заносчивую манеру говорить и, очевидно, поэтому не выдали меня. Пауль сильно перепугался. Проклиная меня, он две педели сам убирал палаты, но на большее его не хватило.

Замечаю, что в палатах меняется настроение. В последнее время вести с фронта уже не радуют немецких офицеров. В декабре 1942 года в госпиталь просочились сведения, что советская армия взяла в плотное кольцо двадцать две немецкие дивизии в районе Сталинграда. Из разговоров в палатах я понял также, что немцев пугает сейчас не только положение на фронте, но и оккупированная ими территория. Целые дивизии перебрасывались с боевых участков в Белоруссию и Прибалтику для борьбы с партизанами. По палатам только и слышалось: «Шталинград! Шталинград! Партизанен!»

Обычно офицеры играли в «скат» (нечто вроде нашего преферанса). Я быстро освоил эту игру. Не упускал и случая запомнить какой-нибудь популярный анекдот или заучить модную песенку. Здесь, в палатах, проходил я свой тыловой «университет», обогащаясь новыми знаниями и постигая психологию врага. Словом, в те дни моего нравственного унижения я старался все до последней мелочи взять на вооружение, и эти знания сыграли потом важную роль в моей военной судьбе. Я уже не чувствовал себя обреченным, нет, скорее наоборот. Я был перегружен замыслами и планами.

Я обрел цель и готовился стать разведчиком в тылу врага, чтобы бороться с фашизмом во имя Родины, Правды и Справедливости на Земле. Это была — высокая истина, и, как утверждал Достоевский, она достигается только в великих страданиях и муках. И я страдал и мучился, преодолевая все трудности на избранном опасном пути, зная, что должен все перетерпеть и выдержать, ибо в нормальном человеке изначально генетически заложено не только добро и милосердие, но и бездна жизненной силы.

Коля-ленинградец

Все чаще наша троица — Цвинтарный, я и Бойко — обсуждала план группового побега. Каждый должен был связаться с одним из вольнонаемных и обеспечить себе в городе падежное пристанище.

После побега мы должны были влиться в Днепродзержинске в большую подпольно-диверсионную вооруженную группу. Адреса будущих конспиративных квартир знал только Дмитрий Цвинтарный. Он должен был обеспечить связь.

Однажды вместе с Паулем я оказался на кухне госпиталя. Там я тайком познакомился с Марусей, доверился ей и попросил ее временно приютить меня. Она согласилась и дала мне свой адрес. Ее адрес я сообщил Цвинтарному.

На моем этаже работала еще одна девушка. Звали ее Ми литой, она была медсестрой. Эта девушка вела себя бесстрашно, оказывала мне и другим заключенным посильную помощь. Цвинтарный тоже ее хорошо знал и поддерживал через нее постоянную связь с городом.

(Только после войны я узнал, что Фрибиус Людмила Альфредовна, она же Милита Шмитт, была активным участником днепродзержинского комсомольского подполья и тоже готовила наш побег непосредственно с Дмитрием Цвинтарным по прямому указанию руководителя этого подполья Лиды Лукьяновой.)

Именно в те дни, в дни разработки нами плана побега, я решил вести себя так, как действовал бы, очутившись на моем месте, советский разведчик. Еще раньше я и кличку себе подпольную придумал — Сыч. Это помогало мне смотреть на все окружающее как бы другими глазами. С той поры я стал еще собраннее, действовал более осмотрительно. И эта же избранная мною роль стала моей опорой — настоящей моральной поддержкой.

В Днепродзержинск пришла зима. Фронт был уже в Донбассе. В нашем зале участились обыски. Все чаще и чаще начальство нас предупреждало, что за малейшее неповиновение мы будем отправлены в лагерь.

Немцы-санитары начали поговаривать о том, что скоро всех нас отправят в Германию. Над нами нависла угроза, надо было поторапливаться, и Дмитрий Цвинтарный поручил мне готовить лаз для побега.

— Знаешь в нашем корпусе дверь на улицу, которая под лестницей?

— Знаю.

— Около двери ящик с песком. Надо сломать замок и

выбросить из ящика столько песка, чтобы ящик можно было сдвинуть с места. Песок можно вытаскивать ведром, но крайне осторожно, чтобы немцы не засекли. Поручение очень ответственное и опасное. Поговори с Колей-ленинградцем. Ему это сподручней, он работает во дворе, пусть песочком двор посыпает. Парень смекалистый и храбрый — поможет. Когда с песком справитесь, — шептал Цвинтарный, — повесьте замок обратно. Пусть немцы думают, что ящик заперт. Потом взломаете наружную дверь, снова прикроете ее и плотно опять придвинете к ней ящик — это первая часть работы, и это сейчас самое главное.

— Но через лаз вряд ли смогут все уйти, — возразил я. — В момент побега люди могут оказаться в разных местах.

— У нас будет еще один способ выбраться из госпиталя. Соберем немецких марок (деньги мы брали вместе с оружием у мертвых немцев при разгрузке эшелонов с ранеными на вокзале) и подкупим часового у центральных ворот. Этим делом я займусь сам.

Цвинтарный добавил, что о дне побега он сообщит накануне ночью.

Подготовить первый лаз оказалось неимоверно трудно. Коля, бывший студент ленинградского института, выносил песок около трех недель. Урывками, когда только мог и позволяла обстановка (ведь он постоянно был под наблюдением конвоира). Каждую минуту наш товарищ рисковал головой…

В первых числах января 1943 года, когда Днепродзержинск был наводнен немецкими войсками, на нас обрушилась большая беда. Однажды Бойко, сапожник Андрей и еще один наш товарищ поехали под конвоем на грузовой машине в Днепропетровск за одеялами для госпиталя. На обратном пути все трое наших товарищей, сидевшие на самом верху груженой машины, ударились о балку железобетонного моста и были сброшены с мчавшегося грузовика.

То ли немец-шофер не рассчитал, то ли нарочно их стукнул — никто не знал.

Спустя неделю после этого несчастного случая, поздно вечером, когда мы уже ложились спать, в наше помещение ворвался фельдфебель Шильтенрум — наш начальник конвоя. Со всех троих пострадавших он грубо сорвал гипс и повязки. Уходя, гаркнул:

— Ходи, Иван, работа! — и запер нас снова на два замка.

Бойко попробовал встать и не мог: у него была сильно повреждена чашечка коленного сустава, нога распухла.

Побег был назначен на завтра, и Бойко понял, что если он не поднимется, то окажется в общем лагере или будет расстрелян.

Превозмогая нечеловеческую боль, Бойко поднялся и встал на ноги.

— Что же с нами будет завтра? — спросил я Дмитрия.

— Не беспокойся. Я сделаю все возможное.

Наступило долгожданное утро. Что оно нам принесет? Шесть человек из нашей бригады уже знали, что сегодня состоится побег. Остальных шестерых мы, во избежание преждевременной суматохи, должны были предупредить в самый последний момент.

Вскоре пришли фельдфебель с переводчиком. Фельдфебель объявил:

— Ровно в десять часов группа в десять человек едет на вокзал разгружать эшелон с ранеными. Остальные будут принимать их во дворе.

Цвинтарный шепнул мне:

— Я еду на вокзал и больше не вернусь. Учти и действуй! Все возлагаю на тебя! Желаю удачи!

Мы расстались.

К двенадцати часам в госпиталь стали поступать раненые. Наша группа снимала их с машин во дворе и таскала носилки на второй этаж в операционную. Таскали и немцы-санитары. Был вместе со всеми и старик Пауль. Он кряхтел, потел, охал.

— Лос! Лос! — кричал фельдфебель, торопя пленных.

В два часа дня я швырнул в сторону носилки, шепнул своему напарнику, который был уже в курсе дела: «Беги!» — а сам опрометью бросился на свой рабочий этаж: из шкафа, где висело оружие немецких санитаров, я хотел взять пистолет. Вбегаю на этаж, взламываю стамеской шкаф — оружия нет. Хватаю пояс со штыком. Врываюсь в хлеборезку и на глазах у перепуганных девушек из вольнонаемных и пожилой немки выхватываю из корзины круг копченой колбасы, запихиваю на ходу за пазуху и мчусь прочь… Перебегаю небольшой дворик, бегу вдоль церковной ограды, мимо церкви, влетаю в помещение, где мы жили, и как стрела мчусь наверх… Влетаю в наш «зал». Необычная сцена: один натягивает на себя немецкую форму, другой поспешно достает нож. Третий набивает чем-то вещевой мешок.

— Нас предали! — кричит четвертый. — Куда же вы, братцы?!

Быстро вытаскиваю из-под матраца припрятанную накануне новую немецкую шинель, пилотку, бегу вниз. Мельком замечаю, что дверь на улицу уже приоткрыта. «Кто-то уже убежал!» — решил я.

Но я не достал еще пистолета! Бегу в помещение, где живут немцы-санитары (они жили под нами). На днях, когда я был здесь

у Пауля, его сосед по комнате, тоже санитар, открыл при мне свой чемоданчик, в нем лежал «Браунинг». Врываюсь в комнату, выхватываю из-под кровати чемоданчик, взламываю, роюсь в вещах. Пистолета нет! Или чемодан перепутал, или комнату! Снова не повезло! Но времени уже нет ни секунды! Выскакиваю в коридор, затем в тамбур, на ходу надеваю шинель, пилотку и пояс со штыком…

И вот я на улице. Быстро шагаю по Днепродзержинску. Иду к Марусе…

Глава 2
СЫЧ

Санитар Ганс Швальбе

Я иду по Днепродзержинску.

Побег удался. Впереди новая жизнь, новые испытания. Хорошо бы встретить Хромова из Днепропетровска. Где он сейчас?

Медленно падают крупные хлопья снега. Они ложатся на крыши домов, на мостовые и тротуары, на каски немецких патрульных, на тысячи машин, заполнивших город. А мне нужно обдумать свои дальнейшие действия. Сегодня Маруси на работе в госпитале не было. Дома ли она сейчас? Как встретит? Ждет ли меня именно сегодня? С неделю назад я ей сказал: «Жди! В любой день могу появиться!»

И вот я сворачиваю на нужную улицу. По обеим сторонам к домам жмутся машины, их сотня — зачехленных, мрачных, молчаливых. Немцев возле них не видно. Нахожу дом. Вхожу во двор. И здесь несколько машин. Отыскиваю подъезд, поднимаюсь по лестнице на второй этаж, останавливаюсь возле двери. Звоню. Тишина. Снова звоню. За дверью шум и затем грубый голос немца:

— Кто там?

— Здесь проживает девушка, работающая в госпитале? — спрашиваю по-немецки.

Дверь открывается. Передо мной в расстегнутом кителе немецкий офицер. Он мертвецки пьян.

В мгновение соображаю, как поступить. Вытягиваюсь в струнку, козыряю:

Санитар Ганс Швальбе, из госпиталя № 308. Девушка из вольнонаемных, работающая на кухне, сегодня не явилась на работу. Пришел проверить.

Офицер нехотя посторонился, икнул:

— Пройдите.

Прохожу в переднюю и останавливаюсь у распахнутых дверей. В столовой сидит второй офицер. Перед ним на столе коньяк, закуска, фрукты.

— Разрешите пройти мимо, господин полковник! — продолжаю разыгрывать роль санитара.

— Пройдите! — бросает он, окинув меня безразличным пьяным взглядом.

Вхожу в соседнюю смежную комнату и прикрываю за собой дверь. Маруся, бледная как полотно, стоит у окна. Я вижу ее руки, нервно теребящие бахрому кашемировой шальки — цветы по черному фону. Карие глаза смотрят на меня испуганно и удивленно. Рот крепко сжат, чуть подергивается. Молча мы смотрим друг на друга.

— Вот я и пришел, — тихо говорю по-русски.

— У нас… офицеры… — Она кивает на дверь.

— Выйдем на улицу, — шепчу я. Мы выходим из комнаты.

— Разрешите пройти мимо, господин полковник! — Я снова щелкаю каблуками.

— Пройдите! — цедит полковник, держа в зубах сигарету.

Вышли на улицу.

— Я уже три дня не работаю. В каждом доме немцы, — волнуясь, говорит Маруся.

Я не смотрю на нее. Только слушаю. Да, собственно, и говорить сейчас не о чем.

— Ну, прощай, я пойду.

— Куда же ты? — спрашивает она с тревогой и молча идет следом.

Я резко поворачиваюсь, запрещаю идти за мной и быстро удаляюсь.

— Куда же ты? — доносится мне вдогонку. Постепенно успокаиваюсь, беру себя в руки. А все же получилось неплохо. Выдал себя за немца — и никакого подозрения со стороны немецких офицеров. Так держать! Первый успех!.. Смело козыряю немецким офицерам. Иду. По сторонам улицы стоят гитлеровские танки, машины и тягачи с пушками на прицепе. Иду, как будто никакого лагеря не было позади, ни параши, ни тухлой баланды, ни колючей проволоки, ни злобных окриков часовых… Иду, а куда иду, пока и сам не знаю… Медленно кружатся снежные хлопья.

Скрипник

Куда идти? Связи с Цвинтарным нет, между тем только он один знает, где я могу быть. Связной от него явится к Мару се — и вернется пи с чем. Где же искать нам друг друга?

Улица все тянется. Выхожу за город, вижу пути узкоколейки. Впереди — недостроенное здание. Оно смотрит на меня пустыми оконными проемами. Обхожу дом, вхожу внутрь, поднимаюсь по лестнице, запорошенной снегом. Вот и последний этаж… Крыши нет. Надо мной серое зимнее небо.

Сажусь в углу. Холодно. Хочется есть. Достаю круг копченой

колбасы. Хлеба у меня нет, но колбаса хороша и без хлеба. Тревожные мысли не оставляют. Уговариваю себя, что все обойдется, свертываюсь калачиком и так лежу на запорошенном снегом полу под открытым небом… Снег все падает и падает, и вскоре я лежу под белым снежным одеялом. Вид сказочный, но мне не до сказок!

Забываюсь в тревожном полусне. Спится мне Хромов — мой боевой друг из Днепропетровска, его улыбка, его крепкое рукопожатие. Кем он был до войны: майором НКВД или сотрудником милиции? Как мы с ним в свое время хорошо сработались. Безусловно, в днепропетровском подполье играл он не последнюю роль… А может быть, он совсем не Хромов, а Хромовым был только для меня…

Пробуждаюсь. Уже смеркается. Вскакиваю, стряхиваю с себя снег, стараюсь согреться — делаю разминку, подхожу к оконному проему, смотрю на город. Вечер тихий, безветренный. И вдруг вспоминаю: «Дядя Коля!»

Однажды на своем этаже на ступеньке лестницы я увидел сидящего сухонького старичка. Он ел суп из алюминиевой миски.

— Что же вы, дедушка, так неудобно уселись? — спросил я. — Да и камни холодные, простудиться можно. Садитесь на мой стул.

— Зачем он мне? Хорошо устроился. Вот супца дали — кормлюсь.

— Девчата хотя бы табуретку вам вынесли.

— А зачем она мне. Обойдусь. Разговорились. Спросил, есть ли у него семья, дети.

— Как же без детей-то жить? Конечно есть. Один сын на фронте, воюет, а меньшой дома… есть и дочка…

— А где воюет, не знаете?

— Кто ж теперь знает? Как ушел в первый день, так и пропал… Может, жив, а может…

Позже Коля-ленинградец назвал мне фамилию старика — Скрипник — и сказал, что работает он стекольщиком при госпитале, а живет где-то в рабочем поселке… Потом я узнал, что он еще и маляр и заодно вывозит на телеге из зоны госпиталя ящик с мусором…

Снова пошел снег. Тряхнув головой, освобождаюсь от воспоминаний. Быстро спускаюсь вниз по лестнице, выхожу наружу, иду на окраину города. Вижу перед собой разбросанные белые хатки. Может, это и есть рабочий поселок?

Вхожу в один домик, спрашиваю пожилую женщину:

— Не знаете, мамаша, старика дядю Колю? Фамилия его Скрипник. В госпитале стекольщиком работает.

Женщина испуганно смотрит на мою немецкую форму и некоторое время молчит.

— Нет, не знаю. Не знаю такого старика, — отвечает она решительно.

— А это рабочий поселок?

— Он самый и есть.

Иду дальше. Захожу еще в один дом. В хате при тусклом свете фитиля сидят женщины, с ними ребятишки. Одна женщина встает с лавки.

— Дядя Коля? Так это же тот, что к Матрене за молоком девочку посылает. Есть такой в нашей слободке. Нюрка! — обращается она к девочке лет десяти. — А ну, покажи ему тот дом. Знаешь, где баба Анна живет? Дочка еще у нее Таня.

— На краю? — спрашивает девчушка.

— Ну да!

— А-а, знаю.

Вышли с девочкой на улицу. Уже совсем темно.

— Эвон! Бачите? — произносит она, отойдя от своего дома шагов на двадцать и указывая куда-то рукой. — На бугре!

— Не вижу. Какой дом-то?

— Да вот, беленький, на горе, крайний… бачите?

— Где из трубы дым идет?

— Вот-вот. Он самый.

Минуя заснеженные огороды, поднимаюсь по тропинке в гору. Добираюсь до крайней хаты. Вхожу и в свете керосиновой лампы вижу в комнате старика со старухой и двоих ребят: девочку и мальчика. Лобастый, сутулый, худой старик с очень добродушным и умным лицом и есть «дядя Коля»! Большие добрые глаза узнают меня, я вижу в них улыбку. Хозяйка же встревоженно заслоняет сына — на мне форма немецкого солдата.

— Здравствуйте, дедушка! — говорю я. — Узнаете?

— Как же, как же, узнаю.

И в это мгновение вдруг распахивается дверь и в комнату входит… Бойко! Наш Бойко! Сияющий от радости, как солнце!

— Степан! Ты? — восклицаю я.

Мы бросаемся друг другу в объятия и не можем скрыть своей радости.

— Вот это встреча! — говорю я. — Никак не ожидал! Бойко, опираясь на палку, улыбается во весь рот:

— А я смотрю в окно — фриц идет. Быстро вскочил, выбрался за дверь, спрятался за домом. Потом заглянул в окно, вижу — ты стоишь. Вот, думаю, дела! Бывает же!

Хозяйка дома Анна Ивановна приглашает сесть за стол.

— А то ховаться надо.

Мы садимся и, разделив между всеми колбасу, торопливо едим. Тени от лампы тревожно мечутся по белым стенам, но на душе у меня радостно от обретенной свободы.

Через Днепр

Дядя Коля выводит нас во двор, и мы залезаем в овощной погреб-яму.

— Завтра к вечеру высвобожу, — говорит он, и мы погружаемся в кромешную тьму.

Старик закрывает нас крышкой и нагребает сверху лопатой кучу снега.

Оказывается, Бойко наметил себе квартиру как раз у этого старика. Из госпиталя уходил с трудом — сильно болела йога. Подкупленный Цвинтарным часовой-чех выпустил его «на часок»… Я рассказал другу о своем приходе к Марусе, но он успокоил меня:

— Связь с Цвинтарным будет налажена.

На следующий день к вечеру старик выпустил нас из убежища. И мы с наслаждением ели в его хатенке горячую картошку, вареные бураки с хлебом, пили молоко. Дядя Коля сообщил, что бежало из госпиталя двадцать человек. Оставшихся пленных в тот же день немцы отправили в общий лагерь.

— Немцы злы как собаки, — в заключение сказал он.

Поужинав, мы опять залезли в яму. Я снова стал думать о Цвинтарном. Где он? Удалось ли ему найти надежное убежище?

Прошло еще три тревожных дня. От дяди Коли мы узнали, что начались обыски у вольнонаемных, работающих при госпитале. Значит, немцы нас усиленно разыскивают. Оставаться здесь нельзя. Может погибнуть вся семья Скрипника. По первоначальному плану Цвинтарный должен был прислать связного в первый же вечер после побега, но был ли он у Маруси или нет — я не знаю.

— Если завтра связного не будет, — сказал Степан, — ночью перейдем Днепр.

— Оружие? Надо бы прихватить с собой…

— А как его прихватишь, — ответил Бойко, — оно вывезено за город. Дядя Коля из рук в руки передавал его по условному паролю, старик понятия не имеет, где оно сейчас. Предполагает, что сейчас оружие находится в руках местного подполья.

— Да, все осложнилось. Где Цвинтарный?

Связной так и не появился, и мы решили уходить. Вечером хозяйка нас накормила. Заботливо сшила из своих последних

простыней халаты, и мы приготовились в трудный путь. Дядя Коля взялся проводить — он был местный и хорошо знал дорогу. Как раз перед нашим уходом неожиданно пришла Маруся. Узнала, что я скрываюсь у Скрипника. Она посоветовала уйти в деревню, к ее отцу.

— У него можно сховаться, в городе сейчас опасно, обыски начались повальные. Пойдешь?

Мы стояли за домом одни. Потом сели на мерзлую землю. С неба падал мокрый снег вперемешку с ледяной крупой. Было холодно и неуютно. Маруся смотрела на меня глазами полными тревоги.

— Нет, — сказал я. — Не могу бросить друга.

— И его бери.

— У нас другие планы. Извини. Спасибо тебе за все… Может, когда увидимся…

Мы простились, молча пожав друг другу руки. Маруся ушла. Я вернулся в хату и, присев на минутку, написал на чистом листке ученической тетрадки список всех бежавших из фашистского лагеря и подписал его кличкой Сыч.

— Возьми и сохрани, — попросил я дядю Колю. — Придут наши, передай кому следует. А если появится связной от Цвинтарного, скажи, что мы с Бойко ушли через Днепр, к фронту, к своим.

Скрипник, я и Бойко пробираемся по окраине заводского поселка, петляем по садам и огородам. Прислушиваемся, осматриваемся. Падает густой снег.

Появились заросли прибрежного кустарника. Ложимся и внимательно всматриваемся в ночную тьму. Слышен скрип снега: это медленно проходит вдоль Днепра немецкий парный патруль. Для гражданских лиц мост, наведенный немцами через реку, давно закрыт — это мы знаем. Знаем и то, что немцы во многих местах специально подорвали лед, чтобы затруднить переправу. На реке всюду полыньи, наполненные битым льдом.

Когда патруль отошел на значительное расстояние и скрылся в морозной дымке, мы прощаемся со Скрипником.

— До свиданья, диду! Не поминай лихом! Спасибо за все!

— Счастливой вам дороги, сынки! — отвечает дядя Коля. — Может, и мой хлопец где блукает, может, кто и его выручит из беды…

И вот мы с Бойко ползем к Днепру. Я — впереди. Он — за мной. Со стороны мы незаметны — на нас маскировочные халаты.

Устав ползти, делаем прыжки, маскируем следы, вот уже и пересекли «дозорную тропу». Быстро вперед! Берег у нас позади. Кругом плотный туман. Медленно ползем по замерзшему Днепру.

Делаем передышки. Стараемся упираться локтями, чтобы не отморозить рук. Бойко тяжело дышит. Отдыхаем. Потом встаем и идем в полный рост. Бойко сильно хромает, опирается на палку.

Скоро уже середина пути. И тут под ногами вдруг начинает хлюпать вода, под ней — лед. Мы скользим, падаем, и так — несколько раз.

Ледяная вода обжигает руки. Устоять на йогах совершенно невозможно — мы снова ползем. Вода все выше. Мы уже давно промокли насквозь, но от нервного напряжения холода не чувствуем.

Ползем, ползем… Ползем крайне медленно в ледяной воде. Все время пробую перед собой лед — не попасть бы в полынью, тогда пиши пропало! Движемся в полном неведении, куда лучше забрать — левее или правее… Нашему пути, кажется, нет конца. Где же берег?!

Но вот воды становится меньше… Еще меньше… И наконец — снег! Уже видны неясные очертания высокого обрывистого берега… Вот и сам берег. Выбираемся с трудом на кручу. Впереди заснеженное поле. Мороз крепчает.

Наши намокшие халаты покрываются на ветру ледяной коркой, трещат и хлопают при каждом движении. Тело сковывает ужасный холод. Хочется бежать, надо бежать — иначе умрем, но Бойко едва-едва ковыляет, и я поддерживаю его под локоть, подбадриваю:

— Держись! Держись, старина!

Наконец добрались до жилья. Это была, как потом выяснилось, деревня Куриловка. Стучимся в крайнюю хату. Старушка, которую мы разбудили, зажгла огарок свечи да так и обмерла, увидев нас в заледеневших белых балахонах.

— Немца нет?

— Нэма.

— Спасай, мать! Топи печь!

Мы с трудом освобождаемся от превратившейся в ледяной панцирь одежды и, голые, окоченевшие, начинаем усиленно размахивать руками и приседать… И вот уже чувствуем, как постепенно согревается тело. Старушка приносит самогон. Выпиваем по полстакана и остальным растираемся… Чудо! Оживаем! В доме полыхает печь. Забираемся на теплую лежанку, ложимся на какое-то тряпье. У пашей спасительницы нашелся табак. Она все делает молча, и мы молчим. Блаженно улыбаясь, свертываем по огромной козьей ножке и, хмелея от свободы, дымим махрой. Подумать только — перемахнули через Днепр! Победили мороз, ледяную воду и убийственный ветер. Выжили!

Наша одежда висит возле печки. И мы знаем, что, пока будем

спать, бабуся все высушит и соберет нас в дорогу. Мы накрываемся каким-то старым рядном и крепко засыпаем.

Утром поднимаемся бодрыми и веселыми. Хочется есть, но в доме нет пи крошки. Обжигаясь, пьем пахнущую дымом горячую воду. И за это спасибо. За все спасибо тебе, молчаливая, по все понимающая бабуся!

Она куда-то исчезает.

— А вот вам на дорожку, сынки, — говорит она и передает Бойко узелок с ржаными лепешками. — Соседка дала.

Мы идем довольно быстро по целине, без дороги. Идем на север — к фронту. Бойко старается не отставать. Пурга кружит, стучит снежной дробью по обледенелой земле и надежно укрывает нас от вражеских глаз.

— Знаешь, Степан, если в селе нет немцев, то днем поспим, ночью пойдем дальше. Если есть немцы — обойдем село. Так будет безопаснее.

Он согласен.

Бойко неразговорчив, поглощен своими мыслями. Я тоже больше молчу и с благодарностью думаю: «Какие же у нас замечательные люди! Кто мы дяде Коле Скрипнику? Да никто. Совсем чужие. А он нас приютил, сберег… И жена его Анна Ивановна последние свои простыни пустила на маскхалаты. А Маруся? Как выручала!

Золотые люди! Не только собой рисковали, но и жизнями своих малых детей. Нагрянули бы немцы, обнаружили нас — и всем конец… А бабуся из Куриловки! Она и вовсе не спросила, кто мы, но сделала для нас все, что могла. А ее соседка! Та и вовсе не видела нас, но дала, поделилась с беглецами последними ржаными лепешками… А Лида Лукьянова! Какая храбрая девушка. Сама связалась с Цвинтариым, проникала к нам в зону госпиталя. Каждый раз рисковала… Какую ответственность на себя взяла. Сейчас прячет наших беглецов. А их надо кормить, одеть, снабдить оружием, документами, или переправить через Днепр, или спрятать до прихода наших войск… Вот задача! Конечно, помогая нам готовить побег, она выполняла задание партийного подполья — не иначе…»

— Сорвались! — говорю я вслух.

— То ли еще будет! — отвечает мне Бойко.

Мы видели это

Итак, с величайшим трудом мы вдвоем с Бойко одолели Днепр. Ему особенно тяжело, он хромает, опирается на палку. Теперь — на север — в леса! Днем укрываемся в селах, ночью

идем сквозь снега и метель. Прошли уже километров сорок.

И вот на заре подходим к большому селу, расположившемуся в низине. Уже светает, но село как вымерло — ни одного дымка. От искрящегося снега больно глазам. Подходим к первой хате и в ужасе останавливаемся на пороге: на полу, в луже крови — труп старика, на кровати — убитая старуха, в люльке, подвешенной к потолку, — мертвый ребенок.

В соседней хате та же картина: в сенях — труп женщины с коромыслом в руке, рядом — опрокинутое ведро. В хате — две убитые девочки-подростки.

Выбираемся из села, поднимаемся на вершину бугра и видим отсюда темные пятна на белом снегу — это запорошенные трупы сельчан. Вместе с Бойко по глубокому снегу, по целине быстро уходим от этого страшного места.

Позже мы узнали, что в том селе стояла немецкая часть. Перебазируясь, немцы оставили склад с бензином под охраной двух солдат. В село ворвалась наша танковая разведка, маневрировавшая в тылу врага. Танкисты взорвали бочки с бензином, убили охрану, провели митинг и умчались. На следующий день прибыл отряд карателей и, оцепив со всех сторон село, безжалостно уничтожил все живое. Свинцовым дождем прошелся по людям. Уцелела только одна женщина, спрятавшаяся в сарае. Она и оказалась единственным свидетелем этой трагедии…

Мы шли все дальше и дальше на север.

В одном селе наскочили на какую-то вооруженную банду, едва унесли ноги. То ли это били переодетые в штатскую одежду полицаи, то ли уголовники… В дороге едим что придется, спим где попало, бывает, просто зарываемся, как сурки, в снег.

Вот опять село. Бойко, облаченный в старое рваное пальто, подходит к крайней хате, стучит в окно. Через замерзшее стекло видит: женщина машет рукой — уходите, мол, прочь отсюда! А по всем признакам немцев в селе нет.

— Давай все же зайдем, — говорю я. — Узнаем, в чем дело, да и перекусить бы не мешало.

Входим. В хате пять женщин, и все плачут.

— Что случилось?

— Ой, горе, горе-лышенько!

Узнаем, что здесь часа три назад побывали каратели.

Они вывели всех стариков и подростков за село и расстреляли. За что? Никто не знает.

— Лежат они там, бедные, — причитает одна старуха, — похоронить нельзя: немцы подходить запретили.

Метет метель.

И снова путь-дорога. Уже отмахали километров сто, а то, может, и больше. Идем по земле, где недавно шли жестокие бои. Села, видимо, из рук в руки переходили: все сожжено, всюду разбитая техника, запорошенные трупы солдат. Стараемся обходить села с немецкими гарнизонами, избегаем дорог, обходим вражеские посты и дозоры. Бойко решил, что лучше нам разделиться.

— Как наскочим на немцев — так сразу нас обоих и прихлопнут. Давай лучше пойдем один за другим. Дойду до села и в крайней хате буду тебя дожидаться. Придешь, встретимся, и опять в дорогу.

Он пошел первым. Через три часа тронулся я. Вот и деревня, захожу в крайнюю хату — Бойко тут. Обрадовались встрече, посидели, покурили и — дальше. Так за ночь несколько раз встречались и расставались. На пятый день я его потерял. Пришел в село, захожу в крайнюю хату, спрашиваю: «У вас тут хромой с палкой был?» — «Был, — говорят. — Ждал-ждал и ушел». Я искал по всему селу — пропал мой Бойко. В следующем селе то же самое. «Был, — говорят, — вроде он самый, а куда пошел — не знаем». Так мы и потеряли друг друга.

Добрая встреча

Теперь я в пути один. Иду на север — в леса, они надежная защита.

И вот, к великой радости, снова обрел попутчика. Дело было так: захожу в село, в какую-то хату. Мужчин в селе давно нет, только женщины да дети. Хозяйка мне говорит:

— А здесь еще один ходит, блудный.

«Не Бойко ли?» — подумал я.

— Где? Кто такой?

— В соседней хате ночевал.

— Узнайте, — прошу, — там ли он? Пусть зайдет. Женщина ушла и привела с собой молодого парня лет

двадцати пяти. На вид — орел! Широкий в плечах, статный, одет в телогрейку. Из-под ушанки глядят спокойные, внимательные глаза. Круглое русское лицо с широкими ноздрями и крупным ртом. Правую руку держит в кармане.

— Садись! — предложил я. — Разговор есть, а что форма на мне немецкая — так это так, по необходимости.

Он сел на лавку, я — за столом. Мы пригляделись друг к другу, разговорились и вскоре уже беседовали, как старые друзья… В тылу нередко так случается: несколько фраз — и возникает взаимное доверие.

Ночью, на соломе в сарае, Василий Громов рассказал мне свою историю. Ему — разведчику армейской разведки — довелось с одним радистом вылететь на самолете в тыл врага. Ночью пересекли фронт. Вначале все было благополучно, но потом немцам все же удалось прожекторными лучами засечь самолет. Захлопали зенитки, самолет был подбит. «Прыгайте! — приказал летчик. — Здесь до места недалеко, а я буду самолет спасать». Они прыгнули в черную бездну, не долетев до нужного квадрата. Радист — первым, разведчик — вторым. И надо же было так случиться, что разведчик спустился на своем парашюте в каком-то селе прямо на крышу дома, где расположился немецкий штаб. Когда часовой увидел советского парашютиста, повисшего на крыше, он завопил во все горло. Василий мигом освободился от парашютных лямок, дал по часовому очередь из автомата, спрыгнул на землю и скрылся в темноте… Так он расстался со своим радистом, а вскоре оказался в селе, где мы и встретились.

Лежим на чердаке сарая, зарывшись в солому.

— А где ты был весной сорок второго? — спрашиваю.

— Из разведотдела 275-й дивизии перевели меня в армейскую разведку 57-й армии как раз после майских праздников, — говорит Василий. — Мы тогда действовали приблизительно в, том же районе, как обозначается в сводках, — на харьковском направлении. В конце мая попали в клещи Гудериана, пробивались с боями… кажется, на Славянск… Жуткие были бои… Распутица, грязь, местность открытая, негде спрятаться, ни березки, ни кустика, а немец вызвал авиацию…

— Ну и как?

— Пограничники выручили. По приказу Городиянского — командующего 6-й армией 79-й погранполк был брошен на прорыв. Вместе со 103-й стрелковой дивизией он-то и пробил брешь для выхода наших войск из котла…

Лежим с Василием на соломе, беседуем. Кругом гробовая тишина. Хоть бы песню девичью услышать, да откуда ей взяться, если немцы всех девчат в рабство угнали. Хоть бы пес тявкнул, так и собак тоже всех перебили.

Хоть бы петух кукарекнул, да нет петухов — всех немцы пожрали.

— А ты сейчас откуда? — спрашивает Василий.

— Махнул через Днепр. Бежал из днепродзержинского лагеря. Два года по лагерям. Только сорвусь — снова сцапают.

— Украина, поля кругом, негде и сховаться, — сочувствует мне Василий,

— Только б до леса добраться, дело себе найду. Пока буду партизанить, а там обстановка сама покажет, что к чему.

— А где служил?

— Спецвойска. Командовал нами майор Грачев. Словом, хозяйство Грачева. Первый день войны встретил на Дунае, в Измаиле. На третий день вели бои на румынской территории в районе Килия-Веке. Взяли восемьсот румын в плен…

— А хочешь, — сказал Василий, — давай двигаться вместе, примкнем к нашим ребятам, а там видно будет…

Я согласился.

— Ну ладно, соловья баснями не кормят, — сказал Василий. — Поспать надо…

Утро встретило нас яркими холодными лучами морозного солнца, что прорезались сквозь щели на крыше. На чердаке сарая мы оба изрядно замерзли.

— Куда будем путь держать? — спрашиваю Василия.

— На север! Километрах в пятидесяти отсюда сброшена еще одна наша разведгруппа. Надо разыскать. Ребята боевые, у них должна быть рация…

Спустились во двор. Хозяйка покормила нас галушками, и мы ушли…

В одном из сел Сумской области, покинутом жителями, мы проснулись в полуразрушенном сарае и услышали немецкую речь.

— Фашисты!

— Попытаемся проскочить, — говорю я, поправляя на себе немецкую шинель. — Давай мне свой «Кольт», быстро! Прячь руки за спину. Поведу тебя под конвоем…

Выходим на улицу. Василий впереди, я — сзади. Размахиваю пистолетом: «Лос! Лос!» — кричу, а он шагает, держа руки за спиной. Немцы смотрят, картина привычная.

Так мы и выбрались из села.

Тройка

Сани, запряженные тройкой лошадей, стоят возле крепкого сруба. Раннее утро. Сквозь заледеневшие окна виден свет керосиновой лампы. Это — районная полицейская управа.

Село — одна улица. Дома целы, из труб тянутся дымки. Рядом с управой — дом старосты (раньше в нем была школа). На улице никого, только возле самой управы деловито снуют полицаи. Один тащит гогочущего гуся, у другого за спиной в мешке визжит поросенок, третий, с трудом держась на ногах, волочит по снегу немецкую канистру и что-то поет…

— Никак самогон прет, — говорю я.

— Возможно. Нажрался, гад!

Мы с Василием лежим за забором в сугробе, наблюдаем. Все,

что нас интересовало, мы уже разузнали.

— Сейчас начнем! — говорит Василий. — Ты задами обходи село, выйдешь возле той церквушки. — Василий указывает на крохотную колоколенку, видную нам из-за бугра. — Сколько тебе туда добираться?

— Минут десять.

— Так вот. Я минут через десять махну в сани, проскочу селом и подхвачу тебя на ходу возле церквушки. Ясно?

— Ясно.

Я отползаю в сторону и, прячась за сугробами — где на четвереньках, где на карачках, где бегом, — огибаю село задами. Вот и церквушка. Ложусь в снег возле облупленной, давно не беленной церковной стены. Жду… Смотрю, летит мой Василий на тройке, как ухарь-купец. Звенит на всю улицу поддужными бубенцами. В одной руке — вожжи, в другой — трофейный автомат, из него он чешет по полицаям, выскочившим из управы с винтовками.

На ходу с разлета бухаюсь в сани и ударяюсь головой о бочонок с медом. Полицаи не успели его снять. Минуем село и вихрем летим по чистому полю, навстречу заре. Снег вокруг ослепительно розовый. Сытые, взмыленные кони мчат наши розвальни — только снежная пыль клубится. Вороной коренник вымахивает голенастыми ногами, в пристяжных — две гнедые кобылы. Василий стоит в розвальнях и нахлестывает кнутом: «Гей, вороные! Орлы удалые! Вывозите, черт побери!.. Держись, браток! Не вывались! Вперед! Смерти нет!» — орет он во все горло, в азарте забыв, где мы и что мы. А я тем временем шарю в санях и обнаруживаю под рядном и сеном все новые и новые дары — тут и сало, и лепешки, и горшки со сметаной.

— Смотри! — кричу я. — Винтовка!

Василий интересуется:

— А ты из трофейного бьешь?

— Бью! А как же!

— Тогда порядок. — Он придерживает лошадей и, сев со мной рядом, окунает в разбитый горшок сметаны лепешку и ест, как мальчишка, облизывая вымазанные пальцы. — Ох, полицаи! И любят же смачно пожрать, сволочи! — хохочет он.

Едем рысцой по целине. Невдалеке стена неубранной кукурузы. Вдруг видим, из кукурузного поля выходят три зайца. Что-то их удивило и привлекло, и они, высоко подняв уши, сидят рядком на снегу и слушают звон бубенцов.

Отмахав за день километров сорок, копи примчали нас к глухому селу. Остановились у какой-то хозяйки — обстановка подходящая, немцы здесь не появлялись. Мы распрягли коней.

Пришлось забинтовать им ноги — проваливаясь сквозь ледяной наст, они в кровь ободрали лодыжки. И сейчас, стоя с торбами на шеях, от боли бьют копытами.

Хозяйка была счастлива — мы отдали ей окорок. Устроила нас на большой крестьянской кровати, сама с детьми полезла на печку.

Ночью мела пурга. Ветер стучал ставнями, завывая в трубе. Где-то неподалеку выли волки.

Утром мы отправились дальше. Ехали в открытую по дороге. Среди дня нам попалась навстречу бричка, запряженная старой клячей. В бричке сидели трое вооруженных полицаев. Василий насторожился.

— Если привяжутся с проверкой документов, — сказал я, — коси из автомата. Не привяжутся — пусть шпарят мимо.

Бричка поравнялась с нами. Увидев в санях немецкого солдата с винтовкой, полицаи даже не почесались. Мы мирно разъехались. К вечеру, когда заходящее солнце глядело нам в спину, на дороге впереди показался какой-то человек. Он сошел на обочину и дал нам проехать. Проезжая мимо, я взглянул ему в лицо, и оно мне показалось очень знакомым. Проехав метров сто, попросил Василия развернуться и догнать прохожего.

— Куда путь держишь, мил-человек? — спросил я прохожего.

— В соседнее село.

— А где живешь?

— Вой там. — Он показал на небольшую балку с редкими домиками.

— А меня признал?

— Ни.

— В Кировограде бывал?

— Був.

— Ну, тогда бывай здоров!

Мы снова развернулись и поехали своей дорогой.

— Чего ты к нему привязался? — спросил Василий.

— Узнал подлеца. Это тот самый полицай, который командовал экзекуцией, когда меня пороли… Помнишь, рассказывал?

— Что же ты его не прихлопнул?

— Успеется. Чего ему на дороге валяться, на след наш наводить. Мы в его село едем. Отдохнем. Подкрепимся. К вечеру навестим…

И мы навестили его в той хатенке на краю балки, которую он указал. Старуха, приютившая нас в селе, знала этого полицая. Приметный, без уха. «Хуже немцев, ирод проклятый! — пожаловалась она. — Недаром его Одноухим кличут. Кто-то,

видать, ему ухо отрезал, что ли, или откусил».

В его дом мы вошли поздно вечером. Сидит эта толстомордая гадина в белой рубахе, уплетает вареники и горилку хлещет.

— Сидайте вечерять! — приглашает.

— Некогда нам, дела. Так ты меня не признал? — спрашиваю. — А в Кировограде был?

— Був.

— Там меня в лагере полицаи пороли, а ты, гад, ими командовал…

Одноухий побелел, медленно поднялся с места — ни жив ни мертв. Мы с Василием подошли поближе к нему и, в полный голос от имени заключенных кировоградского лагеря объявив приговор, привели его в исполнение. Прошитый тремя пулями, полицай с храпом рухнул на пол, опрокинув на себя бутыль самогона.

Я вернул Василию его «Кольт».

Пока все шло благополучно.

Как-то раз остановились в одном селе на ночевку. Утром я пошел к сапожнику: порвались ботинки. Починил старик ботинки, подбил гвоздями и говорит:

— Сто лет теперь носить будешь. Шагай, хлопчик, веселее!

— Спасибо, дедушка! Я на лошадях.

Вышел из дома. Вижу, в село втягивается немецкий обоз. Спрятался за сараем, выжидаю. Спустя минут двадцать, когда обоз миновал село, возвращаюсь туда, где оставил Василия, а его и след простыл. «Где он?» — спрашиваю хозяйку. «Как немцев увидел, прыгнул в сани — и в поле».

Вышел я во двор — только следы от саней на снегу. Прав был сапожник. И пошел я пешком. Трудно мне было без Василия, но я понимал, что другого выхода у него не было. Увидели бы немцы тройку — пиши пропало!

И вот я снова пробираюсь на север — к лесам. И опять пешком.

Пусть числится при обозе

Проснулся от выстрела. Присел на кучу соломы, прислушиваюсь. Немецкая речь, шум машин, урчание танковых моторов. В селе немцы. Мой сарай рядом с бревенчатым домом. Гляжу в щель — солдаты тащат в дом ящики, брезентовые тюки, то и дело покрикивая друг на друга, — хозяйничают, как у себя дома.

На другой стороне улицы походная кухня и двое полуголых немцев, кряхтя и похохатывая, обтираются снегом.

Лежу, обдумываю: «Что делать? Где сейчас фронт? Куда идти?» Здесь оставаться опасно: придут немцы за соломой — и я погиб. Мысли беспорядочно бороздят мозг. Что делать? Как выкрутиться? Незамеченным не проскочишь. Растерянно гляжу на полуразрушенную стену сарая. На ней беспомощно висит маленький, грязный детский картузик в красную с белым полоску, а под ним валяется игрушечный деревянный танк с облупившейся зеленой краской…

И вдруг мне припомнились громадные фанерные танки — муляжи, с которыми немцы устроили целый спектакль под Первомайском. Фанерные макеты эти вывезли вслед за настоящими танками. Издали макеты казались ползущей с горизонта страшной силой, но от наших снарядов вмиг разлетались в щепы… Муляж не удался! Хотели обмануть, да дудки, номер не прошел!

Пожалуй, сейчас самым целесообразным было бы перехитрить фрицев, самому прийти к ним, выдать себя за немецкого солдата и избежать бессмысленной гибели… А потом сориентироваться и действовать по обстановке. Опыт, накопленный в лагерях и при госпитале, должен пригодиться. В эти короткие секунды я мысленно спросил Хромова, своих школьных друзей, своих однополчан, свою мать и собственную совесть, стоит ли так поступать. Интуиция и выработанная во вражеском тылу осторожность как бы автоматически заставили меня принять это дерзкое решение. Пришлось снова испытывать судьбу. Надо так надо. Иду на риск. Внутренне перевоплощаюсь в новую для себя роль, быстро вскакиваю на йоги, тщательно отряхиваю соломинки со своей немецкой формы, причесываюсь, поправляю ремень, пилотку и, посмотрев в карманное зеркальце, как ни в чем не бывало покидаю свое убежище.

Иду по улице. Немцы даже не смотрят в мою сторону. Все заняты своими делами. Ищу штаб, по флага нигде не вижу. Обращаюсь к солдату, который тащит на веревке козу:

— Aus welchem Truppenteil?

— Was suchst du?

— Wo ist der Stab?[28]

Он указывает как раз на дом рядом с моим сараем. Возвращаюсь обратно и вхожу в дом. Навстречу мне выскочил фельдфебель.

— Господин фельдфебель, разрешите обратиться к командиру части, — говорю по-немецки.

— По какому вопросу?

— По служебному делу.

Фельдфебель пропускает меня в прибранную, хорошо

протопленную комнату. И вот я стою перед красивым, холеным танкистом-капитаном с Железным крестом на груди. Он сидит за столом, закинув ногу на йогу, и, куря дорогую ароматную сигару, разговаривает с младшим командиром. На вид ему не больше сорока, длинные холеные пальцы его рук изящны и чисты. На столе — кожаные перчатки и стек. На ногах роскошные, высокие блестящие хромовые сапоги на меху.

— Господин капитан, — обращается к нему фельдфебель, — этот солдат пришел к вам.

Повернувшись ко мне, капитан осматривает меня строгими, проницательными глазами.

— Господин капитан, разрешите обратиться! — вытягиваюсь в струйку, пристукиваю каблуками.

— Да! — бросает он резко.

— Я — немецкий колонист с Кавказа. Война застала меня в Бресте. Отдыхал у родственников. Вскоре добровольно присоединился к немецкой войсковой части и вместе со 101-й пехотной дивизией двигался на Харьков… С неделю назад отстал от части и вот разыскиваю ее. (То, что подслушал в госпитале, в одной из офицерских палат, было основой моей легенды.)

— Документы есть?

— Никак нет, господин капитан. При части не был аттестован.

— Оружие?

— Никак нет, господин капитан. Не полагалось. Был переводчиком у командира полка полковника Шлиттенбаума.

— Вот еще новости! Фельдфебель, что нам делать **с** этим ненормальным?

Фельдфебель молчит. Капитан испытующе смотрит на меня:

— А не врешь?

— Никак нет, господин капитан. Сущая правда.

— Коммунист?

— Никак нет, господин капитан. Да и лет-то мне всего девятнадцать.

Капитан обращается к присутствующим:

— Как по-вашему, не похож он на коммуниста? Все молчат.

— Ну, смотри, я все проверю! — обращается он ко мне.

— Не пожалеете, господин капитан. Я — немецкий солдат.

— Какой же ты солдат без оружия?

— Надеюсь, дадите.

— Это мы еще посмотрим, — усмехаясь, говорит капитан. — Оружие заслужить надо.

— Так точно, господин капитан, надо заслужить.

— Ну, фельдфебель, куда мы его денем?

— Оставим при обозе, господин капитан.

— Пусть числится при обозе, ночует с моим денщиком, по утрам помогает на кухне. А потом решим…

Так я попал во 2-ю штабную роту танковой дивизии СС «Великая Германия», которой командовал капитан Бёрш.

И вот каждое утро приходится колоть дрова для походной кухни, таскать воду и помогать денщику готовить ужин для капитана и его гостей. Приходится помогать обозникам разгружать и нагружать машины канистрами с бензином. В обозе человек двадцать украинцев, в большинстве пожилых. Они насильно угнаны немцами, и, хотя до их родных мест отсюда далеко, немцы за ними бдительно следят.

У Бёрша личный переводчик — эстонец средних лет, с хмурым и злым лицом. Глаза у него недоброжелательные и опасные. Он груб и придирчив, собственноручно застрелил двух стариков обозников при попытке к бегству, мне не доверяет и частенько прощупывает вопросами о Кавказе, надеясь поймать на слове. Но тут я неуязвим: с трех лет жил в Пятигорске и отлично знаю те места. В конце концов он от меня отвязался.

Подружился я с тринадцатилетним мальчишкой, ездовым-украинцем, которого все почему-то называли итальянским словечком «Пикколо», то есть «маленький». Он смышленый, остроумный и ловкий паренек с веселой открытой физиономией. У него своя подвода, две лошади, и я всегда стараюсь подсесть именно к нему.

Первые педели моего пребывания во 2-й штабной роте капитана Бёрша были для меня своего рода временной передышкой. Никто не кричал на меня: «Лос! Лос!», не было видно конвоиров и колючей проволоки. Немцы относились ко мне как к равному. Надо было сориентироваться в новой обстановке, выяснить, где фронт, и свое временное пребывание в немецкой роте использовать как можно эффективнее.

Капитан Бёрш относится ко мне хорошо, часто разговаривает со мной, расспрашивает о России. Самое занятное во всем этом то, что я с бухты-барахты придумал себе фамилию Шарко, не подозревая, что становлюсь однофамильцем великого французского невропатолога, члена Парижской академии наук, прославившего на весь мир методы водолечения. Я назвался Николаем и, таким образом, стал Николя Шарко.

Нельзя наугад

9 марта 1943 года рота расквартировалась в одном из сел Сумской области.

Как сейчас помню утро, когда до нас вдруг донеслась стрельба, орудийный гул. Казалось, стреляют километров за десять. «Фронт! — подумал я. — Фронт гудит!»

В роте царила суматоха. Танки стояли в молодом березняке, их быстро заправили бензином, и они ринулись в направлении стрельбы. Весь день вдали грохотало, потом стрельба стала затихать, по ночью снова возобновилась.

«Надо срываться! — решил я. — И переходить фронт».

Первое, что я сделал, — достал «Вальтер». Украл его из грузовой машины, пока шофер спал в кабине. В этой же крытой восьмитонке я переоделся в черный рабочий комбинезон танкиста, достав его из груды одежды, сваленной в кузове. Накрапывал дождь. Под черным небом, в черном комбинезоне меня не было видно. Проскользнув зону роты, я двинулся в сторону, откуда слышалась интенсивная стрельба. Километров через пять-шесть пришлось лечь на землю и ползти — невдалеке рвались снаряды и посвистывали шальные пули. Я полз по кукурузному полю и, мокрый, весь в грязи, выбрался наконец на дорогу. За ней был бугор, за бугром — зарево, там шел бой…

Дорогой мне уже попадались подбитые немецкие танки, брошенные орудия, трупы солдат. Я дополз почти до вершины бугра, где были расставлены копны соломы. Решил залезть в копну и переждать ночь. К утру, думаю, фронт перекатится через меня и я уже буду у своих.

Под утро бой затих. От нервного перенапряжения я на какое-то время забылся.

Очнулся от шума танковых моторов. Окоченевшее тело ныло — я же весь мокрый лежал на промерзшей земле. Выглянул наружу — над землей курится туман, неподалеку по дороге ползет колонна немецких танков — «Пантеры», «Тигры», «Фердинанды». В головной легковой машине офицеры: один из них, стоя в машине, оглядывает окрестность в бинокль. Колонна остановилась. Легковая машина поднялась на бугор и стала метрах в сорока от моей, копны. Офицер крикнул танкистам: «Маскировать машины! Поживее! Возможна авиация противника!» Легковой автомобиль перевалил через бугор.

И вот танки ползут вверх, автоматчики-танкисты нехотя соскакивают на землю, хватают охапки мокрой соломы и маскируют танки. Я лежу, оцепенев от ужаса, жду, что будет дальше. Не вижу выхода из своего нелепого и, казалось бы, совсем безвыходного положения. Автоматчики подбегают все ближе и ближе, вот-вот начнут растаскивать и мое укрытие. Инстинктивно пячусь назад, вылезаю из-под соломы и оказываюсь прямо в компании автоматчиков. Молниеносно соображаю, как

действовать, хватаю охапку соломы и, шатаясь от нервного шока, подхожу к одному из танков.

— Greif zu! — кричу я.

— Schmeiss rauf![29] — отвечают сверху.

И я подбрасываю солому и, быстро повернувшись, спокойно, будто за новой охапкой, удаляюсь прочь, пряча «Вальтер» в карман. На меня смотрит немец, который присел по нужде тут же на краю кукурузного поля. Делаю вид, что не обращаю на него внимания, и чуть в сторонке присаживаюсь в той же позе… Немец на меня не смотрит, тогда я встаю и спокойно ухожу в кукурузные заросли. И тут меня охватывает неистовая слабость. Холодный пот бежит по лицу. Все тело трясет как в лихорадке, ноги подкашиваются. Я беру себя в руки и неимоверным усилием заставляю себя бежать…

Весь день я кружил по местности, прячась от немцев. К ночи перешел бугор и спустился в село, где недавно шел бой. Село сгорело — одни почерневшие печки да трубы. Вижу наши разбитые танки Т-34, орудия, обугленные машины и трупы убитых — наших и вражеских солдат. Где же фронт?.. И только тут я понял, что, уйдя, поступил крайне опрометчиво, совершил грубейшую ошибку, действовал наугад…

Прохожу восемь, десять километров по вчерашним ориентирам в кромешной темноте, потом снова ползу по-пластунски сквозь березняк. И вот я уже вижу бёршевские замаскированные танки. Вдали маячит часовой.

Я вернулся в ту же немецкую часть. Как же я себя ругал за поспешность, за грубый промах! Что меня ждет? Пуля! Как оправдаться?

Подбираюсь к месту, где в кустах оставил форму: ее нет. Где же она? Во что переодеться? Я весь грязный, мокрый. Снова шарю в кустах и наконец нахожу свой узел. Просто перепутал в темноте кусты… Быстро переодеваюсь, подползаю к грузовику. Немецкий шофер спит, будто так и не просыпался, как и в прошлую ночь, торчат из кабины его длинные ноги, и храпит он так же… Я прячу в ящик похищенный «Вальтер», подкидываю в кузов черную спецовку. Лезу под машину, свертываюсь на земле калачиком и лежу… Потом вылезаю из-под грузовика, бужу двух обозников, спящих в кузове под брезентом.

— Где ты был? — говорит один спросонья. — Тебя весь день шукали.

— Беги! — шепчет другой. — Беги отсюда! Фельдфебель орал — жуть! Эстонец всех допрашивал, все жилы вымотал. Беги!

— Где ж ты был? — снова спрашивает первый.

— Да так… у одной женщины. Здесь недалеко…

— Ух и будет тебе на орехи! Я встаю и иду к часовому.

— О-о-о! — Часовой крайне удивлен, в лунном свете таращит на меня глаза. — Бог мой! Где ты был?

— Заночевал у одной знакомой женщины, простыл и отлеживался на печке.

— А ну, быстро к дежурному.

Часовой будит унтер-офицера, и тот, ругаясь на чем свет стоит, ведет меня в село, поднимает фельдфебеля, тот будит переводчика, и все вместе мы направляемся к капитану Бёршу.

Темная ночь. Только что прошел дождь со снегом, шлепаем по грязи. Наконец заходим в дом, фельдфебель и переводчик идут в комнату к капитану, а я с унтер-офицером остаюсь в передней. Жду приговора… Дверь открывается, фельдфебель кивает мне. Вхожу в комнату, ноги становятся ватными, но стараюсь внешне сохранить спокойствие, взять себя в руки и не терять самообладания. Сидя на кровати в нижнем белье, Бёрш молча надевает галифе, а затем натягивает сапоги. Три часа ночи. В мою сторону он даже не смотрит. Медленно надевает китель, застегивает его на все пуговицы и подходит ко мне.

Я стою, вытянувшись в струйку. Волнения не показываю, смотрю прямо в глаза. Бёрш бьет меня наотмашь по лицу: раз, другой, третий. Едва устоял на ногах. Из носа хлещет кровь. Стою молча.

— Подлец! — шипит капитан. — Немецкие солдаты в твоем возрасте умирают на фронте. А ты? Расстрелять тебя мало! Таких вешать надо, тварь ты болотная! — Снова сильно бьет меня по лицу.

В глазах сверкнули искры, но я устоял на ногах.

Все вместе выходим из хаты.

— Где живет та женщина? — резко гаркнул капитан.

— Третий дом с конца, — указываю рукой вдоль улицы.

Молча шагаем по грязи, — впереди капитан и эстонец, сзади фельдфебель, унтер-офицер и я. Сердце застучало сильнее. Нервы напряжены. Но я внешне спокоен и ничем не показываю своей все нарастающей тревоги. Вот и третий дом.

— Стоять здесь! — приказывает капитан фельдфебелю и вместе с переводчиком и унтер-офицером входит в калитку сада, стучит в дверь. В окне загорается свет. Снова накрапывает дождь. Проходят томительные минуты, решается моя судьба. Дом я назвал не случайно. У его хозяйки — тети Дуси — я брал молоко для капитана и за это давал ей мыло.

Мы продолжаем мокнуть под дождем. Наконец из дома выходят Бёрш, переводчик и унтер-офицер. Они молча проходят мимо нас. Фельдфебель пожимает плечами. Бёрш уходит к себе,

переводчик — к себе, унтер-офицер — тоже.

— Марш спать! Да смотри у меня! — на ходу бросает фельдфебель. — Гуляка!

А тетя Дуся, земной ей поклон, сразу же догадалась, в чем дело. Я доверился этой скромной пожилой украинке и поделился с ней своими мыслями и планами. Эта женщина привязалась ко мне, как к сыну, и хорошо понимала всю сложность моего положения. Она и сказала Бёршу как раз то, что я просил ее сказать, если к ней нагрянут немцы и будут ее допрашивать. Она спокойно подтвердила, что я у нее ночевал и потом целый день пролежал на горячей печке — занемог и только недавно, с темнотой, пошел в часть…

Наутро немцы завистливо посмеивались: вот, мол, ему хорошо, он не солдат, ему все можно.

Как я узнал потом — сражение за далекими буграми не было фронтом. Линия фронта была не менее чем в ста километрах от этих мест и совсем в другом направлении. Случилось вот что: одно из советских бронетанковых соединений попало в окружение и вело жестокий, неравный бой…

После войны мне случайно удалось прочесть сообщение Советского информбюро. В нем говорилось об обстановке на этом участке фронта: «…контрнаступление немцев в районе Донбасс — Харьков… Противник пополнил потрепанные и разбитые в предыдущих боях 8 танковых и 5 пехотных дивизий и недавно спешно перебросил в этот район из Западной Европы 12 свежих дивизий…»

Это сообщение было от 9 марта 1943 года.

Мое новое оружие

Капитан Бёрш был гурманом и обожал яичный ликер, который приготовлял ему денщик Карл Вайндорф — сын баварского крестьянина; он был кряжист, красив лицом. Этот расторопный и услужливый солдат, раздобревший на остатках с офицерского стола, ко мне относился с явной симпатией и каждый раз после выполнения того или иного поручения давал мне несколько сигарет.

В рецепт яичного ликера входил чистый спирт и яичные желтки; из сбитых белков делалось воздушное печенье. Ликера изготовлялось по четыре-пять литров, и на него шло огромное количество свежих яиц, а их не так-то просто было достать у ограбленного до нитки сельского населения.

Однажды денщик сказал мне:

— Николя, капитану нужен ликер. Раздобудь хоть сотню яиц.

Я оторопел:

— Где ж их взять? Ни у кого из жителей села не осталось ни кур, ни петухов.

— Позарез нужны яйца, и никак не меньше сотни! — категорически заявил денщик. — Забирай подводу и жми! Обследуй близлежащие села. Надо достать! И чтобы без яиц не возвращался.

В подразделении был огромный склад бензина — в отгороженной зоне находилось более пятисот канистр, их охранял часовой. Пообещав караульному два десятка яиц, я попросил у него три канистры бензина, погрузил их на подводу Пикколо и отправился с пареньком по окрестным селам…

Время было весеннее, выехал я рано утром, а к обеду уже возвратился с двумя сотнями свежих яиц. Денщик был в восторге.

— Где ты раздобыл такое богатство?

— Э-э-э! Это мой секрет! — не рассказывать же ему, что в первом же селе я шепнул какой-то девчонке: «Эй, девочка, а ну, быстренько, беги по хатам и скажи, что бензин приехал. За литр — пять яиц. Кому надо — пусть приходят».

Шустрая девчонка подхватила компанию ребятишек, и через минут десять у моей подводы стояла очередь с бачками, ведрами, бутылями. Оживление было невероятное. Жителям позарез был нужен керосин, и они, насыпав в бензин соли, наливали его в керосинки и лампы.

— Когда снова приедешь? — спрашивали они. — Давай, давай, немец, вези!

— Корошо, корошо, привези! — коверкал я русские слова, чтобы избежать лишних вопросов.

Часовому я отдал обещанные два десятка яиц и заручился его расположением на будущее.

Отсюда и началась моя безнадзорная работа — все чаще и чаще меня посылали за продуктами, и я мог исчезать из части на двое, трое и даже четверо суток.

В немецкой армии существовали подразделения с определенными функциями: одни были карателями (особенно выделялись в этом отношении так называемые эйнзац-команды — «ликвидационные» отряды), другие угоняли население, третьи увозили ценности, четвертые отправляли в Германию скот, все виды продовольствия и топлива. Все эти функции с немецкой педантичностью были распределены между войсковыми подразделениями и узаконены приказами сверху. И всему велся строжайший учет, в определенной смете регистрировались и каждая курица, увезенная в Германию, и каждый расстрелянный житель оккупированной территории.

2-я штабная рота под начальством капитана Бёрша имела свое особое задание — своевременно снабжать дивизию горючим, в остальные дела рейха она не вмешивалась. Вот это горючее я и использовал по своему усмотрению, разбазаривая немецкий бензин почем зря. За два с лишним месяца я сплавил населению более двух тони бензина.

Костлявый, длинный, как жердь, в квадратных очках фельдфебель Вилли Гротт, вышагивающий, как гусак, не говорил, а лаял металлическим голосом; одни его недолюбливали, другие боялись, со мной же, как ни странно, он был даже весьма дружелюбен, приглашал по вечерам поиграть в карты, зная, что при случае и ему перепадет бутылочка яичного ликера. Я же, в свою очередь, располагал его к себе, ибо от него тоже многое зависело в роте. Он распоряжался обозом и следил за доставкой бензина. Так что и лошади, и бензин были под его контролем.

Время шло, и 2-я рота откатывалась все дальше и дальше на юг и в мае 1943 года расположилась в Полтавской области.

«Как быть дальше? Что делать?» — эти вопросы все чаще и чаще волновали меня.

Однажды мне довелось быть в одном из полтавских сел. Беленькие хатки тонули в яблоневом цвету, все благоухало, и, глядя на этот райский уголок, трудно было представить себе, что где-то в сотне километров отсюда горят пшеничные поля, дымятся обугленные села, льется кровь. До этого цветущего села фронт еще не докатился, а сначала по чистой случайности война обошла его стороной…

В удобный момент, когда полицаи пьянствовали, я собрал в хате несколько женщин и объявил, что прибыл к ним по заданию советского командования, владею немецким языком, нахожусь при немецкой части. О кличке Сыч я здесь ничего не сказал. Опасался, что преждевременно пойдут ненужные слухи, ведь я пока не покидал этого района.

Женщины с явным недоверием косились на немецкую форму, но моя откровенность, чистая русская речь, видно, пришлись им по душе, и они стали подзывать в хату других сельчан. Вскоре народу набилось битком. Я выставил во дворе дозор из местных ребят и продолжал беседу. Я говорил о положении на фронте, о зверствах фашистов в концлагерях, о массовом угоне населения в германское рабство, о мародерстве и насилии оккупантов и их продажных наймитов. Рассказал им о победе советской армии под Сталинградом, раздал им листовки, которые сбрасывались тогда с советских самолетов, сообщил последние сведения Совинформбюро. Старался вселить в них веру в скорое освобождение от фашистов. Женщины жадно слушали, задавали

вопросы, вытирали набегавшие на глаза слезы…

Сидя на скрипучей подводе и возвращаясь в немецкий обоз, я, пожалуй, впервые испытал чувство удовлетворения. Это был первый успех. Я сознавал, что нашел свое место, свой пост. Я стал партизаном-подпольщиком.

Немцы прикрывали свои злодеяния различными измышлениями, рекламировали себя защитниками и покровителями «свободного» украинского народа. Я видел, что оккупанты, стремясь деморализовать население, пустили в ход свою «пропаганду»: листовки, плакаты, газеты, хвалебные речи, фотографии, воззвания, кинофильмы, радиопередачи. Ложь, клевета, лицемерие пронизывали эту гитлеровскую бутафорию. Нужны были контрмеры. Мне необходим был источник информации, из которого бы я черпал убедительные факты, сведения более крупного масштаба. Офицеры штаба дивизии, которые обычно навещали капитана Бёрша, в своем большинстве были представителями старопрусского дворянства. Они — пресловутые наследники ганзейских купцов и гогенцоллернов — считали себя «элитой германцев», которые завоюют весь мир. Они были чванливы, заносчивы, предельно высокомерны. Немецкие солдаты были для них лишь номерами в рапортах и донесениях — не больше, а местное население они просто считали рабочим скотом. Эта офицерская знать после изрядной дозы яичного ликера была довольно болтлива — и оперативные сведения, добытые в их узком кругу, имели определенную ценность и брались мною на вооружение. Этим источником информации я стал пользоваться постоянно, стал также чаще заглядывать в радиоузел части, беседовал с радистом — рыжим, юрким, подхалимистым, голубоглазым ефрейтором Гансом Клюппером, вошел к нему в доверие, и однажды он сам попросил меня перевести ему сводку Совинформбюро. С тех пор мы с ним почти ежедневно украдкой слушали Москву…

Теперь я мог беседовать с людьми более серьезно и более конкретно. Но действовал осторожно, осмотрительно. После каждой встречи старался замести след; два раза в одном и том же селе не выступал. Вскоре мною была охвачена довольно большая территория, и слухи о появлении какого-то советского разведчика, одетого в форму немецкого солдата, стали доходить до меня самого… А между тем немцам и в голову не приходило, что я, уехав на подводе по «заготовительным делам», использовал отлучку из части в своих целях…

По-немецки я говорил как истинный берлинец, владел литературным языком, поэтому и дикция у меня была четкой и вполне разборчивой, не как у большинства немцев, которые

обычно в разговоре глотают окончания слов. Познакомившись с берлинцем Карлом Штерном, работавшим в охране обоза Бёрша, я старался у него выудить то, что касалось именно Берлина, узнать о достопримечательностях города, названия улиц и площадей, парков и садов… «А вдруг кое-что и пригодится», — думал я. Любая информация была мне необходима как воздух. Откуда было знать, как сложится дальнейшая судьба… Я заметил, что немцы в роте Бёрша в основном говорят на жаргоне, и стал в беседах с ними применять их «нелитературные» слова, что явно «сближало» нас. Заметил также: офицеры ругаются по-офицерски, а солдаты — по-солдатски. Это меня крайне удивило. В тот период я изучал эсэсовский жаргон, их песни и анекдоты, даже придумал сам несколько маршевых песен, которые немцы с удовольствием распевали на мой же мотив, изучал материальную часть танков, читал немецкие газеты. И если в Сумской области, прощаясь с тетей Дусей, оставил ей письмо с добытыми оперативными сведениями — для передачи советскому командованию, подписав его своей кличкой Сыч, то сейчас диапазон собранных оперативных данных у меня был значительно шире и контакты с населением стали постоянными.

Фашистские агенты где обманом, где подкупом, где просто шантажом и прямой провокацией сбивали с толку неустойчивых людей, дезориентировали, запугивали население, толкали трусов и паникеров на предательство. Уголовники и бывшие кулацкие элементы сколачивали лжепартизанские группировки, грабежами и насилием дискредитировали растущее партизанское движение. Надо было разоблачать происки вражеской агентуры, правдиво информировать население об истинном положении дел здесь, во вражеском тылу, и на фронте. Надо было искать тех, кто хочет и способен вести вооруженную борьбу с врагом.

Песчаный Брод

Бёрш ходил по хате, брезгливо отшвыривал лакированным сапогом табуретки, шайки, веники. Его лицо и руки в лайковых перчатках выражали крайнюю степень отвращения.

— Это убрать! Это побелить! Это промыть с песком! Это выбросить! Это сжечь! А это оставить, но покрасить! — Распоряжения его были, как всегда, категоричными.

В результате в комнате, намеченной квартирмейстером для господина капитана, осталась одна металлическая кровать, и только при том условии, что на нее будет положен его собственный матрац. Перед тем как внести мебель, которую Бёрш неизменно возил с собой, «по программе» проводилась

специальная процедура уборки помещения. Лишь после дезинфекции в дом входил сам капитан и из пульверизатора тщательно опрыскивал стены и пол своей комнаты английским лавандовым одеколоном «Ярдлея».

Командир дивизии — старый сухопарый генерал, с рыцарским в позолоченной оправе крестом на шее — всегда восхищался умением капитана Бёрша уютно обставлять походную жизнь.

— Oh! Grossartig! — восклицал он, входя в новое помещение. И, усевшись удобно в мягкое кресло, добавлял: — Ich fühle mich bei Ihnen wie zu Hause. Wie schaffen Sie es nur?[30]

— Erfahrung, Herr General![31] — расшаркивался капитан. Сейчас Бёрш обживал новую квартиру, делая при вычиые распоряжения, а его денщик, с неизменным белым полотенцем на согнутой руке, выслушивал их и с готовностью повторял:

— Jawolh! Jawolh! Wird gemacht![32]

Село Песчаный Брод в Кировоградской области, где все это происходило, было небольшое, пересеченное проезжей дорогой. Высохшая речонка с деревянным мостом разделяла село на две части. Вокруг хаток — уже отцветшие вишневые и яблоневые сады. Здесь было много женщин и детей, мужчин совсем мало.

Улучив свободную минуту, я пошел в село, чтобы познакомиться с жителями. Перешел мост, спустился в низину, зашел в первую попавшуюся хату.

— Здравствуйте! — говорю с порога.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — отвечает старик, сидящий на лавке возле печи. Седые усы его окаймляли крутой упрямый подбородок. Он был еще крепок, статен и широк в плечах. Окинув меня недоверчивым взглядом, он закурил. Я присел на лавку. Разговорились. Звали его Петром Дмитриевичем Жиленковым.

— А чьи это ноги на печи торчат? — спрашиваю.

— Чьи? Да человечьи.

Но лежавший, видимо, решил сам обнаружить свое присутствие, и я увидел, что с печки спускается пожилой человек — опухшие йоги с темными пятнами на ступнях не слушались его. Он с трудом сел за стол. По всему его виду и выражению лица хозяин понял, что лучше оставить нас вдвоем.

Мой новый знакомый оказался бывшим интендантом 2-го ранга, по фамилии — Афанасьев. Бежал из фашистской тюрьмы в городе Николаеве и вот уже с полгода скрывается у этого старика.

— А сами откуда? — спросил я.

— Из Москвы. Жил возле Арбатской площади.

— У вас семья там осталась?

— Да. Жена и две дочки. Ничего о них не знаю. Может быть,

эвакуировались.

— А что с ногами-то?

— Пришлось бежать босиком по снегу. Вот и отморозил… Но уже хожу… Старик подлечил меня травами, примочками.

— А старик? Что он за человек?

— У-у, золотая душа!

— Одинокий?

— Нет, жена есть. Мария Васильевна. Тоже очень симпатичная женщина, по фамилии Левеиец. Он сам из донских казаков будет, но здесь живет давно, старожил.

Мы свернули по козьей ножке. Разговорились. С первых минут знакомства нашли общий язык. И чем дольше беседовали, тем лучше понимали друг друга. Афанасьев был со мной приветлив, прост и откровенен.

Так мы сидели друг против друга часа два, дымя самокрутками, как самые что пи на есть закадычные друзья. Я рассказал ему свою историю, он мне — свою. В Песчаном Броде пообещал все разузнать и постараться найти надежных людей.

В накуренную комнату вошел старик:

— Ух ты, как надымили!

— Дымовая завеса, дедушка, — отшутился я.

— Значит, есть что маскировать?

— Есть, есть, деда, — подхватил Афанасьев.

Старик ухмыльнулся:

— Старый боец — понимаю! Вот я вам сейчас покажу. — Он хитро подмигнул, полез под половицу и вытащил узелок, в котором была пачка пожелтевших фотографий: — Вот смотри, сынок, каким я был орлом!

С фотографии смотрел на меня казак с лихо закрученными усами, фуражка сдвинута набекрень, а из-под нее выглядывает курчавый чуб. Казак при шашке. Па груди красуются два Георгиевских креста.

— В империалистическую бил немцев… А сейчас за Советскую власть готов им, гадам, выдать сполна, несмотря что староват стал…

Слово за слово, я узнал, как старику здесь живется. На окраине села находится загон для свиней. Их сейчас ровно десять, и это последние свиньи, отобранные немцами у жителей Песчаного Брода. Загон на территории скотного двора бывшего колхоза, рядом с опустевшим коровником.

Коров уже давно немцы отправили в Германию. Здесь же, на скотном дворе, несколько построек, в них ютятся доярки и свинарки, а старик Жиленков работает тут ночным сторожем.

Описывая эти события и вспоминая встречу с Афанасьевым,

мне хотелось бы объяснить, как могло случиться, что мы с ним сошлись так быстро, буквально при первом разговоре, и сразу доверились друг другу. Иные подумают: «Разве мог Афанасьев сразу довериться незнакомцу, да еще одетому в немецкую форму?» А вспомните, как я сошелся с Хромовым. По выражению глаз, по интонации, улыбке, по всему разговору мы сразу поняли, что мы из одного корня. У человека с открытой душой и лицо открытое. Именно таким и был Афанасьев.

— Сегодня идем на свадьбу, — сказал Афанасьев, встретив меня на пороге спустя денька три. — Дело есть.

— Что за свадьба?

— На том конце села — гулянье. Для блезиру. Я договорился с хозяином о нашей встрече в его доме. Кое-кто найдется из нужных людей.

— А полицаи?

— Их в селе не будет, где-то в управе заседают.

В хату вошла хозяйка, маленькая, хрупкая женщина с искалеченной рукой. В здоровой руке она несла ведро с водой. Афанасьев попросил ее передать мужу, что мы ушли на свадьбу.

Она молча кивнула.

Вечер был теплый. Легкий ветер нес откуда-то из дальних полей аромат трав и поздних летних цветов. Над нами чистое небо в ярком мерцании звезд. Неистово трещат цикады. Лают собаки. Серая пыль улеглась на придорожные травы. Мы шли селом, по обеим сторонам белели хатки, тянулись к небу пирамидальные тополя. Тихая, мирная картина. Из одного из домов была слышна гармошка, звонкий смех и притопывание каблуков. Подошли к палисаднику. Хозяин ждал нас у калитки.

— Проходите в хату, не тревожьтесь. В саду мои люди. — И провел нас в крохотную кухню.

Здесь было темновато. На чисто выскобленном столе стояла свеча. Оконце занавешено плотной тканью. На полках — чисто вымытая глиняная посуда. Давно не топленная печка зияла черным подом. Вдоль побеленных степ висели связки лука и чеснока.

— Здравствуйте, товарищи!

Двое мужчин поднялись с лавки. Мы поздоровались за руку. Один был до войны председателем колхоза, другой — парторгом.

Сообща обсудили создавшееся положение. Надо было подумать, как уберечь население и помешать гитлеровцам угнать молодежь в Германию. А самое главное — помочь наступающим советским войскам. Поскорее сорганизоваться и собрать побольше оружия.

— Кое-что из оружия постараюсь раздобыть, — пообещал я.

— Необходимо сколотить крепкое ядро — штаб, чтобы руководить подрывными группами, — предложили мы с Афанасьевым. — В каждом соседнем селе нужно иметь своего человека — наши глаза и уши.

Председатель колхоза поделился своей тайной. Кое-что уже сделано. Созданы базы с запасом продуктов, с землянками, где можно укрыть людей от немецких облав, — и он, показав мне на карте урочище с одной из таких баз, добавил:

— Тут и сторожка есть с сараем.

Я подумал: «Это непременно надо использовать…» Беседовали долго. Условились о строгой конспирации. Парторг попросил Афанасьева возглавить группу в Песчаном Броде. Я поддержал его.

Из соседней горницы слышалась песня. Подхваченная женскими голосами, она разливалась, заполняла дом, настраивала на лирический лад. Потом ее сменила бойкая шуточная, затем опять загрустила гармонь… А мы все сидели в махонькой кухоньке, одержимые и одними мыслями, и одними стремлениями. Песни смолкли, свадьба подошла к концу. Пришла пора расходиться.

Еще в Днепродзержинском лагере я понял, что чехи служат в немецкой армии подневольно. Чехи-солдаты, которые были в охране госпиталя, явно сочувствовали заключенным, и групповой побег был осуществлен при их непосредственном содействии.

Здесь, в роте капитана Бёрша, были два чеха — Янек и Владек, по фамилии Топич, родные братья. Владек водил машину с радиоаппаратурой и всегда интересовался сводками Совинформбюро из Москвы. А Янек возил в танковый полк бензин. Обратно же шел обычно порожняком. Его крытую брезентом машину я и использовал, осуществив операцию, подсказанную мне стариком Жиленковым.

Ближайшей ночью мы с Янеком въехали на скотный двор и на виду у разбуженных и перепуганных женщин, под громогласную немецкую брань и жесткие окрики «Лос! Лос!» открыли свиной загон и погрузили всех хрюшек в машину. А старика Жиленкова «для порядка» связали по рукам и ногам.

Спустя час свиньи уже были в урочище и спрятаны в сарае. Председатель колхоза был уже там и встретил нас с улыбкой, горячо поблагодарил.

А я, в свою очередь, отблагодарил Янека, отдав ему адмиральский кортик полицая, расстрелянного нами с Василием. Янек давно поглядывал на этот кортик, и мне было приятно доставить ему удовольствие. (Кстати скажу, что и Янек и Владек, когда немецкая рота была в Румынии, дезертировали из части

Бёрша.)

На следующий день, не теряя времени даром, я в три приема похитил в обозе три немецких автомата, пять советских винтовок с патронами и с десяток гранат с запалами. Все это оружие мы с Афанасьевым спрятали у старика в сарае, где хозяйка держала козу. Оружие предназначалось подпольщикам.

Неожиданно немецкая часть снялась с места, погрузилась на машины, и я покинул Песчаный Брод, оставив Афанасьеву оперативное донесение для Красной армии, подписав его «Сыч». Перечислил фамилии патриотов из Песчаного Брода и проведенные нами операции.

…Рыжий, конопатый немец-ефрейтор сидел с гитарой на бревне около плетня. Тесным кольцом окружали его гогочущие солдаты, а он гнусавым тенорком выводил фривольную шансонетку:

Я часовщик,
Я парень хоть куда
И в механизмах
Разбираюсь без труда.

Но больше всех часов,
Признаюсь вам, —
Люблю чинить часы
Прелестных дам!..

Над селом в сентябрьском небе плывут перистые облака. Чудесное бабье лето задержалось в здешних местах. Пестрят золотом и багрянцем сады. Беленькие хатки глядят весело, как в мирные дни. Но это только с виду. Село занято немцами. Одна длинная улица сплошь заставлена танками и орудиями, замаскированными порыжевшей листвой.

Перебирая струны гитары, которая особенно хорошо звенит в осеннем воздухе, ефрейтор-артист допел свою шансонетку и тут же начал другую:

Услышь, красотка,
Сердца стон.
Твои уста мне ночью снятся.
Засмейся мне,
Моя Нинон,
Никто не может так смеяться…

Взрыв смеха, восторженные восклицания — солдатня довольна. А жители, выбиваясь из сил, таскают воду из колодцев для стирки немецкого белья и для кухни. Их заставляют обслуживать немецкую часть. В стороне от компании военных сидит стайка полуголых босоногих ребятишек: выглядывая друг из-за друга, они таращат глазенки на ефрейтора с гитарой.

Я наблюдаю все это из кузова грузовой машины, где мы сидим с унтер-офицером на пустых канистрах. 2-я штабная рота, проезжая мимо этого села, задержалась, и песенки ефрейтора забавляют ребятишек. Кое-кто из немцев, сидя на грузовиках, подыгрывает ему на губных гармошках.

Ефрейтор решил переменить программу и затянул на ломаном русском языке:

— Иходила на берег Катуша…

В это время какая-то женщина с коромыслом в руках громко говорит:

— Ты дывысь, яка гарна Катюша выхода! Побачимо, як вона вам, иродам, всыпе! — и замахивается коромыслом на ребятишек: — А ну, бисенята! Тикайте та ховайтэсь у погреб! Летуны летять!

Я поднял глаза к небу и действительно увидел самолеты. Чьи они? Вот они приближаются, и через несколько минут уже можно различить — это наши советские штурмовики «Илы». Они развернулись и на бреющем полете стали поливать немцев свинцовым дождем: кто-то сразу убит наповал, кто-то ранен, вспыхнули как свечи несколько машин… Я спрыгнул с грузовика, забежал за угол хаты и оттуда видел, какая паника охватила немцев. Со стоном звякнула гитара, брошенная на бревно ефрейтором. Сам он от страха пополз по траве и, спасаясь, подлез под плетень, за которым его ярко-рыжая голова походила на зрелую тыкву.

Самолеты отбомбились и исчезли в перистых облаках.

К вечеру в село вошли каратели.

На кухне работали две девушки — сестры Мария и Евгения из Днепропетровска. Ночью, когда рота покидала село, я сказал им: «Срывайтесь! А то попадете на каторгу. В селе каратели… Завтра здесь, возможно, будут наши».

Девушки ушли из села и спаслись от угона в Германию, после войны я имел с ними переписку.

Лиза

Станция Долинская — важный железнодорожный узел, связывающий артериальные пути на Николаев, Кривой Рог,

Днепропетровск, Знаменку.

На двое суток 2-я штабная рота Бёрша расквартировалась в поселке. Немцы обычно входили в первые попавшиеся двери. Я вошел вслед за каким-то белобрысым солдатом и оказался в комнате, где лежал на кровати стонущий пожилой мужчина. Возле него хлопотала жена. Белобрысого такая обстановка не устраивала, и он тут же смылся. А я остался. Чтобы не открывать хозяевам своего положения, я говорил по-немецки, и мы объяснялись жестами. Выяснилось, что у хозяина гноится нога и рана причиняет ему невыносимую боль. Я тут же сбегал к ротному фельдфебелю за стрептоцидовым порошком, ногу перебинтовали. Боль утихла, и хозяин заснул. Крайне удивленная и полная благодарности к «доброму немцу», хозяйка увела меня в соседнюю комнату и покормила.

Накануне Бёрш поручил мне найти хозяйку, которая могла бы испечь большую кулебяку для именин знаменитого оперного певца, которого капитан собирался чествовать у себя на квартире в Долинской. Денщик занес мне все необходимое: муку, яйца, мясо, масло. Жестами и ломаными русскими словами я стал просить хозяйку испечь эту кулебяку в русской печке. Она отнекивалась: «Дров нету, пан. Нечем топить». Сделав вид, что я наконец догадался, я сбегал к ротному повару, и мы притащили с ним по большой охапке дров. Хозяйка позвала соседку, и они принялись стряпать.

Стоя в сенях, я прислушивался к их разговору. Из отдельных фраз, произнесенных шепотом, можно было догадаться, что муж этой хозяйки боится попасть «в угон». Возможно, и йогу он поранил умышленно. В доме у них еще кто-то скрывался, а на чердаке прятался их пятнадцатилетний сын. Замешивая тесто, хозяйка говорила соседке: «Ума не приложу, как мы из этого кошмара выкрутимся? Да и Лизы нету, вот придет и удивится, что у нас постоялец…» — «А этот чернявый немец (это уже касалось меня), видать, ничего, смирный…» — заметила соседка. Хозяйка согласилась: «Знаешь, он так ловко промыл мужу рану, откуда-то принес порошка, забинтовал ногу…»

Они тихо беседовали у печки, не подозревая, что я слышу каждое их слово.

К пяти часам кулебяка была готова, и по всей хате распространился аромат свежеиспеченного теста. В это время на пороге хаты появилась девушка лет двадцати.

— Что это еще здесь за хозяин? — грозно пошла она в наступление.

Я был удивлен ее смелостью и сделал вид, что слов ее не понимаю:

— Verzeihung, Fräulein, ich bedauere, aber die Umstände…[33]

Она продолжала наступать:

— Фройляйн! Фройляйн! Знаем мы ваши привычки! Все вы сволочи и мерзавцы!

Я вдруг засмеялся.

— Марш отсюда! Никто вас сюда не приглашал!

— Лиза! Лиза! Что ты, Лизанька! — тщетно пыталась остановить расходившуюся дочь хозяйка.

— Ничего не желаю знать!

Я махнул рукой, подхватил кулебяку и отправился к Бёршу, где уже накрывали стол и готовили пышный ужин.

Когда вечером я вернулся на квартиру, хозяин проснулся, он чувствовал себя лучше и играл с сынишкой в подкидного.

— А, русски дурак, — начал я, подходя к кровати. — Я очень любит русски дурак.

В это время вошла Лиза и, услышав мои слова, отпарировала:

— Ох и даст вам русский дурак. Не успеете ноги унести, паразиты!

— Перестань сейчас же. Слышишь! — резко сказал отец, но она зло отмахнулась:

— Да что он понимает, балбес!

В это время в окне показалась круглая сытая физиономия того белобрысого немца, который не хотел оставаться в этом доме.

— Вот еще рыжая морда объявилась! Здрасте пожалуйста! — злилась Лиза.

А я, не обращая внимания на ее раздражение, поманил белобрысого, чтобы он вошел в дом.

— Ишь ты! Смотри, какой хозяин нашелся, как будто к себе в дом зовет! Вот нахал!

Лиза обозлилась и села в сторонке с книжкой, а белобрысый расположился около стола, достал бумажник, вынул из него фотографию хорошенькой нарядной немки, сидящей возле нарядного домика, и показал Лизе. Она продолжала чертыхаться.

Белобрысый тем временем достал другие фотографии, те, что он сам снимал на фронте. Это были страшные снимки. Голодные, с измученными лицами и страдальческими глазами женщины. Босые, в отрепьях. Смотреть эти снимки было особенно тяжело рядом с фотографией его чистенькой немочки. Лиза взяла в руки одну из этих фотографий и вдруг закричала:

— Насмешничаешь, негодяй! Будьте прокляты вы оба! — и, не выдержав, заплакала.

Белобрысый, не понимая, глупо улыбался. Хозяин (как потом я узнал, он был Лизе отчимом) закричал, что, если бы не ее мать,

он бы выгнал ее из дома, и пусть жила бы где угодно, но только не с ним.

Я пошел провожать белобрысого. Когда вернулся, в доме было тихо. Хозяева на кухне улеглись спать, и только Лиза сидела с книгой за столом.

Не могу забыть той ночи… Только спустя много лет, уже после войны, со станции Долинской от Елизаветы Гавриловны Голуб ко мне в Москву пришло письмо. Вот оно:

«…Ушли вы тогда провожать немца. Родные легли спать, я с опаской жду вашего возвращения, читаю книгу… Вы вернулись и встали у меня за спиной. Боже! Что делать? Немец ведь, от него все можно ожидать. Ночь. Все спят. „Почему вы считаете, что в Германии текстильная промышленность хуже развита, чем в Советском Союзе?“ — вдруг произнесли вы по-русски, и я вспомнила какие-то слова насчет текстильной промышленности, когда ругалась с отчимом. Мысли несутся вихрем. Он все знает… Все понимает… Станет известно, что я сбежала из вагона, когда меня увозили в Германию, что ровно год живу в Долинской без учета на бирже труда. Станет известно, что вторично вырвалась из немецких когтей, обманув врачей на медкомиссии… Смотрю в книгу, а буквы сливаются, боюсь поднять голову. Но, собрав всю волю, ответила вопросом на вопрос:

„Кто вы? Откуда вы знаете русский язык? Где учили его?“

— „Угадайте“.

И в этом русском слове, произнесенном вами, мне почудилось что-то веселое, задорное, детское… Какая это удивительная была ночь! Мы разговорились. Долго беседовали. Вы вспоминали школьные годы, братьев, маму. Помнится, говорили, что в детстве жили в Пятигорске. Болел отец. Вам приходилось носить ему из аптеки кислородные подушки. Говорили о немецком языке. „Язык врага надо знать — это наше оружие!“ Когда я уходила спать, то оставила вам на столе безобидную записку, надеясь, что заметите ее утром. Но утром вас в доме уже не было, а я с чердака в щель все смотрела: „Может, уже уехали…“ Днем, видимо разыскивая меня, вы по лестнице забрались на чердак и уселись рядом.

„Прочли мою записку?“ — „Да“. — „Так кто же вы?

Знаю, что москвич, а дальше?“ — „Я скоро должен ехать. Соберите всех к столу. Я должен вам кое-что сказать“.

Это звучало как приказ. И вы спустились вниз.

„Славка! — сказала я братишке, что прятался на чердаке. — Ты слышал, что он сказал? Что будем делать?“ — „Надо всех созвать“.

Мы вытащили из ямы Якова Фомича (он потом погиб под Яссами). Вся семья собралась за столом, и вы сидели рядом со всеми. Вы говорили, что немцы повсюду отступают, советовали, как нам быть, в нашей тесной хате вы провозгласили тосты за освобождение, за победу, за счастливое возвращение наших войск…

В это время с улицы донесся сигнал машины.

„Это за мной! — сказали вы. — Верьте в нашу победу!“ — были ваши последние слова.

Опомнившись, я посмотрела в окно. Вы на ходу цеплялись за грузовую машину. Рыжий немец, смеясь, втаскивал вас за руки в кузов. Машина повернула за угол и увезла вас навсегда…

Теперь я буду знать, что Михаил Михалков — это тот самый „немец“, которого мало знала, но которому поверила…

Посылаю вам свою фотокарточку, так как у меня другой нет, посылаю старую. На этом фото только семь лет отделяют меня от встречи с вами.

Оставайтесь живы, здоровы. Желаю вам больших успехов в труде и личной жизни.

С уважением

Елизавета Голуб. Долинская, 13 июня 1965 года».

Танковая дивизия СС «Великая Германия» направлялась в Румынию, и я по-прежнему находился при обозе 2-й штабной роты капитана Бёрша… Бёрш пока все еще мое самое надежное «прикрытие».

Я уходил все дальше и дальше от фронта. Неотступно терзало: «Правильно ли я делаю, что отступаю на запад?»

Вставал вопрос: «Мог ли я остаться у Лизы?» Мог! Она, безусловно, помогла бы мне скрыться от немцев, и я дождался бы на станции Долинской наших наступающих частей. А что потом? Как бы я мог оправдаться в том, что оказался в плену и так долго находился на оккупированной врагом территории? К тому же довольно значительное время — при фашистской танковой дивизии СС «Великая Германия»? Я знал, что не жил ради того,

чтобы выжить. Всегда думал — что делаю. И всегда имел цель. Часто рисковал жизнью, прислужником у немцев не был. Но кто мне поверит? Мои родственники в 37-м году были репрессированы, а двоюродный брат, который работал референтом у Орджоникидзе, пережил четыре ссылки. Так что есть опасность попасть в этот переплет. Вот почему я решил готовить себя к новым испытаниям — таков уж склад моей натуры, таков характер. Я как бы был предназначен работать в тылу врага. Во всяком случае, так я считал…

И вот что еще побудило меня сделать этот ответственный шаг — уходить на запад. Однажды, еще до встречи с Лизой, я возвращался на подводе в роту капитана Бёрша и нашел в поле фашистскую листовку на русском языке. Когда прочел — ужаснулся. Меня как током прошибло! Это было обращение к власовцам. В этой листовке говорилось, что по приказу Сталина № 270 (1941 год) каждый советский военнослужащий, который попал в плен к немцам, рассматривается как изменник Родины и подлежит расстрелу, а те, кто прислуживает немцам: полицаи, старосты, переводчики, — получат двадцать пять лет каторги, и их будут приковывать в лагерях на Колыме цепями к тачкам… Я держал фашистскую листовку в руках, и спазма сдавливала горло… Что же мне делать? Значит, и я обречен, и возврат к своим — это смерть? Хотя я не особенно поверил этой листовке, но все же подумал очевидно, при сложившейся обстановке мне целесообразно постараться поактивнее действовать в тылу врага на пользу нашей армии и добывать побольше ценной информации

Из Румынии танковая дивизия СС «Великая Германия» уйдет в Прибалтику — это я знал точно. А там — леса, партизаны. Я готовился к встрече с ними.

Вот почему я уходил на запад.

Глава 3
В ПОТЕМКАХ

На том берегу

Журавли летели низко над оголенными прибрежными рощицами Видимо, собирались ночевать в плавнях Дуная. С болью в сердце смотрел я из-под брезента машины вслед косяку, слушал курлыканье журавлей, улетающих на юг в лучах сизо-малинового заката

Лязгающая, грохочущая немецкая колонна темной лентой переправлялась через Дунай в районе Рении. Наспех наведенный хлипкий деревянный мост прогибался под тяжестью военной техники

Колонна переходила бывшую нашу границу почти в том месте, где начиналась для меня война На противоположном берегу стояли румынские солдаты с винтовками — они охраняли мост. Последняя сводка Совинформбюро, которую мне удалось услышать в радиоузле 2-й штабной роты, была за 20 октября 1943 года, в ней сообщалось: «Севернее Киева наши войска, отбивая контратаки противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу Днепра».

Мне почему-то вспомнился Василии Возможно, он с разведчиками готовится сейчас к вылету сюда для спецработы, тревожится, как пройдет приземление, как пойдут боевые дела А я здесь, в тылу врага Мне нужно только одно — связь с Москвой, и я эту связь должен найти.

День и ночь движется по румынской земле обоз 2-й штабной роты. Часто дождит, и тогда на проселках непролазная грязь. Буксуют машины, колеса приходится обматывать цепями. За плетнями — бесконечные виноградники, пирамидами стоят побуревшие кусты. С шорохом падают листья с ветвей деревьев. Прохладно. Неприветливо висит над обозом небо в серых тучах.

С грузовика я пересел на подводу Пикколо. Парнишка сидит на облучке и подхлестывает свою кобылу. Рядом с ней скачет вприпрыжку шаловливый забавный жеребенок. Откуда он взялся? Этого никто не знает, но жеребенок почему-то решил, что эта кобыла — его родная мать. Он каурой масти и довольно злобного нрава. Частенько поддает кобыле под бока крутым лбом с белой отметиной, а иногда и покусывает приемную мамашу, которой, кстати сказать, нравится все это, и она добродушно пофыркивает. Я прозвал жеребенка Дикарем, он быстро привык к своему имени

и, когда слышит его, ставит уши торчком и скалится.

— Дикарь! Дикарь! А ну-ка, иди сюда! Сахар есть! — маню я жеребенка, протягивая на ладони кусочек рафинада.

Он подбегает ко мне и смешно шарит губами по ладони. На перекрестке обоз останавливается: дорогу пересекает румынский артиллерийский дивизион на конной тяге. Каждую пушку тащат по четыре лошади со скрученными в узлы хвостами. Пушки увязают в жидком месиве болотной дороги, лошади выбиваются из сил, рвут постромки, солдаты по колено в грязи натужно толкают колеса пушек, офицеры злобно покрикивают на них.

…Мне было десять лет, когда я увлекся собиранием марок. Больше всего мне нравились марки с изображением зверей, цветов, кораблей и сказочных замков. Обмен с другими мальчишками пополнил мою коллекцию марками разных стран. По вечерам я раскрывал альбом и затаив дыхание разглядывал свои сокровища, в воображении странствуя по джунглям Индии, по экзотическим чилийским базарам, бродил среди пальмовых рощ Явы, охотился на зверей в Мозамбике, катался на слонах по Сиаму и сидел у костров с индейцами на Огненной Земле. И только румынские марки никогда не окрыляли моей фантазии. На них были изображены бесчисленные короли в мундирах, эполетах, орденах, с усами и без усов и декольтированные королевы в драгоценностях, со шлейфами, коронами и мантиями. Что с ними было делать? И я старался какого-нибудь румынского монарха выменять на зулуса с занятным кольцом в носу или, если это не удавалось, получить за него хотя бы австралийского кенгуру.

О, беспечное детство с наивными представлениями о жизни! Я попал в Румынию — разоренную румынскими королями, порабощенную, измученную фашистами. Я увидел людей, которые никогда не хотели войны и не стремились к захвату чужих земель, людей, насильно втянутых в войну и тяжело переживающих последствия этого бремени…

Село, в котором остановилась 2-я штабная рота капитана Бёрша, было типично румынское — с беленькими мазанками в вишневых садах, с аистами на крышах и виноградниками на многие километры вокруг.

Сразу бросилось в глаза отсутствие мужчин — нет ни молодых, ни старых. Одни женщины с ребятишками да девушки. Жизнь крайне бедная: коза, несколько кур. Хлеба у жителей не было, его заменяла кукуруза. Варили мамалыгу, пекли кукурузные лепешки, кормили кукурузой домашнюю птицу. Не было тех красивых женщин в национальных нарядах, которые лихо отплясывали национальные танцы в румынских кинолентах

довоенных лет. Скорбные лица, натруженные руки, старательно заштопанная одежда из домотканого холста.

Земля принадлежит помещикам. Крестьяне гнут спины на хозяев, имея с урожая крохотную долю. У помещиков прекрасные каменные дома за высокой оградой. В их распоряжении парки, роскошные цветники и огороды, конюшни, птицефермы, скотные дворы, своры охотничьих собак — и все приносит немалый доход за счет крестьянского труда.

В селе, где расквартировалась рота Бёрша, был помещичий винный погреб. Внешне он не производил особого впечатления — над землей возвышалась обычная в два ската крыша, крытая соломой. Маленькая дверца вела на лестницу, спускающуюся в небольшое помещение, где, притиснутые друг к другу, находились шесть деревянных бочек, каждая по пятьсот литров вина. У бочки внизу вмонтирован медный кран. Возле погреба стоит в карауле румынский солдат с винтовкой, в желтой форме и занятной шапке наподобие наполеоновской треуголки.

В селе уже стояла какая-то немецкая часть, и солдаты этой части, подпоив часового, забрались в погреб. Началась настоящая вакханалия. Они так перепились, что у одной бочки неосторожно вывернули кран. Вино хлынуло в погреб, затопило остальные бочки, так что вновь подоспевшие солдаты, в их числе и бёршевские, подобраться к кранам уже не могли. Тогда, бродя по колено в вине, смешанном с землей (пол в погребе был земляной), солдаты принялись стрелять в бочки из автоматов. Из отверстий хлестали фонтаны густого вина, солдаты подставляли ведра, канистры, каски. Все это кончилось тем, что какой-то унтер-офицер, напившись до отвала, упал и утонул в вине. Под утро утопленника вытащили на улицу, и группа солдат, окружив труп, стояла в полной растерянности, не зная, как о случившемся доложить начальству…

Немцы в Румынии чувствовали себя королями, немецким офицерам и солдатам было доступно все. Румынские богачи, помещики пресмыкались перед гитлеровцами, а беднота боялась и ненавидела их, испытывала унижение, страдала от насилий и грабежа.

«Короли» и карлики

Шумел раскинувшийся на окраине города Яссы базар. Сутолока, разноголосица, мелькают пестрые одежды местных жителей.

После осенних дождей установилась сухая, теплая погода. Под нещедрыми, но еще теплыми и столь желанными лучами

солнца на возах громоздились огромные тыквы, дыни, горы румынских яблок и черных слив, множество овощей — помидоров, лука, стручкового перца. Больше всего было, конечно, винограда в высоких круглых корзинах. Это самый дешевый товар. На арбах, запряженных волами, стояли бочки с вином — им торговали в розлив. Тут же неподалеку продавались лошади, волы, птица, козы, бараны. Еще дальше цыгане-лудильщики гремели посудой. В небольших сарайчиках черноволосые, грязные, полуголые люди с серьгами в ушах раздували мехами горцы и лудили сверкающую на солнце медную утварь. Чуть дальше разместилась барахолка, там с рук можно было купить все, что угодно: и ношеное белье, и новое, и краденое, и перекупленное, и лампы, и различные инструменты. В этой толкучке сновала и бойкая солдатня. Немцы продавали сигареты, зажигалки, губные гармошки и даже французский коньяк «Мартель».

Патрули следили, чтобы крестьяне, в отличие от горожан, одевались на базар в национальное платье: они оживляли толкучку своей колоритной одеждой — вышитыми рубахами, цветными поясами. Пестрые юбки крестьянок, расшитые рукава и наплечники, яркие косынки и сверкающие бусы молодых женщин придавали этому базарному сборищу особую праздничность.

Я привел гнедую кобылу. Фельдфебелю срочно понадобились румынские деньги, и он послал меня на базар.

— Эй, цик коста калу? (Сколько стоит лошадь?) — Приземистый румын-крестьянин хлопал кобылу по крупу. Она, бедняга, ни на что не реагировала: ей уже сколько раз осматривали зубы, ощупывали ноги, хлопали по бокам…

— Ноу мии ди лей! — ответил я по-румынски, что означало: девять тысяч леев.

Крестьянин принялся торговаться и предложил пять тысяч. Возможно, он был ограничен в деньгах и в придачу предложил мне еще старый серебряный портсигар. Но тут вдруг, откуда ни возьмись, вынырнул бойкий цыган в черных шароварах и хромовых сапогах. Он просто взял у меня из рук повод и сказал:

— Шесть тысяч, и по рукам!

Пока я считал бумажные купюры, цыгана с гнедой и след простыл. Озадаченный крестьянин покачал головой и скорбно поцокал языком. Спрятав портсигар, он ушел. К счастью, цыган меня не обманул, и я, получив шесть тысяч леев, стал протискиваться к выходу. Базар подходил к концу. Какие-то подвыпившие парни уже запевали и приплясывали. Возле пустой арбы несколько девушек в пестрых юбках водили хоровод, мальчишка играл на дудочке, а маленькая румынская девчушка

под смех старух пела по-румынски тоненьким звонким голоском:

— Ты куда, кума, идешь?

— Это я лишь знаю!

— Ты чего, кума, несешь?

— Пирожок Михаю.

Я поглядел на танцующих, потом выпил стакан молодого вина и понес выручку фельдфебелю.

Капитан Бёрш с денщиком и фельдфебелем заняли церковный домик за оградой собора. Они жили отдельно от всей роты, разместившейся в центре города в отведенной для нее казарме. Священник уступил капитану свою квартирку, а сам перебрался в ризницу.

От базара до дома Бёрша было довольно далеко, и я в хорошем настроении шагал по городу, не забывая приветствовать немецкое начальство. Больше всего удивляло то, что в городе рядом с нарядными улицами, где жили богачи, были нищенские кварталы бедноты. Люди ютились в хибарках, сколоченных кое-как из фанерных листов. В окна вместо стекол были вставлены кусочки разноцветной слюды. Входы были завешены пестрыми тряпками, всюду валялся мусор. Над ящиками с помоями возле жилищ гудели рои мух. И тут же копошилось множество босых и полуголых чумазых ребятишек. Вдоль всей улицы сидели старики и старухи — они продавали с лотков какие-то подозрительные ириски и маковки.

Я завернул за угол, вышел на центральную улицу и оказался среди уютных красивых особняков, окруженных высокими оградами. В садах можно было разглядеть живописные беседки, фонтаны, статуи, дорожки, усыпанные золотистым песком. Из особняков доносилась веселая музыка, на газонах господа и дамы играли в теннис, крокет. Из ворот то и дело выезжали элегантные экипажи, в них под ажурными зонтиками сидели расфуфыренные румынские дамочки. Завидев немецких офицеров, они кокетливо помахивали белыми платочками и перчатками; офицеры отвечали приветствиями, расшаркивались, козыряли, слащаво улыбались и посылали воздушные поцелуи.

По каменным плитам дорожки, обсаженной буксом, я прошел в склад при церкви, где фельдфебель устроил себе спальню, передал ему выручку и получил от него, как мы договорились, ровно половину. Теперь я был при солидных деньгах и мог купить себе гражданский костюм. К тому же у меня еще оставались румынские деньги и от разбазаренного бензина. В магазин решил отправиться немедля и вышел в церковный двор. И тут я услышал далекий гул самолета. Высоко, в холодной синеве, двигалась серебряная точка. По-видимому, это была американская

«Летающая крепость». Она шла по направлению к Бухаресту на высоте не менее десяти тысяч метров.

Услышав знакомый зловещий свист падающей бомбы, я метнулся под выступ церковной стены. Колоссальной силы взрыв потряс землю. Посыпались стекла, смолк церковный колокол, высоко над постройками взметнулись в небо камни, доски, куски штукатурки, ветки деревьев.

Когда все стихло, я поднялся на ноги, весь осыпанный белой пылью. Вышел из ворот собора и, обогнув его, стал спускаться под горку к месту взрыва. Навстречу бежали обезумевшие люди, тащили раненых, слышались дикие вопли, крики. Бомба угодила как раз в центр поселка, населенного цыганами и находившегося за церковными огородами. Поселок разметало в разные стороны. В глубоком овраге, неподалеку от построек, лежали лицом к земле перепуганные насмерть цыгане…

Я впервые видел такую огромную воронку. Она была диаметром в добрых двадцать метров, и ее дно уже заполнила грунтовая вода. Невдалеке протекала река, через которую был переброшен мост. Американец, видимо, рассчитывал разбомбить его, но промахнулся.

Я поднялся к собору и пошел в город.

Кругом еще хрустело под йогами стекло, но хозяева уже хлопотали у разбитых витрин, и мальчишки-зазывалы, завидев немецких офицеров, наперебой хвалили товар и кричали по-немецки:

— Пожалуйста! Будьте любезны! Заходите, господа! — и добавляли по-румынски: — Чулки, носки, галстуки! Все, что угодно, — в нашем магазине!

Я зашел в один из магазинов, примерил синий костюм. Он пришелся мне по росту, и я тут же купил его. Вслед за костюмом я приобрел рубашку, галстук, носки, полуботинки, шляпу и плащ. Все это мне услужливо упаковали в пакеты, и я вышел из магазина довольный своей новой экипировкой.

Гражданскую одежду я приобрел не случайно. Во-первых, румынские патрули проверяли тех, кто в румынской военной форме, немецкие — тех, кто в немецкой. Гражданских никто не проверял. Во-вторых, если мне неожиданно пришлось бы скрываться, в гражданской одежде, возможно, было бы легче замести следы… Во всяком случае, в обычном костюме я чувствовал себя спокойнее. Конечно же с первых дней пребывания на румынской земле я активно изучал румынский язык.

Вечером, воспользовавшись тем, что Бёрш уехал на три дня в город Васлуй к командиру танкового полка с визитом, а фельдфебель пошел кутить на вырученные за кобылу деньги, я

переоделся во все новое и пошел в парикмахерскую. Парикмахер, видимо знавший, что в немецкой армии гражданскую одежду имели право носить только гестаповцы и сотрудники секретной службы, услышав мою немецкую речь, очень любезно принял меня, подстриг, побрил, освежил, причесал и даже не хотел брать денег. Я вышел от него такой аккуратный и элегантный, что два солдата из охраны бёршевского обоза, встретившиеся мне на пути и хорошо меня знавшие, даже не узнали меня.

Проголодавшись, я зашел в небольшой уютный ресторанчик-кафе. Это был скромный зал, разгороженный надвое. Слева находились столики для гражданской публики и румынских военнослужащих, справа — для немцев. Я занял столик слева. За соседним столиком сидели два лилипута: муж и жена. Оба были франтоваты и подчеркнуто корректны.

Справа сидела компания немецких офицеров. Какой-то подвыпивший майор начал отпускать по адресу лилипутов плоские грубые шутки.

— Нет, вы только посмотрите на этих обезьян! — кричал он. — И откуда у них деньги? Смотрите, пьют коньяк! А мы, гордость немецкой армии, должны пить какое-то паршивое прокисшее румынское вино и заедать тухлыми вонючими сосисками… А эти ублюдки, черт их знает, откуда они тут взялись, из цирка, что ли, пьют коньяк и жрут бифштексы. Парадокс!

Лилипуты ели молча, словно вся эта болтовня не имела к ним ни малейшего отношения. Только у мужчины под желтоватой, как пергамент, сморщенной кожей заходили желваки. Покончив с жарким, мужчина заказал два кофе с ликером и закурил гаванскую сигару, чем полностью вывел майора из равновесия.

— Ишь ты, старая морковная пигалица! Скажите пожалуйста! Теперь задымил сигарой! И какой, а? Гаванскую курит, подлец, а мы должны только нюхать его дым. Паек для офицера — две сигареты в день! Умопомрачительно! Несправедливо! Сейчас я до него доберусь!

— Оставь, Герберт! — урезонивал майора полковник. — Ну чем они тебе мешают? Ну, курят, и пусть себе на здоровье.

Но остановить Герберта было уже невозможно.

— Бросьте, господин полковник! Мы же с вами рыцари-великаны! И мы воюем за их пигмейское счастье. Сколько раз я был ранен. А? Сколько? — И он стал тыкать пальцем в нашивки ранений на своем кителе. — Сколько раз я рисковал жизнью в этой трижды проклятой России! И вот теперь тот паршивец курит сигары, а я, кадровый немецкий офицер, так сказать,

представитель великого рейха, должен… А что я должен? Да, должен только нюхать его дым? А вот я сейчас ему врежу по мозгам!

Тут бравый немецкий вояка вскочил и пошатываясь подошел к столу лилипута, схватил его за аккуратно прилаженный галстук-бабочку и приподнял со стула.

Никто не успел и ахнуть, как мужчина выхватил из кармана «Браунинг» и три раза выстрелил майору в живот. Немец рухнул на пол. А лилипут как ни в чем не бывало вынул носовой платок, протер «Браунинг» и спрятал его в карман, после чего тщательно вытер свои маленькие ручки и снова собирался занять свое место. Лицо его пожелтело еще сильнее прежнего и напоминало выжатый лимон.

После некоторого оцепенения началась страшная суматоха. Немцы повскакивали с мест. Двое офицеров с руганью вытащили из-за стола обоих лилипутов и потащили к выходу.

— А кто оплатит счет? Счет кто оплатит? — волновался официант, растерянно стоя возле опустевшего столика.

— Спишешь за счет войны, — ответил захмелевший полковник.

Во время этой трагической сцены я сидел за своим столиком. Несколько офицеров вынесли тело убитого «пса-рыцаря». В моих ушах еще гремели глухие выстрелы, перед глазами маячило желтое личико лилипута и крохотная женская фигурка в модной шляпке и меховой горжетке, которая барахталась под мышкой у рослого немца.

Обоз — десять подвод

— Имейте в виду, что наши офицеры и солдаты должны вести себя безукоризненно по отношению к женщинам. Я не допущу, чтобы в моей части занимались развратом!

Бёрш был крайне рассержен. Он ходил из угла в угол по кабинету и беспощадно бранил унтер-офицера, стоявшего навытяжку возле полуоткрытой двери, за которой стоял я, ожидая приема. Унтер-офицер был замешан в какой-то скандальной истории с румынской женщиной.

— И потом, понимаете ли вы, — тут Бёрш остановился перед унтером, — понимаете ли вы, что по нашим следам идут советские войска. Вот-вот вступят на румынскую землю. И сейчас мы особенно должны беречь честь и достоинство немецкого мундира. — Бёрш всем корпусом наступал на унтера. — Любой конфликт здесь, в Румынии, может создать очень неблагоприятную для нас ситуацию.

Такое сложное время, а я должен, черт вас побери, отвечать за ваши адюльтеры перед румынскими властями. Позор! Позор! Вон отсюда! — вдруг гаркнул он, и бледный унтер-офицер вылетел из двери с вытаращенными глазами.

Я постоял еще с минуту и постучался.

— Войдите!

Бёрш совершенно спокойно сидел за столом, занимаясь маникюром.

— Ну, все достал?

— Так точно, господин капитан! Все в самом лучшем виде!

Бёрш заметил, что я в новом костюме.

— Вот-вот, так и ходи! Это даже лучше… Ты же у нас не аттестован, в дивизию я о тебе не докладывал. Спокойно можешь ходить в гражданском… А при обозе ты мне нужен… Так что ты достал?

— Изюм, орехи и миндаль.

— Очень хорошо! Ступай к фельдфебелю. Пусть упакует и отправит посылку моей жене и детям во Франкфурт-на-Майне.

Я направился к фельдфебелю.

— Слушай, — таинственно заметил он, принимая мешочки с орехами и миндалем, — как бы нам с тобой еще одну лошадку загнать? При тех же расчетах? А?

— В обозе каждая лошадь — на вес золота… Груз… Амуниция… Повозки перегружены…

— Сходи, скажи — для меня, пусть подыщут… Разберемся. Понимаешь, мне сейчас позарез нужны деньги.

Переодевшись в солдатскую форму, я пошел к обозу. Кроме Дикаря, ничего раздобыть не удалось. Пришлось взять жеребенка, который к этому времени сильно подрос. Как я и предполагал, на базаре никто даже не подошел ко мне. Я повел Дикаря обратно в часть. «Зачем крестьянину жеребенок, ему лошадь нужна — тягловая сила», — рассуждал я. И вот на обратном пути я сел на жеребенка верхом. Необъезженный жеребенок начал упираться, крутить головой, подкидывать меня. Без седла и стремян, обхватив его бока ногами, а шею руками, я держался как мог. Но все же он выкинул со мной злую шутку: бросился вскачь и вдруг остановился как вкопанный, так что я, перелетев через его голову, шмякнулся о мостовую.

— Хреновый ездок! — услышал я. Слова эти были сказаны по-русски.

Наискосок от меня на краю дороги сидели двое мужчин в крестьянской одежде.

Замечание меня задело. Я вскочил, отряхнулся, поймал стригунка:

— Жеребенок еще не объезжен, а в конюшне седла не было. — Я присел рядом с незнакомцами и закурил, очень уж хотелось поговорить по-русски. — Откуда, хлопцы?

Они переглянулись.

— А сам-то ты откуда?

Завязался разговор. Я пошел ва-банк. Реакция с их стороны оказалась менее острой, чем я предполагал. Более того, мне показалось, что эти отлично говорившие по-русски и одетые в румынскую крестьянскую одежду люди здесь тоже не случайно… Вскоре был найден общий язык. Когда во время беседы сгладилось обоюдное недоверие, один из них, назвавшийся Григорием, сказал:

— Бери своего Дикаря и айда с нами. На месте разберемся.

Спутники мои оказались неразговорчивыми. На некоторые мои вопросы даже не отвечали. Я шел сзади, они впереди. Я смотрел на них, молодых, крепко сложенных, суровых. Под вышитыми холщовыми рубашками угадывались сильные, тренированные мышцы. Парни подвели меня к небольшой беленькой хатке, стоявшей за плетнем в оголенном фруктовом саду. Я привязал Дикаря возле крыльца, и мы вошли в дом. В светлой горнице находилось еще двое мужчин, один — высокий, с усами, второй — небольшого роста, со шрамом на лбу. Мои спутники о чем-то перемолвились с усачом, он, видимо, был у них старшим, затем трое ушли в соседнюю комнату и вскоре вернулись.

— Где служил? — спросил меня старший.

Рассказал все, как было.

— А сейчас здесь — при обозе 2-й штабной роты танковой дивизии СС «Великая Германия»… Остался один. Ищу связь с Центром.

— Ну что ж, — как бы подводя итоги, сказал старший. — Проверим тебя на деле.

— Продаст — десять граммов свинца заработает. Под землей найдем! — заметил незнакомец со шрамом.

Старший снова оглядел меня с ног до головы, подумал, затем вышел из комнаты и вскоре вернулся с хозяином-румыном, который, поклонившись мне, поставил на стол глиняный кувшин с вином и пять кружек и тут же вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Садись, — сказал старший. — Отведаем румынского… Потолкуем.

Сели за стол, долго беседовали, пили вино. Новые знакомые поочередно задавали мне вопросы, я отвечал на них. Беседа становилась непринужденнее. Обоюдная настороженность

постепенно рассеивалась.

— Нам нужно иметь десяток повозок с лошадьми, — сказал старший. — Как их раздобыть?

Я пожал плечами:

— Подумать надо… У крестьян лошадей почти нет, какие получше — у немцев, какие похуже — в румынской армии. А дома у них только захудалые клячи, да и тех, чтобы не отняли, они стараются сбыть на базаре… Повозки с лошадьми купить надо…

— А сколько это может стоить?

— На базаре лошадь с плохонькой повозкой стоит около пятнадцати тысяч леев. Вот и считайте…

— Нет у нас таких денег, — с досадой произнес старший.

— Деньги? Деньги, — после секундной паузы сказал я, — я вам достану.

Мы условились встретиться и все обмозговать.

Я вернулся в обоз, ведя под уздцы Дикаря. Объяснил фельдфебелю, что на этот раз покупателя, к сожалению, не нашлось.

Весь вечер бродил по городу, обдумывая, что предпринять. На сердце было легко и весело: наконец-то я встретился со своими… План созревал на ходу…

Было уже, пожалуй, часов одиннадцать вечера, когда я в офицерской форме капитана Бёрша (я взял ее у денщика, чтобы почистить) стоял против двери небольшого особняка, принадлежащего румынской генеральше. Долго отряхивал пыль с черных офицерских галифе (пришлось перелезать через высокую каменную ограду), прежде чем потянул за медное кольцо колокольчика. За дверью раздался дребезжащий звонок, и немного спустя женский голос спросил по-румынски:

— Кто там?

— Гестапо! Откройте! — гаркнул я по-немецки, стараясь подражать тону матерых фашистов. (Я предварительно выяснил, что генеральша жила одна. Ее единственный сын — офицер румынской армии — со своей молодой женой находился на отдыхе в Ницце, а приходящая служанка давно ушла к себе домой.)

Дверь тут же открылась, и я оказался перед маленькой старушкой с гладкими седыми волосами, причесанными на прямой ряд.

— Прошу прощения, мадам. Где ключ от ваших ворот?

— Вот он, пожалуйста. — Она сияла в кухне со стены большой ключ и протянула мне.

Я взял ключ и направился к воротам. За ними стояла лошадь с подводой, на которой сидели двое моих новых знакомых и

румын-возчик (хозяин конспиративной квартиры). Открыл ворота. Подвода въехала во двор. Я поставил ее между террасой и погребом так, чтобы она не была заметна с улицы.

Генеральша стояла в дверях и спокойно наблюдала за нами. Впрочем, если бы она и вздумала звонить в полицию, это было бы бесполезно, так как, перелезая через ограду, я предусмотрительно перерезал телефонный провод.

— Прошу прощения, мадам! Я имею приказ воспользоваться вашим личным имуществом в целях пополнения армейского фонда рейха. Разрешите войти? — Слова эти я произнес тоном не допускавшим пи малейшего возражения и, закурив сигарету, щелкнул зажигалкой.

Хозяйка посторонилась, мы с Григорием, одетым в гражданский костюм, прошли в переднюю. Его напарник и румын-возчик остались при подводе, на которой были припрятаны от посторонних глаз четыре немецких автомата на случай столкновения с немцами. Генеральша свободно изъяснялась по-немецки.

— Что вам угодно?

— Проведите нас по комнатам, мадам, и мы отберем то, что нам нужно.

Беспрекословно подчинившись, она повела нас по анфиладе комнат со старинной мебелью, дорогими коврами, массивными вазами и бронзовыми скульптурами. Окна были занавешены плотными бархатными шторами. Я осведомился относительно драгоценностей и денег, и она вынула из шкафчика шкатулку с кольцами, брошками, браслетами, среди них было необычайно красивое изумрудное ожерелье, усыпанное бриллиантами. Все это она вручила мне вместе с бумажником, в котором было около сорока тысяч леев. Ни один мускул не дрогнул на ее спокойном и строгом лице. Это заставило меня спросить:

— Может быть, мадам, что-нибудь из этих вещей вам особенно дорого? Можете оставить у себя.

Она открыла шкатулку, взяла цепочку с большим золотым медальоном, осыпанным мелкими бриллиантами, и, сказав: «Память о моем отце», положила свое сокровище в карман передника. Продолжая разыгрывать роль гестаповца, я галантно предложил:

— Не стесняйтесь, сударыня, оставьте себе на память и это кольцо с изумрудом.

Генеральша охотно последовала моему совету.

Мы поднялись наверх, где были спальня и кабинет мужа — генерала, командира румынской пехотной дивизии, воевавшей где-то в России. В стенных шкафах было множество платьев и

мужских костюмов — они нас не интересовали. Но в ящике письменного стола (который пришлось взломать) я обнаружил маленький дамский «Браунинг» и две обоймы. Это было весьма кстати.

Мы спустились вниз.

Меня крайне удивило спокойствие старой генеральши, безропотно открывшей нам свой дом. Видимо, она была наслышана о мародерстве немцев и ей ничего не оставалось делать, как выполнять волю «немецкого капитана», чтобы сохранить себе жизнь.

Мы спустились в погреб, вытащили два ящика коньяка, две бочки вина, мешок орехов, мешок миндаля. Потом погрузили на подводу шесть лучших ковров, изделия из хрусталя и столовое серебро. На прощание я предупредил генеральшу:

— Имейте в виду, мадам, вам не следует поднимать шума. Это в ваших же интересах. Не пытайтесь звонить куда-либо, провод перерезай. И до утра будьте дома. Больше мы вас не потревожим. Хайль Гитлер! — Я козырнул, вышел во двор, и подвода, затарахтев по каменным плитам, выехала на улицу под гоготанье разбуженных генеральских гусей.

По темным улицам я шагал впереди подводы, зная, что румынский патруль не посмеет остановить немецкого офицера, какой бы груз он ни сопровождал. Солдаты из 2-й штабной роты, которые могли бы меня опознать, после одиннадцати часов не разгуливали по городу: казарменная дисциплина этого не позволяла. Железный крест с мечами на кителе Бёрша при встрече с немецкими городскими патрулями меня безотказно бы выручил. Сам же капитан в это время где-то в другом городе кутил со своим начальством.

Своих спутников я отправил по домам, договорившись встретиться утром на базаре, а сам с возчиком развез груз по заранее подготовленным местам, где меня ждали. Вино, коньяк, миндаль и орехи приняла с черного хода содержательница кафе, пожилая белоэмигрантка, которую звали Анна Васильевна. Я частенько заходил к пей закусить, и она обычно сама обслуживала меня на кухне за служебным столиком. Ковры, хрусталь, серебро и драгоценности я в ту же ночь сплавил в антикварный магазин, заранее договорившись с желчным и алчным стариком антикваром. Он тут же все оценил, заплатил мне наличными и, конечно, здорово нагрел на этом руки.

Таким образом, к тому времени, когда мы с возчиком расстались, в кармане бёршевского кителя, который совсем неплохо сидел на моих плечах, было не менее девятисот тысяч леев. Я благополучно добрался до укромного места —

разбомбленного цыганского домика, вытащил из-под обломков свою солдатскую форму, переоделся, затем вернулся в расположение обоза. Деньги спрятал в подводе Пикколо и, отдохнув часок, тщательно почистил бёршевский мундир с сапогами, ремнем и кобурой, оказавший мне поистине неоценимую услугу. Заспанный денщик был крайне удивлен моей исполнительностью: было еще только пять часов утра. Над городом занималась заря. День был базарный…

В семь часов я был уже на базарной площади. Возле лудильного ряда, где цыгане начинали раздувать свои горны, поджидали мои сообщники. Увидев меня опять в солдатской форме, они одобрительно заулыбались:

— Если бы тебя сейчас посадили на место короля Михая, — шепнул мне на ухо Григорий, — я бы не удивился!

А часа через два десяток подвод с лошадьми был куплен. Я не знал, зачем нужен моим спутникам такой большой обоз. Но интересоваться не стал. Только урывками, ловя реплики, я догадался, что неподалеку сброшены два десанта советских бойцов с боевой техникой и их требуется перебросить в другой район. Они оказались в критической ситуации из-за того, что два переводчика-румына сбежали от них, прихватив с собою часть денег.

Обоз выехал за город и остановился. Стою в сторонке от обозников. Крестьяне, продавшие свои подводы и лошадей, деньги получили еще на базаре и думали, что сейчас их отпустят. Но по заранее разработанному плану хозяин дома, где временно остановились десантники, знал, как надо ему поступить, и сказал крестьянам по-румынски, что сейчас необходимо выполнить небольшое задание. Вечером они уже будут свободны и смогут вернуться к себе домой, каждый на своей подводе. И полученные деньги могут оставить у себя. Крестьянам это было выгодно, и они одобрительно закивали.

Надо сказать, что к моим новым друзьям ночью прибыли два советских разведчика в форме немецких офицеров, и они находились здесь же, рядом. С ними меня не познакомили.

Хозяин дома, указав крестьянам на этих двух офицеров, сказал, что опасности для них никакой нет, ибо эти два немецких офицера возглавят их обоз и двигаться они будут беспрепятственно. На том и порешили.

— Итак, — сказал старший, прощаясь и по-дружески меня обнимая, — гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. Спасибо тебе, солдат! Что просил, обязательно передам на Большую землю: «Хозяйство Грачева. Пароль: „Дунай — Измаил“, Шахматист, он же — Сыч, находится при 2-й

штабной роте капитана Бёрша, танковая дивизия СС „Великая Германия“».

— Точно. Прошу связь.

— Как только выйду в эфир, сразу же доложу. Мы пожали друг другу руки.

Отойдя в сторону, я с Григорием имел еще особый разговор…

Прощайте, господин Бёрш!

— Эмма Ивановна, что здесь нарисовано?

Я сидел под китайской яблоней в саду в Пятигорске и разглядывал картинку в молитвеннике нашей воспитательницы. Мне было шесть лет. На картинке я видел хлев с ослами и волами. На соломе в люльке лежал младенец, от него исходило сияние. Возле ребенка сидела благообразная женщина, вокруг, опираясь на длинные посохи, стояли бородатые мужчины со шкурами на плечах. В небе сияла большая звезда.

— А что это за звезда? — спросил я по-немецки у нашей набожной немки, тыча пальцем в молитвенник.

— А это, Мишенька, праздник — Рождество. Когда Христос родился, на небе зажглась новая звезда, Вифлеемская звезда, ведь это было в Вифлееме.

— А мальчик что, в конюшне родился? — не унимался я. — Он что — маленький кучер?

Не зная, как ответить, Эмма Ивановна в смущении всплеснула руками:

— Ох, у меня там, на плите варенье кипит! — и убежала на кухню, оставив меня размышлять над звездой Вифлеема…

Я вспомнил эту звезду из молитвенника Эммы Ивановны, когда увидел другую, шестиконечную, начерченную мелом на стенах товарных вагонов большого железнодорожного эшелона рядом со словом «юдэ» (еврей).

Мела метель. Эшелон остановился на вокзале города Яссы, и фашисты производили какую-то перегруппировку «живого товара». Вагоны были оцеплены эсэсовцами из зондеркомаиды с автоматами и свирепыми овчарками. Эти сытые, откормленные, чисто выбритые молодчики отрывали от матерей плачущих детей, оттаскивали их в сторону, а взрослых — старых и молодых — загоняли в вагоны. Из рук обреченных эсэсовцы Вырывали чемоданы и узлы и бросали их в одну груду на платформе. У каждого арестованного на груди была пришита шестиконечная звезда желтого цвета, которая вела этих несчастных людей прямой дорогой в фашистские лагеря к мученической смерти. Обреченные не были только румынскими евреями. Слышалась

разноязычная речь.

Плач детей, стенания женщин, окрики конвоя, лай овчарок — все смешалось в один истошный вопль. Стараясь заглушить его, гремел фанфарами немецкий военный духовой оркестр. Музыканты как ни в чем не бывало выстроились в сторонке с пюпитрами и нотами. Трубачи, багровея, натужно дули в трубы, а дирижер в офицерской форме безмятежно взмахивал изящной палочкой, словно дирижировал в парке на танцевальной площадке. Эта жестокая и страшная картина вызывала острую боль, лютую ненависть к фашистам, звала к отмщению…

Я шел по городу Яссы, занесенному январским снегом. Еще недавно оживленный и многолюдный, город стал мрачным и угрюмым. Чувствуя приближение краха, немцы вели себя все более развязно и нагло. Румыния выходила из-под их влияния, и гитлеровцы применяли силу, чтобы удержать плененную страну под своей пятой. Румынская армия, которой немцы прикрывались в боях — все двадцать две дивизии, — была разгромлена под Одессой, Севастополем, Воронежем и Сталинградом. Заслона больше не существовало. Охваченные яростью гитлеровцы зверствовали на румынской земле.

Войсковые соединения 2-го Украинского фронта подходили к границам Молдавии. Близилось освобождение и Молдавии и Румынии от оккупантов. Фашистский диктатор Антонеску, поддерживая кровавый террор немцев, приказывал расстреливать перед строем каждого пятого молдаванина в тех румынских дивизиях, где началось массовое дезертирство солдат-молдаван. По всей Молдавии росло и крепло партизанское движение, наносившее большой урон отступающим немецким войскам. Советская армия стремительно шла вперед. На территории Румынии немцы поспешно воздвигали опорные пункты, строили оборонительные сооружения. В городах объявлялось осадное положение. Целые кварталы были разгромлены. Магазины, аптеки, портновские и иные мастерские расхищены. Винные склады опустошены. Участились пьяные оргии немецкого офицерья. Румынское великосветское общество, которое раньше заигрывало с немецким командованием, сейчас в страхе отсиживается в подвалах своих роскошных особняков. На улицах немецкие конвоиры теперь направляют граненые стволы черных автоматов в спины арестованных румынских солдат и офицеров — босых и полураздетых, гонимых неизвестно куда…

1944 год вступил в свои права. Танковая дивизия СС «Великая Германия» погрузила на открытые платформы свои «Пантеры», «Тигры», «Фердинанды», обозы с военной амуницией и боеприпасами, награбленные запасы вина и продовольствия.

Десять составов, растянувшись длинной зловещей лентой, взяли курс на Венгрию.

Эшелон медленно подходил к границе. Вокруг громоздились сумрачные Карпаты.

Я вылез из-под зачехленного «Тигра», закрепленного на платформе, где устроил себе персональное отдельное купе. Подо мной плащ-палатка. Острый, пьянящий воздух холодной свежестью вливался в легкие.

— Эй, Николя! Бери котелок и дуй на кухню. Здесь долго будем стоять: граница! — крикнул мне с соседней платформы денщик.

Я спрыгнул на землю, взял посуду и пошел вдоль состава к походной кухне.

Невдалеке видны пограничные столбы, за ними мост над ущельем и бурлящая горная речка. Ущелье отделяет Румынию от Венгрии.

У пограничного шлагбаума с одной стороны стоят румынские солдаты в желтых мундирах и треуголках, с другой — венгерские — в светло-коричневых мундирах и таких же пилотках. Возле тех и других снуют немецкие офицеры в черной форме.

Я протянул повару судки:

— Для капитана Бёрша!

Через часа два эшелон тронулся, прогрохотал по мосту и медленно пошел над обрывистой кручей. Лежа под «Тигром», я наблюдал за переменой пейзажа: внизу в долинах селения — белокаменные домики с крутыми скатами черепичных крыш, на склонах гор заснеженные лесные массивы. Кое-где на скалах — одинокие, полуразрушенные средневековые замки. И я пытался представить себе, как некогда с грохотом опускались на цепях подъемные мосты и в железные ворота въезжали мадьярские рыцари в металлических доспехах, тяжелых латах, с яркими перьями на шлемах.

Начались туннели. Поезд нырял в их черноту, потом выходил наружу. Туннелей было много, и каждый раз после туннеля я замечал, что в горах становится все темнее и темнее. Наконец уже трудно стало различить — ночь это или туннель, и только по спертому воздуху да паровозной гари можно было догадаться, где ты находишься…

Неотступно преследовала мысль: а куда, собственно, я еду? И зачем? Я стремился в леса — теперь они здесь, рядом, рукой подать! Искал возможности связаться с партизанами — они в этих горах наверняка должны быть.

Прошло несколько дней.

Я решил срываться. И вот настал тот вечер. Я обдумывал детали: «Пожалуй, оставлю свои вещи здесь. Их найдут, сочтут, что отстал по дороге. Уйду в леса, если напорюсь на местную стражу — скажу, отстал от части. А что они со мной сделают, венгерские солдаты? В худшем случае передадут немцам, а те под конвоем снова отправят меня к капитану Бёршу…» Бёрш олицетворял для меня образец интеллигента высокой культуры, а вся его рота состояла из обыкновенных нормальных людей — солдат и офицеров германского вермахта. Я не знал ни одного случая со стороны немцев мародерства, насилия или какого-либо пренебрежительного, грубого отношения к населению наших деревень, где расквартировывалась рота. Бёрш меня уважал, был моим надежным прикрытием. Мне было жалко расставаться с ним, но в любом случае я был уверен, что он мог меня выручить, и я рискнул.

Я подождал, пока поезд замедлит ход, выполз из своего укрытия, спустился на подножку и, выбрав момент, когда платформа находилась между путями и горным склоном, покрытым заснеженным кустарником, соскочил в темноту. Прыжок был удачный. Подождав, пока мимо прогромыхает состав, я перешел пути в надежде, что где-нибудь за отрогами замелькают огоньки, стал спускаться по отлогому склону.

Воздух был чистый, холодный, режущий ноздри. Внешне я походил на обычного немецкого солдата: шинель, пилотка, ботинки… Под шинелью, в кармане кителя лежали солидные пачки румынских денег. В другом кармане — бесценная записная книжечка с зашифрованными собственным шифром сведениями по вражескому тылу. В заднем кармане брюк — «Браунинг» румынской генеральши с двумя обоймами.

Я шел в темноте, увязая по колено в снегу. Ощущение свободы наполняло меня радостью. «Все проходит, — думалось мне, — вот и „Тигры“ прошли. Прощайте, господин Бёрш!»

В Карпатах

Когда теперь я, уже совсем пожилой человек, вспоминаю себя в тот период, мне порой кажется, что всего этого не было, настолько все это фантастично и на первый взгляд просто неправдоподобно.

Представьте себе двадцатидвухлетнего русского парня, с лицом густо заросшим бородой и усами, в пилотке, в немецкой шипели, поверх которой наброшена шкура дикого вепря, с огромным полевым биноклем на груди и топориком в руках, в рогожных венгерских лаптях поверх солдатских ботинок. Парень

сидит, греясь у костра, разложенного возле пещеры, или стоит на стене средневекового замка и наблюдает в бинокль за селением, раскинувшимся в низине. В селении степенно расхаживают породистые свиньи, поражающие своими габаритами и окраской — абсолютно черные с белыми пятнами на боках. Психология моя стала ближе всего к психологии первобытного человека. Целый месяц нахожусь в горах, в стороне от всех событий.

Никаких партизан, о которых я мечтал, в этом районе не оказалось, хотя я их усиленно разыскивал, почти ежедневно перемещаясь с места на место. Зато зверья — уйма! Иной раз по ночам к моему костру совсем близко подходили волки и, как зачарованные, располагались полукругом. Их можно было угадать по светящимся зрачкам — время от времени я швырял в них горящие головешки, и они отпрыгивали в сторону.

Я видел стада косуль. Почуяв меня, они молниеносно убегали, и я с восхищением смотрел, как они, будто на крыльях, перелетали со скалы на скалу.

Иногда эхо разносило по горам трубный клич оленя, и тогда я чувствовал себя единственным человеком на земле. Нет ничего прекраснее утра в горах, когда на заре, выбравшись из снежной пещеры, вырытой собственными руками, наблюдаешь сиреневое полыхание на сугробах и, захватив в ладони комок снега, протираешь им лицо. Я настолько окреп за эти дни жизни в горах, что не простужался и, наверно, совершенно спокойно мог бы ходить по снегу босиком.

Иногда я спускался с гор, чтобы раздобыть съестного у какого-нибудь лесника или фермера. Я находился в Западных Карпатах, недалеко от местечка Кошице. Местное население говорило на словацком и венгерском языках. Венгры предполагали, что я немецкий солдат-дезертир, и встречали меня весьма дружелюбно. Поскольку я не говорил по-венгерски, а венгры не говорили по-немецки, мы объяснялись жестами. Местное население жило в достатке. Война его не коснулась. И поэтому за румынские леи я мог получить все, что угодно: хлеб, сало, мясо, спички, мыло. Мне нравилась суровая сдержанность жителей гор, их вкус и талант, о которых говорила искусная резьба, украшавшая ставни, наличники и крылечки деревянных домиков.

В первые же дни мне удалось приобрести топорик — он был очень нужен — и котелок для кипячения снега. У одного из горцев купил шкуру дикого кабана: ночью она служила мне подстилкой, а днем во время снегопада — плащом. У лесника сторговал старинный цейссовский бинокль и курительную трубку

в форме львиной головы. Сидя у костра, запекая на углях кусок мяса, я, как вождь какого-нибудь индейского племени, курил допотопную трубку с львиной головой и ждал счастливого момента, когда наконец можно будет с наслаждением обглодать косточки поджаренного глухаря и выпить горячего чая.

За последнее время в поисках партизан я много раз менял свое местонахождение, перекочевывал из одного района в другой. Но — тщетно. Их следы на взорванных железнодорожных путях я встречал, но самих партизан не видел.

Так миновала весна 44-го года и прошло почти все лето.

Спустившись однажды в низину к домику лесника, я попросил разрешения пожить у него. Он охотно приютил меня. Сторожка стояла на отшибе, около невысокой скалы, с которой все подходы хорошо просматривались. Жена лесника, пожилая женщина, вскоре заболела, слегла и была отправлена в больницу. Мы остались одни. Я помогал леснику заготовлять дрова, варил пищу, кормил двух найденных в горах оленят, его собаку, кабанчика, кроликов и прирученных белок. В определенные дни к леснику заглядывала венгерская стража порядка, проверяла его работу по лесничеству, он предупреждал меня об их визите заранее, и я день-другой жил тогда в лесу. Через некоторое время старуха поправилась и вернулась в сторожку.

У меня созревали новые планы.

Как-то утром я объяснил леснику, что я русский.

— Москва! — сказал я.

— Рус? — удивился старик.

— Русский, русский, — подтвердил я.

После некоторых усилий мне удалось выяснить, что до ближайшей железнодорожной станции двенадцать километров. Лесник и его жена поняли, что я от них ухожу. Они покормили меня, положили в рюкзак еду. Я уходил налегке.

Старушка дала мне смену теплого белья и шерстяные носки. Старик подарил кисет с табаком. Старушка напоследок так расстроилась, вспомнив своего единственного сына, пропавшего без вести где-то в бескрайних донских степях, что прослезилась и даже перекрестила меня на прощание.

Я отправился в путь.

Под плато, с которого я спускался, извивалось шоссе. По нему шла немецкая автоколонна. Я стал следить за ней в бинокль. Немного погодя появилась одинокая легковая машина. И вдруг я увидел — она взлетела в воздух. Я видел, как из леса выскочили двое, что-то подобрали с земли, схватили трофейное оружие и скрылись в лесу. Я спустился вниз и, крадучись по кустам, подобрался вплотную к месту происшествия. На шоссе

лежала машина вверх колесами. Двое убитых немецких офицеров были отброшены чуть в сторону. Шофер тоже был мертв и придавлен машиной. Оглядев это место, я заметил обрывок шнура и понял, что к нему была прикреплена мина, которая и взорвалась.

Убитые офицеры были гестаповцы, шофер — шарфюрер СС (унтер-офицер). Дорога была пустынна. Я стал осматривать местность. Заметил на земле три фотографии. Очевидно, гестаповец до взрыва их рассматривал, а затем взрывной волной их вырвало у него из рук и они разлетелись…

Я подобрал фотографии. Под одной была надпись: «На территорию восставшего варшавского гетто входят немецкие танки». Под второй надпись: «Акция Курта Франца, немецкого коменданта лагеря Треблинки». Сфотографирован комендант с кнутом в руке, и рядом под конвоем в газовые камеры загоняют донага раздетых женщин. Под третьей фотографией, датированной августом 1943 года, была такая надпись: «Доктор Вебер во время „селекции“ в Освенциме». Сфотографировано помещение. На полу рядом со столом — трупы детей, а доктор оперирует мальчика. На обратной стороне каждой фотографии штамп: «Секретно. Для служебного пользования».

Просматривая эти фотографии, я вдруг услышал возглас:

— Эй, солдат!

Я обернулся. На дороге, расставив ноги, сидел на велосипеде немецкий полицейский. Автомат висел у него на шее.

— Что здесь произошло?

— Не знаю! — ответил я. — Спустился с горы и вот вижу, лежат убитые офицеры.

— А ну, подойди ко мне! — резким тоном произнес полицейский.

Я спокойно подошел.

— Какой части? Почему не по форме одет? Где оружие?

Понимая, что так просто от него не отделаюсь, я ответил:

— Вот оружие! — и убил легкомысленного немца из «Браунинга». Он свалился через велосипед и растянулся на дороге.

Спрятав фотографии в карман немецкой шинели и осмотревшись по сторонам, я быстро ретировался.

Во фраке

Я стоял в зарослях соснового молодняка. В сотне метров от меня на путях пыхтел паровоз, выпуская из трубы клубы черного дыма. Трава была покрыта налетом копоти. Я подошел к

паровозу.

— Эй, старина, подбрось до Будапешта! — сказал я по-немецки.

Машинист, вытирая паклей запачканные мазутом руки, пожал плечами. Дескать, не понимаю.

Жестами я попросился к нему на паровоз. Он отрицательно покачал головой и черным пальцем показал на состав, стоявший на запасном пути. Теперь уже я качал головой, обращая его внимание на свою внешность.

Машинист, посмеиваясь, кивал на станцию: иди, мол, купи билет. Но когда я вынул пачку крупных румынских купюр, он сразу же стал сговорчивее и протянул мне кочергу, уцепившись за которую я взобрался на паровоз.

— Будапешт? — спросил я.

— Будапешт, — ответил он и протянул руку за деньгами.

Я отсчитал пять тысяч леев и уселся в углу возле тендера.

Вскоре откуда-то выпрыгнул молодой кочегар, черный как дьявол.

Машинист что-то объяснил ему по-венгерски.

— Ага, ага! — заулыбался он. — Дезертир?

Я не стал отрицать. Через несколько минут паровоз пронзительно свистнул и дал задний ход, чтобы подойти к составу.

Поезд быстро шел в сторону Будапешта. Я дремал в уголке, постепенно покрываясь угольной пылью. Паровоз пыхтел, посвистывал, стрекотал на стрелках. Монотонная тряска убаюкивала меня. Наступила ночь. Над моей головой качался тусклый фонарь. Моментами я просыпался, озирался, ничего не соображал и принимал машиниста с подручным за каких-то фантастических жителей гор, в соседстве с которыми провел не один месяц. Венгры посмеивались надо мной, балагурили.

На рассвете я вскочил, тронул свою физиономию и почувствовал, что весь в маслянистой саже. Машинист пил из бутылки молоко, заедал булкой, в сумраке лица его не было видно — только зубы да бутылка.

— Побриться, — сказал я, схватив себя за бороду. — Есть у вас бритва? — показал жестом бреющегося человека.

— Нет, — ответил он и прибавил: — Станция.

И я понял, что должен подождать остановки.

Машинист и кочегар, оживленно беседуя и жестикулируя, часто повторяли: «Панцер СС», и я, вклинившись в их разговор, еще раз убедился в том, что танковая дивизия СС «Великая Германия» ушла в Прибалтику, и был крайне доволен этим обстоятельством.

На небольшом полустанке поезд остановился, и машинист принес мне бритвенный прибор, ножницы и зеркало. Я заглянул в зеркало: «Боже мой! Цыганский конокрад в немецкой пилотке!» — и тут же принялся за свой туалет. Кочегар поливал мне на руки над ведром, потом дал полотенце. Надо было видеть моих спутников, когда перед ними предстал совсем молодой парень.

— О-о-о! — протянул машинист и добавил, коверкая немецкие слова на венгерский лад: — Гут солдат! Гут Будапешт! — и показал на приближавшуюся столицу Венгрии. — Криг шлехт! (Война плохо!) Шлехт криг, — добавил он.

Я вынул из кармана шинели три фотографии, найденные в горах возле убитых фашистов, и показал машинисту. Он с любопытством разглядывал фотоснимки и покачивал головой, затем показал мне жестом, что хотел бы их иметь. Я одобрительно кивнул, он спрятал фотоснимки в карман спецовки. Затем я объяснил, что хотел бы сойти до вокзала.

— Будапешт — патруль! — ткнул я себя в грудь и сложил пальцы в решетку.

Машинист сообразил, чего я опасаюсь, и кивнул. На вокзале, я это знал, жандармерия, пропуская военных через особые ходы, проверяет у них документы. Поэтому, как только поезд подошел к привокзальному участку, я подал знак своим покровителям, попросил слегка притормозить и, махнув им на прощание рукой, соскочил с паровоза в овраг, оставив в знак благодарности за услугу и свой рюкзак, считая, что лишний груз мне в данном случае ни к чему. Товарный состав прогрохотал мимо. Я перешел множество путей с составами, перелез через колючую проволоку и вышел на окраину Будапешта. м

Маленькая парикмахерская на окраине города поблескивала чисто вымытой витриной. Старик парикмахер удобно сидел в кресле с газетой в руках.

Я вошел, он встал мне навстречу.

— С добрым утром! — приветствовал я старика.

— С добрым! — ответил он.

— Вы немец?

— Австриец.

— Скажите, нельзя ли у вас умыться, я прямо с дороги… издалека.

Парикмахер оглядел меня сквозь очки, что-то обдумывая.

— Пройдемте!

Мы прошли в подсобное помещение. Там была раковина с краном теплой воды. Теперь я мог раздеться до пояса и с наслаждением подставил под теплую струю шею и спину. Трудно представить, сколько сажи сошло с меня.

Через полчаса, расплатившись венгерскими деньгами, которые дал мне машинист в обмен на румынские, я вышел из парикмахерской. Был чисто вымыт, выбрит и опять стал походить на бравого немецкого солдата.

В это хмурое утро я шел по старинным улицам незнакомого мне города, мимо серых, мрачных каменных зданий, обнесенных чугунными оградами. Была середина июля. Люди спешили по своим делам. По булыжным мостовым грохотали венгерские военные машины с солдатами и с пушками на прицепе. Распевая походные песни, шагали в строю немецкие солдаты.

Еще будучи на Украине, во 2-й штабной роте капитана Бёрша, я слушал с радистом сообщения Совинформбюро и знал, что под Воронежем в январе 1943 года была разгромлена венгерская армия. Там по воле диктатора Хорти, втянувшего Венгрию в войну, погибли многие сыны венгерского народа.

Я оказался в Венгрии в те дни, когда началась оккупация страны эсэсовскими войсками. Шагал по улицам Будапешта, еще не зная, что очень скоро здесь начнется кровавая расправа над венгерскими патриотами, которые окажут сопротивление гитлеровцам…

Надо было позавтракать. На площади Дис я свернул за угол и зашел в маленькое кафе. Оно было переполнено рабочими и венгерскими солдатами, торопившимися что-нибудь перехватить на ходу. Взяв кофе с молоком, булку с маслом и сыром, я сел в сторонке за столик.

Я пил кофе и, глядя на обеспокоенные лица посетителей, которые возбужденно переговаривались между собой, стал обдумывать свое положение. Первоначально мне нужно было позаботиться о ночлеге. «Может быть, временно снять комнату где-либо в рабочем районе? И что дальше предпринять? Партизан в Карпатах я не нашел. Венгерского языка не знаю. Переодеться в штатское? Гражданский костюм я с собой не взял. А зачем он мне, этот костюм, сейчас? Нужен ли? Ну, переоденусь — а для чего?» Надо было осмыслить обстановку. Мыслей было много, и разных, но пока ничего путного в голову не приходило. Кафе опустело. Я расплатился и вышел на улицу.

Он был почти пустой, этот скверик, с дорожками, покрытыми пылью, с цепочками кошачьих и птичьих следов. Дорожки протянулись между клумбами с яркими цветами, и только на главной аллее сидела с вязаньем какая-то дородная мамаша, двое детей бегали возле нее. Было еще лето, но день выдался по-осеннему прохладный.

Я сел на влажную скамейку. Маленький мальчик в красных сапожках, узких синих брючках, красной венгерке со шнурами,

обшитой белым мехом, играл с девочкой в лошадки. На девочке была такая же венгерка, но с юбочкой. На головах у обоих были смушковые шапочки вроде наших кубанок. Девочка была «лошадкой», и на груди у нее звенели бубенцы.

Я вынул купленную в киоске немецкую газету и, еще не представляя, как сложится день, стал машинально читать.

— Какую газету вы читаете? — вдруг услышал я мужской голос. Я не заметил, как рядом очутился венгерский офицер.

— «Фёлькишер беобахтер» («Народный наблюдатель»), — ответил я и посмотрел на его молодое, чисто выбритое холеное лицо. Из-под каскетки с прямым козырьком на меня смотрели блестящие темные глаза. На широких плечах красовались шитые серебром погоны. От него тянуло вином.

— Что нового? — спросил он.

— По газетам фронтовой обстановки не поймешь, — уклончиво ответил я.

— А новость есть!

— Какая?

— В наших газетах пишут, что румыны нас предали, выйдя из нашего союза, и присоединились к русским.

— Вот как! В немецких газетах этого сообщения нет.

— Это очень неприятная новость, она может повлиять на ход военных событий: Румыния и Венгрия — соседи.

— Берлин — дальше, — уклоняясь от полемики, вставил я.

— А вы из Берлина?

— Да, из Берлина, — тут же выдумал я.

— Так давайте познакомимся. Разрешите представиться. Шандор Мольнар, капитан венгерской армии.

— Очень приятно! — Я тоже встал. — Карл Вицепхаммер — солдат великого рейха.

Мы снова сели.

— А вы отлично говорите по-немецки, — начал я.

— Шлифую немецкую речь, — улыбается он. — И как только вижу немецкую военную форму, не упускаю случая попрактиковаться. Все же по-английски я говорю значительно лучше. — Он помолчал, весело глядя на ребятишек. — А вы здесь случайно, проездом?

— После госпиталя, в отпуске. Домой еще не добрался. Решил на несколько дней задержаться в вашей прекрасной столице. Никогда здесь не был. Чудесный город.

— А вы в семье единственный сын? — спросил он.

— Нет, есть еще сестра. Старший брат погиб под Сталинградом.

— Женаты?

— Пока нет.

Капитан улыбнулся, достал из нагрудного кармана френча бумажник и вынул две фотографии.

— Это моя жена — Ева. Она кинозвезда, — с гордостью произнес он. На фотографии была красавица с длинной белокурой гривой, ниспадавшей на плечи, с роскошным ожерельем на стройной шее.

— О-о-о! Ваша супруга прелестна!

— А это — мой сын. — На фотографии был голыш с вытаращенными круглыми, как пуговицы, глазами. — Здесь ему ровно месяц.

Я выразил восхищение, увидев на снимке упитанного карапуза, очень забавного, чуть похожего на своего родителя; после чего капитан аккуратно положил свои фотографии в бумажник и спрятал его.

— Значит, на днях отбываете в Берлин?

— Да, дома заждались, — продолжал я сочинять, обдумывая, как отделаться от непрошеного собеседника.

— А у меня идея! — вдруг, улыбаясь, сказал он. — Представьте, меня сейчас осенила потрясающая мысль. Блеснула как молния. Я могу показать вам высший свет, к которому имею сам некоторое отношение. Это феноменально! Просто я маг-волшебник! А? Каково? — Он выражался высокопарно, стараясь быть любезным перед берлинцем.

— Я вас не понимаю.

— Сегодня в замке моего отца большой раут, отмечается юбилейная дата военного союза германских и венгерских вооруженных сил! О! Вы не знаете, что это будет! Такого вы нигде не увидите, даже в кино. Весь генералитет, весь высший свет Будапешта! Форма одежды — фрак. Для дам — вечерние туалеты. Вход по специальным именным приглашениям с пропусками. Это, знаете, не часто бывает… Не упустите случая! — В веселом оживлении он хлопнул себя перчаткой по коленке и вопросительно поглядел на меня: — Ну как?

— Большое вам спасибо, господин Шандор. Но, как видите, в данный момент я не могу принять вашего любезного приглашения и удостоиться чести быть принятым в таком обществе — мой фрак остался в Берлине.

— Какая ерунда! — возразил капитан. — Фрак будет, возьмем его в любом ателье напрокат.

— А приглашение с пропуском?

— Пустяки! Я — сын хозяина замка. Нам никаких пропусков не понадобится. Я подвезу вас на своем «хорьхе» к черному ходу, и мы попадем прямо в буфетную. Вам нечего беспокоиться. За все

отвечаю лично я, хоть перед самим вашим фюрером!

Я понял, что мой новый знакомый — авантюрист высшей марки.

Он хлопнул себя в грудь:

— Я еще и не такие номера отмачивал! Вы что, не догадываетесь, с кем имеете дело?

— Нет, я уже догадался, господин Шандор, с кем меня свел счастливый случай, — с человеком нашего круга — интеллигентным и весьма влиятельным. За вами — как за китайской стеной! — пошутил я.

— Вот и отлично! Я вижу, что вы согласны. Не будем же зря терять время. Заключаем союз частного порядка. Ну как? Поехали? — Он резво вскочил со скамейки.

Еще слегка колеблясь, я поднялся. В конце концов, чем я рисковал? На все вопросы у меня одно оправдание: отстал от части. В любом случае я был бы доставлен к капитану Бёршу — надо знать немцев и их педантичность. А приглашением великосветского сынка, пожалуй, стоит воспользоваться. Не каждому может так повезти! Отличная возможность побывать во вражеских верхах и добыть некоторые любопытные сведения о противнике — весьма заманчивое мероприятие.

Шандор остановил какую-то военную машину, и мы поехали. Весь день мы провели вместе. В его особняке я принял ванну, он одолжил мне один из своих гражданских костюмов и небрежно сунул в карман пиджака пачку венгерских денег со словами: «Бери без церемоний, они могут тебе пригодиться!» Мы обедали вдвоем (жена находилась в замке свекра). Затем поехали за фраком. Венгра, как шаловливого ребенка, забавляла вся эта бесшабашная затея. А я, готовый ко всяким неожиданностям, ко всему присматривался.

Вечером, одетый во фрак, я сидел рядом с Шандором в его «хорьхе» (солдатская форма лежала в багажнике). Мы ехали широким длинным мостом через Дунай из Пешта в Буду. Фрак сдавливал мне плечи, накрахмаленная манишка и воротник врезались в шею. По правде сказать, чувствовал я себя не совсем в своей тарелке. Все думал: «Сольюсь ли со средой? Не буду ли белой вороной, инородным телом? Спасут ли меня от разоблачения мои интеллигентные родители и немка Эмма Ивановна, которые воспитывали меня и привили с детства правила поведения, манеры, этикет, которых придерживались в нашей семье? Главное — самообладание! Держаться легко и непринужденно. Надо перевоплотиться по-театральному в образ, соответствующий данному рауту, и органично вписаться в высший свет венгерской аристократии. Смогу ли?..»

И вспомнились мне юные годы, когда я участвовал в школьной самодеятельности. Тогда мы увлекались немецким драматургом Бертольтом Брехтом. Все инсценировки были на немецком языке. Мне удалось сыграть несколько очень увлекательных ролей. В пьесе «Круглоголовые и остроголовые» я играл роль полицейского инспектора. В пьесе «Страх и нищета Третьей империи» — роль штурмовика Эрика Клейна, а в пьесе «Жизнь Галилея» мне досталась роль аристократа — великого герцога Флоренции — Козимо Медичи. Наш преподаватель немецкого языка, дальний родственник Станиславского, привез эти пьесы в 1938 году из Праги и поставил их на нашей школьной сцене. Он сам был и режиссером и актером. Мне удались все роли, особенно последняя. Вся школа нам аплодировала…

Вот и подумалось мне по дороге в венгерский замок, что моя роль в спектакле, в котором я буду скоро участвовать, является моей военной студенческой дипломной работой — работой крайне ответственной, граничащей со смертельным риском.

…Шандор несколько раз о чем-то спрашивал меня, я отвечал и снова погружался в свои тревожные мысли…

В замке

Замок Мольнара — в пятнадцати километрах от Будапешта. Подъезжая, можно было различать очертания островерхих башен, мрачных каменных стен с готическими окнами, из них пробивались полоски света. Мы въехали в большие чугунные ворота, возле которых стояла охрана, приветствовавшая Шандора. Миновали парадный подъезд. Видно было, как из машин высаживались высокопоставленные гости. Обогнули замок и остановились возле подвальной дверцы под навесом. Шандор открыл дверцу тяжелым старинным ключом и пропустил меня вперед. Спустились по ступенькам вниз. Освещая путь карманным фонариком, он вел меня по коридорам полуподвала. В нишах стен мелькали многочисленные бочки с коньяком и ромом, огромные, оплетенные лозой винные бутыли, запечатанные сургучом. Спертый воздух, сырость, запахи подземелья. Но вот коридоры кончились, и мы вошли в подсобное помещение, где под мрачными сводами на крюках висели подвешенные за ноги две оленьи туши, касавшиеся ветвистыми рогами каменного пола, и вепрь, оскаливший желтые клыки. От всего этого веяло таким махровым средневековьем, что я невольно вспомнил романы Вальтера Скотта.

— Вчера привезли с охоты, — пояснил мне Шандор, скользя лучом фонарика по охотничьим трофеям.

По крутой железной винтовой лестнице мы поднялись наверх. Гулко отзванивали ступеньки под ногами.

— Тише! — сказал Шандор.

Он открыл ключом дверь и впустил меня в небольшой чуланчик. Из буфетной пробивался ослепительно яркий свет, доносился звон посуды. Шандор осмотрел меня, поправил галстук-бабочку на крахмальной манишке и, улучив момент, когда буфетная была пуста, быстро провел меня между столами и шкафами прямо в столовую, где шли последние приготовления к торжественному приему.

Предчувствие неизвестности рождало во мне необъяснимую тревогу. Вместе с ней возник и юношеский азарт. Он подхлестывал, будоражил…

Столовая была отделана дубовыми панелями, под темным дубовым потолком сверкали две громадные бронзовые люстры с хрустальными подвесками. На стенах были развешаны старинные фаянсовые тарелки с охотничьими сюжетами, прямо над хозяйским креслом, похожим на готический трон, висели портреты Гитлера и Хорти. Лакеи в серых ливреях с золотыми галунами сновали между столами с графинами и подносами. Шандор провел меня в холл. Прямо перед собой я увидел большое зеркало в позолоченной раме: на него шли двое — Шандор и с ним стройный элегантный юноша с гладко зачесанными набриолиненными волосами, чуть тронутыми сединой висками, с темными усиками на тщательно выбритом настороженном лице. Это был я.

Мы смешались с толпой входивших гостей. Мелькали обнаженные плечи дам, бриллианты, пышные прически, дорогие меха, в воздухе витал тонкий аромат французских духов. Все это двигалось рядом с аксельбантами, эполетами, генеральскими мундирами, увешанными орденами… Среди гостей был и Отто Скорцени — личный агент Гитлера. Высшее общество, фраки и мундиры. Совсем как на театральной сцене. А за стеклянной дверью, перед парадным входом, гестапо отбирало приглашения и пропуска.

— Сейчас я тебя представлю моим родителям, — шепнул Шандор и подвел меня к старому седовласому господину. Справа стояла его жена — худая пожилая дама, сильно декольтированная и подкрашенная, возле нее красовалась Ева, и я сразу узнал ее. В жизни она оказалась еще привлекательнее, чем на фотографии. Возгласы, реплики, поцелуи и приветствия витали в холле.

— Папа, позволь представить тебе моего друга из Берлина. — Шандор не успел сказать моей фамилии (а может быть, он уже забыл ее).

Хозяин замка торопливо кивнул мне головой — за нами шел какой-то немецкий туз в генеральской форме со своей фрау, чудовищно перегруженной гримом, локонами и драгоценностями (видимо, трофеями из всех стран Европы). Я посторонился, уступая генералу дорогу к венгерскому вельможе, почтительно склонившему свою большую седую голову. Ева оказалась со мной рядом, она улыбнулась мне стандартной киноулыбкой. Почтительно поприветствовав ее, я отошел в сторонку и тут же услышал голос Шандора:

— А-а! Господин Мержиль, очень рад вас видеть! Какими судьбами? Вы надолго к нам в Будапешт?

— Здравствуйте, милый Шандор! Очень рад, очень рад нашей встрече. Как поживаете? Как служба?

— Благодарю вас, все в порядке… Сегодня, кажется, будем дегустировать ваши вина?

— Да, да! Я представил вашему отцу большой набор французских вин. Между прочим, скажу по секрету, есть бургундское двенадцатого года… Букет ошеломляющий! — Коммерсант произносил немецкие слова с явным французским акцептом.

— Да, простите, — спохватился Шандор. — Разрешите мне представить вам моего друга из Берлина. — Он указал рукой в мою сторону.

— Карл Виценхаммер! — невнятно произнес я.

— Очень рад, очень рад! — расплылся в улыбке француз. — Позвольте узнать, вы из каких же Вицепхаммеров, из кельнских?

— Нет, нет, я — берлинец, — поспешил я отречься от однофамильцев.

Тут, к счастью, раскрылась дверь и вся толпа приглашенных двинулась к трапезе. За столом я оказался между Шандором и коммерсантом. Отто Скорцени, со шрамом через все лицо, сидел напротив, рядом с Функом — одним из заместителей Геббельса по пропаганде. Его посещение этого раута не было случайным. (Как я узнал позднее, Отто Скорцени со своими молодчиками-террористами, переодевшимися, как и он сам, в штатское, имея чрезвычайные полномочия Гитлера, прибыл в Будапешт, чтобы повлиять на правительство Хорти и заставить венгерского диктатора продолжать войну на стороне Германии, а неугодных — в лице некоторых генералов, которые завязывали контакты с русскими и пытались склонить войска к выходу из фашистской авантюры, срочно ликвидировать.)

Столы в зале были расставлены буквой «П». За каждым гостем стоял его личный официант. Можно было заказать любое блюдо и закуску по своему желанию.

Ужин был роскошный. Но я не мог по достоинству оценить его, потому что вынужден был все время следить за Шандором — какой вилкой и каким ножом он пользуется. Я едва прикасался к блюдам, совершенно не представляя себе, как надо управляться со спаржей, артишоками, устрицами, омарами, креветками. Блюд было так много и все такие изысканные, что я был все время настороже — как бы в чем-нибудь не промахнуться…

Начались тосты. Первым выступил Функ. Он говорил с пафосом:

— Почтенные дамы и господа! Мир вступает в фазу грандиозных событий. Недалек тот день, когда земля задрожит от победоносной поступи наших великих армий. Сейчас в Германии создано сверхмощное оружие, и в военных действиях на Востоке это оружие принесет нам всемирную победу и славу. Мы все обязаны великому фюреру, потому что с его приходом к власти Германия добилась коренных преобразований в умах и сердцах миллионов. В Гитлера верит не только армия, в него верит весь германский народ. Господа! Наши совместные усилия против большевистской опасности столь грандиозны, что они по праву становятся подвигом, который будущие летописцы навеки впишут в скрижали германской истории. Наша убежденность в гении нашего фюрера придает нам силу и вселяет веру в будущее. Немецкий дух и наивысшая в мире арийская мораль незыблемы, как земная кора…

«Господи, куда это меня занесло?» — думал я, давясь устрицами. Перед моими глазами всплывали: размокшая глина окопов, огни самокруток, изможденные лица бойцов группы лейтенанта Петрова. Я остро почувствовал запах махорки и услышал отрывистые голоса в ночи…

(Мог ли я в тот момент допустить такую утопическую мысль, что пройдет некоторое время и этого самого Функа, заместителя Геббельса по пропаганде, я буду допрашивать как переводчик в штабе 8-й гвардейской армии у генерала Виткова? Нет, не мог! Это еще не произошло, это будет позже, в апреле 1945 года.)

— Пусть дух павших сыновей обеих наших держав — великой Германии и прекрасной Венгрии, — отпив из стакана, продолжал оратор, — ведет нас к новым победам на всей планете! Не будем скрывать, что сейчас идет бесчисленное истребление людей во всем мире…

А перед моими глазами всплывал, как из тумана, кировоградский ров смерти и расстрел евреев, который пришлось мне пережить… Я вдруг почувствовал, как от страшного напряжения под фраком взмокла рубашка, и ощутил холодный пот на висках…

— Вы спросите меня, так кто же в этом виноват? Кто же? Кто? — истерически выкрикивал оратор. — Я вам отвечу: виноваты евреи! Несчастные, уставшие от войны народы Европы, Америки и Азии брошены в кровавую битву. Кем? Мировым еврейством! Только великая Германия сможет смыть со всего мира позор еврейского засилья и этим озарить мир, как светоч великого гуманизма! Отмечая юбилейную дату нашего с Венгрией военного союза, я предлагаю поднять бокалы за великого фюрера — Адольфа Гитлера! Хайль!

Зал встал и начал скандировать: «Зиг хайль! Зиг хайль!» Все пили, слышался звон разбитых бокалов, которые бросали на пол немецкие генералы…

Звучали тосты, официанты убирали осколки стекла. В зале царило оживление, звучали одобрительные возгласы.

После ужина гости разделились на маленькие группки, и я в соседнем зале оказался возле одной из них. (Не берусь утверждать, что точно воспроизвожу каждую фразу, произнесенную в том разговоре, но темы, которые затрагивали генералы, постараюсь передать во всей зловещей полноте.)

— Нет, нет, вы заблуждаетесь, генерал! — услышал я. — Мое строгое обращение с пленными всецело оправданно. Когда мои бравые танкисты видят кровь расстрелянных русских, они возбуждаются, как голодные псы, и потом отлично орудуют в бою. — Сухое, жесткое лицо генерала-немца заострилось, близко посаженные глаза загорелись жестким огоньком, и он так сжал львиную голову на спинке своего кресла, словно хотел ее раздавить.

Высокий плотный венгр в генеральском мундире, покачиваясь на каблуках, стоял перед генерал-полковником Гелле, держа в руке янтарный мундштук с сигаретой. Щурясь, он смотрел на немца сверху вниз:

— Но, господин генерал, неужели ликвидация пленных может повлиять на военные действия? Ведь у вас, насколько мне известно, огромное количество танков, и вашей доктриной всегда было: «Танковые клещи и тысяча танков в одном кулаке» — по Гудериану. Разве одно это не обеспечивает желаемых результатов?

Генерал-танкист отчеканил:

— К сожалению, весы военных судеб заколебались. И откуда только у этих большевиков берется столько танков? С каждым месяцем их все больше! Наш абвер основательно подвел Верховное командование, вовремя не сообщив в Берлин об их военном потенциале.

— Но при чем же тут ликвидация русских пленных? — не

унимался венгр.

— Просто вынужден прибегать к новым методам укрепления боевого духа моих танкистов. Такие экзекуции у них на глазах весьма полезны и поучительны. Надеюсь, это вам понятно?

Венгр затянулся сигаретой и, выпуская облачко дыма, ответил:

— Да, конечно, но как все это согласуется со словами, которые написаны даже на солдатских пряжках: «Готт мит унс». [34] Старый господин на небесах может на нас с вами серьезно обидеться. — Венгр в поисках сочувствия повернулся вполуоборот к немецкому генералу Миддельдорфу, но тот проявил к его словам полное равнодушие.

Упоминание имени Божьего привлекло к собеседникам еще одного из гостей — полного, низкорослого, лысого субъекта со слащавым выражением лица. Это был священнослужитель, особа духовная.

— Давно прислушиваюсь к вашему разговору, господа, — начал он. — Осмелюсь высказаться с точки зрения теологии. Еще во времена Крестовых походов рыцари не щадили язычников. Ради святого дела можно проявить и суровость. Жалость тут неуместна…

Генералы промолчали. Рядом с ними стоял с хмурым выражением лица генерал СС Винскельман с супругой. Священнослужитель обратился к нему:

— Извините, господин генерал, вы как будто имеете некоторое отношение к тому вопросу, который я хотел бы задать вам. Скажите, почему немцы вывозят сейчас евреев из Будапешта? Говорят, их вывозят в лагеря смерти для уничтожения в газовых камерах газом «Циклон Б»?

— Их вывозят в Германию на работу, их эвакуируют, остальное — вражеская пропаганда, — резко ответил генерал СС Винскельман.

Ждали диктатора Венгрии — адмирала Хорти, но он так и не появился.

Я сидел на диванчике возле небольшого столика, прислушивался к разговору и невольно думал о том, сколь удивительна судьба человеческая, забросившая меня сюда… Меня не покидали скованность и душевное волнение. И вместе с тем, как ни парадоксально, в этой необычной обстановке я чувствовал себя все-таки уверенно, как и подобает разведчику.

— Извините, Карл! Я оставил вас одного, — раздался рядом голос французского коммерсанта Мержиля, и он подсел к моему столику. — Вы что-нибудь смыслите в политике? Я лично абсолютный профан. По-моему, все люди, независимо от нации,

цвета кожи и религии, имеют право кушать и пить вино. — Судя по цвету его лица, Мержиль уже основательно набрался бургундского, и его тянуло на откровенность. — Между прочим, за последние годы люди сильно изменились, стали какими-то мелочными, встречаешься все чаще и чаще с мещанской психологией; никакой духовности, сердоболия, сочувствия к горю других… Чем глубже узнаю людей — тем больше люблю собак. — Он рассмеялся. — Скажите, Карл, вы женаты?

— Нет, господин Мержиль, я холост.

— А почему бы вам не жениться? — Француз доверительно положил руку с большим золотым перстнем мне на плечо.

— Вы знаете, я как-то не задумывался об этом, время военное…

— Да, между прочим, — француз прервал меня, — а почему вы так мало пили? Официант, все время стоявший с подносом за вашим креслом во время приема, совсем не имел работы. Вы ему ничего не заказывали. Он, бедняга, скучал и стоял как истукан. О, своего я поэксплуатировал! Он у меня то и дело на кухню бегал. Гурман! Каюсь! Люблю вкусно подзаправиться. Никак не могу воздержаться, если вижу на столе что-нибудь вкусненькое. — Француза окончательно развезло и клонило ко сну. — Так почему же вы так мало пили? — переспросил он.

— Ввиду серьезной контузии.

— Ах да, да! — подхватил доверчивый собеседник. — Вы только из госпиталя… А то я просто удивился, почему вы ничего не пьете… Сочувствую, сочувствую… Подлечитесь дома.

— Надеюсь.

— Скажите, а какую профессию вы себе избрали? Может быть, имеете склонность к коммерции? Я слышал от Шандора, что ваш отец второй экономический директор концерна Круппа… Как это было бы чудесно, Карл! Вы мне, по правде говоря, очень симпатичны. Вы — светский человек, трезво мыслите, прекрасно воспитаны… И самый молодой из всех приглашенных сюда…

Я сидел с чашкой кофе, вежливо помалкивал и не понимал, куда он клонит. Одно радовало, что моя выдумка в беседе с Шандором о богатых родителях в Берлине сработала.

— Вот, между прочим, есть великолепная профессия. Коммивояжерство. Много ездишь, много видишь, уйма новых впечатлений, знакомств, связей. Красота! Весь мир можно объездить. Вы любите путешествовать?

— Конечно, но только пока я путешествовал по военным дорогам, что не совсем приятно…

— Да, да… война… А вы не хотели бы познакомиться с одной прелестной девушкой?

— Кого вы имеете в виду?

— Я вам открою свою семейную тайну. — Мержиль как-то неожиданно отрезвел и еще доверительнее придвинулся ко мне. — Видите ли, у меня есть дочь. Он помолчал, достал зажигалку и закурил сигару. — Собственно говоря, это не родная дочь, — продолжал он, выпуская колечки ароматного дыма. — По крови она итальянка.

А зовут ее польским именем Беата. Вообще это романтическая история. Я вам расскажу все по порядку. Представьте, я выиграл ее в казино. Случилось это в Монте-Карло. Знаменитый итальянский тенор проиграл в рулетку все свое состояние: имение, квартиру, мебель, яхту, все наличные деньги. В кармане у него остался один документ — свидетельство из родильного дома, удостоверяющее, что он является отцом ребенка, рожденного публичной женщиной… Родильный дом был коммерческим, и пациентка должна была уплатить за свое пребывание в этом заведении крупную сумму. От уплаты она отказалась. Таким образом, ребенок должен был поступить на воспитание в специальный приют. И вдруг явился отец — знаменитый тенор, признал свое отцовство, заплатил что полагалось и получил на руки документ, гарантирующий ему право на его ребенка. Вот этот документ и лег на картежный стол в Монте-Карло — в расплату за его легкомыслие. Я выиграл этот документ, играя в покер.

С интересом слушал я захмелевшего собеседника, а он, потягивая кофе с ликером, продолжал:

— Так как мы с женой были бездетны, то она была в восторге от моего выигрыша, и в доме у нас появилась маленькая итальянка. Мы дали ей имя Беата в честь матери моей жены, которая была польского происхождения. Девочка росла умной, ласковой и очень музыкальной. К моему горю, вскоре жена умерла, и я воспитывал Беату один. Несколько лет назад я женился вторично на одной богатой американке, от этого брака у меня две дочери, и, естественно, вторая моя жена недолюбливает Беату, которая получила блестящее образование и имеет все права на наследство. Жена хочет во что бы то ни стало удалить ее из дома, например, пристроить где-либо за пределами Швейцарии. Но куда ей деваться? Куда? Я выделил ей солидное приданое, она красива, умна, образованна. Как жаль, что я не захватил ее фотографии… Обеспечена всем на много лет… — Мержиль вопросительно поглядел на меня. — Вы меня поняли?

— Стало быть, вы предлагаете мне…

— Да, да, я был бы счастлив! Вы могли бы стать и моим родственником, и моим компаньоном. Я ввел бы вас в свое дело,

и вы смогли бы открыть филиал в Берлине. Думаю, что ваш отец не был бы против… Я молчал, не зная, что сказать.

— В самом деле, почему бы вам не прокатиться в Женеву, ну, скажем, хотя бы недельки на две, ведь это вас ни к чему не обязывает. Вы были в Женеве?

— Нет, не приходилось.

— Красивейший город. Лучший курорт мира. Я живу в живописном районе, недалеко от Женевского озера, почти рядом со зданием Лиги Наций. Яхта, автомобиль, свои верховые лошади… И хотелось бы вас познакомить с Беатой. А через недельку, скажем, или дней через десять я сам доставлю вас в Берлин. Уверяю, для вас это будет просто увлекательный вояж.

Я на мгновение задумался: «Швейцария? Быть может, там есть советское посольство…» — и осторожно обронил:

— Господин Мержиль, все это весьма заманчиво, и я очень благодарен вам за доверие, но дело в том, что меня ждут дома. И потом, мне следовало бы иметь для такого турне соответствующие документы.

— Пустяки! Какие документы! Кто их будет проверять? Я беру это на себя. У меня самолет.

— Собственный?

— Нет, это немецкий самолет. И пилот — немец. Но временно он находится в моем распоряжении и обслуживает мою фирму. Я снабжаю Германию и Венгрию винами, фруктами и турецким табаком. — Мержиль улыбнулся.

— Ну, если так, то вы меня заинтриговали. Несколькими днями я, конечно, располагаю.

— О, как хотел бы я вас помолвить… Это была бы на редкость удачная пара… Только знаете, друг мой, — добавил Мержиль, — нам придется из Женевы почти сразу слетать в Стамбул, а затем махнуть на несколько дней в Ригу, там у меня чулочная фабрика, и я должен уладить кое-какие финансовые дела, ведь русские наступают на севере как раз на рижском направлении, и как бы мне не прозевать… А оттуда мы снова вернемся в Женеву. Согласны?

Слово «Рига» моментально заворожило меня. «Леса… Партизаны… Латыши…» Я сделал вид, что спокойно обдумываю его предложение, и неторопливо сказал:

— Ну что ж, господин Мержиль, я сейчас в отпуске и могу располагать собой по своему усмотрению, кроме того, мне не приходилось бывать в Швейцарии, поэтому я с удовольствием приму ваше любезное приглашение.

— Ну и чудесно! Завтра ровно в восемь утра вы заедете ко мне вот в этот отель. — Он вынул из кармана фирменную

карточку, обычно предоставляемую в отелях гостям, и протянул ее мне. — Я буду ждать вас. Мы сразу отправимся на аэродром…

Нашу беседу прервал Шандор:

— Господин Мержиль, вы совсем отбили у меня приятеля. Что вы здесь делаете, пьете ром? Наверху танцы, Карл. Ева хочет с тобой танцевать… Пойдем!

Я успел только переглянуться с французом, он одобрительно кивнул головой и поднял руки, растопырив восемь пальцев.

Мы поднялись по мраморной лестнице в зал, озаренный канделябрами. Оркестр играл медленный вальс, и на сверкающем, до блеска натертом паркете плавно кружились несколько пар. Ева шла мне навстречу, я поклонился ей, и мы заскользили по залу. Мне, видимо, не хватало легкости и естественности в поведении, сковывало внутреннее напряжение. Это почувствовала Ева.

— Отчего вы такой серьезный? — кокетливо спросила она, стараясь поймать мой взгляд.

Ах, если бы она знала, кто я такой и чем занята моя голова!

Дочь миллионера

Ночевал я у Шандора в его фешенебельном особняке. В семь утра тихо поднялся, стараясь не разбудить беспечного хозяина, побрился, наскоро перекусил на кухне, надел подаренный мне костюм, сиял с вешалки шляпу и драповое пальто и, захватив свой «Браунинг» и румынские деньги, покинул гостеприимный дом…

Ровно в девять утра самолет Мержиля из Будапешта взял курс на Женеву…

Это было как в сказке, которая может прийти только во сне. После жестоких боев, прорывов из вражеского окружения, после александрийского лагерного барака, кировоградского рва смерти, побега с днепропетровского вокзала, смертельно опасного перехода через Днепр, пребывания в роте капитана Берша и скитаний по Карпатам я оказался в мирной, безмятежной стране. Я надеялся, что и здесь смогу добыть сведения, полезные для Советской армии, разрушающей последние бастионы гитлеровского фашизма.

Что я знал тогда о Швейцарии? Нейтральная страна. Один из центров международного туризма. Население — около четырех миллионов человек. Столица — город Берн. Женева, расположенная на берегу живописного озера, знаменитый курорт. Я знал также, что Швейцария получает огромные проценты за хранение в падежных банках капиталов, принадлежавших

вкладчикам из всех стран мира. Наконец, я знал, что во всех частях света славятся швейцарские станки, часы, шоколад.

…А вот и конец пути. Наш юркий самолет приземлился на аэродроме.

Мосье Мержиль сел в свою легковую машину, и вскоре я очутился в его роскошном особняке, на горе, в черте так называемого Старого города.

Мосье Мержиль был миллионером, директором ряда торговых фирм, и его влияние распространялось далеко за пределы Швейцарии. Выходец из старинного дворянского рода, он окончил в Париже Сорбоннский университет, изучал в Лондоне юридические науки и слыл в определенных торговых кругах образованным, предприимчивым и умным человеком, умеющим делать деньги. Вполне естественно, что, вернувшись в Женеву, он сразу с головой окунулся в свои коммерческие дела и, познакомив меня со своей дочерью Беатой, разместил меня в одной из комнат своего особняка. Дом стоял на возвышении недалеко от старого парка «Мои Репо» («Мой отдых»). Рядом — Всемирный центр Красного Креста. Из окна моей комнаты в лучах солнца отчетливо вырисовывалась белая снеговая шапка Монблана.

Беата была хрупкой, изящной девушкой, с коротко подстриженными волосами. Ее большие серо-голубые улыбающиеся глаза смотрели весело и доброжелательно. Одета она была модно и со вкусом.

— Надолго вы в паши края? — спросила Беата по-немецки.

— Не знаю. Многое будет зависеть от мосье Мержиля.

— Папа сказал, что мы сегодня вечером можем пойти в ресторан. Деньги для вас он оставил в конверте, вот они на столе.

— Благодарю, — ответил я. — Если папа разрешил, значит — можно. Буду рад составить вам компанию.

Когда начало смеркаться, мы сели в машину и по моей просьбе покатались по улицам Женевы. Потом остановились возле небольшого уютного ресторанчика на берегу Женевского озера. Беата попросила шофера не уезжать. Предупредительный официант встретил нас у входа, и мы устроились за одним из столиков, стоявших у широко раскрытого окна с видом на озеро. Город пестрел афишами, крикливой рекламой. Озеро поблескивало веселыми огоньками. Из соседнего кабаре доносилась музыка. А где-то в затемненных номерах отелей тайные агенты Канариса — начальника разведки фашистской Германии — деловито обсуждали планы своих секретных заданий. Где-то на конспиративных квартирах затаились связные из французского Сопротивления, и немецкая разведчица фрау

Вернер, работая на советскую разведку, налаживала связи с политэмигрантом-подпольщиком венгром Радо, который после войны написал свою знаменитую книгу «Под псевдонимом Дора». Где-то играли в бридж. Где-то пели песни. Разноязычная и неповторимая Женева жила своей обычной жизнью…

— О чем вы думаете? — спросила Беата.

— Хотелось бы побывать во Франции, — ответил я.

— Она совсем рядом, два-три километра отсюда. Только сейчас война. И французская граница строго охраняется немцами, а до войны нужно было только иметь при себе паспорт. Один трамвай ходил в направлении города Аипемасс, другой — до города Сен-Жульен… Вы никогда не были в Женеве?

— Нет, не приходилось.

— А я родилась в Марселе, потом жила в Ницце… И вот уже двенадцать лет живу здесь. Хочу поступить в университет. Буду готовиться к экзаменам… Вы из Берлина?

— Да.

— Мой папа хочет, чтобы я от него уехала. Куда бы вы рекомендовали мне уехать?

— Во всяком случае, не в Берлин. И вообще куда угодно, но только не в Берлин.

— А что, сейчас там так опасно жить?

— Опасно.

— Вы думаете, русские победят немцев?

— Я далек от политики и прогнозов на этот счет не делаю… А вам надо просто выйти замуж за хорошего человека, и сразу станет все ясно — куда ехать и как жить.

К нам подошел любезный официант. Мы заказали ужин и вместе закурили.

— Но, чтобы выйти замуж, — сказала Беата, — я должна сначала встретить подходящего человека. Иначе все развалится, потому что не будет основ, удерживающих брак. Я читала американских сексологов. Считаю, что они правы.

— А ваш итальянский темперамент?

— Не в темпераменте дело! Главное, чтобы люди были одного круга, с идентичным воспитанием, образованием и складом ума. Тогда у них будут общие интересы. Я не признаю брака по расчету. А вы?

— Я тоже не признаю. Кстати, один французский писатель сказал: «Любить — не значит смотреть друг на друга, а значит — вместе смотреть в одну сторону». Его изречение подтверждает вашу мысль.

— Надо, чтобы люди понимали друг друга с полуслова, чтобы они жили друг для друга.

— Это в идеале. Об этом пишут в любовных романах. А в действительности — все равно должны быть компромиссы. Что-то в человеке для тебя — главное, что-то — второстепенное. Стопроцентная близость и гармоничность человеческих натур — это миф, встречается крайне редко, только при генетической совместимости — это утверждает немецкий сексолог Нойберт.

— Незнакома с таким автором.

— Постарайтесь найти его книгу «Новое в супружеской жизни». По-моему, у нее такое название, если не ошибаюсь.

— Постараюсь… А живя в Женеве, я убедилась, что швейцарцы в отношении любви — слишком деловые люди… К тому же они очень замкнуты. Работа и дом. Дом и работа. Вот почти и вся их жизнь. В гости они ходят крайне редко, и только к родственникам. А мне по душе совсем другая жизнь. Я — итальянка.

— Тогда вам надо ехать в Италию и выходить замуж за итальянца.

— Возможно, но этого я пока для себя еще не решила… К тому же я хочу сильно любить человека, за которого выйду замуж, и хочу во всем ему доверять.

— Доверять — это хорошо. Если человек порядочный, достаточно интеллигентный, уважает вас, ценит — почему бы ему не доверять. А вот насчет любви — здесь, мне кажется, вопрос серьезнее. Дело в том, что любовь — это вуаль. Человек любящий идеализирует предмет своего внимания, он его придумывает для себя таким, каким он хотел бы его видеть. Чувства превалируют над рассудком и затемняют главное, что надо обязательно знать. И женщина впоследствии может горько разочароваться в своем избраннике, вовремя не заметив тех пороков, которые он, ухаживая, естественно, скрывал от своей возлюбленной.

— А вы, я смотрю, философ любовных наук!

— Нет, просто читал Нойберта, анализировал, делал выводы.

В ресторане заиграл джаз. Официант принес закуски: красную икру, ветчину, устриц, какой-то соус, масло, свежие овощи, бутылку сухого вина, виноградный сок, свежий хлеб; пожелал нам приятного аппетита, и мы принялись поглощать вкусные блюда, беседуя на тему о любви, всегда волнующую молодых людей.

Удачное знакомство

За соседним столиком сидели двое мужчин: один — старик, с окладистой седой бородой, высоким открытым лбом и глубокими проницательными глазами; другой — благообразный мужчина

средних лет, одетый в яркий шерстяной свитер. Они оживленно беседовали на чистейшем русском языке. До меня то и дело долетали реплики и обрывки отдельных фраз. Я изредка посматривал в их сторону и старался прислушаться к их разговору.

— Кто эти люди? Вы их знаете? — кивнул я в сторону соседнего столика.

— Одного я знаю, того, кто моложе. Это — Александр Сосновский, он из России, сын русского эмигранта. Очень состоятельный человек. Манекенщик… с причудами. Но мастер, говорят, великолепный. Многие манекены, стоящие в витринах европейских городов, в Америке, Англии, Австралии, выполнены его руками. Это просто гениальный скульптор.

— А второй?

— Того не знаю. И первый раз вижу.

— Они говорят по-русски. Как бы мне с ними познакомиться?

— А вы тоже говорите по-русски? — удивилась Беата.

— Да. Когда я был еще совсем маленьким, мой отец возил меня в Москву. Он ездил туда по своим служебным делам. И прожил в Москве три года. С тех пор я изучал русский язык.

Мы пили вино и вели непринужденный разговор. Беата мне нравилась. Она была умна, симпатична, хорошо воспитана, любознательна и непосредственна в общении.

— А вы не хотели бы изучить русский язык?

— Я знаю три языка: итальянский, французский и немецкий. Куда же больше! Если я начну изучать четвертый, то в моей бедной голове все перепутается. — Она весело засмеялась.

Джаз играл веселую мелодию, Беата загадочно улыбалась, а я пил сухое мартини.

— Что-то вы посматриваете в нашу сторону, молодой человек, — вдруг обратился ко мне бородатый старик. — Не знаете ли вы, случайно, русский язык? Если знаете, милости просим к нашему шалашу, будем рады.

— Идите, идите, поговорите с ними по-русски… Он вас как будто приглашает, — сказала Беата.

К Беате подсела ее подруга, и они стали довольно громко щебетать по-итальянски, энергично жестикулируя. Я встал и подошел к соседнему столику.

— Прошу, прошу, молодой человек, присаживайтесь! — любезно произнес бородач — Вы — француз?

— Нет, я немец.

— О, это совсем хорошо! Я смогу узнать у вас последние новости, а то немецкие газеты что-то умалчивают.

— А что вас интересует?

— Прежде всего меня интересуют те легендарные победы, которые одерживают доблестные немецкие войска на Восточном фронте. Их, по-моему, становится все меньше и меньше. А вы не такого же мнения?

— Сейчас немецкие войска концентрируют значительные силы в Прибалтике. И собираются зажать русских в танковые клещи.

— А где вы так выучили русский язык? — улыбнулся старец.

— Учил, вот и выучил.

— Смею заметить, что вы в этой области весьма преуспели. Всех разговаривающих по-русски здесь в Женеве я знаю наперечет и могу сосчитать по пальцам, а вот вас вижу в первый раз. Значит, вы, видимо, только что приехали?

— Да, я первый день в Женеве.

— Берлинец? — спросил второй собеседник.

— Да.

— Что-то Берлин редко стал заказывать мне манекены, поиздержался, что ли?

— Обеднел, бедняжка, — усмехнулся старик. — Или все деньги запрятал в швейцарские банки.

— Возможно, — сказал я. — Все возможно.

— А ну-ка, Петр Степанович, — обратился Сосновский к старику, — докажите мне еще раз вашу проницательность.

— Ради бога!

— Скажите, о чем думает сейчас вон тот господин. — Сосновский указал на один из столиков, стоящих в стороне.

— Это какой господин: с лысиной или с усами?

— С лысиной, с лысиной.

— Сейчас скажу… На мой взгляд, у него недостаточно денег, чтобы оплатить счет, и он займет их у соседа.

— Сейчас увидим, — заметил Сосновский.

Действительно, господин с лысиной, сидевший невдалеке, сделал весьма кислую физиономию, покрутил в руке счет, попросил деньги у соседа по столу, рассчитался с официантом и, тяжело дыша, встал из-за стола.

— Как в воду смотрели! — рассмеялся Сосновский. — Куда там Шерлок Холмс! Он по сравнению с вами просто ребенок! Как вы могли догадаться?

— Дедукция, братец ты мой! Вот поживешь с мое, еще лучше будешь угадывать. Да, стар стал, стар. Надо идти отдыхать, лечить свой радикулит, проглажу-ка сегодня поясницу утюжком.

— Помогает? — спросил Сосновский.

— А как же! Еще как помогает.

— А сколько же вам лет; если не секрет? — спросил я.

— Девяносто девять, голубчик мой. Одного месяца не хватает, чтобы дотянуть до сотни! Вот так.

В отеле «Россия»

Этой ночью, лежа на кровати в богато меблированной комнате, я рассматривал визитные карточки, полученные мной в ресторане. Сосновский приглашал навестить его на следующий день часам к двенадцати, а Петр Степанович Белобородов, мой новый знакомый долгожитель, в этот же день ждал меня в своем номере в отеле «Де Рюсси» («Россия») часам к пяти пополудни.

Утром, позавтракав и поболтав с Беатой, примерив модный белый костюм, подаренный ее отцом, вынув деньги из очередного конверта, перечитав два иллюстрированных журнала: «Flügel» и «Die Wehrmacht»,[35] свежие немецкие газеты, я извинился перед Беатой, сказав, что несколько задержусь, приду только к вечеру, и отправился в гости.

Я шел по Женеве. Я понимал, что возмужал, обогатился опытом, акклиматизировался в немецкой среде, сознавал, что если мне что-то и удалось сделать полезного в 41-м году, то в 42-м сделано больше, и, пожалуй, с каждым днем острее сознаю себя разведчиком…

У меня не было задания Центра. Я сам для себя был Центром. Сам ставил перед собой задание, разрабатывал его и воплощал в жизнь. Борьба с нашествием фашизма — была моим солдатским и гражданским долгом, и я был вереи этому долгу. Нравственный мой долг обязывал также бороться, терпеть муки и лишения, порой надо было жертвовать собой ради благополучия других. Самосознание, моральные принципы были заложены во мне самой человеческой природой.

Я сознавал, что, ведя свою «тайную войну», либо одержу победу, либо погибну. Третьего не дано. Тогда, в ту пору, я не знал и не мог знать, что впереди ждет меня не женитьба на дочери миллионера, не райская жизнь на Западе, а… Лефортовская тюрьма в родной Москве, где после войны я пробыл в камере ровно три года, до полного изнеможения… И это тяжелейшее испытание я тоже выдержал, не сдался, не сломился.

…В камере-одиночке всегда горел свет. Поэтому я никогда не знал, который час. Наверху под потолком над стеной небольшое зарешеченное окно под козырьком. Неба не видно. Рядом с дверью параша с крестообразной металлической пластинкой и дыркой посередине. Сесть на парашу можно, но с опаской. Едва услышишь стук — вставай, не то — карцер. Неделю сидеть на цементном полу, питаясь лишь хлебом и водой. Я там уже бывал. Никто из моих родных не знал, что я здесь неподалеку от них — в Лефортове. И что умерла моя мать, я тоже не знал. Сесть в камере

было не на что: ни стула, ни табуретки, ни кровати. О столе и думать нечего, и читать не дают. Словом, стой или ходи. А сколько можно ходить? Камера, кроме параши, — пуста. Вот целый день и хожу. Со временем стали отекать ноги — если долго стою на месте. Поэтому надо только ходить. Ходить и ходить, как маятник: семь шагов к двери и семь шагов обратно к стене. Я отшагал, наверное, сотни тысяч километров по этой одиночной камере. Не помню, чтобы хоть один раз мылся или был в бане. Совершенно выпало из памяти, остальное помню отчетливо. Питание слабое. В глазок на меня всегда смотрит бдительный глаз. Со мной никто не имел права разговаривать. Я задавал вопрос, никто на него не отвечал: ни врач, ни охранник, ни конвоир, который раз в сутки выводил меня на прогулку на один час, и там я тоже ходил…

Вечером появлялся дежурный и освобождал прикрепленную к стене доску. Доска держится на двух цепях в наклонном положении. Это тоже один из методов пытки. Дежурный молча вносит из коридора табуретку. Я залезаю на доску и, чтобы не упасть, обе йоги цепляю, как могу, за цепь, а верхняя цепь проходит у меня под руками. Под верхнюю цепь я пролезаю всем туловищем. Так я прочно устраиваюсь на ночь, держусь за цепь, чтобы не свалиться на цементный пол. Доска короткая для моего роста, и поэтому часть туловища, шея и голова в висячем положении. Доска голая. Ни подушки, ни матраца, ни одеяла. В камере сыро. Доска находится от пола на полуметровом расстоянии. Устав от вечной ходьбы, сразу засыпаю. Ночью ноги сами освобождаются от цепи, свешиваются вниз, я повисаю на верхней цепи и… мгновенно просыпаюсь. Чаще всего верхняя цепь удерживает меня, но случается, я падаю на пол и разбиваюсь. Синяки и ссадины врач молча обрабатывает и уходит, а дежурный снова вносит табуретку, и я снова забираюсь на доску…

Следователь — белобрысый мужчина лет сорока — вызывает меня и с искусственной улыбкой спрашивает:

— Как здоровье?

— Ничего.

— Гуляете?

— Гуляю.

— Ну, будете подписывать протокол, что вы готовились в Познаньской школе как диверсант к забросу в советский тыл?

— Нет, не буду. Я находился в этой школе — в правом здании от ворот, в секторе переводчиков, а не в левом, где готовили диверсантов для заброса в советский тыл.

— Хорошо, — говорит следователь. — У меня вопросов

больше нет. Вызову вас через полгода.

И я снова хожу и хожу по камере. …Ровно через полгода — тот же следователь и тот же главный вопрос. И тот же мой ответ.

— Хорошо. Я вызову вас ровно через год.

…Ровно через год — тот же следователь и тот же главный вопрос. И тот же мой ответ.

— Хорошо, — говорит следователь. — Я вызову вас через два года.

И я снова хожу по камере…

Отходил еще полтора года… Уже на прогулку не выводят — ослаб. Все время хотелось есть. Пропал сои. Пошли галлюцинации. Порой держусь за стену, чтобы не упасть. С трудом залезаю на доску…

Однажды я стоял, расставив ноги, и о чем-то думал. Было что-то около 8 часов вечера. Поднял голову, смотрю — кормушка открыта и на меня смотрит мужское лицо. Дежурный молчит, и я молчу. Мы смотрим друг на друга, и вдруг он говорит:

— Подойди!

Я подхожу.

— Куришь?

— Курю, да нечего.

Дежурный свертывает мне козью ножку, передает, поджигает ее зажигалкой и говорит:

— Когда я заступаю на дежурство, слушай три удара — это значит, я заступил. Буду давать тебе курить. Только никому ни слова. Понял?

— Понял.

От первой затяжки закружилась голова. Блаженное чувство охватило меня, на глаза навернулись слезы. Появилась надежда и вера.

— За что сидишь?

— Не знаю.

— Как так? А срок какой?

— Не знаю.

— Да не может этого быть… Впрочем, здесь разные сидят. Вот один рядом с тобой. Треппер — его фамилия. Польский еврей. Ему пятнадцать лет влепили. Говорят, опасный преступник.

Я рассказал дежурному о себе. Он заинтересовался, но часто поглядывал по сторонам — нет ли кого лишнего. Поведал я ему о своей семье и шепотом дал адрес — на всякий случай… Охранник выполнил мою просьбу. Пришла первая передача: мясные американские консервы, хлеб, несколько пачек «Казбека» и записка от брата…

Но все это было потом, уже после войны, а пока я шагал по

роскошной благополучной Женеве.

…Сосновский жил в центре города в красивом особняке, напоминающем небольшой дворец. Он встретил меня приветливо, угостил вином, показал свою мастерскую, где было множество металлических и пластмассовых конструкций будущих манекенов, показал, как работает с глиной, картоном, пластилином, продемонстрировал журналы, где его «изваяния», выставленные в витринах Америки, были запечатлены на цветных фотоснимках. Затем Сосновский поводил меня по своим жилым апартаментам, показал мне картины известных голландских мастеров, которые он приобрел на разных аукционах, и в одной из комнат сказал:

— А здесь, обычно по вечерам, я собираю гостей, и мы при свечах играем в покер или преферанс, но гости — только мужчины, и обслуживают нас тоже только мужчины. Ни одна женщина не должна перешагнуть порог этого дома — таково было предсмертное желание моего любимого отца.

Мы уютно сидели в мягких креслах, пили вино, непринужденно беседовали, совсем не касаясь военной темы и политики, и, как мне показалось, остались друг другом вполне довольны.

После визита к Сосновскому я бродил по городу, заходил в кафе, посмотрел небольшую художественную выставку французского художника, затем подсел в скверике на скамейку к какому-то мальчику и обратил внимание, что он вертит в руках и внимательно рассматривает какие-то листочки.

— Что это у тебя за рисунки? — спросил я.

— Сам не знаю, полез на дерево и в дупле нашел.

— А ну-ка покажи!

Мальчик отдал мне два листка и убежал играть с мальчишками. Я стал рассматривать рисунки. Как мне показалось, это были какие-то чертежи с зашифрованными названиями каких-то объектов, возможно и военных. Я спрятал эти два листочка в карман. Ровно в пять я был у Белобородова в номере его отеля.

Он встретил меня так же радушно и приветливо, сидя в кресле (дверь открыл слуга), и, когда мы остались одни, внимательно посмотрев мне в глаза, неожиданно спросил:

— Итак, вы берлинец?

— Да.

Он задал мне несколько вопросов, касающихся Берлина, на которые я довольно удачно ответил.

— Голубчик вы мой, простите уж меня, старика, что я вас так называю. Хочу заметить, однако, что шнурки завязывают

бантиком и на два узла только русские люди, а ваши завязаны именно так. Вы — представитель Советской России, никакой не немец. Ни один немец никогда не способен выучить русский язык так, как вы говорите по-русски. Вы — коренной москвич, у вас московское произношение, вы из интеллигентной семьи, и я предполагаю, что в вашей семье была бонной немка, заставлявшая вас с детства говорить по-немецки. А то, что вы, позвольте назвать вещи своими именами, разведчик, мне подсказывает то, что в левом кармане ваших великолепных брюк находится дамский «Браунинг» бельгийского производства. Ловите! — И он бросил мне яблоко.

Я поймал угощение на лету.

— Вот видите, вы поймали яблоко левой рукой. А почему? Потому что вы левша! И стреляете вы левой рукой. Поэтому-то и «Браунинг» лежит у вас в левом кармане, а не в правом. И здесь вы не случайно… Нет, нет, нас на пленку никто не записывает. Там, где я живу, — это исключено!.. И не отпирайтесь, вижу, что вы хотите мне возразить. Уж поверьте мне, старику, моему жизненному опыту. Я никогда не делаю преждевременных выводов, пока абсолютно не убежден в истине. Говорю вам с полной откровенностью, потому что очень хорошо отличаю русских эмигрантов и немцев от советских. А знаете почему?

— Нет, не знаю.

— Да потому что, как-никак, я — генерал-полковник царской армии, эмигрировал с разведкой и контрразведкой на Запад и должность в России занимал немалую, я был начальником управления по особо важным делам России. Вы, молодой человек, настолько прозрачны для меня, что я без какого-либо риска решил вам открыться, дабы оказать вам посильную помощь здесь, в Женеве… Покажите мне ваши руки.

Я показал.

— Вот видите, у вас на правой руке наколка. Для разведчика — это большой минус. Нельзя, чтобы немцы осматривали вас. Всегда помните, что у вас на правой руке. Вам эту татуировку сейчас иметь так же опасно, как потом, после войны, опасно будет иметь такую улику эсэсовцам. Нацистская татуировка у них на внутренней стороне бицепса под мышкой левой руки… Между прочим, в начале войны на отдельных участках фронта немцы приказывали выжигать на ягодицах советских военнопленных клеймо, подобно тому, как метят скот. Те, кому удалось бежать из лагерей, придя к своим, показывали свежее клеймо на теле, наглядное свидетельство того, что тебя ждет в фашистском плену. Недаром красноармейцы, попадая в критические ситуации на фронте, предпочитали сражаться с

немцами до последнего патрона, до последней капли крови. Увидев, что подобная акция не возымела успеха, фашисты прекратили клеймение советских военнопленных раскаленным железом… А у вас, мой друг, трудности еще впереди, и вы их одолеете, хочу в это верить. А пока не стесняйтесь, пейте вино, ешьте фрукты. — Старец наполнил свой бокал. Мы чокнулись и отпили немного вина. — Между прочим, — изрек мой собеседник, — да будет вам известно, что с самого начала войны Германии с Советским Союзом белая эмиграция раскололась. Такие подонки, как генералы Краснов, Шкуро и еще кое-кто, были заодно с немцами, но большинство разведчиков и контрразведчиков русской эмиграции предпочли быть на стороне сражающейся Советской России, ибо они, как истинные патриоты своей Родины, и не мыслили поступить иначе… Вы молоды, вам надо набираться знаний, накапливать опыт, почаще слушать нас — стариков… А через фронт на советскую сторону я перейду на территории Австрии. — Он назвал населенный пункт, назвал и номер советского стрелкового корпуса, который должен освободить территорию Австрии от фашистов, и добавил: — А начальник особого отдела того стрелкового корпуса сейчас генерал-лейтенант советской армии. В тысяча девятьсот тринадцатом году он был прапорщиком, когда я брал его в свой аппарат. Талантливый был молодой человек!

Я знаю, он обрадуется, увидев меня, своего крестного отца… Вам же, голубчик, я, возможно, облегчу вашу миссию в Стамбуле. Я знаю, ваш шеф Мержиль скоро летит туда. Я дам вам письмо к моему хорошему другу — полковнику царской армии, человеку вполне надежному. Он вас не подведет и сделает все, что от него зависит. Я в нем уверен, как в самом себе…

Мы сидели друг против друга, два русских человека, пили вино, курили. Старик жаловался мне на свой радикулит, смеялся, что так долго живет на белом свете и даже пережил своих четырех жен, а потом вдруг неожиданно сказал:

— Почему-то вспомнил сейчас Соньку Золотую Ручку. Удивительная была женщина. Талант уникальный. Мне о ней много рассказывал Федор Плевако, знаменитый русский юрист. Ведь надо же: сумела продать в Москве дом губернатора, торговала во Владивостоке американскими судами торгового флота, печатала фальшивые деньги… Она могла делать все, любую операцию проворачивала с блеском. Вот это были мозги! Русская нация! Еще Екатерина Вторая отчетливо понимала, какую великую неиссякаемую силу таит в себе русская нация… И она же, Екатерина Вторая, как-то изрекла: «…Пусть вся Европа пойдет на нас, мы выдержим бурю и отразим удары. Пошатнуть могут

мою державу и меня, но не опрокинуть вовсе, как иные троны. Великому русскому пароду не страшны никакие жертвы. Россия непобедима!..» Россия — страна загадочная, — улыбнулся старец, — европейцу не понять, надо быть истинно русским человеком, чтобы познать Россию. Между прочим, история сохранила один любопытный факт, — продолжал он. — Однажды зимой к царю Александру II прибыл Бисмарк — «железный канцлер». Катались они на тройке с бубенцами по окраинам Санкт-Петербурга. Сосны в зимнем наряде, искрится снег, поземка метет. Летят они по завьюженному полю в соболиных шубах под звон бубенцов.

— Красиво? — спрашивает Александр II.

— Красиво! — отвечает Бисмарк.

И вот выскакивает тройка из-за леса, и видят они, едет по дороге возок. Старая кляча везет стог сена, а наверху сидит мужичок Кучер как-то не рассчитал и, выскочив на проезжую дорогу с поля, задел санями клячу и сбил ее с ног. Лошадь упала, мужичок тоже свалился на землю. Александр II рассердился, развернул тройку, и оба — он и Бисмарк — побежали спасать мужичка. Вытащили его из-под лошади. Одной рукой он поддерживал пораненную руку.

— Никак зашиб? — спросил его Александр II.

— Ничего, батюшка! Ничего!

— Ты уж нас прости, — молвил царь и сунул мужичку в руку десять золотых десяток. — Никак сильно зашиб руку-то?

— Ничего, батюшка! Ничего! Обойдется!

Так они и расстались. По дороге в столицу Бисмарк спросил Александра II:

— Что это мужичок все одно слово повторял?

— Какое слово? — спросил царь. — Какое? А-а… «ничего»?

— Да-да, «ничего».

Царь не смог объяснить смысл, который вкладывал мужичок в слово «ничего», и сказал Бисмарку:

— Вернемся во дворец, и мой переводчик вам объяснит.

Вернулись. Переводчик пояснил смысл слова «ничего». Бисмарк возвратился в Германию и заказал золотой жезл и ручку к нему из слоновой кости. На ручке просил выгравировать большими русскими буквами слово «НИЧЕГО».

Держа золотое острие жезла рукояткой вверх, Бисмарк, выступая перед генералами, восклицал:

— Вы, представители свободолюбивой немецкой нации, умеете храбро воевать за жизненное пространство, завоевывайте новые земли, но заклинаю вас не воевать с нацией, которая говорит слово «ничего».

Бисмарк в этом слове видел великую терпимость русской нации к трудностям и предостерегал своих генералов…

После короткой паузы Белобородов добавил:

— Слышал я, поговаривают, что когда Бисмарк умер, то на его руке был перстень со словом «ничего». Вот, голубчик, одна из коренных причин того, почему русские побеждают немцев в военных баталиях, — великая терпимость нации к трудностям… А на днях…

Мой собеседник уже не мог остановиться и как ни в чем не бывало выдавал историю за историей…

— Вот прочитал сегодня в газете «Le Matin» («Ма-тэн») о французском авантюристе Пьере Дюране. Этот мошенник путем хитро-мудрых операций в Лондоне столкнул лбами два английских банка. Оба обанкротились, а он, шельмец, изрядно обогатился… А мне, знаете, припомнился наш русский суперавантюрист Савинков.

— Савинков? — переспросил я.

— Нет, не политик-террорист, тот был бездарен. Я говорю о другом Савинкове, его однофамильце. Не человек — уникум! Все тот же Федор Плевако рассказывал мне о нем… Вот хотя бы взять одно нашумевшее тогда дело. Хотите послушать?

— С удовольствием!

— В тысяча девятьсот третьем году в Париже Савинков стал торговать золотыми приисками России… И как все подстроил, подготовил, продумал, шельмец… Итак, однажды из газет парижане узнали, что русский миллионер, золотопромышленник Николай Федорович Сомов приехал в Париж продавать золотые прииски. (Белобородов отпил несколько глотков из бокала.) Парижский обыватель пялил глаза. Сомов разъезжал по Парижу в раззолоченной карете на семерке лошадей, запряженных цугом. Сам правил лошадьми, сидел на облучке с золотым миоголучистым причудливым орденом на груди. А первая лошадь белая в крапинках была цирковой, и она становилась на дыбы, красиво приплясывала на перекрестках улиц, при поворотах кареты. Не картина — загляденье! Газеты сообщали, где Сомов живет, какова его многочисленная прислуга, какие искуснейшие русские повара готовят ему специально русскую пищу, где он бывает по вечерам, чем увлечен, что любит, перечисляли его французских любовниц… И вот в назначенный день и час открылось в Париже его «торговое» заведение. Сомов, он же, как вы понимаете, Савинков, арендовал двухэтажный дом в центре города и соответственно его обставил. Его помощники, а их было человек сорок, имели на соседней улице свою костюмерную. Наряженные, они заходили в это «торговое» заведение, затем

выходили, меняли одежду и грим в костюмерной и снова заходили… Таким образом, создавалось впечатление необычайной заинтересованности парижан в этом деле. Богачи стали проявлять интерес к этой «торговой конторе» и посылали туда своих представителей разузнать детали торговли и денежные суммы, которые требуются для заключения контрактов.

При входе в здание стояли люди, которые «своих» знали в лицо. И вот — первый незнакомец. Его пригласили в отдельную комнату на первом этаже для деловой беседы. Так — со вторым, третьим, четвертым, — и, если претендент оказывался персоной достаточно серьезной, его препровождали к самому Сомову на второй этаж, где справа и слева были приоткрыты двери в комнаты и посетитель видел работающих машинисток и мог слышать, как им на немецком, английском, французском языках диктовали деловые контракты с отдельными фирмами и с частными лицами…

Посетитель направлялся в кабинет Сомова, за спиной которого на стене висела большая карта России, где в районе Лены и ее притоков многие места были обведены разноцветными кружочками. Все время к Сомову заходили его сотрудники, и он после короткого с ними разговора ставил на каких-то документах оттиск золотой печатью, подписывал документ золотой ручкой. На его столе лежали пятикилограммовые золотые слитки. Сам он был сосредоточен, немногословен и крайне деловит.

— Итак, — спрашивал он, — чем вы, сударь, интересуетесь и чем располагаете? — затем показывал на карте тот или иной кружочек, показывал фотографии того или иного «прииска». На снимках были запечатлены жилые здания, улыбающиеся рудокопы, места разработки золотоносного песка и золотые жилы в живой горной породе. Все это убеждало посетителя в том, что дело торговой фирмы вполне фундаментально.

А Сомов, подытоживая беседу, говорил:

— Вперед я денег не беру. Сначала снарядите свою экспедицию, состоящую из специалистов. Я даю вам адрес, сопровождающего, и вы едете на место. Если по возвращении ваши люди останутся довольны увиденным — заключаем договор-контракт. Вы мне выплачиваете наличными заранее оговоренную сумму и снова возвращаетесь на место, где уже занимаетесь добычей золота, предварительно оставив там своих людей.

Так он говорил всем. И в необъятную Россию потекли многочисленные научные экспедиции… Возвращались французы в полном восторге. Шум в прессе был поднят страшный. Сенсация!

— Как же можно было все это так провернуть?

— В том-то и дело. Все это было не так-то просто. Сомов предварительно сам выбрал места, где в породе были обнаружены золотые жилы, построил там жилые помещения, оградил зону. Закупил несколько мешков золотого песка-сырца на Монетном дворе в Петербурге и приобрел там же десятка два крупных золотых самородков. Привез закупленное в Сибирь и в определенные места закопал самородки. Его люди знали эти места. Песок рассыпал в водоемах, где он хорошо просматривался с берега. Когда же прибывали иностранные экспедиции, то золотые жилы они видели явственно в живой горной породе. Люди Сомова взрывали породу там, где были закопаны самородки, поэтому иностранцы их легко находили, а золотой песок был виден и невооруженным глазом. Все было детально и хитро продумано. Когда основные договоры были заключены и деньги Сомовым получены, стали появляться те, кто прозевали «выгодную» сделку, сулившую миллионы прибыли. Тогда Сомов им говорил:

— Где же вы были раньше, господа хорошие! Вот есть еще нераскупленных мест эдак с десять (показывал фотографии), но ждать возвращения ваших экспедиций у меня уже нет времени. Если хотите, заключаем договора, вы сразу оплачиваете мне оговоренные суммы, я же вам даю фотографии и сопровождающего.

Наивные французы клюнули и на эту «липу». Сомов, получив от них деньги, покинул Париж. Сопровождавший французов сомовский агент, уже находясь в Сибири, скрылся. А прибыв на место по адресу, указанному на фотографии, «опоздавшие» дельцы обнаруживали глухую тайгу, где золота не было и в помине.

— Грандиозно!

— Таким образом три четверти всего золотого запаса Франции было вывезено в золотых слитках из Марселя в Америку на одном из американских крейсеров, а в Россию прибыла вскоре правительственная нота из Франции о крупной финансовой авантюре.

— И что же было потом?

— Да ничего. А что могла сделать Россия? Деньги были в Америке, да и Савинков в России тогда не жил.

— Любопытно, — сказал я.

— Многое зависит от способностей самого человека, от его природных данных. Опыт, практика, выгодные знакомства, изучение иностранных языков, начитанность, воспитание, культура — все, конечно, играет определенную роль, но главное,

по-моему, врожденный талант. Особенно это касается разведки. Но здесь нужны и знание психологии, интуиция, какой-то особый нюх, я бы сказал, и железное самообладание… Ведь когда-то и я что-то мог, был, например, членом английского парламента, а еще раньше — видным деятелем американского сената…

— И такое возможно?

— Возможно.

— Интересная была у вас жизнь.

— Сложная… Между прочим, известно ли вам, что у немцев до войны было в странах Западной Европы две с половиной тысячи платных агентов и двадцать тысяч добровольцев, работавших на немецкую разведку «по идеологическим соображениям» или, как значится в нацистских документах, «из сочувствия к нацизму и к его антибольшевистской направленности». Третий рейх израсходовал за несколько лет двести пятьдесят миллионов марок на пропаганду и организацию работы пятых колонн…

В «тайной войне» немцы тоже имели значительные успехи. Им удалось на территории Голландии обезвредить и захватить сорок девять агентов английской и голландской разведок и выявить четыреста тридцать связей в голландском Сопротивлении.

— А каким образом немцы так быстро оккупировали Францию?

— Абвер еще перед войной располагал всей документацией и фотографиями линии Мажино, причем получил их из рук французских военных. Добытые немцами сведения способствовали быстрому захвату этого гигантского укрепления… А вот особый случай. Забрасывался английский агент на секретный немецкий объект. Все сошло гладко. Документы подлинные. Но если бы гестапо проверило железнодорожный билет — агент был бы разоблачен. А дело вот в чем. В Кельне на железнодорожной службе контролер обычно пробивал билеты. Если бы гестапо запросило Кельн, то железнодорожная служба сообщила бы, что именно в тот день, когда агент проезжал якобы Кельн, билеты не пробивались, ибо контролер заболел фуникулярной ангиной. Сделай тогда гестапо запрос, и стало бы ясно, что прибывший военнослужащий — иностранный агент.

Я видел, что старик симпатизирует мне и старается обогатить меня интересными сведениями.

— В разведке надо опасаться агентов-«двойников», — говорил он. — С сорок первого по сорок третий год были подготовлены и переброшены из Англии в Голландию пятьдесят два агента. Все они были арестованы гестапо, и только потому, что один из

пятидесяти двух оказался предателем. Сорок семь агентов были казнены, пятеро избежали казни: немцы рассчитывали заставить их говорить или хотели использовать в качестве приманки для других агентов… В разведке играют роль и национальные особенности человека, выраженные в его облике. А пол? Мужчина или женщина? Тоже играет значительную роль. История помнит случаи, когда разведчицы, находясь во вражеской среде, влюблялись, вступали в интимную связь и терпели провал. Главной причиной их гибели были женственность и эмоциональность, которые в какие-то моменты властвовали над их рассудком. Любовь и естественное стремление к личному счастью подвели этих женщин: они потеряли самоконтроль, изменили долгу и тому делу, которому служили, были разоблачены как разведчицы и погибли.

Правда, были случаи, когда женщины-разведчицы добивались поставленной цели, пользуясь своей красотой как основным козырем, приносящим желанный успех. Одна английская разведчица смогла заполучить зимой сорок первого года из посольства Италии в Вашингтоне итальянские военно-морские коды непосредственно от военно-морского атташе адмирала Альберто Ланса. Страсть и любовь парализовали волю адмирала, и он согласился работать против собственной страны только ради того, чтобы пользоваться благосклонностью красавицы.

— До чего же интересно вас слушать… Вы так много знаете…

— А вам надо тренировать память, — посоветовал мне собеседник. — Уделить внимание деталям, избегать случайных связей, надо иметь артистические данные, собирать любую информацию. При сжигании писем надо не забывать развеять пепел. Надо уметь предвидеть развитие событий, знать всевозможные хитрости и уловки… Оружие нелегала — эрудиция, острый аналитический ум, твердая воля, способность принимать неожиданные решения. Надо знать международное право, секреты конспирации. Нелегал должен быть образованным, начитанным человеком, обязан знать иностранные языки. Опыт и практика дошлифуют его подготовку… Пустые каблуки, двойное дно чемодана, трости, авторучки, подкладка одежды, пуговицы, оправа очков, — вот места, в которые чаще всего прячутся документы…

Вальтер Шелленберг — один из руководителей немецкой разведки — имел искусственный зуб с ядом и перстень, в котором находилась ампула с цианистым калием. Еще в 30-х годах свои секретные фотопленки, завернутые в герметичную упаковку, он удачно провозил в набедренной бинтовой повязке, обильно пропитанной кровью. Создавалась видимость солидной опухоли.

Ловко обманывал таможенных чиновников и пограничных стражей…

Говорят и пишут об утечке секретной информации. А многие ли знают, что в Швейцарии еще до Первой мировой войны существовало нечто вроде биржи, где профессиональные шпионы продавали сведения о странах, которым они служили. Любой тайный агент мог купить у них все, что его интересовало…

Получить секретную информацию, — после некоторого раздумья добавил Белобородов, — можно, конечно, разными способами и даже через газету, если вам известен условный текст той или иной заметки, которую в определенные дни печатает ваш коллега… Иметь непосредственную связь с агентом сложнее, и надо быть всегда настороже, начеку. Если агент звонит своему напарнику и вешает трубку, а затем снова звонит и снова вешает — он предупреждает этим партнера об опасности, и тот меняет свое место конспирации. Если за вами следят, а вы выходите на связь, то можно поступить следующим образом. Подойдя к условному месту, вы глазами обыскиваете связного, берете сигарету в рот и судорожно ищете зажигалку. Это означает — «за мной хвост». Вскоре во втором условном месте часа через два, запутав следы и оторвавшись от преследователя, вы входите, скажем, в ресторан и встречаетесь со своим связным, порой для вас неизвестным агентом. Передаете ему шифровку. Затем через несколько дней в телефонной будке смотрите телефонную книгу на определенной заранее согласованной странице, находите, к примеру, две подчеркнутые карандашом фамилии — и становится ясно: ваша «почта-шифровка» дошла до адресата.

— Между прочим… — И я рассказал, как у меня в руках оказались необычные рисунки.

— А ну-ка покажите их мне! — И Петр Степанович стал внимательно рассматривать листочки. — Это, голубчик вы мой, не рисунки, а схемы секретных немецких военных объектов, точнее сказать — схемы стартовых площадок для запуска «Фау-1» и «Фау-2», находящихся во Франции. Очевидно, кто-то из наемных французских рабочих, работая у немцев на этих объектах, начертил их по памяти… Имел такое задание… А вот почему разведчик устроил «почтовый ящик» для передачи секретных сведений в стволе дерева рядом с детской площадкой… странно… ведь дети, играя, частенько залезают на деревья… Я постараюсь проследить, кому эти схемы предназначались. Вас эти схемы не интересуют?

— Нет, абсолютно!

— Тем лучше!.. Но это любопытная находка… Такими

схемами англичане интересовались в сорок первом году, когда немцы, готовя такие стартовые площадки на территории Франции, собирались выпустить по Лондону одновременно более двухсот беспилотных самолетов-снарядов. Если учесть, что каждый такой снаряд весит около двух тонн, то можно себе представить их общую разрушительную силу… Но это было в сорок первом году, а сейчас у нас сорок четвертый… Интересно… И вот еще одна деталь, — сказал Белобородов. — Смотрите, этот чертеж подписан 144/7428 Дюбуа. Дюбуа — это псевдоним. Каждая страна у немцев закодирована. Для Швейцарии существует код 144. Значит, этот чертеж предназначался для Швейцарии — это первое. Второе: здесь сразу после кода стоят цифры 74, видите, а это значит, что номер швейцарского резидента также начинается с цифр 74. Допустим, его номер 7400. Этот чертеж посылался из надежного источника доверенным лицом, который поставил из номера резидента только первые две цифры, а именно 74. «28 Дюбуа» — это номер псевдонима. Возможно, вы столкнетесь с подобной секретной почтой и сразу сообразите, что к чему… Но главное, голубчик мой, это — интуиция, — после некоторой паузы произнес старик. — Правильно говорят, что разведчик должен обладать десятью качествами. С семью из них надо родиться, а три остальных можно приобрести. Врожденная интуиция часто спасает человеку жизнь… Но интересны и другие факты, порой не менее важные. Вот, к примеру, такая подробность. Если вы находитесь в Америке и пришли в гости к своему другу, а у него в это время были коллеги по работе. И вдруг оказывается, что ваш знакомый нуждается, допустим, в двадцати долларах. Ни в коем случае нельзя так просто (как принято у русских) дать ему эти двадцать долларов и сказать: «Вот возьми и купи, что тебе надо». В Америке не принято предлагать деньги, если тебя об этом прямо не просят, да еще без расписки и не оговорив сроки возврата. Такая, казалось бы, мелочь может кончиться для разведчика весьма плачевно. Этот промах может навести вражескую агентуру на ваш след. Или такой случай. Один немецкий агент забрасывался в Америку и захватил с собой американские газеты швейцарского производства. Сразу стало видно, что он прибыл из Европы. Такие газеты в американских киосках не продаются, а продаются те газеты, которые печатаются только в Америке. Агент был разоблачен. Другой немецкий агент в Англии спросил в железнодорожной кассе место в спальном вагоне, а такие вагоны в Англии были давно отменены. Агента также быстро раскрыли. Когда работаешь в чужой стране, надо хорошо знать язык этой страны, психологию людей, их традиции,

устои, образ жизни, этикет, среду, в которой вращаешься. Англичан отличает их традиционная сдержанность, выработанная веками в силу оторванности от других стран. Англичане очень тактичные и практичные люди, крайне предупредительные, без тени фамильярности. У англичан, например, есть отличительная черта. Типичный англичанин носит вещи только английского производства. Вещи других стран он просто не замечает. Надо привыкнуть к английскому индивидуализму. Англичане никогда не приветствуют друг друга одной и той же фразой. Один скажет: «Доброе утро, мистер!» Второй ответит: «Чудесное утро, сэр, не правда ли?» Но англичанин глух и слеп, если дело не касается его лично… Кстати, надо уметь открывать пачки сигарет любых марок, многие открываются по-разному.

— Что, горели и на этом?

— Казалось бы, мелочь. Но в разведке мелочей не существует. Один крупный немецкий агент как раз на этом и был пойман. Вы располагаете временем?

— Да, конечно!

— Был и такой случай… После оккупации Франции в ее северном департаменте было назначено секретное совещание. Там должны были встретиться представители английского командования, французской компартии и их профессиональные агенты с представителями советского командования, должен был присутствовать и специальный посланник из Англии от де Голля. Совещание должно было обсудить вопросы о совместных действиях, связанных с организацией Сопротивления фашизму на территории Франции. Ждали самолета из Лондона. В одиннадцать часов вечера его не было, не было его и в двенадцать. Стали беспокоиться. Наконец послышался шум мотора. Зажгли костры, показался самолет и сбросил двух парашютистов. Все были обрадованы. Проверили документы, и совещание началось. Прибывший английский генерал и его адъютант были в хорошем настроении. Два дня совещались. Все главные вопросы совместных действий были решены. Отработали и будущие каналы связи. Решили, что будут действовать семерками. Все шло своим ходом, уточнялись места явок, пароли, вооружение подполья… И вдруг неожиданно умерли один русский и один француз. Заподозрили что-то неладное. Английский генерал и его адъютант тут же бесследно исчезли…

Только совсем недавно была определена личность этого «генерала». То был не английский генерал, а немецкий агент Артур Небель, шестидесятипятилетний гестаповец, знавший шесть иностранных языков. Оказывается, над Ла-Маншем был сбит тогда английский самолет и вместо настоящего английского

генерала — представителя де Голля — и его адъютанта немцы за полтора часа сумели подсунуть двух своих агентов.

— За полтора часа?

— Факт остается фактом. Итак, опасный немецкий агент и его подручный скрылись. Затем вскоре на территории Франции начались поразительные события. Когда кого-нибудь из «маки» (партизан) или подпольщиков немцы схватывали и приговаривали к смертной казни, в ночь перед казнью к нему в тюремную камеру заходил неизвестный и сообщал, что он «свой человек» и ему поручено организовать побег, который на самом деле заканчивался удачно, и партизан или подпольщик, а иногда их было и несколько человек, возвращались к своим боевым друзьям после головокружительных гонок на машинах и перестрелок… Так повторялось несколько раз и в разных местах. Эти хитроумные «побеги» устраивал как раз тот немецкий гестаповец с помощью своих сообщников — агентов из группы Отто Скорцени, которые имели цель внедриться в ядро французского Сопротивления… В конце концов, изменив внешность, отрастив бороду и сделав пластическую операцию на лице, гестаповец проник во французское Сопротивление и стал выдавать фашистам его семерки… А совсем недавно, после открытия второго фронта в Европе, в маленьком французском городке, освобожденном американскими войсками, ночью из ресторана вышел американский полковник при орденах и особых знаках отличия и, будучи совершенно пьян, встал у двери и хотел закурить. Он вынул из кармана пачку американских сигарет, которых он, очевидно, раньше не видел. Рядом с входом в ресторан барражировал американский спецпатруль. Этот патруль и заметил, что американский полковник не может открыть пачку сигарет, грубо ее разорвал, вынул сигарету и закурил. Патруль арестовал его, и «полковником» оказался тот самый гестаповец Артур Небель.

— Поразительно! Вы великолепный рассказчик.

— Вот видите, опасный и очень опытный агент не знал, как открывается пачка американских сигарет, и это решило его судьбу.

Безошибочным чутьем Белобородов распознал во мне союзника, которому можно полностью доверять. Он продолжал:

— Быстрая и надежная передача сведений — кардинальная проблема всех разведок. Чтобы информация не потеряла своей ценности, немцы иногда прибегали к очень хитрому способу пересылки информации. Микрокамерой агент фотографировал секретные документы, уменьшив негатив до величины булавочной головки, помещал его под почтовой маркой на

конверте и отправлял этим способом самое безобидное письмо. Впрочем, и это ухищрение было раскрыто. Боязнь проявить инициативу, действия по шаблону часто губили многих опытных немецких агентов, которые, к слову сказать, щедро финансировались сверху. Здесь, в Женеве, немцы придумали особый бизнес. Инсулин, морфий и гормональные препараты, повышающие мужскую потенцию, активно поступают в Швейцарию из Германии и пользуются большим спросом. Швейцарцы и иностранцы платят за них доллары и швейцарские франки, а немцы этой валютой снабжают свою швейцарскую агентуру… Но все равно до английской и американской работы в области разведки — им далеко. Те — большие специалисты в этой части, изобретатели… Англичане еще накануне войны через разведку третьей страны смогли заполучить гитлеровскую шифровальную машину. Таким образом им удавалось дешифровать радиограммы Ставки Гитлера, Верховного командования, сухопутных сил вермахта, абвера. Сообщения, передаваемые по радио, перехватывались, расшифровывались союзниками и докладывались Черчиллю и Рузвельту…

После некоторой паузы мой собеседник сказал:

— Но надо отдать должное и швейцарской полиции. Радистов, запеленгованных немцами на швейцарской земле, швейцарская полиция арестовывала, изолировала в тюрьмы, но не выдавала немцам, ссылаясь, что следственные дела еще не завершены… А скоро кончится война, и швейцарцы их выпустят на свободу. Я в этом глубоко убежден!

Несколько поразмыслив, старец сказал:

— Знаете, я подумал и решил вам предложить небольшой вояж. Надеюсь, вы справитесь с этим заданием. По возвращении вы отправитесь в Стамбул, где ваши следы, как я понял, потом затеряются. И это тоже важно. А дело вот в чем.

Я предлагаю вам завтра в восемь утра поехать на моей машине в Париж, а затем из Парижа на самолете — в Брюссель. Поедет с вами человек надежный, и он вас везде прикроет. Это — наш человек. Фамилия его сегодня Штайнгельц, звать Фридрих. Он — заместитель начальника берлинской зоидеркоманды, которая, действуя в Бельгии по приказу Гитлера, запеленговала в Брюсселе три источника нашей связи. Большой шеф едва избежал ареста.

— А кто такой Большой шеф?

— Польский еврей Домба, оп курирует «Красную капеллу» — антифашистскую подпольную организацию, действующую в основном в Берлине. Многие из них уже арестованы и расстреляны… Штайпгельц — агент-двойник, его семья взята

нами в заложники, и он вас не выдаст. Риска особого для вас я не вижу. Другие мои связные в раз летах, их сейчас пет в Женеве. А дело несложное. Вот я и подумал о вас… Операция ваша заключается вот в чем. Вы прибудете в Брюссель (старец назвал адрес). Это будет день, когда наш агент обязан быть на месте. Звоните ему по телефону (старец назвал номер телефона). Вызовите Бериера, он работает в часовой мастерской. Вы ему скажете по-немецки: «Это я — Эсиер, прибыл из Женевы, привез ваш заказ: партию часов». Он должен ответить: «Очень рад! Очень рад!» Это — пароль. В одних часах будет микропленка. Он ее ждет.

После того как немцы запеленговали три наших источника связи, они перебазировали свою зондеркоманду в Париж и Женеву. Их пеленгаторы, замаскированные под машины овощных магазинов, снуют здесь по городу. Надо в Брюсселе «разморозить» два наших радиопередатчика. Один — вы, другой — еще один наш коллега, чтобы немцы поняли, что брюссельское подполье не уничтожено, и тогда их зондеркоманда будет вынуждена вернуться в Брюссель. Это для нас очень важно. Когда вы прибудете в Брюссель на место, то за подъездом вашего дома Штайнгельц будет следить из окна противоположного дома. Его посты также возьмут нужный дом под наблюдение. Если квартира нашего агента засвечена и гестапо вас арестует, то Штайнгельц вас отобьет, скажет, что вы его человек. Если даже вас привезут в гестапо Брюсселя, возможно, группа захвата из гестапо не будет знать Штайнгельца в лицо, а в достоверность его документов не поверит, то он вас все равно выручит, ибо в верхах его хорошо знают. Когда вернетесь, получите вознаграждение пятьсот франков. Ну как?

— Согласен!

…Все было так, как и предсказал Белобородов. Меня никто не арестовал. Квартира в Брюсселе не была засвечена. Штайнгельц настроил рацию, отбил ключом минут пять, и мы вернулись в Женеву тем же путем. Проезд через границу прошел также благополучно. Навестил Белобородова у Сосновского, получил вознаграждение…

Незабываемые часы провел я в беседах с Белобородовым. Сколько интересного, поучительного узнал я для себя!

Забегая вперед, скажу, что этого удивительного человека я видел в Европе еще три раза: дважды в Женеве в отеле, а третий, и последний, раз в городе Бромберге, уже освобожденном от фашистов… А затем неоднократно встречались у Абакумова на Лубянке… И опять мы сердечно беседовали… А тогда, после последней встречи в Женеве, я искренне желал ему

осуществления его заветных надежд.

Все ли будет так, как должно быть?

Прошло около двух педель. Женева живет в своем привычном размеренном ритме. Дни стоят теплые. На аккуратно подстриженных газонах, обрамляющих виллы богачей, цвели георгины и розы, а их хозяева, дельцы и боссы из Америки и Англии, выезжают из своих особняков на роскошных фаэтонах и колясках, совершая увлекательные прогулки по горам. Лоснящиеся породистые лошади позвякивают нарядными уздечками, легко и грациозно отбивают дробь по булыжным мостовым. По глади Женевского озера, в центре которого бьет высокий фонтан, плавно скользят небольшие пароходики с туристами, лодки и яхты под парусами. Рыболовы ловят рыбу на спиннинг, любители собак выводят на всеобщее обозрение холеных кудрявых болонок, вскормленных мясом из специального собачьего магазина. Фирма «Сиба», полностью запатентованная Америкой, изготовляет широко разрекламированные противоэкземные лекарства: ультра-кортенол, гидрокортизон и кордоме — и многие различные противораковые препараты, которые идут преимущественно в Америку, а на тюбиках и флаконах имеется строгое предупреждение: «Вывоз из Швейцарии запрещен законом». В Америку также направляются тяжелые «Дугласы», загруженные специальным шоколадным кремом для тортов, изготовляемых в Вашингтоне и Чикаго. Ночлежки почти пустуют. Нищих и побирушек не видно, во всяком случае на центральных улицах. Любой итальянец или араб, приехавший сюда на временный заработок, может в любое время поесть бесплатно. Хозяину небольшой мастерской или артели, где работают тридцать — сорок человек, выгоднее в своей рабочей столовой приготовить лишний десяток обедов для посторонних, чем ставить в дверях контролера и платить ему ежемесячный оклад. Проституция официально запрещена, но только официально. В швейцарских газетах можно прочесть следующие объявления: «Нас — семь пар. Ищем еще три пары для сексуальных игр» или: «Могу физически удовлетворить любую женщину, даже пенсионного возраста». Сообщаются телефоны. Продукты поступают в магазины почти всегда своевременно. Газеты пишут о войне весьма скупо, порой можно только догадываться, на чьей стороне перевес.

Время летит стремительно. У меня появился швейцарский паспорт на имя Мишеля Дюпо. Мосье Мержиль сказал, что так было легче сделать, чем на фамилию Виценхаммер. А мне было

абсолютно все равно. У меня свои планы. Я ждал того дня, когда Мержиль полетит в Стамбул, как он обещал, а оттуда — в Ригу.

Я уже довольно хороню знал город. Побывал с Беатой и на другом берегу озера. Рона берет свое начало в горах, вливается в Женевское озеро, течет по территории Франции и затем впадает в Средиземное море. Женева и ее окрестности пленяют своей дивной красотой. Порою даже не верится, что где-то идет война.

Бывали вечера, когда Беата, аккомпанируя себе на гитаре, пела для меня итальянские песни. У портного мне были заказаны несколько костюмов, плащ, пальто, модные шляпы, и в этом смысле я довольно хорошо экипировался. Сосновский в знак дружбы подарил мне золотые часы, был щедр на угощения и сорил деньгами. Взаимоотношения с Беатой у меня довольно пикантные. Она влюбилась в меня, я вел себя корректно и сдержанно, как подобает истинному арийцу, не позволяя вольностей, и мосье Мержиль, зная все о нас, был доволен моей «ненавязчивостью». С Беатой мы ежедневно гуляли, катались на лошадях, на прогулочных пароходиках, сидели в кабаре и ресторанах. Часто бывали на главной улице (ля рю Басе), где располагались административные здания, маленькие уютные магазины, кафе. Город пестрел афишами и рекламами. Повсюду много автоматов, продающих газированную воду, шоколад, газеты, сигареты; автоматов, которые чистят обувь, фотографируют. На каждом шагу — ларьки с роскошными цветами.

Я немного приболел, и Беата заботливо ухаживала за мной, согревала меня электрическими подушками и пичкала всевозможными лекарствами. Часами просиживала у моей кровати. Я так напрактиковался в немецком языке, что даже стал думать по-немецки, и из меня выскакивали немецкие фразы легко и непринужденно, независимо от того, на какую тему шел разговор. Это меня радовало, ибо интуитивно чувствовал, что скоро наступят тяжелые испытания…

Бывал я и у Сосновского на его мужских раутах, играл в покер и даже однажды выиграл около десяти тысяч франков. Отношение ко мне и самого миллионера, и его дочери, и его слуг говорило о том, что я как бы уже был помолвлен с Беатой и впереди меня ждет только свадьба и райское благополучие… На самом же деле все обстояло отнюдь не так…

Однажды утром во время завтрака Беата предложила мне навестить раненого американского офицера. Я согласился.

Недалеко от Женевского озера в нескольких корпусах располагался военный госпиталь. Беата заранее созвонилась. Когда мы подъехали, нас уже ждали у входа. Вскоре мы оказались

в экзотическом, живописном уголке. В центре небольшой площадки за столиками, в удобных плетеных креслах отдыхали американские военнослужащие. Площадка была огорожена невысоким каменным барьером-аквариумом, где циркулировала вода с плавающими рыбами. Выздоравливающий мог указать на любую из них; нарядно одетый мальчик ловко сачком ловил понравившийся экземпляр, и тут же на площадке рыбу жарили, и с вкусной приправой услужливый официант подносил ее к столику. С внешней стороны каменной ограды росли цветущие деревья, среди них — и пальмы. В подвешенных к веткам клетках красовались австралийские попугаи. Словом, обстановка вполне способствовала выздоровлению.

Нас проводили в палату. Американский офицер-десантник был тяжело ранен при открытии второго фронта в Арденнах и вот уже около трех педель лежал в гипсе. Беату он знал и был рад ее визиту, а со мной познакомился кивком головы. Я успел увидеть какие-то умопомрачительные приключенческие кадры из телефильма, прежде чем американец выключил телевизор. Телевидения тогда в мире еще не было. Возможно, это был первый американский телевизионный эксперимент. Беата беседовала со своим знакомым по-английски. Я уже знал здешние порядки — если смотришь телепередачу более 15 минут — зажигается лампочка, это значит, что надо опустить в телевизор еще монету, и только тогда передача продолжится. Просмотр многосерийного американского боевика мог обойтись зрителю не менее пяти долларов.

Когда мы возвращались домой, я поинтересовался у Беаты: что это за расчерченный щиток у кровати больного?

— Нажмешь нужную кнопку, и можно вызвать главного врача госпиталя, лечащего врача, администратора, медсестру, официанта, повара, киоскера, дежурного по этажу и даже комика.

— Комик-то для чего? Веселить?

— Если больной чувствует себя плохо и боль нельзя снять лекарством, то, чтобы хоть как-то ему рассеяться, комик его развлекает. И керамическая посуда на тумбочке у кровати — для того же. При желании можно разбить ее об пол, а потом позвонить, явится уборщица и уберет осколки.

— Что ж, недурно лечатся американцы.

В те дни я посещал Петра Степановича Белобородова, как всегда, он был приветлив и радушен. Слуга потчевал нас вином и фруктами, мы пробовали какие-то немыслимые коктейли, и, как всегда, он рассказывал мне удивительные истории. Я засиживался у него допоздна. Он никогда меня ни о чем не спрашивал, а только часто повторял: «Если я вам когда-либо понадоблюсь,

Сосновский знает, где меня найти…»

Белобородов любил поболтать, и, когда в последний раз я был у него в гостях, он поведал мне очередную прелюбопытную историю.

— Вот, голубчик вы мой, как это все происходило, — начал он, закурив сигару. — Случилось это в Париже, еще до немецкой оккупации. В шикарный ювелирный магазин зашел элегантно одетый молодой человек и написал на бумажке хозяину магазина: «Покажите мне ваше бриллиантовое колье за 5 000 000 франков». При этом он назвал свою фамилию. Это была очень известная фамилия магната-нефтяника. Хозяин вышел, включил специальную сигнализацию, чтобы охрана была начеку, попросил посетителей выйти из магазина, вывесил на дверях табличку: «Магазин закрыт», достал из сейфа драгоценное колье и показал покупателю. Молодой человек посмотрел на сокровище через лупу и небрежно бросил: «Заверните!» Выписал чек на пять миллионов франков и передал хозяину. Это была колоссальная сумма. Хозяин магазина хотел проверить чек в банке, по, увы, послать своего человека в банк он уже не мог, ибо было без четверти пять, а ровно в пять часов банк в субботу закрывался, и поэтому он имел возможность только позвонить в банк, что и сделал. Из банка ответили, что чек действительный и что у господина на счете семь миллионов франков. Хозяин успокоился. Молодой человек получил свою покупку и, сказав: «Подарок к свадьбе!» — сел в машину и укатил в неизвестном направлении.

Через полчаса хозяину магазина позвонил его приятель — хозяин другого ювелирного магазина и сказал: «Жак, это я, Дарэль! Я знаю, что у тебя было золотое бриллиантовое колье стоимостью в пять миллионов франков. Оно сейчас у меня в руках. Я его узнал. Оно твое! Какой-то молодой человек предложил мне купить его за три миллиона. Я согласился, но сообщил в полицию. Мне ответили по телефону: „Постарайтесь его чем-нибудь занять“. Полиция появилась тут же. Молодого человека арестовали. Допрос шел при мне в магазине. Следователь спросил:

— Вы покупали это колье?

— Да, — ответил молодой человек.

— И вы заплатили за него пять миллионов франков?

— Да.

— И вы продавали его здесь за три миллиона?

— Да.

— И как это называется?

— А какое ваше дело! — ответил молодой человек. — Это же моя вещь. Хочу — продаю, хочу — подарю.

Следователю показалось, что дело тут нечистое, и он обратился к прокурору. Прокурор дал санкцию на арест с задержанием в полиции до понедельника, чтобы проверить в байке счет…

Ты слышишь меня, Жак?»

Жак ничего не ответил. Он принял валидол. У него перехватило дыхание. «Неужели чек фальшивый?»

— Я не возражаю против того, чтобы погостить у вас до понедельника, — спокойно сказал молодой человек в полиции, — но только здесь есть небольшая, но существенная деталь. Дело в том, что я представляю торговое дело отца в Марселе. Вот мой билет на самолет. Я сегодня должен быть в Марселе. Если я сегодня там не буду, то издержки за непосещение правления нефтяных синдикатов, а именно шесть миллионов франков, заплачу не я, а полиция Парижа. Ибо я задержусь здесь не по своей вине, а по вашей.

Следователь позвонил прокурору, но тот санкцию на арест оставил в силе. В понедельник чек был проверен. Хозяин первого магазина получил свои деньги. Молодой человек был выпущен на свободу. Вскоре он оформил соответствующие документы и подал их в суд. Суд обязал полицию Парижа выплатить шесть миллионов франков в пользу незаконно задержанного. Как вам это нравится?

— Удивительная история, — сказал я.

— Вот, голубчик, какие есть люди. Диву даешься! Как ловко могут провернуть любую аферу…

Вернувшись домой, я узнал, что утром с Мержилем вылетаю в Стамбул.

Стамбул

Откровенно говоря, Турция в данный момент меня очень мало интересовала. Важно было только одно, чтобы Мержиль ни в коем случае не изменил своих дальнейших планов и чтобы из Стамбула он полетел в Ригу.

В Стамбуле я оказался в 12 часов дня в конце июля 1944 года. Мержиль дал мне визитную карточку с адресом стамбульского отеля (номер был заблаговременно заказан по телефону еще в Женеве), а сам уехал с аэродрома по своим делам в какой-то промышленный трест на машине, которая его встретила.

И вот я шагаю по Стамбулу. Жарко. В кармане у меня письмо к Григорию Бредову. Это письмо дал мне Петр Степанович Белобородов. Адрес на конверте написан по-турецки, а письмо по-французски. Мержиль еще в Женеве перевел мне это письмо на

немецкий язык. Там говорилось: «Дорогой друг! Не откажи в любезности помочь в любом вопросе подателю этого письма. Не подписываюсь, ибо мой почерк тебе знаком».

Шагаю по Стамбулу. Поражает своеобразие города: его дома, архитектура, яркие наряды горожан. Еще во время полета над Стамбулом заметил, что город как с южной, так и с северной стороны обрамлен крепостной стеной с круглыми башнями. На Босфоре — рыбачьи фелюги, парусники, баркасы, лодки, катера, шаланды… В военном порту — американский военно-морской флот, турецкие военные корабли. На берегах Босфора утопают в зелени виллы богачей, красивые особняки — летние резиденции иностранных дипломатов.

Навстречу мне попадаются люди в белых мантиях, накидках, балахонах. Мелькают красные фески. Вот — смуглый пожилой старик в чалме. Вот женщина в черном одеянии и в парандже — лица не видно. Бегут босоногие в рваной одежде мальчишки — разносчики газет, они что-то кричат. На специальных войлочных подстилках мужчины и женщины несут на головах какие-то глиняные сосуды и ящики с фруктами. Снуют кошки и бездомные тощие собаки. Мелькают пестрые рекламы и афиши с обнаженными женщинами. Вот невдалеке показалась белая мечеть, окруженная высокими и узкими остроконечными башнями-минаретами. На минарете стоит муэдзин, призывая горожан к молитве. Люди идут в мечеть, одни заходят внутрь, другие опускаются на колени перед главным входом и погружаются в безмолвие молитвы. Кто просто опускается на колени, кто подкладывает под ноги небольшие мягкие подушечки.

Вот навстречу мне идет пожилая женщина в тюлевой шали и в длинном балахоне, рядом шествует, видимо, ее дочь. Девица одета в пеструю кофту и широкую юбку, она в модных туфлях, на голове — высокая копна черных волос, ресницы и брови сильно подкрашены. На перекрестке улиц на возвышении — турецкий полицейский. Он в черной форме, в каске и белых перчатках. Палочкой он регулирует движение транспорта. Кто едет на машине, кто — на бричке, кто — на осле. Горделиво вышагивают верблюды, навьюченные тюками. Погонщики идут рядом.

Вот и Галатский мост. Перехожу его и попадаю на остров — в европейскую часть города. Здесь расположены деловые кварталы. Огромные многоэтажные дома в мавританском стиле, здания банков, синдикатов, концернов, трестов, акционерных обществ, особняки богачей, фешенебельные, модернизированные отели. Выхожу на окраину города. Разыскиваю дом Бредова. Услужливые вездесущие мальчишки усердно пытаются мне помочь. Дело в

том, что с номерами домов разобраться крайне сложно. Вот — дом № 10, а рядом — дом № 271. А дальше — дом № 17. Попробуй найди тот, который тебе нужен!

Наконец находим. Мальчишки рады, смеются. Я даю им пять лир за работу. Они счастливы. Дом Бредова трехэтажный. В каждом этаже по одной комнате. По винтовой лестнице поднимаюсь на третий этаж (как я узнал потом, нижнюю комнату снимал греческий певец, среднюю — армянка легкого поведения). Стучу. Дверь открывает хозяин, пожилой мужчина с густой седой шевелюрой, небольшими усиками, с открытым, интеллигентным лицом.

— Здравствуйте! — говорю по-русски.

— Добрый день!

— У меня к вам послание!

Бредов внимательно прочитывает письмо.

— О, так вы желанный гость! Как поживает милейший Петр Степанович? Как его драгоценное здоровье?

— Велел вам низко кланяться. Чувствует себя согласно возрасту. Лечит радикулит.

— Присаживайтесь! Коньяк? Кофе? Сигары?

— Благодарю! Не беспокойтесь!

— Нет, нет! Как же! — Бредов суетится. — Все же, может быть, кофе?

— Хорошо. Только небольшую чашечку, по-турецки.

— По-турецки! Как же! Мы сели пить кофе.

— Так что вас интересует, молодой человек: военный порт, шифры передатчиков, переписка посольств, схемы бомбоубежищ? Какой валютой располагаете: в долларах, фунтах или в швейцарских франках? — Он выжидательно смотрит мне в глаза.

— Интересуюсь жизнью турецкого народа.

— Это как понять?

— Попросил бы, если это возможно, завтра быть моим гидом по городу. Пока это единственная просьба.

— Не думал, что Петр Степанович пришлет ко мне гостя с таким невинным желанием.

— Турция не входит в сферу моей работы.

— Завтра покажу вам Стамбул.

Мы сидели, пили кофе, беседовали о делах житейских, о разном…

Эту ночь я провел в шикарном номере отеля, рядом с номером Мержиля. Перед сном мы поужинали в ресторане. К Мержилю подходили знакомые, он охотно танцевал под фривольную музыку с красивыми женщинами. Какой-то незнакомец подсел ко мне и показал фотографии молодых

обольстительниц, но я никак не прореагировал, и он отошел в сторону.

Утром в своем номере я принял душ и встал у окна. За маяком «Линдер» хорошо был виден Улудаг — одна из самых высоких гор Турции. На фоне голубого неба ярко выделялся силуэт древней мечети.

После завтрака мы с Мержилем вновь разошлись. Бредов ждал меня у подъезда отеля. Мы сели в его машину и покатили. Останавливались, выходили, и мой гид рассказывал мне о здешней жизни:

— Стамбул — типично восточноазиатский город в Европе. В этом городе сохранились наслоения различных цивилизаций: античной, христианской, мавританской, в основном в виде остатков крепостных стен, зданий, скульптур, колоннад и колони. Живут здесь турки, греки, евреи и армяне — это главная и основная масса населения.

В Стамбуле много соборов, и самым уникальным считается собор Святой Софии, воздвигнутый еще в VI веке, но сейчас он реставрируется. Между прочим, я бы посоветовал вам посетить Анкару. Изумительный по своей красоте город. Паром от Галатского моста доставит вас в Хайдарпашу, откуда отходит экспресс на Анкару, а там недалеко от площади Улусмайдан на бульваре Ататюрка есть фешенебельный магазин «АВС», где можете приобрести все, что угодно.

— Благодарю за совет, но я не располагаю лишним временем. Едем дальше.

— А вот обелиск Клеопатры! — говорит Бредов. — Две тысячи лет тому назад этот изумительный по своей красоте памятник был перевезен из Египта в Константинополь — сегодняшний Стамбул. Византия в те далекие времена была царицей мира, а Рим считался вторым городом на земном шаре.

Мимо нас проехал старик на осле, он читал какую-то бумагу и кричал: «Алла! Алла!» Его окружали босоногие мальчишки.

Мы побывали на базаре, где в каменных галереях, напоминающих катакомбы, продавались различные товары: шелка, костюмы, хозяйственная утварь, жесть, кастрюли, ковры, шали. Здесь же можно было увидеть ишаков, крестьянские повозки, с них продавали каймак (заквашенное особым способом буйволиное молоко), в ларьках можно было купить кокосовое молоко, обсыпанное тмином. А рыба! Сколько здесь было рыбы! Плоская камбала, серебристая скумбрия, кефаль, бычки… Поблизости жарилось мясо, выпекались пирожки и чебуреки. Тут же уличные художники рисовали с натуры, но картины раскупались плохо, турки народ бережливый.

Недалеко от базара приютилась пошивочная мастерская, рядом чинил обувь сапожник. Здесь же, под белым навесом, жили взрослые и дети и зимой и летом.

Мы остановились возле расстеленного на земле ковра, на нем лежали турецкие пряности и фрукты.

— Вот смотрите, — сказал Бредов, — хозяина нет, он в кабаке. Вон там, — махнул рукой в сторону кабака, — тянет кальян, а его товар лежит без присмотра. Покупатели знают, сколько стоит любая пряность, сами берут, что им нужно, и кладут деньги в пиалу. Иногда берут и без денег, но тогда на следующий день они обязательно приходят и расплачиваются. Народ здесь на удивление честный.

Мы присели в турецкой чайхане перекусить. Нас обслуживала черноокая красавица. Мы уютно сидели в тени и мирно беседовали.

— У меня есть двоюродный брат, — сказал Бредов, — живет он в Париже и влачит весьма жалкое существование. Приходится ему помогать. Из родственников у меня никого нет ближе него. Мы дружим. В России он был юристом, а во Франции стал чистильщиком сапог.

— Почему же так?!

— Удивляться не приходится. Многие из эмигрантов, покинувших Россию после революции, перебрались в Париж и обрекли себя на чужбине на нищенское существование. Бароны и князья, растранжирив остатки своих капиталов, стали лакеями и швейцарами у французских буржуа. Иные сынки из некогда влиятельных дворянских семей работают сейчас официантами в русских кабаках, в лучшем случае устроились шоферами. Знаю одного генерала, он в царское время командовал дивизией, сейчас в Париже заведует туалетом, ему девяносто шесть лет. Почтенные графини подрабатывают по-разному, одни — портнихи, другие — манекенщицы. Ирония судьбы! И это, я считаю, еще хорошо! А простой люд, выходцы из низов, это особенно касается казаков из бывших врангелевских и деникинских войск, — эти вообще уже много лет пребывают в ужасной нищете. Они еще тогда сразу попали в шахты и рудники и до сих пор никак не могут освободиться от кабалы завербовавших их французских хозяев. Мне повезло! Я получил наследство по завещанию от отца моей умершей жены, да и к тому же много лет помогаю Белобородову, обслуживаю его клиентуру. Тоже порой неплохой заработок. Сейчас я, как говорится, на коне. Скоро перееду в собственный дом. Буду ждать вас в гости. — Бредов улыбнулся.

— Спасибо. Непременно воспользуюсь вашим приглашением.

Я рассчитался за угощение, мы сели в машину. Мимо нас прошла женщина в парандже.

— Обратите внимание, — сказал Бредов. — Она, скорее всего, из деревни. Турки, живущие в деревне, никогда не познакомят жену с посторонним мужчиной. Если вы — гость, он вас сердечно примет, накормит, оставит ночевать, но и уходя, вы его жену в лицо так и не увидите. Своеобразный народ. Свои нравы, свои традиции, свои обряды. Турки — мусульмане и свиного мяса не едят. Существуют охотоведческие союзы, они ведут охоту на кабанов. Кабаны — это бич крестьянина, они все пожирают на полях и огородах и все втаптывают своими острыми копытами в землю. Охотники убивают кабанов, рубят их туши на куски и этим мясом удобряют землю. А в ресторанах турки пьют газированную воду с джином и виски. Десять граммов джина и стакан воды.

Мы ехали по Стамбулу.

Навстречу нам прошли несколько высоких негров в форме американского военно-морского флота.

— А как эти друзья здесь себя чувствуют?

— Прижились, — ответил Бредов. — Знай себе меняют доллары на лиры, шатаются по ночным кабачкам и чувствуют себя прекрасно.

Мы продолжали осматривать город. Турки сидели на корточках около своих домов и довольно равнодушно поглядывали на нас.

— Молчаливый народ, — сказал Бредов. — Много говорить не любят. Греки шумливы, а турки нет. Вот так целый день могут просидеть без дела. Большинство безграмотны, и детей не все в школах учат. А вообще, поверьте мне, я давно здесь живу, турки — народ хороший и относятся к русским с уважением.

Мы по-доброму, сердечно расстались. На следующий день утром самолет Мержиля взял курс на Ригу.

«Где ты пропадал?»

И вот маленький, восьмиместный, комфортабельный самолет снижается. Я смотрю в иллюминатор на притаившуюся в тумане Ригу. Можно смутно различить развороченные причалы порта, обгорелые здания складов, кое-где остовы разбомбленных домов. Чернеют воронки от бомб.

Танковая дивизия СС «Великая Германия» должна быть где-то здесь, в Прибалтике. А что, если ее нет? Быть может, стоит сразу по прибытии в Ригу явиться в военную комендатуру и заявить, что я отстал в пути… Если Берш где-то здесь, поблизости, то дело

верное — я снова займу должность «продснабженца» в обозе и обрету столь желанную свободу передвижения… Или начать розыски подпольщиков в городе и в окрестных селах… Нет, это сейчас не оправданно. В штатском, без документов, да еще при оружии, я буду кем-нибудь выдай немцам как «подозрительная личность», и тогда при допросе уже никто не поверит в мою версию «с отставанием». Снова нужна спасительная ширма 2-й штабной роты — другого прикрытия для задуманного пока нет.

Стюард, обслуживающий самолет, выслушивает какие-то указания Мержиля. Они говорят по-французски. Он по-деловому серьезен, суховат. Взгляд у него настолько официален, что все мое турне временами кажется какой-то фантасмагорией. Мержиль словно забыл, зачем пригласил меня с собой. И лишь иногда, на мгновение оторвавшись от своих мыслей и забот, он одобрительно кивает мне с какой-то «вчерашней» улыбкой и снова погружается в свои мысли…

Самолет торкнулся в землю и покатился по бетонной дорожке. Вокруг на полях торчат остовы разбитых немецких истребителей. Где-то близко немецкий военный аэродром: со свистом и грохотом в небо поднимаются «Мессершмиты».

Мы спустились по трапу. Двое в штатском, ждавшие Мержиля, подхватили его вещи и проводили нас к «мерседесу». Уселись, поехали в гостиницу.

Рига была на военном положении — заклеенные бумажными полосками окна домов, закрытые магазины, опустевшие особняки. Проезжают грузовики с людьми и домашним скарбом под немецким конвоем — этих насильно вывозят из города. По улицам идут войска. Довольно часто попадаются грузовые платформы с искореженной военной техникой…

В гостинице (это был небольшой отель недалеко от улицы Меркеля), несмотря на внешний порядок и чистоту, чувствуется близость фронта, это сказывается прежде всего в настроении публики — деловой, встревоженной, оказавшейся здесь в силу крайней необходимости. Нам с Мержилем предоставили двухместный номер на втором этаже.

— Советую вам, друг мой, не выходить из отеля. Раздевайтесь, устраивайтесь, вот вам сигареты, газеты, отдыхайте. Я вернусь к вечеру. Мы поужинаем, переночуем — и утром обратно в Женеву. Рига сейчас не очень приятное место для прогулок, — пошутил он и, дружески кивнув мне, вышел из номера.

Это был наш последний разговор.

Я подошел к окну — со второго этажа хорошо было видно, как Мержиль сел в машину в сопровождении двух компаньонов и

куда-то укатил. Я отошел от окна. Рядом было зеркальное трюмо, и я увидел себя во весь рост. Вид у меня был вполне европейский. Я сел в кресло, закурил, пересмотрел газеты и стал обдумывать свое положение… Как быть с вещами, хотя их у меня не так много: рюкзак, один костюм, плащ, бритвенный прибор, бутылка виски, коробка швейцарского шоколада. Взять с собой или оставить в номере? Допустим, возьму с собой. Мержиль будет меня ждать-ждать, затем начнет беспокоиться, нервничать и станет разыскивать… возможно, позвонит в гестапо, даст мой словесный портрет, и меня могут накрыть…

Значит, это не тот ход! А если оставить вещи? Ведь тоже будет беспокоиться, тоже будет искать… Как же быть?..

И я нашел выход. Вылил полбутылки виски в туалете, поставил на стол бутылку с двумя рюмками. Открыл коробку шоколада, нарезал ломтиками ветчину, сыр и положил их на два прибора. Словом, создал видимость, что за столом сидели двое, выпивали и закусывали…

Написал записку: «Дорогой мосье Мержиль! У меня здесь была знакомая женщина. Она навестила меня. Я остаюсь в Риге. Выехал к ее родным в деревню. Из Берлина буду звонить по телефону. Сердечный привет Беате».

«Вот теперь, — думал я, — что предпримет Мержиль? Теперь искать он меня не будет и звонить тоже никуда не будет — а это сейчас для меня самое главное…»

Все обдумав и перестраховавшись, я уничтожил швейцарские документы, поправил воротник пальто, надвинул шляпу на лоб, надел перчатки, взял рюкзак с вещами и вышел на улицу.

— Ваши документы!

— Я не был аттестован.

— Когда вы отстали от части?

— В середине января.

— А сейчас август. Где вы болтались?

— Я не болтался, господин обершарфюрер. Вначале я был задержан венграми, а потом добирался от румынско-венгерской границы сюда, в Ригу.

— Почему же так долго? На волах ехали?

— Никак нет, господин обершарфюрер, на поезде. В Карпатах взорвали железнодорожное полотно, и движение было приостановлено больше чем на две педели.

— А почему же вы до сих пор не аттестованы в дивизии? Разве можно странствовать во время войны без документов?

— Об этом надо спросить капитана Бёрша, он, очевидно, считает, что можно…

Я стоял возле деревянной перегородки в третьем отделе

немецкой комендатуры в Риге. За перегородкой сидел поджарый эсэсовец. Весь наш разговор шел на немецком языке, и он аккуратно записывал мои ответы в специальную карточку.

— Пройдите туда! — Закончив задавать вопросы, он ткнул пером в направлении двери за моей спиной. — И ждите вызова!

В элегантном пальто, шляпе и перчатках, с «Браунингом» и румынскими деньгами в кармане, я вошел в клетушку с маленьким оконцем где-то под потолком и сел на цементную холодную койку, вмурованную в пол, рюкзак положил в йогах.

Сижу час, два.

Света в камере нет. За решеткой окна постепенно угасал день, и скоро я оказался в полной темноте. Передо мной, как в калейдоскопе, проплыли события последнего времени, начиная с паровозной кочегарки, которая доставила меня в Будапешт, затем Женева, Стамбул и, наконец, мержилевский самолет, который перенес меня в Ригу. В ушах еще не отзвучали отрывки джазовой музыки, от костюма Мержиля тянет «Шипром», а я сижу здесь в каменном мешке предвариловки и думаю, и думаю: правильно ли я сделал, променяв мягкое кресло самолета на каменное ложе этого застенка?.. «Правильно! — думал я. — В Женеве нет советского посольства с 24-го года. Как я мог забыть это? Ведь еще до войны на политинформации говорили…»

Нервное напряжение спало, и я сидя заснул… И снился мне бой, тот страшный бой около березовой рощи, где генерал Кирпонос, громко крича: «Вперед, за Родину!» — стреляя на бегу из пистолета, повел в штыковую контратаку группу командиров… Это была жестокая схватка… Советские командиры схлестнулись с фашистами насмерть, они душили их, кололи штыками…

Фашисты дрогнули и откатились в кукурузное горящее поле, но прорваться нашим все-таки не удалось. В этом бою генерал Кирпонос был дважды ранен, его унесли в рощу и положили на носилки около штабной машины… Он бредил…

Я просыпался и снова засыпал.

То снился мне Функ с его крикливой речью, то театрально улыбающаяся Ева, то славная Беата, и почему-то я отчетливо увидел авантюриста Савинкова в позолоченной карете с его цирковой лошадью, танцующей на парижской улице…

Потом, подложив под голову рюкзак, я лег на свой цементный топчан и впал в забытье…

Когда я проснулся, не сразу смог понять — где нахожусь.

— Следуйте за мной! — Около раскрытой двери, в ярко освещенном проеме стоял офицер с черной папкой в руке. — Следуйте за мной! — повторил он.

Я опомнился и встал.

Улица погружена в вечерний сумрак. Высоко в небе слышен гул советского бомбардировщика. Немецкие прожекторы мечут столбы света в черноту нависшего неба.

Возле комендатуры тарахтит мотоцикл с коляской, в которую меня посадили. Офицер примостился за водителем, и мотоцикл понесся по тревожно притаившемуся городу, затем выехал на окраину и стал петлять по лесным просекам, подпрыгивая на ухабах. Иногда на перекрестке офицер приказывал остановиться и разворачивал карту, освещая ее карманным фонариком.

После часовой тряски мы прибыли на какой-то хутор. В лесу был разведен костер, и первым, кого я увидел в отблесках красного пламени, был мой милый Пикколо, подкидывающий в руках горячую печеную картошку.

— Эй, Пикколо, привет! — не удержался я. Обозники, сидевшие вокруг костра, повскакивали с мест и бросились к мотоциклу.

— Алло! Пропащий!

— Откуда прибыл?

— Дэ ж ты блукал? — кричали они наперебой.

— Где штаб? — спросил я.

— Да вон, во втором доме?

— А капитан Бёрш здесь?

— Нет, на фронте.

— А фельдфебель?

— Он должен быть в штабе — только недавно туда ушел.

Мотоцикл дернулся и развернулся перед домом, где находился штаб роты.

— Guten Appetit, Herr Feldwebel! — сказал я с порога, открыв дверь и увидев фельдфебеля за ужином. Он держал на кончике перочинного ножа кусок консервированной колбасы, собираясь отправить ее в рот.

— Oh, wer sehe ich da… Wo hast du dich gesteckt?.. Wir haben dich gesucht! — обрадовался фельдфебель.

— Schlecht gesucht! — смеялся я.

— Ist das Ihr Mann? — вмешался в наш разговор конвоировавший меня офицер.

— Unser! — ответил фельдфебель.

— Warum reist er ohne Papiere?

— Erkundigen Sie sich beim Chef, der Kompanieführer Hauptmann Borsch ist aber an der Front.[36]

— Unterzeichnen Sie![37] — Офицер раскрыл папку. Фельдфебель прочел какой-то документ и расписался.

— Хайль! — произнес офицер, вышел из помещения и уехал.

— Где ты пропадал? — переспросил фельдфебель, с

любопытством оглядывая меня с головы до ног. — Пальто, шляпа…

Я начал придумывать всякие небылицы, но он перебил меня:

— А вид у тебя, прямо скажем, не фронтовой! Где ты все это раздобыл?

— В Румынии, где же еще! Лошадьми-то вместе торговали. — И мы оба рассмеялись. — А где мои вещи?

— У денщика. Где ж им еще быть. Иди к нему, покажись. Он обалдеет! Сидим без дополнительного провианта. Строгий рацион, сильно подтянули ремни. Капитан уж горевал, горевал. Тут еще чехи куда-то смылись, сбежали, что ли, паразиты, дезертировали?.. Но о них никто не плачет, не печалится, а без тебя мы как без рук.

Бёрш завтра вернется. С утра бери подводу, переоденься и займись делом… На перевале небось отстал, когда мы трое суток стояли? К венгерочке заглядывал?

— Как же нам без любви — одна беда! — сказал я и ушел.

И снова с Пикколо ездим на подводе по окрестным хуторам, разбазариваем дефицитный бензин. Иногда я уезжал верхом один, переодеваясь то в штатское, то в солдатскую форму, и пропадал по нескольку суток, это давало мне возможность повнимательнее изучить обстановку, приглядеться к людям.

Кончились для немцев голландские сыры, французский коньяк, чешские консервы, норвежские сардины и украинское сало. Скудный паек и никакой поживы у латышских хуторян. К тому же 2-я штабная рота располагалась в прифронтовой полосе, откуда было эвакуировано население и вывезен скот. Впрочем, подальше от фронта еще можно было встретить местных богачей, которые поддерживали немецкую армию и охотно предлагали ей продукты и товары.

По дорогам шныряли наряды полевой жандармерии. В их обязанность входило следить за продвижением войск, наблюдать за дорожными обозначениями и производить проверку документов. Вот к таким двум жандармам я и попал в лапы, как-то ночью возвращаясь на подводе в свой обоз. Совершенно неожиданно они вылезли из кювета и задержали меня. В лунном свете я видел у них на груди продолговатые бляхи на цепочках — такие знаки, в отличие от обычных армейских чинов, положено было носить только жандармам. Они приказали мне следовать в штаб, находившийся поблизости.

В штабе у меня отобрали продукты и «Браунинг». Я был допрошен и посажен под охрану вместе с большой группой арестованных латышей, эстонцев, литовцев, русских, украинцев в сарай на одном из хуторов, обнесенном небольшим каменным

забором. Хутор был заброшен, и жилое здание заняли немцы. Я требовал освобождения, возмущался, просил связаться со 2-й штабной ротой, отчаянно ругался, но ничего не помогало. На десятый день арестованных вывели во двор. Там стояло несколько мотоциклов и моя подвода, нагруженная немецкой амуницией. Штаб полевой жандармерии куда-то снимался с места. Я начал требовать освобождения, и меня провели к гауптвахтмайстеру, который еще находился в доме.

— Ну что разбушевался, нашли мы твою вторую штабную роту. Вот сейчас как раз направляемся в тот район. На, возьми свой «Браунинг». Завтра мы тебя отпустим и подводу вернем. Да, скажи своему капитану Бёршу, чтобы тебе оформили документы. А то ездишь с оружием и без документов, черт побери, непорядок… Не положено!

Так я выскользнул из-под ареста, но никаких документов не получил и капитана Бёрша больше никогда не видел.

По-прежнему я разъезжал по латышским хуторам без документов, но с оружием и упорно искал связь с латышским подпольем…

Жан Кринка

— А вы один на ферме? — спросил я пожилого, сутулого человека с редкой рыжей бородкой на отекшем лице.

— Сейчас один. — Он посмотрел на меня прищуренными глазами и пододвинул горшок с парным молоком. — Кушайте, кушайте.

— Дети у вас есть? — Я взял со стола лепешку и с удовольствием откусил, запивая ее молоком.

— Два сына в полиции. Воюют за Гитлера! — Он показал на портрет Гитлера, что висел на бревенчатой стене пятистенного сруба. — Я их в полицию со своим оружием послал. В самом начале войны, когда красные отступали из Латвии, мои сыновья немало их уничтожили… — Этот подлец говорил вполне откровенно и к тому же по-русски. — Бог мой! Когда же наконец мы избавимся от жидов и большевиков?.. Что, Москву еще не взяли? Я смотрю, у немцев тут, в Латвии, сила собирается.

— Да, да, — ответил я, жуя лепешку. — Вот вы этой силе и должны помогать.

— Помогаю, помогаю. Отдал гебитскомиссару коров и лошадей, свиней тоже… Вот только сволочь партизанская нам мешает.

— Кто?

— Целыми семьями в леса ушли. Ловят их да вешают, — он

выразительно покрутил рукой в воздухе и вздернул ее кверху, — а до одного гада никак не доберемся.

— Кто он?

— Кринка. Такая уж у него фамилия. Прикидывается простачком. А я знаю, чем он занимается… Коммунист он…

— И вы знаете, где он живет?

— В тридцати километрах отсюда. Недалеко от Ауце, на хуторе Цеши.

…В августовских сумерках верхом на вороном жеребце я ехал через молчаливый хвойный лес, еще хранивший дневное тепло. Багровел закат. Казалось, густой смолистый запах пропитывал меня насквозь. Еловые ветки хлестали по лицу. Я ехал к патриоту — в этом я не сомневался. Сердце радостно билось. На небольшой поляне] около кучи хвороста копошились два старика. Увидев меня, они прекратили работу.

— Эй, друзья! Где хутор Цеши?

Латыши, услышав русскую речь, подошли ко мне.

— Километра три будет, — по-русски ответил один из них. — Лес кончится, держись правее. Минуешь хутор, завернешь направо, проедешь молодым леском, а за ним и Цеши. — Оба настороженно оглядывали мою немецкую форму.

Вскоре показался хутор Цеши.

Против большого деревянного дома во дворе стояли конюшня и сарай. За домом — фруктовый сад, огород и пасека. Из дома вышел мужчина. Среднего роста, крепкий, он стоял на крыльце и строго смотрел на меня. Я спешился.

— Вы Кринка? — спросил я по-немецки. Он утвердительно кивнул. — Можно к вам зайти?

— Пожалуйста.

— Где оставить коня?

Он молча отвел меня к конюшне и привязал лошадь возле двери.

— Пройдемте, — сказал он по-немецки. В прохладной, чисто прибранной комнате были его жена и дочь, черноволосая девушка лет двадцати.

— Можно нам поговорить наедине? — спросил я. Кринка по-латышски попросил женщин удалиться, и мы, закурив, сели на лавку.

В Кринке я не ошибся. Как я и ожидал, он оказался настоящим патриотом, добрым и умным человеком. Мы долго беседовали. Я назвал себя разведчиком, действующим под кличкой Сыч во вражеском тылу. Пришлось сказать, что у меня есть радист и связь с Центром… В конце концов я увидел, что он склонен поверить, что в его дом явился советский солдат в

немецкой форме, надетой для маскировки, явился для того, чтобы вместе с его группой бороться против фашистов.

Кринка все же колебался и продолжал смотреть на меня своими строгими глазами из-под нахмуренных бровей.

— Закончим разговор после ужина? — спросил он, и по интонации я почувствовал, что мы сблизимся.

Кринка дружелюбно поглядывал на меня, пока хозяйка угощала меня румяными горячими блинами, сам подкладывал мне в тарелку ветчины и подливал в кружку молоко.

Ужин закончился, хозяйка с дочерью убрали со стола посуду, мы опять остались одни.

— Так чем же я смогу вам помочь? — спросил он, доставая кисет с махоркой и скручивая самокрутку.

— Надо, — сказал я, — иметь тесную связь с населением и стараться мешать угону людей в Германию. Я хотел бы выступить перед людьми. Смогли бы вы помочь мне в этом? — спросил я Кринку. — Есть ли здесь надежные люди?

— Найдутся…

— А смог бы я жить где-нибудь неподалеку, не попадаясь посторонним на глаза?

— Организуем.

— Тогда ждите меня. Я скоро вернусь, привезу оружие и буду жить в лесу.

Мы вышли во двор. Спускалась прохладная ночь. В конюшне похрустывали сеном кони, изредка глухо ударяли копытами в перегородки. Я заметил, что мой конь разнуздай, перед ним лежит охапка сена и стоит пустое ведро. Видно, хозяйка позаботилась. Я взнуздал коня, вскочил в седло, попрощался с гостеприимными хозяевами.

Ночью я вернулся в немецкий обоз.

— Пикколо! — позвал я своего юного друга. Мальчишка не спал, он, видимо, ждал меня. Мы сели в сторонке на влажную от росы траву.

— Сегодня ночью я ухожу в лес. Хочешь со мной?

Паренек глотнул воздух от волнения:

— Хочу!

— Готовь себе лошадь с седлом. Уйдем верхом.

За многие месяцы я узнал Пикколо, верил ему, как и он мне. Его решительность и отвага не вызывали у меня ни малейшего сомнения.

Ночь была лунной, яркие звезды караулили недолгий прибалтийский сумрак. Немцы улеглись в полуразрушенном сарае, оставив автоматы у входа. Я прилег возле оружия на соломе и стал ждать. Пикколо лежал на подводе под плащ-

палаткой. Возле его подводы, пофыркивая, щипали траву две лошади. Часовой с автоматом, охраняющий обоз, бродил вокруг сарая и дома, где тоже спали немцы.

В три часа ночи я тихо вышел из сарая. Часового не было. Я заглянул в окно дома и увидел, что он сидит у ящика, на котором стояла бутылка вина и лежал автомат, и при свече с кем-то из своих друзей играет в карты.

Я подошел к Пикколо:

— Седлай коней и жди.

Я вынес из сарая два автомата. «Брать оружия больше, пожалуй, рискованно, — подумал я. — С двумя автоматами отвертишься от часового, если он спохватится, а с четырьмя — влипнешь!» Подошел к оседланным коням и вскочил на одного, держа в руке оба автомата.

— Ну? Что там? — шепнул я, видя, что Пикколо никак не удается взобраться на лошадь.

— Стремян нету! — в отчаянии бормотал он.

— О чем же ты думал, дурень? Надо было заранее проверить! — И я, приподняв его за шиворот, помог ему забраться в седло. — Бери сразу в галоп! — сказал я, перескочив канаву. Обернувшись на скаку, увидел, как Пикколо, обхватив коня руками и ногами, мчится за мной по дороге.

Вот и знакомый лес. Теперь все в порядке. Вокруг тишина, только сосны, шумя вершинами, медленно покачиваются под рассветным ветерком. Мы придерживаем взмыленных коней, идем шагом. Я проверяю автоматы, они на предохранителях.

В доме Кринки одно окно было освещено. Мы спешились, я постучал в окно. Он тут же вышел: ждал.

Люди в лесу

— А это что за малец? — спросил Кринка, беря поводья наших лошадей.

— Это Пикколо, мой друг. Не тревожьтесь. Он со мной едет с Украины. Помогите устроить его у кого-нибудь.

Кринка понимающе кивнул головой:

— Устроим. А вы, — обратился он ко мне, — входите в дом и отдыхайте, я постелил.

Пикколо медлил, вопросительно гладя на меня.

— Иди, иди, завтра увидимся…

И он ушел вместе с Кринкой.

Утром меня пригласила завтракать хозяйка Юлия Васильевна. Дочь Кринки, Зоя, ждала меня с полотенцем, мылом и кувшином воды. Умывшись, я зашел на кухню к Юлии

Васильевне и был крайне озадачен, застав там каких-то двух женщин и мужчину. Увидев меня, они вышли.

— Жан на конюшне стрижет хвосты и гривы вашим лошадям, а мальчонку вашего он устроил к одним старикам на соседнем хуторе, ему там будет хорошо, — шепнула мне Юлия Васильевна, стоя над примусом и помешивая в кастрюльке ячневую кашу с салом.

Было десять часов утра, когда мы с Кринкой вошли в лес. Пробирались чащей, без троп. Минут через пятнадцать он подвел меня к моему новому жилищу. Шалаш был сделан на диво. Уложенный на кольях густой еловый лапник не пропускал ни дождя, ни света. Невдалеке протекал ручей, возле него был громадный камень. Мы договорились, что под этот камень Жан будет класть для меня провизию, если на ферме или поблизости окажутся немцы. Ежедневно я смогу знать: если провизии не будет — значит, можно идти на ферму, ничего не опасаясь, если сверток с едой тут, под камнем, — лучше не показываться.

Мы присели возле ручья. Он бежал по ярко освещенной солнцем поляне, заросшей ромашками, хвощом, колокольчиками. Глядя на эту мирную природу, слыша треск кузнечиков и гудение шмелей, видя целые семейства крепких белых грибов, словно выбегавших из леса на поляну, трудно было представить себе, что совсем рядом идут жаркие бои, горят дома, льется кровь. И только рокот самолетов высоко в небе и далекие взрывы авиабомб напоминали об этом…

Мы сидели с Кринкой возле шалаша. Я чистил и смазывал свой «Браунинг», а Жан расспрашивал о моей жизни. Я понял, что это человек незаурядной воли, умеющий точно и хладнокровно судить обо всем. Он был необыкновенно сдержан, внутренне собран и всю свою страстную веру в наше общее дело таил глубоко, ничем внешне не выдавая своих чувств.

Биография его очень интересна. Он участвовал в боях за советскую власть в 1917 году. Был в рядах латышских революционеров, бравших Зимний дворец. Его однажды вызвал к себе Владимир Ильич.

— И вы лично разговаривали с Лениным? — спросил я.

— Да. Это самая памятная минута в моей жизни… — Кринка машинально вертел в пальцах лиловую метелку мяты и вдыхал ее острый аромат. — Я тогда еще плохо говорил по-русски, но доложил Владимиру Ильичу Ленину все как полагается. А позже, в Гражданскую войну, я был послан на помощь латышским рабочим Рижского завода, который с тысяча девятьсот пятнадцатого года находился в Воронеже. И там мы громили белогвардейские банды… В Воронеже я учился, встретил Юлию

Васильевну, и мы поженились. У нее там сестра до сих пор живет. А младшая сестра моей жены переехала в Москву.

— В Москву? Где же она там живет?

— На Кузнецком Мосту. Ты знаешь такую улицу? — Жан улыбнулся.

— Ну как же, я там в шахматном турнире участвовал. Играл в шахматном клубе, еще в тридцать восьмом году.

— Это клуб на углу Рождественки, такой гранитный массивный дом?

— Он самый.

— Ну так вот, сестра жены живет через дом, возле Выставочного зала, во дворе… Александра Васильевна Зудова. Вот я письма ее специально прихватил тебе показать. — Он вынул из кармана несколько писем.

Я с жадностью ухватился за исписанные листки…

Настал один из ответственных дней.

Мы ехали с Жаном на его бричке, запряженной приземистым битюгом. Темнело. Я всецело был поглощен своими мыслями. Затаенная тревога перед неизвестностью, как всегда, давала о себе знать. «Как себя вести? Смогу ли ответить на все вопросы?.. Главное сейчас, чтобы люди мне поверили… Главное — суметь организовать людей на борьбу…»

…Это была просторная комната в избе на глухом лесном хуторе. За столом на лавках разместилось восемь человек. Четверо из них — бородатые старики лет под семьдесят каждый. Все курили, и, когда мы с Кринкой вошли, над столом висело облако сизого дыма. Видимо, они не ожидали, что разведчик окажется столь несолидным субъектом, да еще в форме немецкого солдата.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал я. — Думаю, Жан Кринка рассказал вам, кто я и зачем прибыл сюда. Все вы люди преданные советской власти и хорошо знаете друг друга. Это очень важно.

Я подсел к столу. Люди внимательно слушали. А я говорил, что гитлеровцы проиграли войну и скоро Красная армия освободит Латвию. Рассказывал о дезертирстве в немецких частях, о разложении и упадке боевого духа среди немецкого офицерства, говорил о необходимости сплочения отдельных боевых групп, действующих с оружием в руках против фашистов в их тылу. Разбирая обстановку в прифронтовом районе, я сказал:

— Фронт приближается сюда. Немцы в прифронтовой полосе сжигают дома мирных жителей, уничтожают скот… Они угоняют молодежь, женщин, детей в Германию. Как все это предупредить? Надо сейчас же, пока не поздно, построить в лесу убежища,

землянки, загоны для скота. Сено свезти не на сеновалы, а в лес. Малых детей и женщин укрыть в землянках, заготовить запасы продовольствия, чтобы, когда фронт приблизится, было куда уйти.

— А что, фронт близко? Когда оп подойдет сюда?

Я высказал предположение, что фронт будет здесь к зиме, а сейчас советские войска ведут бои на рижском направлении, перемалывая мощную вражескую технику.

Один бородач, почесав бороду и поблескивая глазами из-под мохнатых бровей, интересовался тем, не угонят ли его с насиженного места, когда придут советские войска, у него два сына ушли, мол, с красными, когда те отступали из Латвии в начале войны, а двух младших немцы в полицаи забрали. Придется за них, за младших, ответ держать или нет? Я твердо ответил:

— Всем, кто будет действовать против фашистов, участвовать в партизанских делах, гарантируется полная неприкосновенность.

Мое заявление прозвучало убедительно, и, судя по выражениям лиц, люди были довольны нашей встречей. Я еще раз призвал создавать партизанские группы для помощи наступающей Красной армии. Фамилии участников встречи обещал передать советскому командованию.

(Забегая вперед, скажу, что спустя несколько месяцев, уже будучи у своих, я по записной книжке и по памяти передал советскому командованию оперативные сведения по Латвии и сообщал пофамильно о латышах-патриотах, с оружием в руках боровшихся против гитлеровцев.)

А пока шел деловой разговор.

— Мы окажем любую посильную помощь, — сказал один из молодых латышей.

Другие его поддержали:

— Скажите, что нужно делать?

— Мы готовы.

— Не подведем!

Я попросил их назвать фамилии предателей, работающих у гитлеровцев, тех, кто помогает оккупантам угонять население в Германию, кто грабит жителей. Затем сказал, что мне необходимо знать, где находятся немецкие военные склады, аэродромы, расположение гарнизонов, — словом, любые оперативные сведения по этому району.

— Товарищ Кринка, как человек опытный в военных делах, распределит между вами обязанности, и каждый сообщит ему все, что сможет. Это и будет первое задание.

Потом я обратился к старику, у которого два сына служили в

полевой полиции.

— Очень вас прошу, папаша, узнать, по своей ли воле они служат немцам?

— Какой там черт по своей воле! Взяли их, и все!

— Так вот, папаша. К вам особая просьба. Поговорите с ними серьезно. Их нужно подключить к нашему делу. Тем самым они снимут с себя вину перед народом.

Кринка поддержал меня и заметил, что эти парни могут помочь и оружием. На первое время достанут хотя бы несколько винтовок с боеприпасами.

Я посмотрел старику прямо в глаза и понял, что он готов это сделать.

— И еще одна просьба, папаша. Надо, чтобы ваши ребята раздобыли оперативную карту этого района и график, по которому батальон полиции прочесывает леса. Тогда все будет в порядке, и мы избежим облавы.

Старик кивнул в знак согласия.

Мы разошлись поздно ночью. Группа сопротивления начала действовать.

Первая операция

День выдался на редкость теплый и ясный.

К четырем часам пополудни наша группа собралась в условленном месте. Состояла она из двенадцати человек. У нас было два автомата, три винтовки, несколько пистолетов и охотничьих ружей.

Оставив подводы под охраной тех, кто был без оружия, мы цепочкой направились к дороге и залегли по обеим сторонам в кустах. Я лежал последним в ряду, повернувшись лицом к дороге, и наблюдал в бинокль.

Сначала проехала колонна грузовиков с солдатами, потом промчались два мотоциклиста. После довольно долгого перерыва проехали крытые машины, везя на прицепах шестиствольные минометы и пушки. Все это пока было нам не по зубам. Наконец в сумерках появился обоз из четырех подвод и с ним около полутора десятков солдат. В голове обоза — трое верховых.

Об этой минуте я и мечтал. И она наконец-то наступила.

— Приготовиться! Внимание! — скомандовал я и тут же махнул пилоткой товарищу, лежавшему напротив меня на той стороне дороги. Он принял сигнал. Я вскочил и, опережая обоз, пробежал кустами метров тридцать. Затем вышел на дорогу и спокойно пошел ему навстречу.

Я был собран. Сосредоточен. Сколько раз я был на грани

гибели? Сотни раз! Риск?! В лабиринтах смертельного риска я был с первого дня войны. Внимание мое приковано к трем верховым. Заметил, что один из них капитан, второй — фельдфебель, третий — унтер-офицер. Разговаривать будем по-немецки. Поравнявшись с ними, я вытянулся в струнку:

— Господин капитан, разрешите обратиться с вопросом?

Он поглядел на меня сверху вниз и придержал коня:

— В чем дело?

— Вы не скажете, господин капитан, как добраться до Ауца? Там находится штаб нашего полка.

— Подойди поближе!

Едва он ткнул пальцем в карту, как я в упор разрядил ТТ. Лошадь фельдфебеля встала на дыбы, но я успел отскочить в сторону и снова выстрелить. В эту минуту из кустов открыли огонь, и, как мне показалось, все солдаты были уничтожены. На землю свалились и фельдфебель, и унтер-офицер, не успевшие даже схватиться за кобуру.

Я видел, как одна за другой начали останавливаться подводы. Обоз встал.

Надо было срочно очистить дорогу: могли появиться другие машины и обозы. Мои товарищи, выскочив из кустов, поймали оседланных лошадей, погрузили на подводы убитых и быстро свернули с проезжей дороги в лес. Проехав метров триста, мы остановились. Здесь обнаружилось, что двое немцев живы. Я допросил их и узнал все, что было нужно, в том числе номер их части, откуда и когда прибыли Латвию, куда и зачем направлялись. Пленных мы отпустили на все четыре стороны, но, конечно, без оружия. Это были шестнадцатилетние юнцы, совсем еще дети.

— Куда же нам теперь идти? — шмыгая носом, растерянно спросил один из раненых. — Без оружия… нам не поверят…

— Как раз поверят, вы же ранены.

— Скажите, что попали под бомбежку, а потом на вас напали и вы сами едва уцелели, — посоветовал я.

На этом мы и расстались.

Обоз принадлежал танковой дивизии СС «Мертвая голова» и следовал в город Тукумс. На подводах были продукты и боеприпасы, в которых мы испытывали острую нужду. Был там и бензин; к большому счастью, ни одна пуля не попала в канистры, лежавшие на дне повозок.

Закопали убитых в общей могиле, собрали трофеи: деньги, часы, документы, личные вещи немцев. Я распределил между партизанами подводы, лошадей и оружие. Разъехались в разные стороны, и только к вечеру, сделав дома все необходимые дела,

мы с Жаном отправились на дальний хутор…

Сидя на траве на лесной поляне и оживленно беседуя, мы праздновали первую победу.

— Ну как? — спросил меня бородатый дед, пыхтя в темноте козьей ножкой. — Метко бьют винтовки, что мои сыпки принесли. — И добавил, не дожидаясь ответа: — А ведь из одной-то я сам стрелял.

Все были очень довольны удачно проведенной операцией и наперебой вспоминали о деталях боя…

Недалеко от дома Кринки, на перекрестке лесных дорог, стояла старенькая, заброшенная банька. У ее хозяина по фамилии Брамс в то время скрывался латыш, дезертировавший из немецкой армии. В этой баньке, в глубокий проем между полуразрушенной печкой и стеной, я спрятал рюкзак с формой убитого капитана, его сапоги, амуницию, оружие и документы.

Дела у партизан налаживались. Кринка ежедневно получал донесения. В эти дни у Кринки находился его брат-подпольщик, очень симпатичный, средних лет. Насколько мне помнится, на его след фашисты напали в Риге, и он решил скрыться от них в лесу.

Наши товарищи-латыши действовали активно — все замечали, деды вызнавали у соседей, имевших родичей-полицаев, что делается в немецкой армии. Началась и диверсионная работа. Во всем районе вокруг хутора Цеши разрушались деревянные мосты, перерезались провода связи. Жителей хуторов, даже самых дальних, заблаговременно предупреждали о готовящихся против них репрессиях. Участились вооруженные столкновения с немцами.

Лес служил людям падежным убежищем. Появились землянки, загоны для скота. Проливные дожди, осенние туманы, порывы ветра, скрип деревьев, крик ночных птиц или зверей — все было на руку людям.

Я часто бывал в доме Кринки. Мне очень дорога была материнская забота Юлии Васильевны, я гордился доверием Жана, а темноволосая, скромная, красивая Зоя учила меня говорить по-латышски и была в восторге, когда однажды, распахнув дверь, я запел популярную народную латышскую песню на латышском языке:

Луга люблю я и солнце майское, Хотя в душе печаль живет…

Особенно хорошо было в доме у Кринки в дождливые, холодные предосенние дни. Так не хотелось тогда уходить в темноту ночи к своему шалашу. Но я поднимался из-за дружеского стола и шел в лес.

В офицерской форме я никогда у Кринки не появлялся: боялся вызвать подозрение у эвакуированных, которым Жан

отдал половину своего дома.

Все документы капитана я уничтожил, сохранил лишь командировочное предписание («марш бефель»). В этом документе было сказано, что капитан такой-то с таким-то количеством солдат следует в город Тукумс в дивизию СС «Мертвая голова». Удостоверение было без фотографии и при случае могло пригодиться.

Фронт приближался. Ночью, лежа в шалаше, я слышал далекое гудение и грохот боя. Иногда небо в той стороне озарялось отблесками пожаров.

В те дни я часто надевал форму немецкого капитана, ибо в ней и собирался перейти фронт, к своим. В то же время, выезжая верхом в этой форме в прифронтовые места, мне легче было сориентироваться в обстановке. Много надо было заранее разузнать и разведать, и форма немецкого офицера способствовала этому.

Еще одна проверка

Советскому человеку надеть на голову фуражку с эмблемой-черепом — нелегко. В особенности если представишь себе, какие мысли роились под этой черной фуражкой в голове гитлеровца. Фуражка хранила запах фиксатуара и еще чего-то до тошноты отвратительно пахнувшего; подкладка лоснилась от жира, и прикосновение к ней тоже вызывало неприятные ощущения. Высокий лакированный козырек торчал впереди назойливо-надменно, а над ним выпячивался на околышке этот проклятый значок с черепом. Следовательно… Если убитый капитан был из роммелевской танковой дивизии СС «Мертвая голова», то наверняка эта фуражка возвышалась над люком танка, окрашенного в белый цвет, где-нибудь в песках Красной африканской пустыни, когда Роммель выходил на линию Маррет, чтобы соединиться с генералом Арнимом и его 5-й армией.

Впрочем, вряд ли капитан защищал тогда свою голову от палящего солнца черной фуражкой, скорее всего, эта фуражка лежала у него в чемодане вместе с черным кителем, который был сейчас на моих плечах. Китель этот тоже удирал из Африки на Сицилию, а затем в Марсель через Средиземное море, и, судя по пяти нашивкам ранений, их хозяин был верным гитлеровским слугой. Об этом свидетельствовали и два Железных креста первого класса. Черные галифе с черными, изрядно потертыми кожаными врезами на внутренней стороне говорили о том, что хозяин был вынужден в балтийских краях пересесть из подбитого танка в седло. Остается добавить, что сапоги имели

лакированные голенища и были сшиты отменно хорошо.

…Облаченный во всю эту одежду, я ехал верхом в прифронтовой полосе. При мне был бинокль, пистолет ТТ, найденный в прибалтийском лесу, немецкий «Вальтер», неизменный «Браунинг», похищенный у румынской генеральши, в планшете — оперативные карты, в руке — автомат.

Вскоре я оказался на поляне, где расположилась какая-то немецкая часть. Дымилась походная кухня. Возле нее длинной очередью выстроились солдаты с котелками.

«Посмотрим, как они со мной будут разговаривать», — подумал я, стараясь во всем — от острых носков сапог до надменного выражения глаз под лакированным козырьком — походить на прежнего хозяина этой одежды.

Мое внимание привлек рокот пролетавших в небе самолетов. В ясной синеве шел яростный поединок «Мессершмита» с маленьким советским истребителем, который выделывал головокружительные виражи и петли вокруг противника. Истребитель переворачивался на спину, подлетал под немца, обстреливал короткими очередями. Но вот, видимо, истребитель израсходовал свой боекомплект. Он неожиданно вынырнул из облака в хвост «мессера» и, протаранив его, взмыл и исчез в облаках.

«Мессершмит», разваливаясь на куски, падал на землю. И где-то за лесом послышался глухой взрыв.

Я был так возбужден, что, признаться, пришлось приложить немало усилий, чтобы вновь обрести хладнокровие и выдержку, к которым обязывала маскировка. Выпрямившись в седле и приняв строгий вид, я подъехал к немцам.

Почерневшие от усталости, заросшие щетиной, видимо, недавно вышедшие из трудного боя, солдаты возле походной кухни ели из котелков суп.

— Какая часть?

— Особый батальон танковой дивизии «Рейх».

Я повернул коня и ускакал прочь. Где-то вдалеке грохотали орудия.

Весь день я провел в пути, анализируя обстановку, искал «окно» для перехода фронта. К вечеру решил возвратиться к Кринке. Но, не доехав до хутора километров четырех, на перекрестке наскочил на пост полевой жандармерии.

— Хальт! — гаркнул фельдфебель, выходя из придорожных кустов. Рядом появился второй. В лунном свете блестели их металлические бляхи. — Господин капитан, прошу предъявить документы!

— Еду в штаб танковой дивизии «Мертвая голова», везу

срочное донесение. Дорогу!

Фельдфебель взял под уздцы моего коня.

— Прошу предъявить документы, господин капитан! — повторил он вежливо, но настойчиво и положил руку на автомат, висевший на его груди.

— Документы предъявлять не намерен! Дорогу!

— Тогда прошу вас, господин капитан, проследовать в штаб. Это совсем рядом, вот в том доме. — Он указал на белое здание невдалеке. Там в окнах мигали огоньки.

Я мог разделаться с ними легко. Но совсем рядом был хутор Кринки, и я побоялся навести на него подозрение: немцы при выстрелах немедленно бы всполошились. Поэтому я решил последовать за фельдфебелем и подъехал к дому. По широкой мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж. Напарник фельдфебеля остался на улице.

— Хайль Гитлер! — взмахнул я рукой, войдя в большую полутемную комнату, где за столом сидел офицер в расстегнутом кителе и что-то писал. — Идите! — обернулся я к фельдфебелю. — Разберемся без вас!

Сейчас нужно было сыграть на верной интонации. Я грохнул на стол свой автомат, распахнул китель, сдвинул фуражку набекрень, бухнулся в кресло рядом со столом так, словно именно отсюда был куда-то послан и сюда же вернулся.

— Ух, чертовски устал! Вот хорошо, что вас разыскал. Нет ли у вас чего-нибудь подкрепиться? С утра ничего не ел. — Я вынул портсигар, вытащил сигарету, нервно постучал по крышке, закурил.

Офицер, не отрываясь от своей писанины, мельком взглянул на меня.

— Сейчас что-нибудь сообразим, — сказал он и нажал кнопку звонка, вделанную в стол. Тут же вошел ефрейтор. — Принеси капитану что-нибудь поесть и кофе.

— Слушаюсь! Я тут же начал:

— Целый день в седле, йог разогнуть не могу! Скачешь как полоумный по этой грязи.

— А ты откуда? — вставил офицер, но меня остановить было уже трудно.

Желчно, нервно, громко я продолжал:

— Черт знает что вокруг творится! — Я взмахнул руками — Одна дивизия сменяет другую, одни на отдых, другие на фронт, неразбериха полная. Линия фронта все время меняется. Какое сегодня число?

— Десятое августа. Русские взяли Ту куме.

— А говорят, танковая дивизия «Рейх» прибыла сюда. Ну и

дадим теперь жару иванам! — Я задорно засмеялся. — Теперь дело пойдет на лад. — Голос мой с раздражительного тона стал переходить к уверенным выкрикам в стиле застольных речей. — Где мы только не были? Ты подумай! И во Франции! И в Бельгии! И на Крите! И на Сицилии! И в Италии! И с Роммелем в Африке! До Курляндии добрались, черт ее побери!

— Война, — устало вякнул офицер. — Дай сигарету. Я раскрыл портсигар. В это время ефрейтор внес поднос с едой.

Я встал с кресла.

— Сейчас поедим! — Я потер ладони и схватился за козырек, собираясь спять фуражку, и вдруг спохватился: — Ох, как же я лошадь не поил весь день. Сейчас, минуточку!

Офицер и ефрейтор не успели опомниться, как я уже летел по лестнице вниз, рывком открыл дверь в темноту — вокруг никого. Мгновенно отвязал коня, вскочил в седло — и был таков. Автомат так и остался на столе в штабе немецкой тайной полевой полиции…

На следующее утро, переночевав в лесу в своем шалаше, я снова верхом в немецкой офицерской форме выехал на проселочную дорогу, намереваясь навестить одного латыша, который добывал мне некоторые оперативные сведения. Только я выехал из леса, как увидел всадника, он ехал довольно быстро по дороге мне навстречу. Бросив косой взгляд, я заметил, что он в форме фельдфебеля, когда же взглянул ему в лицо — обомлел! А фельдфебель улыбался.

— Это же Черноляс! Живой и невредимый!

— Дунай! — произнес он мой пароль.

— Измаил! — ответил я. — Откуда ты взялся?

— А ты откуда? — вопросом на вопрос ответил он.

— Давай за мной! — И я развернул своего рысака. Свернули в лес. Скакали и молчали. О чем мы тогда думали? Встреча была просто невероятной. Это был — Ваня, мой боевой товарищ, мой сердечный друг. В первый день войны он, стоя на посту, охранял наш штаб. Осколком снаряда, ударившего в степу здания, его ранило, и я в этот день был тоже ранен. Мы оба тогда угодили в медсанбат…

И вот лошади перешли на шаг. Дорога вела к моему шалашу.

— Невероятно! — сказал я.

— И во сне не приснится, — ответил он.

— Когда же мы последний раз виделись? В июле сорок первого, в хозяйстве Грачева, в Кировограде во дворе штаба, около конюшни? Тогда наших ребят в Москву отбирали, в армию Масленникова.

— Помню, как же!

— Да-а, — протянул я. — Много воды с тех пор утекло… Так ты что, немецкий выучил?

— Нет. Знаю только: «Хенде хох!» (Руки вверх!)

— И все?

— И все!

— А если немцы?

— Я их сразу убиваю. Я же стреляю с двух рук одновременно.

— Да, расстались мы с тобой в июле сорок первого в Кировограде… Я был оттуда откомандирован в охрану штаба Юго-Западного фронта… С трудом вышел из окружения на Полтавщине, близ местечка Лохвицы. А потом тысячи перипетий: лагеря… побеги… связь с подпольем… Вот и сейчас связан с группой партизан из латышей… А ты? Где ты был?

— Из Кировограда наша рота, — сказал Черноляс, — попала на Кавказ. Находился в охране штаба армии из резерва Главного командования, был и при штабе Южного фронта. Затем кончил школу НКВД, был направлен в Западную Украину старшим уполномоченным по борьбе с бандеровцами и оуновцами. А сейчас вот забросили в Курляндский котел со спецгруппой особого назначения. Юру Узлова помнишь?

— Как же! При штабе полка служил.

— Вместе со мной кончил школу НКВД и уже офицером ушел в академию. Сейчас учится в Москве.

— Здорово!

— А Самойленко помнишь?

— Ваню Самойленко? Нашего политрука? Последний раз видел его тоже в Кировограде, он командовал тогда копной разведкой.

— В мае сорок второго он вышел из тройного кольца под Харьковом, спас знамя полка, приняв его из рук выбывшего из строя товарища, был ранен. Затем под Сталинградом был инструктором в школе снайперов.

— Я его очень хорошо помню. Толковый и строгий командир. Настоящий политработник. Его все у нас уважали.

— Когда наша десантная группа готовилась лететь в Прибалтику, он сказал мне: «Поищи Николая Соколова. Он зацепился за обоз второй штабной роты капитана Бёрша в танковой дивизии СС „Великая Германия“». А я спросил: «Откуда ты знаешь?» А он говорит: «Ведь сообщали из Румынии: „Шахматист“. А кто у нас играл в шахматы с командиром полка Грачевым? Только Соколов!..» Вот я тебя и стал искать по всем немецким обозам, там возчики — больше украинцы. Но никак не думал, что ты в офицерской форме.

— Так удобнее. Но сейчас обстановка обострилась. Фронт

подошел. Полевая жандармерия шныряет по всем дорогам.

— Я уже нескольких жандармов ликвидировал, — сказал Черноляс.

— Все бы хорошо, но документов у меня нет и форма трофейная…

В ту ночь до рассвета у лесного шалаша, покуривая махорку, разговаривал я со своим однополчанином Иваном Чернолясом. На заре, расставаясь, он назвал мне хутор, фамилию одного латыша, дал к нему пароль и сказал:

— Вполне надежный канал связи. Жди, скоро Центр даст через него поручение.

Но этим каналом связи, эвакуируясь из хутора Цеши, воспользовался Кринка. Я уже не смог. Изменилась обстановка…

Прощаясь, я передал Чернолясу оперативные сведения по району и сообщил все данные о группе Кринки. От него же я узнал, что их опергруппа дислоцируется в районе действия латышской партизанской бригады, которой командует Самсон. К себе мои товарищи взять меня не сочли возможным. Черноляс сказал:

— Мы делаем свое дело, ты — свое!

(Как я узнал после войны, Жан Кринка был убит латышскими националистами в 1947 году на своем хуторе Цеши. Это сообщила мне его дочь Зоя, и факт его гибели подтвердил Герой Советского Союза, бывший комиссар латышских партизан В. Самсон в своей книге «Курляндский котел», где он также пишет на с. 147 о том, что я в 1944 году командовал группой латышского подполья.)

А пока события развивались так…

Почти у цели

Маленький домик на хуторе притаился во мраке осенней ночи. Я спешился и тихо стукнул в оконце заднего фасада, где была кухня. Через минуту за стеклом показалась смешная, заспанная рожица Пикколо. Он узнал меня сразу, открыл окно:

— Ой! Я каже довго вас не бачив!

— Быстро оденься и вылезай. Дело есть!

Вскоре, обутый в дедовы сапоги и одетый в дедов ватник, он стоял передо мной.

— Возьми мою лошадь и тихо отведи к Кринке. Расседлаешь, напоишь, поставишь в стоило. Седло укроешь соломой. Хозяев не буди.

— У-у-у! Часом! Всэ будэ зроблено як трэба! — Пикколо дрожал от волнения и радости, что мы встретились. Он любил

меня, и я отвечал ему тем же. — А як же вы-то? — В его вопросе звучали ноты тревоги.

— А я сейчас прямо в лес, в шалаш. Только вот пойду переоденусь… К тебе заскочу завтра, тогда и поговорим. Иди, а то уже скоро начнет светать.

Пикколо кивнул, взял коня под уздцы и растаял в темноте. Мягкий стук подков о сырую землю, удаляясь, затих.

Я закурил, присел на минутку на пенек, а потом отправился прямо в баньку. Там за печкой ждала меня немецкая солдатская форма. Я переоделся. Через полчаса был уже возле своего шалаша и, к удивлению своему, увидел в нем красный огонек.

Ишь ты, уже пришел, беспокойный. Конечно, в шалаше сидел Жан Кринка.

— Давно ждете? — спросил я, заглядывая внутрь.

— Да часа два. Волновался за тебя. — Он вылез наружу.

— Пойдем к ручью, потолкуем, — предложил я.

— Ты, наверное, голоден? Тебе там узелок.

Над поляной клубится туман, кусты и деревья на опушке казались какими-то живыми существами. Я с наслаждением съел кусок холодного мяса, потом лепешку, выпил молока. Кринка молча ждал.

— По всем хуторам немцы, — начал он, когда я закурил. — Скоро и к нам нагрянут… Людей теперь больше не соберешь. Куда им с места двинуться: на руках внуки маленькие, женщины… Так что кочующий партизанский отряд сколотить здесь будет трудно, да и народ сам видишь какой, все больше старики да старухи. Активных бойцов у меня осталось не больше пяти…

— Я решил, Жан, перейти фронт. И оперативные сведения у меня накопились…

В конце разговора я подытожил:

— О новом канале связи тебе все ясно, свяжись по паролю и независимо от меня сдублируй в Москву все, что знаешь о действиях полевой полиции, о передислокации немецких частей, о нахождении немецких аэродромов и складов с оружием. Запроси взрывчатку. Постарайся разрушить еще ряд мостов. Я их отметил на карте. Ты знаешь, о каких мостах идет речь?

— Знаю.

— Передай, что Сыч ушел через фронт… Пикколо останется здесь, на хуторе, до прихода наших войск. Хозяева-латыши его сберегут…

— Ты что-нибудь о фронте узнал?

— По-видимому, до фронта километров восемь, не больше. Кругом посты полевой жандармерии. Только бы их проскочить.

Помнишь тот белый помещичий дом с мраморной лестницей?

— Брошенный? Воронки от авиабомб во дворе?

— Тот самый. В нем сейчас их штаб. Я недавно оттуда. Напоролся на пост. Два фельдфебеля задержали, к офицеру доставили. Едва унес йоги. Автомат там остался. Придется тот, что в твоем сарае, откопать. Остальное оружие — в твоем распоряжении.

— Хорошо. — Кринка затянулся махоркой. — Ну что ж, если решил через фронт — так и поступай. А когда думаешь махнуть?

— Через день.

— Я тебя сам провожу на бричке. Подвезу знакомыми тропами. Все посты объедем. Для отвода глаз Зою с собой захватим…

Это было в августовские дни 1944 года, когда войска 1-го Прибалтийского фронта вышли из района Шяуляя на Клайпеду и, вклинившись в группировку немецких войск, отрезали всю Прибалтику от Восточной Пруссии. Удар был такой сильный, что между Тукумсом и Либавой попали в клещи около тридцати немецких дивизий. Кроме двадцати пехотных, в котле оказались и танковые дивизии «Рейх», «Великая Германия», «Мертвая голова», 10-я дивизия и другие. Только отдельные штабы разрозненных дивизий успели вырваться из окружения. Район Ауца оказался в прифронтовой полосе.

* * *

Накануне расставания я зашел к Кринке. Юлия Васильевна приготовила прощальный ужин и провизию мне на дорогу.

Мы сидели за столом под уютной лампой с цветным абажуром. И так тепло и светло было на душе, что вечер этот, несмотря на всю тревогу и неизвестность, оставил у меня самые отрадные воспоминания.

В тот вечер я впервые открыл Кринке свою подлинную фамилию, рассказал о себе и о своей семье, написал домой письмо, в котором сообщил, что партизанил в лесах Латвии и сегодня ночью иду через фронт, к своим. Это письмо я просил Жана Эрнестовича и Юлию Васильевну при первой возможности с приходом советских войск отправить в Москву. Они обещали сделать это. И сделали. В свое время моя семья получила это письмо и узнала, что я жив.

Пришел час разлуки. Я взял свой рюкзак, оружие, крепко и сердечно обнял хозяйку на прощание, поблагодарил за все, и мы вышли во двор, где стоял запряженный Кринкой рабочий битюг.

Мы с Зоей сели в бричку, Жан — на козлы. За бричкой был привязан мой оседланный конь.

Сумрак приближающейся ночи окутал нас сыростью и запахом прелого листа. Я поражался тому, как знал Кринка в лесу каждый пенек. Ни зги не видно, то и дело впереди угрожающе вырастают шатры елей, а он умело маневрирует между ними, и бричка уверенно продвигается вперед.

По мере того как мы приближались к линии фронта, все отчетливей слышался гул, вой снарядов, взрывы.

Наконец Кринка остановил битюга.

— Ну, Николай, дальше ехать нельзя. Отсюда до фронта километра четыре, не больше.

Я вылез из брички, взял свои вещи. Распрощался с Кринкой и Зоей, сердечно обнял их, поблагодарил:

— Прощайте, дорогие друзья!

— Будь осторожен! — по-отечески напутствовал меня Жан Эрнестович. — Береги себя, парень!

Я перекинул рюкзак через плечо, взял автомат, вскочил в седло, тронул поводья, и конь зашагал по лесу в южном направлении.

— Счастливого пути! — донесся до меня голос Кринки.

Глава 4
«СВЕТ НА ПОРОГЕ»

«Ваша фамилия Люцендорф?»

Фронт громыхал. Зарево пожара озаряло горизонт. Я снова превратился в капитана «Мертвой головы», оставив немецкую солдатскую форму и рюкзак в кустах.

Было около двенадцати часов ночи, когда я выехал верхом из леса на большую открытую поляну и в ночных сумерках заметил какие-то строения, похожие на сараи. Возле повозок и лошадей суетились немцы. Я подъехал ближе и увидел походную кухню. Солдат с ведром горячего кофе отошел от котла.

— Эй! — крикнул я ему. — А ну подойди сюда! Быстро!

Он поставил ведро и кинулся ко мне.

— Что за часть?

Не разглядев снизу моих погон, он выпалил:

— Обоз 218-й пехотной дивизии, господин полковник!

— Не полковник, а капитан! — строго сказал я и, соскочив с лошади, отдал солдату поводья: — Привяжи!

Я подошел к сараю. Там при скудном свете керосиновой лампы ужинали солдаты. Увидев меня, они вскочили и замерли.

— Продолжайте ужинать! — приказал я и добавил: — Это обоз 218-й дивизии?

— Так точно, господин капитан! — отрапортовал фельдфебель.

— Отлично. Не возражаете, если я с вами поужинаю?

— Будем рады. — Фельдфебель услужливо пригласил меня за дощатый стол: — Вот сюда садитесь, господин капитан, здесь вам будет удобнее.

Я присел на ящик из-под консервов. Мне принесли кофе, кусочек консервированной колбасы и несколько ломтиков черного хлеба. Из продуктовой торбочки Юлии Васильевны я вынул кусок сала.

— У меня кончилось курево. Вот тебе сало в обмен на сигареты, — предложил я фельдфебелю.

— С большим удовольствием, — ответил тот и тут же достал две пачки сигарет.

Я пил кофе, когда в сарай вошел солдат с каким-то списком. Фельдфебель направился к выходу и, выкрикивая солдат поименно, объявлял ночной пароль и определял их на дежурство.

Я был весь внимание: ночной пароль! Как он мне нужен!

Поужинав, я сел рядом с фельдфебелем. Мы разговорились. Мой собеседник был настроен пессимистически, но старался скрыть это.

— Сколько километров до фронта?

— Пять, господин капитан!

Вскоре я уже пробирался к фронту: ночной пароль мне сослужил хорошую службу. Несколько раз меня окликали посты, я отвечал как полагалось и продвигался беспрепятственно.

Теперь одиночные снаряды советской артиллерии летели через меня и рвались где-то в лесу, за моей спиной. Наконец пришлось расстаться с конем. Я его слегка привязал к молодому деревцу. С автоматом в руках пробирался я кустами, переходил полянки и вновь попадал в лесную чащу.

— Пятнадцать! — послышалось откуда-то справа (пароль был цифровой, и мой ответ в сумме должен был равняться пятидесяти).

— Тридцать пять! — ответил я и вышел на полянку. Часовой меня пропустил, но я сам задержался.

— Где штаб полка?

Луна, вынырнув из облаков, осветила мои капитанские погоны. На совсем еще молоденького солдата они произвели устрашающее впечатление.

— Здесь только подразделение, — вытянулся он в струнку, глядя на меня немигающими глазами.

— Кто старший?

— Господин фельдфебель, — лепечет юнец.

— Где он?

— Здесь, господин капитан. — Он протянул руку, и тут я заметил искусно замаскированные землянки. Из ближайшей пробивался слабый свет.

Я спустился в землянку, где полуголый фельдфебель мылся над тазом с водой. Землянка была увешана коврами, меблирована: стол, табурет, железная кровать, круглое зеркало. Фельдфебель, увидев меня, поднял голову и вытянулся. Вид у него был смешной — с головы по плечам текла мыльная вода. Над тазом поднимался пар.

— Где штаб полка?

— В десяти километрах, господин капитан, — произнес фельдфебель, подбирая губами струйки мыльной воды.

— А штаб батальона?

— В двух километрах, господин капитан.

— Как туда попасть?

— Выйдите из землянки — и прямо. Никуда не сворачивайте, шагайте по проводу, что тянется от моей двери.

— Сколько до переднего края?

— Метров триста, господин капитан.

Я вышел из землянки, взялся за провод и пересек поляну. Но, войдя в лес, свернул направо и обошел всю поляну кругом. Пройдя метров сто, пригнувшись, я лег на землю и пополз…

Вот уже перелесок позади. То здесь, то там взвиваются в небо ракеты, ярко озаряя окрестность. С правой стороны из леса бьет крупнокалиберный немецкий пулемет, видимо установленный на машине. Ленты трассирующих пуль удаляются в сторону советских позиций. Там наши.

Ползу по траве, даже не поднимаю головы. Где-то невдалеке рвутся мины. Свистят шальные пули. «Как еще меня встретят свои, ведь я в офицерской форме? Поверят ли?.. Где-то здесь должны быть у немцев минные поля…» Ползу.

Вот и немецкая фронтовая траншея — она пуста, зачехленные пулеметы врыты в землю. Рядом коробки с пулеметными лентами. Где же немцы? Ползу вдоль траншеи, затем быстро перебираюсь через нее и в темноте, перекатившись через бруствер, снова ползу. Когда горят ракеты — замираю лежа, гаснут — медленно продвигаюсь, ощупывая землю впереди себя. Вот уже, видимо, ничейная земля. Поднимаю голову. Что такое? Метрах в тридцати впереди над уровнем земли замечаю немецкую каску (она блестит при свете ракеты). Что это? Неужели здесь еще немцы?!

Отползаю резко вправо метров сто, затем снова поворачиваю, как мне кажется, в сторону своих, и опять та же картина — впереди каска немецкого солдата. Что это такое? Видимо, передовые охранения — последняя преграда! А где же тогда солдаты? Наверное, в землянках, вылезают только по тревоге, думаю я и снова ползу по мокрой траве. Теперь ясно, почему та траншея была пуста…

Как же быть? Если ползти дальше — все равно попадешь под перекрестный огонь наблюдателей, у бьют из пулемета. Придется снять один пост, ползти вперед, — и тогда немцы уже заметить меня не смогут.

Решение принято. Ползу по направлению к каске. Она шевелится, вот она уже метрах в десяти. А вдруг там еще один солдат? Нет, пока стрелять рано! Немец смотрит вперед, я за его спиной — он не оборачивается и меня не видит.

Тихо произношу пароль. Немец резко поворачивается в окопе и отвечает отзыв. Быстро прыгаю в его окоп. Так и есть: в окопе еще один спящий солдат. Первый его будит, все трое мы едва умещаемся. Вижу: телефон, пулемет. Теперь надо сообразить, как лучше действовать. Ведь обоих сразу не снимешь — негде

развернуться, значит, надо отступить хотя бы метра на три… Закуриваю.

— Господин капитан, — волнуется солдат. — Осторожнее. Курить здесь нельзя.

Я пригибаюсь. «Спокойно, спокойно! — уговариваю себя. — Только не горячиться!» Оглядываюсь — все тихо. Докурил… Решаю вылезти из окопа и стрелять в немцев сверху. Только заношу ногу на бруствер, как слышу:

— Проверка!

Я цепенею. Вдоль кустов, пригнувшись, движутся немецкие автоматчики. Впереди — офицер с маузером. Подходят ко мне вплотную.

— Господин капитан, следуйте за мной! — резко приказывает лейтенант.

Иду за ним. Сзади — автоматчики. Мы идем в тыл. Я поясняю лейтенанту:

— Разыскиваю танки дивизии «Мертвая голова». Наскочил на боевое охранение. Что за черт! Фельдфебель все напутал. Зашел к нему в землянку, он мылся, весь в мыле, как дьявол. — Я пытаюсь разговорить лейтенанта, но он молчит. Я продолжаю: — Спросил, где находится штаб батальона, а этот кретин показал в сторону фронта. Идиот!

Лейтенант упорно молчит и, не сказав ни слова, приводит меня к знакомой землянке. Спускается вниз к злополучному фельдфебелю.

— Вы куда послали капитана?

— Как куда? — удивляется фельдфебель.

— Я снял его с тринадцатого номера!

— Ну?!

— Вы с ума сошли! Послали его к русским!

— Я сказал господину капитану, — оправдывался фельдфебель, — чтобы он держался за провод.

— За провод, за провод, — сердится лейтенант и, резко отвернув одеяло у входа, приказывает: — Отконвоировать капитана в штаб батальона!

— Есть! — отвечают автоматчики.

— Ну и злой же ты, лейтенант. Как собака! — сказал я ему на прощание.

Идем лесом. Держусь за провод. Ветви елок больно хлещут по лицу. Впереди и позади — автоматчики, уйти нельзя. Ясно, я попался. Почему? Видимо, потому что никогда за всю войну не был на передней черте и не представлял себе, как переходят фронт.

Да, мне жестоко не повезло. Фронта я не перешел. И финал

пока невеселый: иду под конвоем автоматчиков…

Вот и землянка. К стволу большого дерева привязаны оседланные кони. Вернее, это не землянка, а шалаш, сложенный из бревен и засыпанный дерном и листьями.

Первый автоматчик уже успел зайти внутрь и доложить обо мне. Я вхожу следом за ним. В полутьме, вокруг опрокинутого ящика из-под консервов, сидят три офицера и режутся в карты. На ящике расстелена газета, на ней ворох немецких марок. В ногах майора откупоренные бутылки с вином.

Майор, командир батальона, только что выслушавший рапорт автоматчика, сидит в расстегнутом кителе, по всему видно, он здорово во хмелю. Рядом с ним лейтенант и капитан, они тоже изрядно поддали. В шалаше жарко от пылающей и дымящей железной печурки.

— Хайль! — говорю я.

— В скат играешь? — неожиданно спрашивает майор. Я гляжу на его розовое, освещенное горящей свечой лицо с блестящими глазами и как ни в чем не бывало отвечаю:

— Разумеется.

— Тогда садись!

И вот я уже в компании подвыпивших офицеров дуюсь в карты. Пьем вино и шнапс. Мне надо выяснить, где я нахожусь, но стоит мне только заикнуться, как майор перебивает:

— А ну его к черту, этот фронт! Надоело! Ходи лучше. Черви козыри! Куда ты суешь, не та карта! — Он останавливает лейтенанта, который перепутал масть.

Отдаюсь на волю случая — деньги у меня есть. Пью осторожно, слежу за всеми.

Игра кончилась. Офицеры ушли. Я лежу на соломе рядом с майором. В колеблющемся пламени свечи вижу его профиль, высокий лоб, щеточку волос, подстриженных бобриком. Он бледен, резко обозначены морщины у рта. Майор чем-то напоминает мне капитана Бёрша. Но этот не такой лощеный и не такой брезгливый.

— Черт бы побрал эту войну и нашего сумасшедшего фюрера, погубил германский народ. Сколько молодых погибло, сколько искалечено! — Он глянул на меня. — Вот ты, например, у тебя я заметил пять нашивок, значит, пять ранений, а ты еще совсем молодой, сколько тебе лет? Двадцать пять, не больше?

— Двадцать шесть.

— Ну вот, так я и думал, а ты уже калека. А сколько наших вообще полегло? Сколько без рук, без ног? Сколько в плену будут сидеть? Ведь войну-то мы все равно проиграли. Как ты считаешь?

— Да, я думаю, что трудно будет вылезти нам из этой

каши, — уклончиво и осторожно лавирую я.

— Такая свистопляска, что живым все равно из нее не выбраться. — Тут разошедшийся фронтовик обрушил на Гитлера столько нелестных выражений, что сам устал: — Ох! Ну ладно, давай спать. — Он задувает свечу, и только красный пламень в печурке освещает сейчас лесное тесное жилище.

И тут я решаю еще раз испытать судьбу.

— Слушай, майор, — говорю я, не поворачиваясь к нему лицом. — Дело у меня есть.

— Что за дело?

— Потерял офицерскую книжку, куда-то запропастилась, а может быть, осталась в части, в моем личном деле, холера ее возьми!

— А где твоя часть?

— Если б я знал, болтаюсь по лесам, ищу ее…

— А ты из какой части?

— Из «Мертвой головы».

— Э-э-э, так она, говорят, из кольца вышла.

— Ну?

— А давно скитаешься?

— Да с месяц, пожалуй.

— Не беда. Завтра что-нибудь придумаем. Я напишу письмо полковнику, командиру нашего полка. Он человек незлой, ко мне относится хорошо. Он тебя оставит при нашей дивизии. Сейчас сам черт йогу сломит… Кругом такое творится, что особенно придираться не будут. В крайнем случае он может дать тебе отношение, что ты весь месяц провел в нашем полку. Передашь бумагу в комендатуру, и она разыщет твою часть. Давай спать.

— Я вижу, ты — человек…

— Надо же своих выручать… Что-нибудь сообразим. Давай спать.

Я слышал, как он зевнул в темноте и потянулся на хрустящей соломе. Через мгновение он храпел.

Я долго не мог уснуть. Все обдумывал, как надо правильно поступить в данной ситуации. Ничего путного в голову не приходило. Забылся в тревожном полусне…

Мне снилась тюремная камера, перекрестные допросы… И вдруг отчетливо увидел склонившееся надо мной женское лицо в косынке с красным крестом и явственно услышал: «Was fehlt Ihnen?»[38] Очнулся.

«Похоже, скоро буду в каком-то немецком госпитале», — подумал я и снова впал в забытье.

Утром первое, что я увидел, была моя форма — вычищенная, распяленная на самодельных плечиках из сучка и повешенная на

крюк, вбитый в бревно шалаша. Майор уже умывался где-то возле входа, фыркая от холода сентябрьского утра.

Снова была затоплена печурка, и мы с майором позавтракали на ящике, заменявшем стол. Меня все время беспокоила одна мысль: помнит ли он сказанное накануне или же был так пьян, что молол ерунду? Но он сам вспомнил вчерашний разговор и сразу после еды сел писать письмо.

— Как твоя фамилия?

— Люцендорф. Имя — Фридрих (это были имя и фамилия бывшего владельца моей капитанской формы).

— Так вот. Поедешь к командиру полка и передашь письмо. Скажешь, что я шлю ему сердечный привет.

Майор приказал оседлать мне своего коня и поручил двум солдатам сопровождать меня.

— Вот тебе охрана. — Он хлопнул меня по плечу. — Давай, танкист, скачи на четырех копытах. Все будет в порядке. Привет!

— Спасибо, майор, за гостеприимство. Будь здоров!

…Мы едем лесом — трое верховых. Утро тихое, слышен лишь гул самолетов в осеннем облачном небе. Я пытаюсь заговорить с провожатыми, но они сдержанны, на откровенность не идут.

Вот и конец пути. Невдалеке от дороги вижу большой белый дом со строениями вокруг. Видно, бывшая помещичья усадьба.

— Штаб вон в том доме, господин капитан, — говорит один солдат. — Здесь мы вас оставим. — И оба поворачивают коней. Я слезаю с Майорова вороного, они берут повод и в галопе исчезают из виду — я остаюсь один.

Прежде чем идти в штаб, сворачиваю в лес, сажусь на пенек под елку и обдумываю создавшееся положение. От немцев я выскочил, но фронта не перешел. На этот участок рассчитывать больше не приходится — здесь меня могут узнать в лицо. К Кринке возвращаться нельзя — нет солдатской формы и, кроме того, на хуторе могут быть немцы. Это несомненно. В руках у меня письмо к полковнику, который с майором в хороших отношениях. Есть шанс получить документ, который оградит меня от полевой жандармерии, от патрулей, от случайных недоразумений. Такой свежий документ, адресованный в комендатуру, мне крайне необходим. Получу его, рассуждал я про себя, а тогда поразмыслю над тем, в каком районе лучше снова переходить фронт… Но сначала надо прочесть письмо. Открываю конверт. Что за ерунда? Готика! Готического шрифта я не знаю. Смог только разобрать: «Господин полковник…» И все! Как же быть? Ну, думаю, видно было по всему, что майор доброжелателен и, очевидно, написал полковнику то, о чем говорил… Да, дела… А если полковник начнет что-либо

спрашивать? Ну, допустим: «Где отстали от обоза?» Отвечу: «В районе Ауце». — «Что за обоз?» Скажу: «Два экипажа для танков „Пантера“». Фамилию фельдфебеля я знаю, унтер-офицера тоже… знаю фамилию и командира полка, и командира дивизии… А спросит: «Куда шел обоз?» — «В Ту куме». — «А почему в Ту куме?» Отвечу: «Бои шли в районе Нарвы, подбитые танки ремонтировались в Риге, а в Тукумсе шло переформирование танковых экипажей…» Что ж, надо рискнуть. Другого выхода просто нет.

Во дворе штаба царила обычная суета: туда-сюда сновали мотоциклисты, подъезжали и отъезжали грузовики, бегали солдаты, спокойно похаживали часовые. Я подошел к дому, узнал, где находится командир полка, и поднялся к нему на второй этаж.

Усталый пожилой полковник сидит за столом. За ним, на стене, карта с флажками, обозначающими линию фронта. На столе два полевых телефона.

— Хайль Гитлер! Разрешите, господин полковник, передать вам письмо. Я разыскиваю штаб полка танковой дивизии «Мертвая голова» и попал в штаб вашего батальона…

Полковник молча протягивает руку, берет письмо, вскрывает его и читает.

— Ваши документы, — говорит он, не глядя на меня. Я достаю «марш бефель» на имя Фридриха Люцендорфа и подаю ему.

— Это все? — Полковник поднимает на меня рыбьи глаза, они бесцветны, как дождевая вода.

— Все, что я сумел сохранить. Вернее, что в данный момент имею при себе. Остальные документы в части, в моих личных вещах.

— Вы завтракали? — неожиданно спрашивает он.

— Так точно, господин полковник.

— Спускайтесь во двор и ждите вызова. Козырнув, я вышел окрыленный. Во дворе шла все та же суета. Возле пакгауза солдаты сгружали ящики с французского фургона.

— Сигареты? — радостно крикнул пробегающий мимо молодой унтер-офицер с папкой в руках.

Лейтенант, следивший за разгрузкой, передразнил его:

— Сигареты? Сигары, а не сигареты! Дадим русским прикурить!

— А-а! Фаустпатронен, — разочарованно протянул унтер и, заметив меня, козырнул.

Время тянулось бесконечно долго. Да, видимо, и на самом деле прошло не менее двух часов. Во двор въехал какой-то

мотоцикл. Я даже не обратил на него внимания, поглощенный своими мыслями. Вывел меня из раздумий резкий голос лейтенанта:

— Господин капитан, ваша фамилия Люцендорф?

— Да.

— Прошу запять место в коляске.

С упавшим сердцем я уселся в коляску, положив на колени свой автомат. Я сразу увидел, что мотоцикл принадлежит полевой жандармерии. Сзади водителя сел лейтенант, и я заметил, что он держит за пазухой белый конверт, в котором, очевидно, был мой «марш бефель». Мотоцикл затарахтел, рванулся вперед и вылетел на дорогу.

Побег

— Прошу вас, господин капитан, все лишнее выложить на стол. — Оберштурмбаннфюреру лет около пятидесяти, он лысый, тучный, голос у него жирный, рокочущий.

Я выкладываю пистолет ТТ, планшет с картами, вынимаю из кобуры «Вальтер», снимаю с руки компас.

— Часы тоже? — спрашиваю я.

— Часы можете оставить.

— Носовой платок?

— Оставьте.

— Тогда все.

Свой автомат я поставил в углу комнаты при входе в штаб полевой жандармерии.

— Вы свободны, — говорит толстяк лейтенанту и фельдфебелю, присутствующим здесь. Те уходят, и мы остаемся с оберштурмбаннфюрером с глазу на глаз.

— Садитесь! — рокочет он.

Я сажусь на стул и чувствую, что в заднем кармане галифе лежат «Браунинг» и запасные обоймы. Я забыл об этом, и мне стало не по себе.

— Когда вы отстали от части?

— Двадцать пятого июля.

— В каком районе?

— Недалеко от города Ауце, шли с юга на северо-восток, на Тукумс.

— Где ваша офицерская книжка?

— Осталась в повозке, вместе с другими документами.

Там был мой чемоданчик с личными вещами.

— Как же вы отстали от обоза?

— Из-за одной женщины. Отлучился по личным делам. А на обратном пути в темноте лошадь, перепрыгивая через канаву, оступилась и вывихнула йогу. Всю ночь я с ней провозился, не

вправить. Отвел на ближайший хутор, а в Тукумс был вынужден добираться на попутной машине. Но в Тукумсе обоза не оказалось — он где-то застрял в стороне от главной магистрали. В поисках его я потерял несколько суток. Начал искать штаб полка — не нашел. Штаб своей дивизии тоже не нашел и явился в штаб полка 218-й дивизии. Оттуда направлен к вам.

— Кто командир вашего полка?

— Полковник Крепе.

— У меня пока все, — пророкотал толстяк, записав мои показания. — К сожалению, я вынужден вас задержать, господин капитан. Правда, условия у нас неважные, но я думаю, что ваше дело в ближайшие дни уладим. Так что придется немного потерпеть. Я постараюсь облегчить, как смогу, вашу участь. Выходить из помещения вы сможете когда захотите, только будете давать знать. Я распоряжусь. Питаться будете лучше, чем другие. Табаком я вас обеспечу.

— Спасибо за заботу, — буркнул я.

— Лейтенант! — гаркнул толстяк. — Отведите капитана, — и тут же добавил, обращаясь ко мне: — Пояс и кобуру тоже оставьте здесь.

И вот меня приводят в какой-то сарай. Кругом кромешная тьма. Понемногу привыкаю, различаю деревянную лестницу, которая ведет на второй этаж, — там какое-то помещение, видимо с окном. Хозяева хутора занимают полдома, тайная полевая полиция — две комнаты. Рядом с нашим сараем — свинарник (слышно похрюкивание свиней). У хозяина есть и корова. Кроме меня, в сарае еще трое — немецкий солдат и двое гражданских: все они лежат внизу на соломе. В углу стоит параша. Я ложусь рядом с арестованными. Они молчат, я тоже. Два раза в день нас выводят во двор. Меня конвоируют отдельно.

«Не обыскивали, — думаю я. — Значит, не положено обыскивать офицера дивизии СС по уставу или потому, что взят не с поличным».

Арестанты каждый день меняются. Одних уводят, других приводят. Вот привели трех русских и одного латыша-подростка и в тот же день увели. Потом были два литовца и немецкий солдат-дезертир. Потом доставили еще одного русского, лет тридцати пяти, в ватнике.

На четвертый день оберштурмбаннфюрер вызвал меня к себе в кабинет.

— Могу вас порадовать, дорогой капитан! — объявил он. — Я же сказал вам, что не пройдет и недели, как я улажу ваше дело. Ваш вопрос решен. Вам полагалось два года концлагерей за дезертирство, но вы их избежали. Вам крупно повезло!

— Так что же решило начальство? — поинтересовался я.

— Ваша часть найдена. Правда, она уже в Германии, но я добился своего. Я надоедал, пока они не выслали сюда в котел офицера из штаба вашей дивизии. Он уже вылетел самолетом в Латвию — пришла радиограмма. Он вас заберет с собой, он вас знает лично. Таков порядок! Прибудете к себе в часть, а там все образуется. Чего только на фронте не бывает. Головы теряют люди, не только офицерские книжки. Ну как, надеюсь, вы довольны?

Я обомлел.

— Ну конечно, господин оберштурмбаннфюрер. Отлично! — с трудом выдавил я, стараясь улыбнуться, и тут же почувствовал, что капли холодного пота выступили у меня на спине под кителем и на лбу.

— Ждите. Сегодня, в крайнем случае завтра ваш коллега уже будет здесь.

«Очная ставка! Очная ставка!» — стучало в мозгу, когда я шагал под конвоем через двор. Ноги стали ватными, и я их не чувствовал. «Очная ставка! Он знает убитого офицера лично… Я погиб».

Было около десяти часов вечера. Я лежал на соломе, лихорадочно обдумывал свое положение и искал выход. Лежу, нервничаю. Прошусь в уборную. Стою там, наблюдаю за часовым. В щели между досками вижу второго, который сидит на крыльце, покуривая. «Да, отсюда не уйти! Перепрыгну через забор — скосит из автомата. Убью обоих часовых — из дома выскочат другие…»

Возвращаюсь в сарай, меня окликает толстяк. Иду к нему как на плаху. Вхожу. Он один, протягивает мне сигареты.

— Ну как, замучились ждать? Скоро, скоро… Не беспокойтесь, а то бы суд… Зачем вам это нужно? Сейчас стало строже… Но у вас, надеюсь, все обойдется… Сначала мне, правда, предложили привезти вас в Салдус, по я сказал: «Дорога плохая — дожди…» — «Ладно, — говорят, — офицер к вам сам приедет. Передадите с рук на руки». Отдыхайте, уже одиннадцать часов.

Снова сижу в сарае. В кармане у меня сигареты, кусок сыра и кусок колбасы от обеда. Остальным давали только хлеб и кофе. Я придвигаюсь к русскому в ватнике.

Дергаю в темноте его за рукав. Двое других спят, прижавшись друг к другу. В сарае холодно. Даю соседу колбасу, сыр, сигарету. Он доволен, начинает жевать. Через некоторое время шепчу ему по-русски:

— Поднимись наверх. Поговорить нужно.

Русский удивлен. Услышав русскую речь, он соглашается. Крадучись лезем на второй этаж. В вечерних сумерках можно различить небольшую железную печурку, стоящую под окном.

— Как тебя зовут? Парень несколько озадачен.

— Григорием звать, — помедлив, отвечает он.

— А ну подсади меня, я погляжу наружу.

Я встаю на печурку, подтягиваюсь на руках. Григорий поддерживает меня за ноги. Подоконник шириной с четверть метра, и я не могу дотянуться до наружного края окна (вернее, не окна, а отверстия в каменной стене сарая). Опускаюсь обратно.

— Ну что?

— Ничего не видно, только крышу дома, до того края не дотянулся.

— А ты что, бежать задумал? — Григорий в полумраке пыхтит сигаретой.

— Если не убегу сегодня, завтра меня расстреляют.

— Та-ак. Выходит, погорел… Ну, раз такое дело, лезь еще раз, может, дотянешься.

Я снова влезаю на печурку. Григорий встает рядом. Я подтягиваюсь, и Григорий, присев, подставляет мне плечи. Теперь я могу не только дотянуться до противоположного края окна, но и высунуть голову наружу… Вижу под сторожевым грибком часового, он курит, укрывшись от дождя. Спускаюсь вниз. Надо передохнуть.

— Ну что?

— Часовой сидит, курит. Лица не видно — под козырьком, а огонек от сигареты движется… Эх, хорошо бы мне спуститься йогами вниз…

— Для этого вдвоем тебя надо подсаживать и вдвоем поддерживать, — резонно замечает Григорий.

— Второго брать опасно… А знаешь, ногами вперед хуже будет, — говорю я. — Сапогами о мощеный двор стукну — часовой услышит — и пиши пропало!

— А если часовой спать не будет, тогда что? — слышу я в темноте голос Григория.

— А спать не будет, так хана! Приму открытый бой, у меня есть пистолет.

— Ну?

— Браунинг и десяток патронов к нему… Все равно расстреляют завтра и так и эдак! Погорел я, брат! Ничего не поделаешь, пропадать, так с музыкой!.. Полезу головой вперед, думаю, плечи пройдут… А ты меня подталкивай… Упаду на руки, может, сумею тихо, без стука, как мешок… Сколько там высоты-то… метра три, не больше…

— Убьешься. — В голосе Григория звучит тревога.

— А вдруг повезет… Меня, брат, фашисты три раза расстреливали, а я все живой… Если погибну, а ты выживешь, сообщи нашим, как погиб разведчик Сыч.

— Когда думаешь срываться?

— В три часа ночи, самое глухое время.

Мы тихо спускаемся вниз и ложимся на солому. Днем штаб полевой полиции № 306 охранялся тремя автоматчиками: один — у ворот, второй — у крыльца, третий — под сторожевым грибом возле тюремного сарая. Вечером часовой у ворот снимался и ворота закрывались. Часовой у крыльца обычно уходил в дом. Оставался только часовой возле сарая.

Было три часа ночи, когда я высунул голову из окна. На мое счастье, по крыше барабанил дождь. Часовой спал и похрапывал. Под моими йогами были плечи Григория. Я подождал некоторое время и нажал ногой на его плечо. По этому сигналу Григорий стал медленно выпихивать меня наружу. И вот я весь почти уже за пределами окна… Рывок, и я падаю! Падаю без шума, плашмя, как мешок. Удар о землю — и теряю сознание. Очнулся — лежу на каменных плитах. Часовой с автоматом на коленях в нескольких метрах от меня. Я медленно поднимаю голову, сознание мутится, голова как чугунное ядро, приподнять ее с земли нет сил. Пробую шевельнуть рукой, ногой — удается. Но голову поднять не могу. Страшная боль в шее. Я медленно, без шума переворачиваюсь на живот, потом с трудом встаю на колени. Изо рта и носа бежит кровь. Держу голову неподвижно, огромным усилием воли координирую движения, встаю на ноги, прихватив с земли фуражку, и, как лунатик, держа спицу прямо, чуть вытянув руку для равновесия, отхожу от сарая…

Это было почти немыслимо — у меня было явное сотрясение мозга. Как сумел я подняться, до сих пор понять не могу. Видимо, неистребимая жажда жизни и сила воли снова, как тогда из «рва смерти», подняли меня с земли.

Кое-как мне удалось добраться до каменной изгороди и зайти за угол дома. Изгородь была совсем невысокая, в другое время я бы запросто перескочил через нее, не держась руками. Но сейчас это было невозможно. Что делать? Стоило мне занести йогу — сразу терял сознание. Как же все-таки одолеть эту преграду? Снова пытаюсь перелезть — не могу. Выглянул за угол дома: часовой спит, а неподалеку от него валяется пустой ящик. Я нашел в себе силы осторожно подойти к ящику, захватить его одной рукой и перенести к изгороди. Все так же не двигая шеей, я встал на ящик, повернулся к изгороди спиной, сел на нее, затем повернулся боком и положил на изгородь одну ногу, потом

вторую, затем нащупал рукой край ящика, переставил его через себя, поставил по другую сторону изгороди, повернулся, поставил поочередно ноги на ящик, потом на землю и со страшной болью в затылке побрел вдоль изгороди, хватаясь за нее рукой. Наконец мне удалось оторваться от нее и уйти в поле… «Ушел, ушел, ушел!» — бормочу я.

И вот вижу перед собой дом. Тут я почувствовал, что моя левая рука, согнутая в локте, не разгибается, к боли в шейных позвонках прибавилась дикая боль в руке.

Я подошел к дому, постучал в окно. Кто-то мелькнул за шторкой, потом открылась дверь на крыльце.

— Kas tur? — спросил по-латышски мужской голос, и я увидел седого старика в куртке поверх белья.

— Vacißei ir? — спросил я, как умел, по-латышски.

— Nav,[39] — слышу в ответ.

Захожу в дом. Хозяин проводит меня в горницу. Стараюсь вспомнить латышские слова:

— Dzert![40]

Старуха наливает мне кружку молока. Я выпил, и тут же меня вырвало. Я потерял сознание… Когда я пришел в себя, старик уже разрезал ножницами рукав кителя. Рука была сломана. На вспухшем локте — синее пятно, и багровые полосы расходятся от него лучами… Я вынимаю правой рукой деньги и даю старику.

— Tas ir tev!

— Ne, ne! Nevaiag![41]

Я уже весь горю в огне. Кое-как подбирая слова, говорю:

— Atrak… Zirgs… Hospitalis Saldus… bet tad tev…[42]

Я показал ему жестами — расстрел! Старик понял, что я бежал из полевой жандармерии, и закивал головой…

В трюме

Сильный запах нашатыря вернул мне сознание. Лежу на носилках. Перед глазами возникают, как из тумана, лица, белые халаты, косынки, шапочки врачей.

— Was fehit Ihnen? — Надо мной сестра в косынке с красным крестом на лбу.

— Weiss ich nicht. Bei dem Panzerangriff vom Panzer stьrzen… Arm!.. Hals!…[43] — отвечаю, напрягая силы, чтобы не попасть впросак.

Меня раздевают, закрывают простыней, кладут на другие носилки и куда-то несут, видимо в операционную. Чувствую укол. Больше ничего не помню.

Очнулся в палате. Я весь в гипсовых накладках, шинах, бинтах. Грудь, шея, рука… Полное безразличие и апатия. Только ноющая боль в руке и холодная скованность в шее.

Вошел пожилой врач. Белые резиновые перчатки держат два рентгеновских снимка в металлических рамках, с которых еще стекают струйки воды.

— Hier, die Hals wirbel etwas gequetscht, der Arm gebrochen, Splitter im Gewebe…[44] — говорит он.

Температура у меня поднимается. Забытье заволакивает сознание. Но стоит очнуться, как мною овладевает смертельный страх — боюсь в бреду проговориться по-русски. Обливаюсь потом. Душат кошмары: мчатся немецкие мотоциклы, лают овчарки, они обегают стволы деревьев в лесу, в котором я спасаюсь, и летят мне навстречу… Чья-то землянка, я кидаюсь в глубину и зарываюсь в сено… Над входом собачьи морды, у каждой на голове каска. Одна овчарка хватает меня за руку — больно — и выволакивает из землянки, вцепившись в руку, тащит меня по земле… Я ударяюсь головой о стволы деревьев. И вдруг навстречу летит легковая машина, в ней сидит капитан Бёрш. Я кричу ему: «Господин Бёрш! Господин Бёрш! Я здесь!» Он поворачивается, и я, к ужасу, вижу, что это капитан Фридрих Люцендорф! «Верните мне мою форму! — шипит он. — А где фуражка?» — «Не знаю! — кричу я. — Я ничего не знаю!»

— Очнитесь, господин капитан! — Голос откуда-то издалека. Я открываю глаза. Рядом сидит фельдфебель. — Где ваши документы, господин капитан? — говорит он ласково.

— В кителе, — шепчу я пересохшими губами.

— В носовой платок я завязал часы, деньги, зажигалку, «Браунинг» две обоймы и записную книжку. А где ваши документы?

— Не знаю. Ничего не знаю.

— Как ваша фамилия?

Я с трудом понимаю вопрос и бухаю первое, что приходит на ум:

— Геринг.

Он, видимо, понимает, что я отвечаю невпопад.

— Я спрашиваю, как ваша фамилия?

— Мюллер.

— Имя?

— Генрих, — говорю я наугад.

— Генрих Мюллер, — повторяет он и записывает в бланк-анкету.

— Год рождения?

— 1919-й.

— Где родились?

— Дюссельдорф, — говорю первое, что приходит на ум.

Мне снова плохо, и я теряю сознание.

Очнулся, когда два санитара перекладывали меня на носилки. На груди правой рукой нащупал кожаный кошелек, висевший на шнуре. Залез в кошелек пальцами, вынул анкету: «Генрих Мюллер… Это, значит, я… Из Дюссельдорфа… Господи, не забыть бы!»

Носилки грузят на санитарную машину. Машина перевозит раненых на вокзал и потом в вагоны. Вот уже поезд стучит по рельсам…

Мне снова чудится автоматная очередь. «Не стрелять! — кричу я. — Не стрелять! Хайль!» Уже не поезд, а пароход. Подо мной что-то качается. Где-то глухо стучат двигатели.

Очнулся в трюме. Тысячи немецких раненых солдат и офицеров… Пароход идет из Либавы в Кенигсберг.

— Кому воды? Кому воды? — Голоса медсестер. И вдруг мужской резкий голос из рупора:

— Срочно каждого раненого снабдить спасательным поясом. Входим в зону действия вражеских подводных лодок.

Начинается качка… Забываюсь…

Так в октябре 1944 года судьба вынесла меня из Курляндского котла, и я покинул Латвию на немецком теплоходе «Герман Геринг».

Под сенью Красного Креста

Громадный черный пароход «Герман Геринг» утесом возвышался в порту Кенигсберга. Раннее осеннее утро окутало его туманом, свинцовая вода Балтики равнодушно плескалась у его корпуса, прижатого к причалу.

Портовая площадь оцеплена солдатами, за их спинами стояли горожане. Их было немного, наблюдавших за разгрузкой раненых, — немецких офицеров и солдат.

Санитарные машины с красными крестами сновали от порта до вокзала, перевозя по городу, представлявшему собой неприступную крепость, опоясанную тремя кольцами мощных железобетонных укреплений, этих полуживых людей.

Тогда нацисты не могли себе представить, что всего лишь через полгода эта цитадель прусского милитаризма рухнет и превратится в руины под натиском наступающих советских войск — с моря, суши и неба. А пока грозная цитадель величественно дремала в утреннем тумане.

Я проснулся от сильного толчка. Открыв глаза, долго не мог понять, где нахожусь. В полумраке передо мной горел ночник, освещая штоф оливкового цвета с вытканными по нему флорентийскими лилиями. Мне причудилось, что я снова в

гостиной замка Шандора в Будапеште. «Где я? Что это за свечи в канделябрах?»

Острый запах карболки и йодоформа отрезвил меня. Кто-то рядом стонал. Я огляделся. В купе спального люкс-вагона сквозь щелку между шторами пробивался свет. Я лежал на удобном диване, напротив на таком же диване разместился раненый полковник. В купе еще не были погашены ночники. Поезд стоял, было тихо, и только полковник, опустив на коврик свои белые худые ноги в кальсонах, сидел, покачиваясь, и скулил.

У него была по локоть ампутирована рука. Приподняв забинтованный обрубок, он медленно массировал его здоровой рукой.

— О-о-о, мученье, — сказал он, увидев, что я проснулся. — Всю ночь не спал. А вы спали как сурок. Счастливый.

Я не успел открыть рта, как зеркальная дверь купе бесшумно раскрылась и в проеме появилась фигура в черной сутане. Совершенно лысая, вытянутая голова пастора поблескивала на фоне коридорного окна.

— Господа офицеры! Именем Господним призываю вас с покорностью воле Божьей выслушать прискорбную весть, — начал он глухим голосом, слегка в нос. Руки его были покорно сложены где-то на уровне желудка, и лицо было такое, как будто его мучили колики. — Врагами великого рейха, дьявольской силой в образе большевистских подводных лодок были потоплены два следовавших за вами судна с мужественными сынами нашей великой Германии, так и не доплывшими до Кенигсберга, дабы излечить тяжелые ранения свои. Давайте вместе помолимся за погребенных в пучине морской и за то, чтобы души их попали в царство Божие…

— Что ж это, ваше преподобие, выходит, что сразу десять тысяч человек пошли на дно? — захрипел мой сосед.

Но пастор, словно не слышав вопроса, продолжал свою проповедь.

— Давайте, господа офицеры, возблагодарим Господа за ваше спасение, — он метнул колючий взгляд из-под очков в сторону полковника, — и помянем тех, кому не дано было благополучного избавления. Все в воле Господней! — закончил он и тут вдруг, расплывшись в благостной улыбке, добавил: — А теперь разрешите предложить вам, воевавшим и пострадавшим за родину, небольшой подарок от кенигсбергского Красного Креста. — Тут он посторонился, уступая место трем солидным дамам в белых халатах и белых накрахмаленных накидках с красными крестами, укрепленными большими заколками на высоких прическах.

Дамы выложили из корзин для каждого из нас по две бутылки французского коньяка «Мартель», по пять плиток шоколада и по три огромные желтые груши.

Церемонно раскланявшись, все вышли, закрыв дверь. Полковник, откинув штору и поглядев на мой китель с разрезанным рукавом, сказал:

— Ну что же, капитан: утопшим — вода морская, а живым — коньячок. Только как раскупоривать будем? У нас на двоих две руки.

— Так я буду одной рукой держать, а вы другой орудуйте.

Но оказалось, что заботливые немки заранее раскупорили по одной бутылке. Мне, по правде сказать, очень кстати была сейчас рюмка спиртного. Исстрадавшись на операционном столе, я потерял много сил и сейчас лежал как колода. У полковника, как истинного немца, был с собой дорожный несессер со стаканчиками. Затем он нажал кнопку звонка и вызвал старшего санитара.

— Что изволите, господин полковник? — спросил санитар.

— Вот что, голубчик, сообрази-ка нам с капитаном бутерброды с ветчиной и паштетом и горячий кофе.

— Слушаюсь, господин полковник. — И санитар вышел, осторожно прикрыв за собой зеркальную дверь.

Только после войны, приехав как-то в командировку в Калининград, я узнал от одного офицера морского флота, что Герой Советского Союза Николай Александрович Лунин (который в июле 1942 года на героической подводной лодке К-21 торпедировал фашистский линкор «Тирпиц») тогда, осенью 1944 года, торпедировал фашистский крейсер и крупный транспорт. Вернувшись в свой квадрат патрулирования, заметил в перископе шестипалубный «Герман Геринг». Но у Лунина уже не было ни одной торпеды. Тогда он связался с соседней подводной лодкой и пояснил обстановку. Ему ответили: «Из Либавы на Кенигсберг вышли шесть транспортов, все распределены, все на прицеле. „Герман Геринг“ на твоей совести. Нет торпед — иди на базу заправляйся». Вот почему «Герман Геринг» смог благополучно проскочить мимо нашего морского заслона…

Итак, простояв несколько дней в Кенигсберге, эшелон с ранеными наконец тронулся в путь и вскоре прибыл в конечный пункт назначения. Это был польский городок Польцин. Огромный немецкий госпиталь разместился в нескольких корпусах в старом парке.

После проверки документов и медицинских заключений раненых распределили по палатам. Ночью двое санитаров втащили мои носилки на второй этаж главного корпуса в палату

для офицеров.

На широкой никелированной кровати я утонул в мягкой перине под белоснежным бельем и разлегся на крахмальных простынях. Однако среди всей этой стерильной обстановки меня донимали вши: где-то в пути они забрались под гипсовые накладки, и до снятия гипса уничтожить их было просто невозможно. Паразиты кусали мне шею и плечи, и я с подвешенной рукой, с неподвижной шеей должен был подвергаться этой муке и терпеть, терпеть, терпеть… Особенно трудно было по ночам, приходилось принимать солидную дозу снотворного. В конце концов пришлось переменить гипс, несмотря на то что это было крайне опасно для шейных позвонков.

Главный врач, видя мои терзания, распорядился произвести полную дезинфекцию моей роскошной постели.

А пока медсестра по имени Магда сделала мне укол морфия, чтобы я мог отоспаться за несколько ночей.

Проснувшись утром, еще не раскрывая глаз, я услышал разговор соседей по палате: полковника и майора. Они обсуждали напечатанное в газете официальное сообщение по поводу смерти Роммеля, который скончался от тяжких ранений, якобы полученных при автомобильной катастрофе.

— Роммель был ранен во время бомбардировки американской авиацией, — говорил полковник, — и, насколько мне известно, он потом лечился в Париже, а затем переехал в свое поместье в Ульм.

— Совершенно справедливо, так оно и было, — подтвердил майор. — Но к нему в семью фюрер прислал двух генералов, которые увезли его в Берлин, а по дороге они сообщили Роммелю, что он причастен к заговору против Гитлера, и предложили ему принять яд, что он и сделал… Таким образом, не сообщая в прессе истинной причины его гибели, Гиммлер пощадил имя Роммеля, и потому в Берлине его хоронили с помпой — как «героя нации».

— Да, я тоже слышал эту версию. Но не знаю, насколько она правдива, — сказал полковник.

— А полковник Штауффенберг, подложивший бомбу в портфеле в летней резиденции Гитлера двадцатого июля, этот подонок и негодяй, вместе со своими сообщниками, — сказал майор, — расстрелян в Берлине во дворе военного министерства. Разве вы не помните? А потом уже пошли повальные аресты и приговоры «Народного трибунала», которые продолжаются и до сих пор. Пять тысяч казненных и десять тысяч в лагерях. А ведь это все высший командный состав… Большая потеря для армии…

— Слава богу, мы с вами еще живы, — заметил полковник. — Так что, пожалуй, лучше оказаться без одной ноги, чем с двумя ногами, но без головы, — резюмировал он.

— Здесь вы правы… Такое время…

Вслушиваясь в беседу, я решил не вступать с соседями в общение и отговориться тяжелой контузией. Но разговаривать все же пришлось. Грузный полковник, у которого была ампутирована нога, сел на своей кровати и опустил на коврик ногу в теплом носке.

— Мне надо начать ходить. Попробую освоить эти костыли. — Он потянулся за костылями, стоявшими рядом, и, подставив их под плечи, попытался походить по палате.

Майор, с простреленной рукой и с осколком в бедре, лежал не вставая и внимательно наблюдал за попытками полковника уместить свое тучное тело между костылями, которые чуть ли не подгибались под ним.

— Э-э, жидки костылики. Не могу даже как следует на них опереться, вот-вот треснут. — Полковник вдруг тихо рассмеялся. — Вот ведь как судьба играет человеком. Есть у меня в поместье, в сарае, старая коляска с рычажками, в ней ездил мой покойный батюшка, когда у него отнялись ноги. Я все собирался ее выбросить. Распоряжусь, бывало, а жена у меня бережливая, спрячет ее подальше и молчит до следующей уборки. И так было несколько раз. А вот сейчас вижу — жена была права. Я ведь смогу в этой коляске прекрасно передвигаться. Вот ведь как замечательно будет!

— Но у вас вторая нога здорова, господин полковник, можно заказать протез и ходить просто с палкой, — сказал майор, чистивший яблоко.

— Да в том-то и дело, друг мой, что здоровая нога у меня без пальцев, — ответил полковник, поставив костыли в угол, рядом с кроватью.

— Да что вы говорите! Неужели?

— Просто беда! Черт меня дернул обуться в хромовые сапоги зимой в этой проклятой России! К тому же сапоги были узковаты, и я начисто отморозил пальцы.

— Где же это было? — спросил майор, с аппетитом жуя яблоки.

— Под Москвой, в сорок первом в начале декабря. Там мне и ампутировали пальцы на левой ноге.

Напоминание о Москве болью отозвалось в сердце: с ней были связаны мои мечты, надежды на будущее. Мой путь к ней лежал через огонь и пепел войны. Вспомнились фронтовые окопы Измаила, рукопашные схватки на Полтавщиие, команды генерала

Кирпоноса, разбомбленные, истерзанные дороги отступлений, горящие украинские села, и снова, как из тумана, всплыл кировоградский ров смерти…

— А, новенький-то проснулся? — улыбнулся полковник. — С добрым утром! Откуда пожаловали — с Запада или с Востока?

— Из Курляндии, — нехотя ответил я.

— Ну, как там дела, капитан? — спросил он, взглянув на мою форму, висевшую на спинке стула.

— Невеселые дела. Русские уже под Ригой. Прибалтика отрезана от Восточной Пруссии.

Полковник горестно зацокал:

— Те-те-те. Малоприятные новости. И как теперь там мой полк мыкается без меня?

— Не беспокойтесь, господин полковник, незаменимых начальников нет под знаменем фюрера, которое осеняет храбрость наших солдат! — торжественно вымолвил майор и спрятал перочинный нож в ящик тумбочки.

Полковник закурил. Майор взялся за газеты.

О матери, о братьях и о Москве я старался не думать. Я вытравливал из себя то, что было мне дорого до святости. Боль воспоминаний способна была привести к эмоциональному стрессу и могла погубить меня. Ассоциации, связанные с прошлой мирной жизнью, с моими однополчанами, могли всплыть ночью, и, не дай бог, я мог во сне заговорить по-русски. Думать о родном доме было крайне опасно. Я это сознавал и радовался тому, что был повседневно загружен разными мыслями и тревогами, связанными с текущими делами и задачами, которые требовали от меня правильного решения и перестраховки, в соответствии с новым моим положением.

В палату зашла медсестра Магда с термометрами:

— С добрым утром, господа офицеры! Как вам спалось? Как самочувствие?

Майор оживился:

— С добрым утром, исцелительница страждущих. Самочувствие у нас превосходное, а как прошло ваше ночное дежурство?

— Не совсем благополучно, — сказала медсестра, поочередно ставя нам градусники.

— Что случилось? — заинтересовался полковник.

— Двое русских подрались костылями.

— Откуда же они тут у вас взялись? — спросил я.

— У нас их на первом этаже целая палата, господин капитан. Солдаты русского генерала Власова. Орут, горланят, пьют и дерутся. Представьте, залезли ко мне в тумбочку, — жаловалась

Магда, — вытащили бутылку со спиртом. Накануне стащили спирт на своем этаже, а вчера добрались до моего.

— Замки вешать надо, — проворчал полковник.

— Не замки, а их вешать надо, — чертыхнулся майор. — Вот уж кому-кому, а им я никогда не доверил бы немецкого оружия. Хамье! Скоты, а не люди!

Магда взяла у нас градусники, поглядела на них, стряхнула:

— У вас, господин полковник, нормальная. Можете ходить. У вас, господин майор, держится на тридцати семи и восьми десятых. Завтра утром не кушайте, возьмем анализ крови. У вас, господин капитан, тридцать девять и одна. Прошу вас не разговаривать до обхода врачей.

Последние дни в госпитале

Меня довольно быстро поставили на ноги. Через несколько недель я уже стал выходить из палаты в процедурную, мне прописано было грязелечение для руки, ее приходилось держать на подвесе с грузом. Груз постепенно увеличивался, и наконец из согнутого в локте положения рука выпрямилась.

С шеи был снят гипс, и благодаря ежедневным массажам я вскоре уже мог двигать головой. Жизнь госпитальных холлов, где немцы играли в карты и домино, меня не интересовала. Я пересматривал журналы и газеты.

И в поведении, и в высказываниях немецких офицеров я заметил разительные перемены. Теперь они часто ссорились, нервничали, утрачивая надменность, высокомерие и агрессивность, не были похожи на тех «бравых арийцев», каких я видел в госпитале в Днепродзержинске. «Завоеватели мира» теряли боевой дух, наступило душевное опустошение, появились апатия, равнодушие, страх перед будущим. Офицеры, получая письма от родственников и близких, полные слез и отчаяния, почесывали затылки. Предчувствуя приближение краха, они уже не надеялись на «сверхмощное оружие», обещанное геббельсовской пропагандой, и откровенно выражали сомнение в победном исходе войны. Даже матерые нацисты, приверженцы прусских традиций, в свое время свято верившие в свою «великую миссию» и «избранность германской расы», теперь не прочь были пошептаться насчет того, что немцы были жестоко обмануты и дали себя увлечь в бездну невзгод и преступлений кучке жалких авантюристов.

Однажды, перебирая газеты в комнате отдыха, я случайно оказался свидетелем разговора между тремя русскими белоэмигрантами — офицерами из соединений генерала

Краснова, присоединившихся к власовцам. Развалившись в старомодных мягких креслах, они играли в карты за ломберным столом.

Из их разговора я узнал, что Геббельс сожительствовал с пятнадцатилетней дочерью эсэсовца Кюпа. Начальник отдела берлинского гестапо Мюллер с помощью Гиммлера отправил Кюпа с семьей в качестве агента на Пёрл-Харбор — военно-морскую базу американского флота, на Гавайях, этим он пытался спасти Геббельса от преследования, так как жена Кюна была еврейкой. Такого «позора» нацисты терпеть не могли. Кюн в Пёрл-Харборе 6 декабря 1941 года световыми сигналами наводил «камикадзе» — летчиков-смертников на американские корабли…

Самой сенсационной новостью из радиопередач того времени было выступление Черчилля, в котором он якобы заявил, что снимает с себя всякую ответственность перед человечеством, если Гитлер возобновит применение на советском фронте газовых атак, и Берлин получит в ответ аналогичный удар. Офицеры говорили о высадке союзников Советской России в Нормандии, утверждали (и не без основания), что американцы и англичане сейчас спешат, ибо для них стало очевидным, что советские войска и без их помощи смогут завершить разгром немецких армий; поэтому они стремились как можно скорее встать на пути «большевистской опасности». Карточная игра закончилась тем, что один из офицеров, судя по обращению к нему, граф, спрятал колоду карт в карман госпитального халата и, встав из-за стола, произнес:

— Единственное, что нам остается, господа, — это есть молочную лапшу. В этом госпитале другого супа просто не варят.

В тот же день после ужина в кинозале демонстрировался документальный фильм о парашютистах-десантниках, освободивших дуче. Это была здорово нашумевшая история, когда эсэсовцу Отто Скорцени, исполнявшему строго секретные приказы самого фюрера, удалось выкрасть из-под ареста свергнутого в Италии диктатора Муссолини и доставить его в ротенбургскую штаб-квартиру Гитлера. Тогда за эту дерзкую операцию Отто Скорцени был произведен в штурмбаннфюреры СС и награжден Железным крестом первого класса.

В тот вечер Скорцени — начальник диверсионного отдела секретной службы СС — улыбался с киноэкрана. Безрукие и безногие кинозрители были ошеломлены. Детина огромного роста с рваным рубцом через все лицо, обвешанный автоматами, производил весьма внушительное впечатление. Муссолини находился в Абруцци. В этот труднодоступный горный район Гран-Сассе (Большой камень) на безмоторных планерах и

спустился десант Скорцени. Диверсанты действовали быстро и решительно. Пансион «Кампо императоре», находящийся под охраной карабинеров, был взят штурмом, и освобожденный итальянский дуче в сопровождении фашистских головорезов улетел в Восточную Пруссию, в ставку Гитлера «Волчье логово».

Вспоминается и еще один случай.

Как-то я спустился вниз, на первый этаж. Вижу, пожилая немка в белом накрахмаленном халате убирает коридор, подметает пол. Около палатных дверей, где я стоял, образовалась куча мусора. Я обратил внимание на клочки газет и вдруг на одном из них, к своему удивлению, прочитал: «Стихи С. Маршака и К. Чуковского». Я поднял с пола кусок газеты и незаметно для окружающих прочитал два стихотворения. Это была власовская антисоветская газета на русском языке, и вымели ее, очевидно, из палаты власовцев.

С детства я хорошо знал и любил стихи Маршака и Чуковского. Знал их стиль, творческий почерк, их поэтическое лицо, и поэтому сразу безошибочно определил, что это фальшивка. Люди, работавшие у немцев в печатных органах, чьи-то бездарные стихи подписали фамилиями известных советских писателей для того, чтобы порадовать власовцев, мол, и Маршак и Чуковский давно уже перешли на немецкую сторону и сотрудничают в их прессе. Дешевый трюк!

В те ноябрьские дни 1944 года в госпитале среди немецких офицеров снова вспыхнули слухи о якобы скором применении против русских нового «сверхмощного оружия». Слухи имели под собой определенную почву. Гитлеровская верхушка тешила себя иллюзией создания атомной бомбы. Исследования и научные эксперименты действительно шли полным ходом. Проблема расщепления атома и высвобождения при этом колоссальной энергии теоретически была уже решена. Усиливало практическую возможность создания бомбы и то, что под гитлеровским контролем в оккупированной Норвегии действовал завод по производству тяжелой воды, а в оккупированной Бельгии немцам удалось захватить тысячи тони высококачественной урановой руды, привезенной туда из Бельгийского Конго. Но создание атомной бомбы — эта сложнейшая научно-техническая задача — гитлеровцами в ходе войны так и не была решена. Во-первых, все основные военные заводы Германии (разведка знала, где они находятся) в любое время могли быть уничтожены американскими и английскими бомбардировщиками. Другой причиной провала было то, что автор проекта, который мог дать самые обнадеживающие результаты при создании атомной бомбы, был человек неарийского происхождения, и Гитлер лично

отклонил его проект. Кроме того, некоторые прогрессивные немецкие ученые специально тормозили в Германии научные работы и изыскания в области атомной энергии, ибо хорошо понимали, что дать Гитлеру в руки атомное оружие не только бесчеловечно, а просто смерти подобно. Несомненно и то, что процесс создания атомной бомбы требовал колоссальных затрат, а Гитлер к середине 1944 года уже не финансировал военные производства, не гарантирующие ему эффективного оружия, годного к применению на фронте в течение ближайших четырех-пяти недель. Кроме того, большинство ученых-физиков в Германии были еврейского происхождения и, боясь репрессий, давно эмигрировали из Германии, чем сильно подорвали и ослабили мозговой центр немецких атомщиков.

…И вот настал день выписки из госпиталя.

Я долго стоял в коридоре у окна, которое выходило в парк, занесенный снегом. Накануне чуть подтаяло, а за ночь подморозило, и сейчас, в конце ноября, деревья, одетые в хрустальную ледяную корку, сверкали ажурными переливами в лучах холодного солнца. Я смотрел, как по расчищенным дорожкам бегали медсестры, прогуливались выздоравливающие в военных шинелях, и думал, что большинство из них рады вернуться домой без рук, без ног, лишь бы не попасть снова в гитлеровскую мясорубку.

Я получил документы. Надел новую капитанскую форму, сунул в кобуру «Вальтер» и последний раз позавтракал в офицерской столовой. Допив горячее молоко со сдобной булкой, я оделся, взял чемоданчик и спустился по лестнице. Тяжелая дверь госпиталя захлопнулась.

Цена человека

Гостиница помещалась в трехэтажном старинном особняке с винтовой деревянной скрипучей лестницей, с небольшим рестораном и холлом внизу и уютными, старомодно меблированными номерами.

Я снял комнату во втором этаже за три марки в день и сейчас, вытянув ноги, сидел в кресле возле старинной кафельной печки, в которой, потрескивая, горели дрова.

В допотопном ореховом шкафу, хранящем затхлый запах нафталина и чужой одежды, висела моя шинель, на круглом столе, покрытом плюшевой скатертью, лежала кобура с «Вальтером». В углу стоял смешной умывальник с мраморной доской, зеркалом и резервуаром для воды. Старинная деревянная кровать была застелена выцветшим шелковым покрывалом. На

тумбочке возле кровати стояла лампа под голубым абажуром. Все это было похоже на театральные декорации для спектакля конца прошлого столетия.

Я принялся внимательно рассматривать свои документы, только что полученные в госпитале. Правда, они не на мое имя и в некотором роде фальшивы, но все-таки это настоящие документы, выданные мне самими немцами, и теперь никто не может сомневаться в их подлинности: «Генрих Мюллер, капитан танковой дивизии СС „Мертвая голова“, 1919 года рождения, из Дюссельдорфа». Это я!

У меня на руках:

• офицерская книжка;

• служебное предписание, по которому я должен к 10 января 1945 года прибыть в город Лисса на переформирование высшего офицерского состава танковых войск СС;

• выписка из госпиталя;

• направление в Дюссельдорф в двухмесячный отпуск;

• деньги, которые я получил согласно капитанскому званию, жалованье за два месяца — 1800 марок;

• продуктовые карточки на два месяца;

и, наконец, специальный документ для высшего комсостава войск СС, дающий возможность входить в любые организации, где на дверях написано: «Вход для немецких военнослужащих воспрещен», разрешающий также ходить в гражданской одежде. В случае проверки документов достаточно показать «пропуск», и полиция или жандармерия других документов уже не требует. При определенных же служебных командировках в удостоверении по ходу следования в военных комендатурах ставились специальные штампы, и в штабе части после возвращения офицера по этим штампам был виден маршрут откомандированного.

Итак, ознакомившись с документами, я подумал, что часть продовольственных карточек могу передать хозяйке гостиницы и она обеспечит меня трехразовым питанием, а за услуги при выезде я ей заплачу отдельно.

Я встаю с кресла, прячу в карман кителя документы и подхожу к окну. По двору носится громадная свинья. Мальчишка лет двенадцати в рваной стеганке и дырявых, больших не по росту сапогах бегает за свиньей с хворостиной, старается загнать ее в хлев. А в дверях кухни стоит немка-служанка и распекает его, грозя кулаком:

— Бездельник! Лентяй! Зачем свинью выпустил? Вот теперь не загонишь!..

Мальчуган бормочет:

— А что я могу сделать, если она загородку сломала!

«Мальчишка-то наш, угнанный, — думаю я. — Сколько их теперь здесь в неметчине, в рабстве? Тысячи!» И мне вспомнились эшелоны с запломбированными вагонами, ребячьи лица за решетками. Вспомнились землянки, куда прятались уцелевшие от бомбежек дети и старухи, вереницы ребят, которых уводили в леса, спасая от оккупантов, бородачи латыши.

Я ходил по комнате из угла в угол, обдумывая свое новое положение. Я снова один. Что делать? Где фронт и как до него добраться? Ехать в Лиссу? Крайне опасно! Танкистом я никогда не был, ни о технике, ни о порядках, ни об уставах толком ничего не знаю… Но если я не отправлюсь туда, в г. Лиссу, то после 10 января могу попасть под проверку документов — и тогда обвинение в дезертирстве, следствие, гестапо, казнь. Дюссельдорф? Я знал этот город только по карте и еще совсем недавно из газетной сводки узнал, что он основательно разбомблен американской авиацией. Какой же смысл ехать на развалины и искать то, что для меня вообще никогда не существовало? Может быть, уничтожить документы, достать гражданскую одежду и распрощаться с капитанской формой? Нет! Уничтожать документы пока нельзя. Все же форма капитана — это удобная маскировка, документы — право на жизнь, хотя бы на те два месяца, которые у меня в запасе.

С этими мыслями я надел шинель, фуражку с эмблемой «Мертвой головы» и, спустившись по скрипучей лестнице в холл, вышел на улицу Польцина.

Городок можно пересечь пешком за час. Сейчас центральное место в нем — кладбище. Оно притягивает к себе пожилых людей, в особенности женщин, ищущих утешения и защиты в молитвах о погибших.

На улицах открыты маленькие продуктовые лавчонки, в которых товары продаются только по карточкам. Работают сапожные и портняжные мастерские. Открыты аптеки. Красуются вывески зубных врачей с нарисованными искусственными челюстями, оскаленными ртами с новенькими зубами в розовых деснах. Корсетницы приглашают позаботиться об изящной фигуре: в витринах выставлены всякие сооружения из розовой резины, атласа и кружев. Шляпницы соблазняют прохожих довольно старомодными, запыленными моделями; но вряд ли кому-нибудь хочется в эти времена франтить. Не до жиру, быть бы живу!

Работают несколько кафе. В одно из них я забрел позавтракать на талоны моей продовольственной карточки. Польцинское пиво, сосиски и почему-то шпинат без соли — как

везде, так и здесь.

Днем зашел в казино, поиграл на бильярде, в скат с офицерами, выиграл 300 марок. Сумерки уже сгустились над городом, когда я забрел в кинотеатр. В зале было полно немецких солдат и офицеров. Досидеть до конца я не смог — один за другим шли трескучие фильмы, показывающие победоносный марш гитлеровской орды по городам Европы. Фильмы 1938–1940 годов. Многие немцы посреди сеанса так же, как и я, покинули зал. Да, не те уже времена.

Вернувшись в гостиницу, я зашел в ресторан и, сев за столик, обратил внимание на пожилого негра, который стоял, облокотившись о стойку буфета. Он был в черном фраке, под белоснежным воротником манишки — галстук бабочкой. Я подозвал его.

— Что прикажете, господин офицер? — спросил он на ломаном немецком языке.

— Бутылочку пива и канапе с паштетом.

— Пожалуйста.

Через минуту он уже нес на подносе заказанное.

— Вы здесь работаете? — спросил я.

— Я шеф-повар, господин капитан, но у нас заболели и метрдотель, и официант, и пришлось их на сегодня заменить.

— Присядьте и выпейте со мной пива, — предложил я.

— Нет, нет, что вы! Это не полагается.

— Тогда попрошу вас подняться ко мне в двенадцатый номер на втором этаже.

— С удовольствием, но зачем, позвольте спросить? — Он встревоженно покосился на меня желтоватыми белками глаз.

— Не беспокойтесь. Это вам ничем не грозит.

— Но я сейчас не могу. Я занят.

— Не важно, зайдите попозже.

Негр вежливо поклонился и отошел к стойке.

Я ужинал в пансионате у хозяйки. Из столовой была открыта дверь в кухню, и я заметил того русского мальчика, который загонял борова в хлев. Мальчишка стоял у притолоки черного входа с грязной миской в руках. Кухарка куда-то вышла, и я, подойдя к нему, спросил по-русски:

— Как тебя зовут?

Он изумленно вскинул глаза, губы его задрожали.

— Витя.

— Откуда ты?

— Из Ростова. Немцы увезли.

— Что ты здесь делаешь?

— За свиньями хожу.

— А живешь где?

— Со свиньями и живу, в хлеву. С ними и кормлюсь. — Он указал на миску с объедками и вдруг закашлялся до слез.

— Ты болел?

— На земле сплю. В хлеву холодина… К свинье подлез вчера, а она меня как хватит! — Он показал ранку на темной от грязи руке.

На кухонном столе стояла сковородка с котлетами. Я взял две котлеты и протянул их мальчику. Он замотал головой:

— Не надо, положите обратно. Тут все считают. Подумают, что я украл, — бить будут. Здесь все, все считают, — добавил он.

Я положил котлеты обратно. Вынул из бумажника десять марок:

— На вот тебе, пойди в аптеку, купи лекарство от гриппа, от простуды. Покашляешь — аптекарь поймет, какое лекарство тебе надо. Да поесть себе чего-нибудь купи. Только молчок, никому ни слова. Понятно?

— Спасибо, не надо. А то еще изобьют, ежели узнают, что я в город сам ходил. — Он посмотрел на меня глазами полными надежды и любопытства, но деньги все же запрятал в рваный сапог и тут же вышел за дверь.

Я поднялся к себе, зажег лампу, уселся в кресло с очередным номером газеты «Дас Рейх». Поздно вечером раздался тихий стук в дверь.

— Войдите!

Вошел негр. Осторожно прикрыв за собой дверь, он улыбнулся и спросил:

— Я не поздно, господин капитан? Быть может, вы хотите отдохнуть? — Теперь он был одет в элегантный костюм в мелкую клеточку. Под пиджаком был виден вязаный жилет василькового цвета.

Я предложил ему кресло. Еще с поезда у меня оставалось полбутылки коньяка. На столе стоял графин с водой и возле него два стаканчика. Я наполнил их коньяком, и мы чокнулись для первого знакомства.

— Прозит! — сказал негр и поднес стаканчик к своим синеватым большим губам.

— Прозит! — ответил я, и мы выпили.

Мы говорили по-немецки. Говорили о многом и разном. Постепенно он стал более откровенен. Показал мне фотографию, на которой были его ребятишки, рассказал о жене, о родне, о друзьях. Он был призван в американскую армию и в одном из боев взят в плен роммелевскими солдатами в Африке. Ему пришлось пройти через несколько лагерей, прежде чем он

оказался в маленьком городке близ Мюнхена, где был рабочий лагерь. Оттуда вместе с остальными цветными он попал на торг.

— Вы помните, господин капитан, такую книжечку «Хижина дяди Тома»? Наверное, в детстве читали.

— Помню, разумеется, читал.

— Так вот, я никогда не представлял себе, что в наше время в такой цивилизованной стране, как Германия, с такой техникой, наукой, культурой, можно попасть в загон для скота и быть проданным, как вол или баран. Если б вы видели, с какой тщательностью эта помещица, которая меня покупала, открывала мне рот и считала зубы, щупала мышцы и наконец предложила за меня… семь марок! Господин капитан, я сгорал от стыда, когда шла торговля между генеральшей, которая меня продавала, и помещицей, которая меня покупала. Генеральша требовала восемь марок, помещица давала — шесть! Наконец генеральша спустила одну марку, а помещица прибавила одну, и я, как преступник, в кандалах и наручниках, пошел за ней… Господин капитан, я пахал, убирал навоз, сеял, косил, собирал урожай, вдобавок был скотником и получал плети от управляющего, если одна из коров давала хоть на литр молока меньше, чем обычно…

Да, я понимал этого человека, понимал его обиду! Конечно, те женщины-старухи — генеральша и помещица — не были ни сотрудниками гестапо, ни СС. Это были «цивильные граждане», «добропорядочные» жители Германии. Но гитлеровский режим накрепко внушил им, что все рожденные не от немца, — не люди, а нечто вроде обезьян, рабочий скот, свиньи. И эти «милые, добродушные» женщины никак не хотели понять, что у купленного ими раба есть мозг, сердце, честь и гордость. Есть и достоинство, и самолюбие… И как же негру после того, что ему пришлось пережить, не испытывать презрения и ненависти к своим хозяевам.

— Долго вы служили у этой помещицы? — поинтересовался я.

— Целый год. А потом, во время регистрации в районе, какой-то тип узнал, что я в Америке был хорошим поваром. Он выкупил меня у помещицы за пятнадцать марок. Если б она знала о моей профессии, то заставила бы еще и еду готовить…

Мы заговорились допоздна. Негр несколько раз уходил и возвращался, приносил пиво и разные закуски, а когда мы прощались, смущенно протянул мне большую коробку, на которой была наклейка с верблюдом.

— Разрешите мне подарить вам сигареты «Кэмел» в знак моего уважения к вам и благодарности за беседу. Вы первый из немцев, кто предложил мне сесть с ним за один стол. Уму

непостижимо! — Он рассмеялся и добавил: — Я бы не поверил, если бы мне кто-нибудь сказал, что среди нацистов есть люди с человеческим разумом, гуманные люди, без расовой ненависти и предрассудков. Я пью за ваше здоровье, господин капитан. Прозит! — Он поднял стаканчик.

— Прозит! — ответил я, чокаясь и внутренне смеясь, как только в детстве может смеяться школьник, не умеющий плавать, а выдающий себя на чужом дворе за чемпиона по плаванию. От сигарет я отказался: — Помилуйте, так в этой пачке тысяча штук. Это же огромное состояние. Вы можете за большие деньги продать эту пачку в любом табачном магазине.

— Господин капитан, — лукаво улыбнулся негр, — я ведь знаю, что ваш офицерский паек — всего лишь две сигареты в день. А я получаю эти сигареты через Красный Крест, и у меня всегда большой запас.

— Разрешите, я заплачу за них.

Он посмотрел на меня и с горькой иронией в голосе ответил:

— Если я сам стою здесь не больше чем пятнадцать марок, то этим сигаретам пет цены. Разрешите мне подарить их вам от всего сердца.

Он вежливо поклонился, прижал правую руку к васильковому жилету и вышел, бесшумно закрыв за собой дверь.

…После войны, как бы в подтверждение рассказа негра о страшном рынке под Мюнхеном, где торговали рабами, я узнал, что 5 марта 1943 года на собрании членов нацистской партии в Киеве рейхскомиссар Украины Эрих Кох заявил: «…Мы избранная раса, раса господ, и должны всегда помнить, что последний немецкий батрак в расовом биологическом отношении в тысячу раз выше здешнего населения. И если ставить вопрос, нужны ли вообще нам эти люди, можно ответить: „Да, нужны, по только в качестве рабов!..“»

А 4 октября 1943 года в городе Познань фанатик-расист и убийца Генрих Гиммлер, правая рука Гитлера, поучая своих группенфюреров (генералов) СС, сказал: «…Для нас абсолютно безразлично, как живется русским, как живется чехам. Ту хорошую кровь нашей породы, которая имеется у других народов, мы добудем: если понадобится, мы отнимем у них детей и вырастим у себя. Живут ли другие народы зажиточно или подыхают от голода, меня интересует только постольку, поскольку они нам нужны в качестве рабов… Если десятки тысяч русских баб окочурятся при постройке противотанкового рва, меня это интересует, только поскольку противотанковый ров нужен великой Германии…»

Капитана Мюллера нет

Я жил в полном неведении, что будет со мной завтра, и не знал, что в эти дни к Будапешту уже подошли советские войска, что на севере была освобождена большая часть Прибалтики и вся Карелия и советские дивизии преследовали и громили гитлеровцев на территории Норвегии…

Однажды я, вспомнив, что офицер Ганс Штумм, у которого я выиграл триста марок, остался мне должен еще пятьдесят, решил зайти к нему домой, ибо в казино его больше уже не встречал.

Встретил он меня весьма дружелюбно, сразу рассчитался, извинился, что не мог передать деньги в назначенный день, так как эвакуировал жену и дочь на Запад к родственникам. Я принес бутылку коньяка. Мы сидели вдвоем, пили коньяк.

Из беседы с ним я узнал, что этот офицер СА (Sturmabteilungen — штурмовые отряды) еще в 1934 году 30 июня, переметнувшись на сторону Гитлера, участвовал в уничтожении Рема и других высокопоставленных чипов СА, враждовавших с Гитлером и претендовавших на его пост. После «ночи длинных ножей» Ганс Штумм служил в СС — в охранных отрядах, являющихся лейб-гвардией Гитлера, опорой нацистских бонз и боссов, и однажды получил приказ командовать эвакуацией с территории Норвегии секретного объекта, где располагались фальшивомонетчики.

Штумм рассказал мне, что весь тот секретный объект, с людьми и оборудованием, с августа 1943 года за колючей проволокой концлагеря Заксенхаузен в специальных бараках за № 18 и 19, в свою очередь также окруженных колючей проволокой, день и ночь работал, и типографские машины печатали фальшивые фунты стерлингов, доллары, рубли и кроны.

Мы долго беседовали на разные темы, и он стал со мною более откровенен. А это мне и требовалось.

Штумм изрядно проработал и в аппарате СД (служба безопасности, главный орган разведки и контрразведки фашистской Германии) и знал, как готовился «дворцовый переворот». Он рассказал мне, что Гальдер — начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии, в сентябре 1941 года, прибыв на Восточный фронт и узнав об уничтожении двух третей всех эсэсовских войск, тогда еще понял, что Гитлер погубит немецкую армию. Вернувшись в Берлин, он нашел единомышленников, желавших уничтожить «богемского ефрейтора». Среди них были — генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, генерал Людвиг Бек, генерал Хаммерштейн и другие.

Так вот, Штумм участвовал в их аресте и однажды при

задержании получил пулю в плечо, почему и лечился в госпитале Польциия, где в это время проживала его семья.

В конце беседы Штумм сказал:

— Гитлер просчитался. Он не знал сталинского экономического потенциала. Русские задавили нас техникой, да и солдат, рядовой русский солдат просто поразил нас своим беспредельным терпением и стойкостью. А сейчас мы обречены! Что с нами будет, не знаю! Ищу выхода из этой военной авантюры…

Мы дружески расстались, пообещав друг другу еще встретиться.

Я шел по ночному Польцину. Услышанная информация могла пригодиться, я взял ее на учет.

Пробыв в Польцине дней сорок, я решил все же отправиться в Лиссу. Надо было снова рисковать. Как мне подсказала купленная в магазине канцелярских товаров школьная географическая карта, город Лисса находился на территории довоенной Полыни. Расчет был такой. Пока есть возможность, надо использовать и офицерскую форму, и немецкие документы. Прибуду на место — все станет яснее. А пребывание в штабе немецкой дивизии — что-нибудь да значит. Наверняка узнаю что-нибудь ценное.

Приняв такое решение, я рассчитался с хозяйкой, купил билет и сел в поезд. Неиспользованные продовольственные карточки (не отоваренные в магазине) хозяйка мне, конечно, вернула.

Еще в Польцине я заметил, что кафе и столовые были разгорожены и над каждым отделением висели надписи: «Только для немцев!», «Только для поляков!». Говорить в любом общественном месте следовало только по-немецки.

В общий вагон, в котором я ехал, вошли две польские девочки лет двенадцати. Они беззаботно болтали, смеялись и о чем-то спорили. Сидевшая напротив меня старуха немка вдруг разозлилась.

— До каких пор эти свиньи, — кивнула она в сторону детей, — будут ездить с нами, немцами, в одном вагоне?

В вагоне наступило молчание.

— Это просто возмутительно! Вы согласны со мной? — спросила она майора, сидевшего рядом с ней.

— Нет, не согласен, — спокойно возразил тот.

— То есть как это понять? — кипятилась старуха.

— Какие же это свиньи? — Майор хитро подмигнул. — Вот у меня в поместье есть свиньи, так это свиньи, с хвостиками, с пятачками на рыльцах. А это же девочки!

— Вы издеваетесь надо мной! — взвизгнула немка. — Вы

член нацистской партии?

— Я — офицер великой Германии, — ответил майор, — но война пока еще не довела меня до такого кретинизма, чтобы я уже не отличал свиней от не свиней.

Старуху от бешенства затрясло.

— Вы слышите, что он говорит? — обратилась она ко мне.

— Да, слышу, — ответил я. — И считаю, что майор совершенно прав.

— Вы оба просто коммунисты! — Побелев от злости, старуха демонстративно встала и ушла на другой конец вагона и долго еще там зудела под одобрительные возгласы сочувствующих.

Я смотрел в окно, за которым мелькали заснеженные поля и леса, маленькие поселки с черепичными крышами. Видно было, как под конвоем немецких солдат люди рыли бомбоубежища, окопы, траншеи…

Я смотрел на них, и меня не покидали тревожные мысли. Из города Лисса будет запрошено личное дело офицера Генриха Мюллера, 1919 года рождения, из Дюссельдорфа. Что ответит Берлин?.. Ясно, что более десяти дней оставаться при части слишком рискованно… А может быть, Берлин вообще уже не отвечает на подобные запросы?

Не то время! Ведь сейчас идет разложение фашистского офицерства, все здравомыслящие немцы понимают, что война проиграна. Те, у кого рыльце в пуху, и те, кто совершали преступления против человечества, срочно делают пластические операции на лице, достают фальшивые документы и сматываются в Южную Америку, где они будут жить на награбленные драгоценности и деньги. Дезертиров сейчас ловят. После покушения на Гитлера тысячи немецких офицеров посажены в Дахау и Бухенвальд. В Берлине судят немецкий генералитет… До меня ли им там в их канцеляриях?.. Это вам не 41-й год… Вспомнились слова Белобородова: «Нельзя, чтобы немцы осматривали вас. Наколка на руке может вас подвести…» Да, эта деталь существенная, и она грозит разоблачением. А пять полосок за ранения на кителе? Где же немцы найдут у меня пять шрамов?.. Я задавал себе самые разные вопросы и на многие не находил ответа.

Поезд прибыл в Лиссу.

Два жандарма проверили на перроне мои документы и пропустили меня на вокзал, где было помещение для ночлега немецких военных. Дежурная немка в военной форме предложила мне воспользоваться одной из шести кроватей. Я было разделся, сиял китель, начал снимать сапоги и вдруг, неожиданно для дежурной, стал одеваться.

— Куда вы, господин капитан? — спросила она.

— Пойду в часть.

— Куда вы сейчас пойдете? Сегодня Новый год, праздник.

— Вот и хорошо. Здесь мне делать нечего.

Я вышел из вокзала и пошел по заснеженной мостовой. Ни единого следа не было видно на белоснежном покрове. Вокруг — тишина, ни одной машины, ни одного человека. Падал мягкий новогодний снег. Фонари вдоль тротуаров не горели, по окна домов были освещены. «Странно, почему Лисса не затемняется?»

Я шел очень долго и совершенно потерял ощущение времени. Мне уже все казалось нереальным, как вдруг мелькнула человеческая фигура, которой я, признаться, обрадовался. Поравнявшись с прохожим, видимо сильно выпившим, я спросил, где находятся казармы. Прохожий ответил, что я иду правильно, и посоветовал идти прямо и никуда не сворачивать.

Меня неотступно терзала мысль: ведь я приехал на должность командира танковой роты. Это же крайне сложно и опасно. К этой должности я совершенно не готов: высшие военные кадры дивизий СС имеют нацистское воспитание и обладают военными знаниями. Это представители высшей фашистской правящей касты. Элита, отпрыски немецкой знати. Сольюсь ли я с их средой? Малейший промах может оказаться для меня роковым. Разоблачение — смерть! Впрочем, только не думать об этом. Главное — самообладание! Не тушеваться, держать себя в руках. В крайнем случае скажу: «Была тяжелая контузия». Словом, теперь уж отступать некуда. Чему быть — того не миновать. Надо выдержать это испытание, экзамен на чекистскую зрелость. Все же я кое-что уже знаю и умею. И немецкий госпиталь в Днепродзержинске, и штабная рота капитана Бёрша не прошли для меня даром…

Наконец железная ограда, за которой находились корпуса казармы, вернула меня к реальности.

Я вошел в ворота, охраняемые часовым, который указал мне дежурку. Там я застал унтер-офицера и фельдфебеля: они встали и поприветствовали меня. Я предъявил свои документы.

— Пройдемте со мной, господин капитан, — вежливо сказал унтер-офицер.

И вот мы пересекаем огромный двор, входим в помещение, поднимаемся на второй этаж. Дежурный по этажу лейтенант подводит меня к какой-то двери.

— Пожалуйста, господин капитан, располагайтесь. Это ваша комната. Здесь вы будете один.

— А где же все?

— На встрече Нового года, господин капитан. Хотите туда?

Это совсем рядом, могу вас проводить.

— И что же там сейчас — пируют и красуется елка?

— Нет, елки, к сожалению, нет, но зато приглашен весь женский медицинский персонал местного военного госпиталя. Есть симпатичные женщины, — улыбнулся лейтенант.

— Устал. Только с поезда. Буду отдыхать.

— Как вам угодно.

Я вошел в комнату, разобрал постель, разделся, лег и заснул. Разбудил меня голос:

— Капитана Мюллера требует генерал! — В дверях стоял майор, дежурный по штабу.

Вскакиваю как ошпаренный.

— Я сейчас!

— Я провожу вас, — сказал майор и вышел в коридор.

И вот я в генеральском кабинете.

— Хайль Гитлер! — вскидываю правую руку. — Господин генерал, разрешите доложить! Капитан Мюллер из госпиталя № 2148 прибыл в ваше распоряжение.

Мои документы, которые по прибытии сдал дежурному, разложены на генеральском столе. Стою, сохраняя собранность и спокойствие. «Главное — самообладание!» Волнение выдает левое веко, оно почему-то начинает дергаться.

А генерал не торопясь вставляет в глаз монокль и сквозь него начинает методически изучать мои документы. Холодный пот прошибает меня. Потом обдает жаром. В горле возникают спазмы. «Главное — самообладание!» — инструктирует мозг. Смогу ли ответить на все вопросы? Ноги постепенно становятся ватными.

— Присаживайтесь, капитан! — говорит генерал и одним движением века смахивает монокль, который, качаясь, повисает на черном шелковом шнуре. Теперь я вижу его глаза, спокойно обозревающие меня и мои награды.

— Так, значит, вы прямо из госпиталя?

— Так точно, господин генерал!

— Где воевали? — спрашивает он, снова вдевая монокль и перебирая мои документы, словно что-то разыскивая среди них.

— В Курляндии, господин генерал. — Только что сев, я снова пытаюсь встать.

— Сидите, сидите. В какой же дивизии воевали?

— В танковой дивизии СС «Мертвая голова», господин генерал.

— А почему же вы так рано приехали в часть? Ведь ваш отпуск еще не окончился. — Он снова сбрасывает монокль, а у меня дрожит веко.

— Господин генерал! Дюссельдорф разбомблен, тысячи

жертв… (Я делаю скорбную мину.) Вряд ли мои сестра и мать… Я не был в Дюссельдорфе, боялся узнать самое страшное. Я снял отдельный номер в частном пансионе в Польцине, где находился госпиталь, и, пробыв у хозяйки дней сорок, выехал в часть.

— Да, Дюссельдорф почти полностью разрушен. Сильно разрушен и Кёльн. Это — национальная трагедия… Но вы — офицер. Ваш отпуск еще не кончился, а вы опять — в строй!

Тут я вскакиваю с места, бухаю напрямик:

— Служу великой Германии и моему фюреру! Хочу скорее на фронт, господин генерал!

— Садитесь, садитесь. Одобряю ваше желание, капитан. Ценю ваше патриотическое настроение. Но все же было бы разумнее побыть в расположении части вне службы еще некоторое время. Отдых — ваше вполне заслуженное право.

— Благодарю, господин генерал!

— Я назначу вас командиром танковой роты. И пока оформление пройдет все инстанции, вы присмотритесь и отдохнете еще с недельку. Согласны?

— Тронут вашей любезностью, господин генерал!

— Вы свободны. — Монокль вылетел из глаза, генерал опустил на мои документы свою подагрическую, с узловатыми пальцами руку.

И вот под моей командой два молоденьких лейтенанта, унтер-офицер, фельдфебель и денщик. И есть несколько дней, в течение которых я смогу освоиться с новой должностью.

Через педелю я принял на плацу танковую роту. Под звук фанфар во двор вышел генерал. Командиры рот по очереди подходили к нему с рапортом, среди них был и я.

С этого времени ежедневно на открытом «Оппель-Капитане» я ездил в поле на танкодром с группой офицеров высшего ранга, чтоб проводить занятия, учебные стрельбы, тренироваться в выполнении боевых задач танковых экипажей в зимних условиях. И конечно, как и следовало ожидать, делал одну за другой непростительные ошибки.

И вот я снова стою навытяжку перед генералом.

— Скажите, капитан, хорошо ли вы вникаете в значение научного труда нашего фюрера «Майн кампф»?

— Конечно, господин генерал.

— Тогда почему же на политзанятиях в вашей роте это гениальное произведение читается не вами лично, а вашим лейтенантом?

«Майн кампф» я заранее прочел. Она написана от первого лица, состоит из рассказов о детстве, юности и зрелых годах фюрера. В ней — бесконечные рассуждения о немцах, о «высших»

и «низших» расах, о капиталистах и рабочих, о евреях, о сифилисе и проституции. «Высшая цель арийца — блюсти чистоту крови, — изрекает Гитлер. — Государство — это организованная аморальность». Многие философские и политические суждения автор заимствует у Ницше, Шпенглера и Шопенгауэра. Культ силы и войны — основа гитлеровских теорий.

И вот генерал интересуется тем, почему я сам не читаю эту книгу на политзанятиях (к слову сказать, при чтении обычно присутствовал майор из штаба части). Я смотрю на монокль генерала, и ответ приходит неожиданно:

— Простите, господин генерал, но у меня из-за контузии плохая дикция. А такое произведение надо уметь донести до аудитории. Я нахожусь тут же рядом и всегда готов ответить на любой вопрос.

В следующий вызов претензии генерала были уже посерьезнее.

— Мне не нравится, — сразу начал он, — что вы, боевой офицер, нарушаете устав и разлагаете вверенную вам роту тем, что вместо положенного числа увольнений в субботу у вас почти вся рота шляется по городу, а фельдфебель постоянно пьян. Вы понимаете, капитан, чем это все может кончиться? Из-за своей мягкотелости вы теряете авторитет не только в глазах подчиненных, но и в глазах командования. Чтобы это было в последний раз! Вы свободны! Я повторяю, чтобы это было в последний раз!

— Слушаюсь, господин генерал!

Но когда я получил третий вызов в неурочный час, то понял, что испытывать судьбу больше не следует и лучше, пока не поздно, сматывать удочки.

За час до разговора с генералом я вышел в коридор, посмотрел расписание поездов, висевшее над столом дежурного по этажу лейтенанта, и нашел нужный мне поезд.

Расчет был такой: ехать не в сторону фронта, а несколько остановок на запад, в сторону Германии. Это для меня безопаснее. Я знал, что поезда на запад идут переполненные до отказа. В суете и неразберихе легче затеряться. А о том, что я буду делать после того, как покину поезд, я пока не думал, обстановка сама подскажет…

Я позвонил в гараж и вызвал машину к воротам казармы. Затем как ни в чем не бывало без личных вещей пересек двор, вышел на улицу и сел в машину.

— К базару! — приказал водителю.

— Есть к базару!

Когда машина остановилась, я вылез из нее.

— В гараж!

— Есть в гараж! — И машина умчалась обратно. И когда генерал, сидя за письменным столом, очевидно, вновь принялся рассматривать и изучать в монокль мои документы, я уже пересекал границу Польши и Германии.

Мясорубка

Вагон, в котором я ехал, был битком набит какими-то солидными немцами с семьями, чемоданами, узлами. По всей видимости, это возвращались из Польши в свой рейх цивильные грабители.

Я сел в крайнее купе, возле самой двери, и приготовился к любым неожиданностям. Сейчас мне грозила только одна опасность — проверка документов. Из документов у меня был только магический пропуск — удостоверение офицера дивизии СС. Я, конечно, надеялся, что, проверив его, других документов у меня не потребуют. Оружие я держал наготове и в любой момент готов был им воспользоваться. У меня был «Вальтер» и мой неразлучный дамский «Браунинг».

Сидя в мягком вагоне, освещенном тусклым светом, среди встревоженных людей, занятых своими делами, я стал перебирать в памяти все события последнего времени и пришел к выводу, что, поехав в Лиссу, ничего не потерял. Напротив, теперь я знаю укомплектованность офицерского состава и боеспособность танковой дивизии, подлежащей переформированию. Мне известны места оборонительных укреплений вокруг Лиссы и многие другие оперативные данные…

Поезд, замедлив ход, приближался к маленькому полустанку. В темноте едва можно было различить белое низенькое здание. Я стоял на подножке вагона, по коридору которого уже шли два жандарма.

— Проверка документов! — донеслось до меня, когда я на ходу спрыгивал с поезда.

Поезд с минуту постоял, затем пыхтя тронулся в путь, лязгнули буфера вагонов. «Теперь проверяйте!» — подумал я, пересекая платформу. Поезд растаял в заснеженной мгле. Я снова остался один. Постояв и поразмыслив, направился к домику, куда только что вошел стрелочник, дававший поезду отправление. Открыл дверь, вошел в помещение и без лишних разъяснений сказал:

— Мне нужен гражданский костюм.

Стрелочник молча смотрел, как я снимал с себя шинель, фуражку, расстегивал ремень с кобурой, выкладывал на стол «Вальтер».

— Вам ясно? Прошу пальто, костюм, ботинки, шапку. Не забудьте белье и носки. Военную форму и шинель я оставлю здесь, вы заройте все в снег. И пожалуйста, не задерживайте меня, меня ждут мои люди, — для перестраховки добавил я.

Он отлично понял, что ему надо делать. Из соседней комнаты выглянула его жена, он цыкнул на нее, и она мгновенно скрылась за дверью.

Пиджачная пара стрелочника, его белье и пальто пришлись мне почти впору. Но ботинки были маловаты, и поэтому я остался в своих сапогах. Я переложил в карманы брюк оружие и свою записную книжку.

— Есть у вас охотничий нож? — спросил я.

— Есть.

Он порылся в ящике стола и нашел складной охотничий нож. Я выложил ему остатки швейцарских, венгерских, румынских и турецких денег, прибавил к этому еще 500 немецких марок — чему стрелочник был очень рад, пожал ему руку и ушел, сказав на прощание:

— Сболтнете — не миновать пули! А за формой и шинелью придут мои люди. Сохраните!

Я шел по целине все дальше и дальше от железнодорожного полотна. Мела метель, идти было очень трудно, но я продолжал идти.

Шел всю ночь.

Наконец решил, что пора расстаться с капитанскими сапогами, которые могут меня выдать. Сел в снег и стянул с ноги сапог. Аккуратно отрезал охотничьим ножом голенище по щиколотку. Это же проделал со вторым сапогом и, обувшись в импровизированные полуботинки, зарыл в снег пару голенищ. Потом я решил отделаться еще кое от чего, принадлежащего капитану Мюллеру, разорвал на клочки письма медсестер из польцинского госпиталя и развеял их по ветру.

В темноте я вышел на проезжую дорогу. Здесь идти было значительно легче. Вдруг впереди я увидел тень верхового. Мы поравнялись. Не дожидаясь вопросов, я выхватил «Вальтер» и разрядил его в полицейского. Тот, так и не сказав пи слова, рухнул с коня. Я опрометью бросился наутек и побежал снова по целине прочь от дороги, все дальше и дальше, пока совсем не задохнулся и не упал в снежную яму…

Через несколько часов, на рассвете, в маленьком немецком городишке я уже нанимался работать к мяснику, внешность которого полностью оправдывала его профессию. Это был тучный тип, краснощекий, с тройным подбородком, не дававшим ему возможности глядеть под ноги, а его крошечные заплывшие глазки напоминали мне глаза австралийского попугая.

Поистине, судьба бросила меня сюда в это чудовищное заведение специально, чтобы дать возможность переоценить ценности. Каждое утро в ворота бойни вводились одна за другой

коровы. На ноги им надевались обручи с цепями, на рога — металлические наконечники с проводами, подключенными к току высокого напряжения. Секунда, и корова валилась мертвой. Тут же лебедка поднимала коровью тушу, переворачивала на цепях вверх копытами, восемь рабочих свежевали ее, спускали кровь, разделывали тушу на части, подвешивали части на крюки, гнали конвейером в другие цеха. Кровь сливалась в жбаны на кровяную колбасу, шкуры тут же отправлялись на кожевенные предприятия, кости, копыта, рога — все сортировалось. Ничего не пропадало, все до мелочи подсчитывалось, и из всего извлекалась польза. И так корова за коровой…

Меня поставили к машине — мясорубке. Она была выше моего роста, и я должен был с неимоверными усилиями, упираясь в ручку обеими руками, вертеть колесо. Фарш тут же поступал в мешалку с солью и специями, а потом шел к трубке, соединяющейся с еще теплыми, промытыми кишками. Получалась колбаса, которую время от времени рабочий перевязывал шнуром и подвешивал на крюки.

Вертеть эту адскую машину было невероятно трудно. Все работали молча, и только слышались команды:

— Гони кишки!

— Ящик для костей!

— Еще ведро для крови!

— Ток!

— Свежевать!

— Вагонетку для шкур!

На рабочих (в основном эвакуированных из разных мест) были негнущиеся фартуки из клеенки (свою одежду они оставляли в специальных шкафах при входе). Руки за день так уставали, что к вечеру пальцы едва сгибались. За работу полагалось всего три марки в день, мясной обед и одна сигара. Ночлега хозяин не предоставлял, и потому мне пришлось с большим трудом снять угол в переполненной гостинице.

С неделю меня никто не беспокоил. На восьмой день хозяйка гостиницы попросила меня сдать в полицию документы. Я отговорился тем, что мои документы на работе, хотя в действительности их вообще у меня не было. И даже офицерское удостоверение вместе с «Вальтером» я спрятал на чердаке полуразрушенного дома. Импровизированные полуботинки с отрезанными голенищами я выменял на базаре на старые эстонские унты, приплатив хорошие деньги. Собственно, единственным где козырем, где минусом мог служить у меня только «Браунинг».

— Непременно захватите свои документы сегодня же, —

беспокоилась хозяйка гостиницы. — Вечером я обязана сдать их в полицию для регистрации.

Я кивнул в знак согласия и вышел из ее приюта, зная, что больше сюда не вернусь.

Решив послать к чертям собачьим и мясорубку, и жирного мясника, я тут же из гостиницы отправился на вокзал и уехал, но теперь уже на восток, навстречу фронту. В ту же ночь я был снят с поезда, как не имеющий документов.

Три дня в полосатой куртке

Двор был обнесен шестиметровой кирпичной стеной. Земля залита цементом, и по нему белыми линиями обозначены три трека. Посредине двора — круглая железная клетка с вертящимся сиденьем на высоком постаменте. Здесь сидит фашист-автоматчик в черных очках и в каске. Он медленно вращается на сиденье, наводя автомат на три ряда заключенных, прогуливающихся по тюремным трекам. Два крайних ряда идут в одном направлении, средний — им навстречу. В среднем ряду политзаключенные в кандалах и наручниках, соединенных цепями. Они идут друг за другом, и цепи монотонно звенят: «дрень, дрень, дрень…» Я, сам не знаю почему, принялся искать среди политзаключенных Эрнста Тельмана. Мне казалось, что он именно здесь и я его вот-вот увижу. Всматриваюсь в хмурые суровые лица заключенных и никак не могу отыскать знакомое по фотографиям лицо.

Каска автоматчика, сидящего в клетке, тускло поблескивает под лучом зимнего солнца, сверкают черные зловещие очки, кружится ствол автомата. Семь минут узники в полосатой одежде ходят по кругу. С кирпичной стены, сверху, глядят на них два пулеметных ствола. В холодном январском небе кружатся редкие снежинки. У входа кучками стоят охранники и покрикивают:

— Молчать!

— Не разговаривать!

— Не отставать!

— Шире шаг!

Камера, в которую я попал, сырая, темная, на четверых. Два старика и молодой парень — все немцы, заняты тем, что плетут корзины из ивняка. Мне было предложено заняться этим же делом, но я отказался, ссылаясь на то, что никогда не плел корзинок, и мне принесли использованные конверты, которые я должен был отмачивать, переворачивать и склеивать — в Германии не хватало бумаги.

В обед открывается окошко-кормушка, проделанное в двери,

и в камеру передают миски с какой-то бурдой из тухлой капусты и свеклы. На второе получаем каждый по две вареные картофелины. Утром и вечером — по ломтику хлеба с маргарином или повидлом и эрзац-кофе. Прошло два дня. Наступает третье тюремное утро. Закончился завтрак. Сижу в камере, клею конверты. Соседи плетут корзины. Все работаем молча. Я всматриваюсь в лица немцев. О чем они думают? О чем? О свободной Германии без фашизма? О своей семье?.. Один из немцев, самый пожилой, чему-то улыбается. Что у него на уме? И вообще, что они за люди…

Как понять немца?

Вот жизненные факты, которые я запомнил в дни своих скитаний.

Бомбят немецкий городок, а дворник подметает улицу. Парадокс, но факт! Он имеет приказ и выполняет его даже под бомбежкой.

Немец-врач, покидая с семьей разбомбленный городок, не забывает снять с входной двери своей квартиры дощечку с расписанием часов приема. В этот, казалось бы, самый горький час его жизни он не забывает о своих клиентах: люди могут прийти и будут напрасно ждать.

Гестаповец конфискует старый костюм казненного — пригодится и это.

Палач в Дахау весной прибивает к виселице скворечник — он так любит птичек.

Я видел собственными глазами в Латвии в один из осенних дней 1944 года, как немецкий солдат после боя, уставший и грязный, получив котелок супа, под проливным дождем уплетал его жадно и быстро, сидя… на трупе унтер-офицера! Да, он сидел на спине убитого, голова которого, видимо оторванная снарядом, лежала в грязи несколько поодаль… Что можно сказать об этом солдате? Нормальный ли он человек?

А как понять ту немку — старую седую женщину, которая в поезде назвала двух польских девочек «свиньями»? Как понять ее? Неужели Гитлер, придя к власти, и впрямь сумел убедить ее, уже немолодую женщину, что все поляки — свиньи?

А как можно понять главного хирурга немецкого госпиталя в городе Александрия Отто Шрама? Человек, казалось бы, гуманной профессии, спасавший жизни одним людям, других посылал на смерть? Разве в обязанности хирурга входило вмешиваться в административные дела лагеря и быть одновременно палачом? Его бесчеловечное отношение к пленным — результат выполнения гитлеровских заповедей, гласивших: «Забудь на войне, что ты человек! Тебе разрешается

убивать людей — убивай! Главное — меньше всего раздумывать и размышлять. Всякие размышления лишь сокращают жизнь и сушат мозги. За тебя думает фюрер. Завоюешь одну страну, завоевывай другую. Умрешь — так суждено. Победишь — получишь землю, дом, автомобиль и много рабов…»

Повсеместно был провозглашен лозунг: «Повелевай, фюрер, мы следуем за тобой!» «Мы должны, — говорил Геббельс, — апеллировать к самым примитивным, к самым низменным инстинктам масс. Немецкий народ надо воспитывать в абсолютно слепом восприятии веры…»

Я поглощен своими мыслями. Немцы плетут корзины. Они молчат. Один из них улыбается. Что у него на уме? Надзиратель смотрит в «глазок». А я все склеиваю конверты и думаю, думаю…

Как могло так случиться, что нация, которая дала миру Гете и Бетховена, Шиллера и Шуберта, погубила миллионы жизней в Освенциме и Бухенвальде, Равенсбрюке и Дахау? Как могло это случиться? Да, звериная гитлеровская клика была вскормлена своими предками — алчной помещичьей и аристократической знатью, мечтавшей о покорении мира и превращении человечества в своих рабов…

Уместно вспомнить слова садиста и циника Гиммлера. «В эсэсовских частях не нужны люди, которые мучаются какими бы то ни было душевными конфликтами, — говорил он. — Эсэсовец должен быть готов прикончить собственную мать, если получит на то приказ…» А как гитлеровцы обработали немецкую молодежь? С шестилетнего возраста детей лишали таких понятий, как мораль, честь и совесть, муштровали в гитлерюгенде, учили драться, колоть людей ножами, шпионить, стрелять, учили ненавидеть людей неарийского происхождения: евреев, славян, французов, американцев… Шло массовое производство преступников-бандитов, происходила идейная и духовная стерилизация миллионов подростков…

С немцем, самым пожилым, молчаливым и истощенным, с руками изуродованными изнурительным физическим трудом, я встретился глазами, и мы улыбнулись друг другу, хотя каждый думал о своем.

Да, радужные надежды на «золотые россыпи в России» лопнули как мыльный пузырь. Гитлеровская стратегия на всех фронтах терпит крах, в плен сдаются целыми батальонами. По Германии шествует призрак разложения. Фашизм мечется, как зверь, загнанный в клетку. Народ в тисках уныния и пессимизма.

За тюремным окном — далекие взрывы. Немцы, не отрываясь от работы, прислушиваются к бомбежке. Молчат. Передач никто не получает. Очевидно, все не местные.

Война пришла и сюда. Пришла и принесла возмездие тому, что было порождено фашизмом на гладко причесанной земле и поддержано теми, кто сжигал книги классиков на кострах, маршировал гусиным шагом под бравурные марши и пел: «Дойчлаид, дойчланд юбер аллес!», а потом, попав на Восточный фронт, убивал, пытал, грабил, жег, насиловал, и опять убивал, и опять насиловал…

Война пришла и сюда…

В камере тихо. Немцы плетут корзины.

Внезапно открывается дверь и появляется тюремщик:

— Фридрих Доннер, к следователю!

Латыш-колонист немецкого происхождения, Фридрих Доннер, — это я! Шагаю за тюремщиком, спускаемся на первый этаж. Стражник пропускает меня вперед. За столом в камере с зарешеченными окнами сидит мужчина средних лет в синем гражданском костюме.

— Садитесь!

Допрос шел на немецком языке. Я присел возле стола.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцать четвертый.

— В армии служили?

— Нет, не приходилось.

— Каким образом попали в Германию?

— В сентябре прошлого года, когда латышское население выехало в Германию из Либавы, очутился в Лейпциге. Но я был разлучен с отцом. Отца перевели в Шпремберг, и тогда я решил поехать туда и отыскать его…

— А где же ваши документы?

— Еще в Латвии их отобрали у меня и так и не вернули.

— Значит, вы попали в рабочий лагерь? — допытывался следователь.

— Да что вы! Я жил в городе на частной квартире и работал переводчиком при одном из лагерей для перемещенных лиц в Лейпциге, у майора Холингера.

— Кто этот Холингер?

— Начальник лагеря.

— Какими языками владеете?

— Немецким, латышским, русским.

— Выходит, что из Лейпцига вы просто сбежали?

— Зачем? От кого? Я отпросился у майора Холингера к отцу на несколько дней, сел в поезд и поехал в Шпремберг, но был снят с поезда и доставлен сюда.

— Откуда у вас «Браунинг»?

— Мне подарил его майор Холингер.

— За что?

— За хорошую работу в качестве переводчика.

— Но вы же не военнослужащий? — допытывался следователь.

— А при чем тут военнослужащий? Я два года был переводчиком у командира роты капитана Бёрша в танковой дивизии СС «Великая Германия», тоже не был аттестован как солдат, но всегда был при оружии, и это там поощрялось. Ходил и в военной форме, и в штатском.

Зацепившись за Бёрша, следователь стал скрупулезно допрашивать меня, пытаясь в чем-либо уличить, по здесь я был на сто процентов неуязвим, и все мои ответы, касающиеся 2-й штабной роты Бёрша, звучали настолько точно и правдиво, что следователь в конце концов поверил, что все было именно так, как я отвечал, — и поверил в мою добросовестную службу на благо немецкого рейха.

— Вы убедили меня, — сказал следователь. — Я верю в вашу искренность. И я за вас спокоен.

Потом в непринужденной беседе я узнал, что, оказывается, следователь родился в русской семье в Германии, куда его родители эмигрировали в 1919 году. И 2-й штабной ротой капитана Бёрша он заинтересовался только потому, что сам с начала войны служил переводчиком при штабе танковой дивизии СС «Великая Германия» и капитана Бёрша знал лично…

— Ну что же, — сказал следователь, как бы подводя итог своего допроса, — желаю здравствовать и честно служить великой Германии!

— Благодарю за доверие!

В эту минуту вошел еще какой-то штатский и отвлек внимание следователя, видимо, более серьезным вопросом, чем мой. Меня отправили обратно в камеру. Я был спокоен: Латвия, наверно, уже освобождена советскими войсками и проверить мои выдумки невозможно. К тому же сейчас в Германии сотни тысяч перемещенных из самых различных стран Европы, и разобраться, кто бежал из Германии, а кто — в Германию, было просто немыслимо.

На следующий день меня вызвали в тюремную канцелярию, вернули одежду, вернули «Браунинг» и отослали в военную комендатуру для зачисления в «фольксштурм» — народное ополчение.

И вот снова солдатская форма. «Все лучше, чем полосатая куртка», — думал я, подпоясываясь ремнем и пристраивая на голове пилотку. В кармане у меня солдатская книжка, на плече винтовка, в руке лопата и кирка, я иду в строю

фольксштурмистов — рыть окопы на окраине городка.

Но рыть пришлось недолго, всего один день. Наутро я был снова вызван в комендатуру.

— Вы владеете двумя языками?

— Так точно, господин лейтенант.

— Мы направляем вас в Познань, в школу переводчиков. Лопату у нас есть кому держать, а иностранными языками владеют не многие, поэтому вот вам предписание. Отправляйтесь на вокзал и следуйте по указанному маршруту.

Я вышел из военной комендатуры, обрадованный тем, что мне снова предстоит дорога на восток.

В Познаньскую школу переводчиков я ехал не один, из комендатуры нас вышло двое: я и эстонец Айво Лемистэ. Это был хмурый и озлобленный тип, садист и профессиональный убийца. Родился он в 1918 году на острове Сааремаа в богатой семье. К 1940 году, к приходу советской власти, его семья уже жила на материке в поселке Вийнисту. Отца раскулачили, и одна из коров и часть земли были переданы земельной управой их соседу-бедняку. Айво прятался в лесу, избегая мобилизации.

После оккупации Эстонии фашистами Айво убил старика соседа и оставил рядом с окровавленным топором записку: «Вот тебе, гад, за корову и за землю!» Затем он вступил в военно-фашистскую организацию «Омакайца», будучи уже бандитом — «лесным братом». Потом вступил в карательный отряд, состоявший главным образом из националистов и уголовников. Как и его сообщники, он грабил, насиловал, пытал, вешал, убивал… Особенно их карательный отряд зверствовал во Пскове и его окрестностях. Наемные убийцы охотились за эстонскими коммунистами, убивали советских активистов, вырезали целые семьи, не щадя ни стариков, ни детей. При отступлении немцев из Эстонии Айво Лемистэ бежал в Германию…

Последний диктант

— Последний поезд! Последний поезд!..

Вся платформа вокзала в Познани кишела вопившими, потерявшими головы немцами и немками, которые во что бы то ни стало стремились уехать на запад, домой, «нах фатерлянд».

Мы сошли с поезда и попали в самую гущу толпы, которую администрация и полиция пытались убедить, что этот поезд только что прибыл, а не отбывает. Это было безнадежно. Люди с коврами, саквояжами, чемоданами, сумками и тюками, с кошками и болонками на руках осаждали вагоны, из которых с проклятиями пробивались приехавшие.

Кто-то истерично вопил:

— Русские далеко? Русские далеко? Куда они прорвались?

— Говорят, они уже в Бромберге.

— Боже! — причитала какая-то дама. — У меня в Бромберге осталась столетняя бабушка.

Громкий, скрежещущий голос диктора объявил по радио: «Внимание! Внимание! Всем военнослужащим города Познань! Сообщение военного коменданта. Сегодня в пять часов утра, согласно приказу фюрера, за дезертирство из армии расстреляны: обер-лейтенант Макс Крумм, унтер-офицер Густав Мильде, ефрейтор Ганс Урле…» Железный голос называет еще около десятка званий и фамилий. Военные, прислушиваясь, замедляют шаг. Я вижу среди них беспокойно озирающихся по сторонам.

Голос диктора сменяется магнитофонной записью речи Геббельса, который дребезжащим тенорком пытается поддержать воинственный дух германской армии. Но сейчас эта речь — как мертвому припарки.

Познаньская школа переводчиков помещалась в двух мрачных многоэтажных корпусах, соединенных чугунными воротами, которые охранялись часовыми.

Пока часовой проверял наши документы, я смотрел, как во дворе школы вооруженные люди в солдатской форме занимались строевой подготовкой. Буквально через несколько суток этот прусский гусиный шаг сменится обыкновенным «драпом» — по-пластунски, на четвереньках, как угодно, вопреки уставам, правилам, достоинству и чести немецкого воинства!

Дежурный по школе проводил меня в правый корпус на второй этаж, в комнату-спальню, где на трехъярусных деревянных нарах с лестницами лежали подушки и одеяла. Посредине стоял стол со стульями. На столе — газеты и журналы. Комната-спальня была рассчитана на двенадцать человек. Мне досталась койка на верхнем ярусе.

Через полчаса я уже дрыгал ногами во дворе, отрабатывая гусиный шаг. Затем обед в общей столовой. А после обеда — занятия, и мне пришлось писать с группой студентов диктант на русском языке. Преподаватель — сухопарый немец — с акцентом диктовал отрывок из «Анны Карениной»: «Купаться было негде, весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался…»

Я слушал диктант и мысленно улыбался: «Ишь, выбрал, немчура, долго, поди, искал кусок неприглядной России», — и я нарочно писал «купаца», «скатиной», «ривел», дабы не возбудить к

себе излишнего интереса.

Правый корпус школы готовил переводчиков для административно-хозяйственных служб. Левый был под особой охраной — там была школа диверсантов, и как раз туда был откомандирован эстонец Айво Лемистэ. В тот же вечер я заметил из окна, как во двор из соседнего корпуса выносили большие ящики с черными надписями: «В Берлин!» Это были, видимо, секретные документы.

Как всегда перед бурей, в этот вечер было тихо, но чувствовалась какая-то настороженность, и, когда утром где-то вдали глухо заговорили орудия и в небе над Познанью появилась семерка советских штурмовиков, я понял, что ждать мне осталось совсем недолго.

С рассветом школа переводчиков прекратила свое существование. Она снялась, вооружилась и за два часа была полностью переброшена на окраину города. Три покинутых хозяевами особняка и какая-то казарма возле железнодорожной насыпи и моста вместили в себя переводчиков из обоих корпусов. Жизнь школы была совершенно нарушена, занятия не проводились, каждый делал что хотел, и только к вечеру появились расписания дежурств на патрулирование за мостом. Весь день я был предоставлен самому себе и потому, припрятав в надежное место противотанковое ружье, выданное мне фельдфебелем, пошел в город.

За одну ночь улицы приобрели такой хаотичный вид, словно по ним прошелся ураган. На улице валялись детские коляски, стулья, столы, сундуки, белье, миски, кастрюли, детские куклы и ночные горшки, манекены, вилы, грабли, лыжи и коньки любых размеров. Это были, очевидно, вещи, которые хозяева не смогли взять с собой. Вокруг — ни души. Двери домов раскрыты. Стекла окон выбиты. В этом районе уже ночью падали советские мины и снаряды. Местами лежали убитые, запорошенные снегом. Ночью была пурга. Жители города попрятались по подвалам, и никто не показывался наружу. Все магазины открыты, товары в них разбросаны, видимо, хозяева не знали, что брать с собой, и удрали, впопыхах бросив все свое добро на произвол судьбы. Как в сказочном детском сне, я один бродил по двухэтажному универмагу. Там, где еще вчера люди стояли в очереди и платили деньги за нужные им товары, сейчас было пустынно. На вешалках висели пальто и костюмы на любой возраст и фасон. Валялись ящики с чулками и детским бельем. В обувном отделе — горы модельной обуви. И только вскрытые ящики касс свидетельствовали о последних финансовых операциях исчезнувших владельцев.

Я подобрал себе по росту костюм, рубашку, пару белья и носки. Выбрал небольшой чемодан и сложил в него свое благоприобретенное богатство. На улице стало смеркаться, и я услышал доносившиеся сюда резкие хлопающие взрывы — где-то довольно близко рвались советские мины. Я понял, что фронт — у стен Познани, и решил этой же ночью оставить общество несостоявшихся переводчиков.

Фронт в трех шагах

Ставлю перед собой задачу: к сведениям о дислокации немецких гарнизонов, обороняющих город, раздобыть еще данные по оборонительным рубежам в районе железнодорожной насыпи и моста. В ста метрах от участка, где расположилась школа переводчиков, находился железобетонный бункер: в нем располагался штаб района. Делая вид, будто я разыскиваю начальника оборонительного рубежа, я проник в этот бункер и застал там группу офицеров, склонившихся над оперативной картой и оживленно обсуждавших последние сводки с фронта. Из их разговора я многое понял и запомнил, к тому же узнал ночной пароль. Тихо выйдя наружу, я добрался до укромного местечка, где спрятал свой чемодан, взял его, перелез через проволочное заграждение и попал в запретную зону, которая контролировалась только патрульными: линия фронта была отсюда уже не больше чем в четырех-пяти километрах.

Передо мной — огромное заснеженное поле, усеянное черными пятнами воронок, за мной — насыпь и мост, слева — квартал особняков, покинутых хозяевами. Поравнявшись с последним особняком, стоящим на перекрестке, я пошел в него. Комната, в которую вела дверь из коридора, была не освещена, в разбитые стекла проникал холод. На фоне зловеще-пунцового заката, посреди комнаты стояла женщина, закутанная в плед. Она молча села за стол. Я подошел к столу, положил винтовку и сел у другого конца стола, засунув под него чемоданчик. Стол был длинный, обеденный. Мы сидели в сумерках, уже не видя друг друга, и молчали. В окно доносилось гудение фронта — непрерывное, рокочущее. Наконец я о чем-то спросил по-немецки, она что-то ответила. Мало-помалу ожили мысли, слова, движения.

— Еды в доме нет, — ответила полька на мой вопрос, — и воды тоже нет.

— Может быть, где-нибудь поблизости есть лавчонка? — спросил я, вспомнив о продуктах, брошенных в магазинах. — Ведь нельзя без еды, надо что-нибудь достать.

— Тут недалеко есть конфетная фабрика, через три дома от нас, налево за углом.

— А санки у вас есть?

— Есть детские, в подъезде.

…Желтый глаз карманного фонарика обежал степы, полки, шкафы, кипы упакованных сладостей, огромные валы кондитерских агрегатов с конвейерами, пультом управления. Под ногами хрустел сахарный песок. Пальцы попадали то в какой-то крем, то в тесто. Я жевал печенье, шоколад, вафли.

А пахло… Так пахло, как когда-то, когда мальчишкой бежал от Белорусского вокзала на свою Башиловку через Ленинградское шоссе, и ветер доносил с кондитерской фабрики дивный запах — ванили, шоколада, свежего теста и еще чего-то такого давно забытого… наверное, просто запах детства…

Я погрузил на сани чемодан с конфетами и сладостями, прихватил его ремнями к саням и потащил по сугробам в дом на перекрестке. В конце улицы я увидел две тени — это был патруль. Придерживая винтовку на плече, невозмутимо шагаю им навстречу, таща за собой сани. Патрульные прошли мимо, даже не обернувшись, напротив — один посторонился, видя, как я стараюсь.

— Вот вам чемодан с конфетами, — сказал я, войдя в комнату.

Но хозяйка не притронулась к моей добыче. Ее лицо, освещенное лучом фонарика, выражало полное оцепенение. В разбитое окно я снова увидел парный патруль. Это заставило меня насторожиться. «Пожалуй, отсюда пора уходить», — смекнул я. Взял свой чемоданчик, винтовку и вышел из комнаты.

Выглянув наружу через парадную дверь и убедившись, что никого нет, я вышел на улицу, обогнул дом и углубился в квартал пустых темных зданий. Перелезая через изгороди, я пытался подобрать для себя подходящее помещение, чтобы в случае опасности выскользнуть с черного хода… Но дома были заперты. В это время начался артиллерийский обстрел. Снаряды ложились густо, земля вздрагивала, визжали осколки, звенели выпадающие из окон стекла, с деревьев осыпался снег. Я падал, вскакивал, снова падал, ища укрытия. Обстрел оборвался так же внезапно, как и возник. Наконец я нашел открытую дверь в пятиэтажном доме и вошел в него.

Обследовал верхние этажи. Не обнаружив людей, я спускался все ниже, пока не очутился в подвале, где оказалась целая группа польских женщин — они сидели прижавшись друг к другу, испуганно глядя на незнакомца с фонариком, остановившегося в дверях.

— Можно мне остаться с вами? — спросил я по-немецки.

Женщины молчали, потом одна из них сказала:

— Оставайтесь.

— Тогда помогите мне закрыть входную дверь. Никого не будем впускать в дом.

Одна из женщин поднялась со мной наверх. Мы задвинули засов и вернулись в подвал.

Три дня я прожил в этом подвале. Кто-нибудь из нас каждый день, обследуя комнаты на разных этажах, приносил еду. Кто хлеб, кто консервы, кто сухари, кто сахар, кто воду. Люди, скованные страхом, обреченные на неизвестность и безделье, были лишены всякого аппетита…

Обстрелы участились и приближались. 5 февраля на рассвете я проснулся, услышав знакомый до боли, до слез, живой голос «Максима»: «Та-та-та-та!.. Та-та-та-та!»

Я чувствовал, что это — наши ребята, они уже тут, за стеной дома, чуть повыше подвала. Спазма перехватила горло.

«Та-та-та-та!..»

«Н-н-п-ба-а-ах!» Это рвется снаряд, перелетевший через дом. А потом тишина, сквозь которую слышится отдаленный гул фронта. И снова: «Та-та-та-та!» Это говорил «Максим». Как не знать мне его голоса! За таким «Максимом» я лежал на третий день войны на берегу Дуная в городе Измаиле и прикрывал огнем наш десант, форсировавший Дунай с целью захвата острова, который находился напротив Измаила.

И вот опять слышу его голос: «Та-та-та-та!» Встаю, выхожу из подвала, бегу по лестнице на четвертый этаж. В чьей-то квартире подкрадываюсь к окну: передо мной заснеженное поле, по которому шеренгой бегут немцы в атаку. Они что-то кричат, кто-то из них падает в снег, скошенный «Максимом». Недвижимые серые бугорки покрывают белое поле. Остальные бегут обратно.

Вот он, фронт. В трех шагах от меня.

У своих

Момент критический, крайне ответственный и крайне опасный. Фронт суров и беспощаден — это я знаю. Здесь некогда вдаваться в детали. Пулю схватить проще простого и от немцев, и от своих. Чувства захлестывают рассудок, и я боюсь той опрометчивости, которая неожиданно может стоить жизни. Я многому научен и действую обычно осмотрительно, но здесь, в трех шагах от своих, трудно сохранить душевное равновесие, ведь этого дня я ждал долгие четыре года…

«Как встретят? Выдержит ли сердце? Смогу ли сразу

заговорить по-русски? Самообладание — всегда и везде — вот что необходимо…» Взял себя в руки. Быстро переодеваюсь в гражданский костюм, прихватываю из шкафа чье-то пальто, кепку.

Подхожу к окну, оно выходит в проулок. Напротив из соседнего дома, пристроившись за окопной рамой, советский автоматчик строчит по полю под косым углом. Он совсем близко. Не высовываясь из окна, машу ему белой, подхваченной здесь же на полу тряпкой. Автоматная очередь обрывается.

— Как бы мне к вам перебраться? — Мой голос прерывается от волнения.

Автоматчик смотрит на меня спокойно. У него простое, открытое русское лицо, ему лет восемнадцать.

— Спускайся вниз и перебегай. — Он осторожно высовывается из окна: — Эй, Максим, пропусти «парламентера»! — Затем подмигивает мне и скрывается за косяком рамы.

Я отхожу от окна, вынимаю «Браунинг». «Брать, не брать?» Документов при мне нет. Только моя бесценная записная книжка. Пистолет надо взять. Стремглав лечу вниз и подхожу к окну первого этажа. Внизу на снегу лежит, распластавшись перед «Максимом», солдат. Я вижу его сверху — ватник, ушанка, две раскинутых ноги в обмотках и ботинках.

— Привет пулеметчику! — говорю я, высунувшись.

— Ты, что ль, парламентер? — Он смотрит вверх. — Прыгай! Да побыстрее!

Я прыгаю вниз из окна и, перескочив через пулеметчика, вбегаю в подъезд соседнего дома, где меня встречают два солдата. Теперь я у своих!

— Пистолет? — спрашивает один, хлопая меня по карману пиджака.

— Пистолет, — отвечаю я. — Я советский разведчик, кличка Сыч. Прошу срочно доставить меня в штаб полка. Имею важные сведения.

Появился третий солдат, в ватнике, без знаков различия, по всему видно, «старший».

— Что за человек? — Он смотрит на меня хмуро, и скулы подергиваются на его смуглом лице. — А ну, — вдруг повышает он голос, — ставь его к стенке! — Он вынимает из деревянной кобуры маузер.

— Одурел, что ли? Меня четыре года фашистская пуля не брала, а ты меня этак срубить хочешь, не разобравшись. — Что-то еще резко говорю, от волнения путая немецкие и русские слова.

Старший в нерешительности молчит, но держит маузер

наготове.

Стараюсь говорить спокойно:

— Доставьте меня в штаб! У меня важные сведения!

— Ладно, постой, Иван, надо разобраться. А ты откуда сам? — спрашивает тот, кто обыскивал меня.

— Из Москвы.

— И я из Москвы. Где жил?

— У Савеловского вокзала. — И вдруг на мгновение я сознаю всю сложность своего положения, и меня бросает в жар. — На Башиловке, — говорю я сдавленным голосом.

— А я на Таганке. Земляки.

— Будет вам тут лясы точить, адреса указывать, — обозлился старший. — Ставь его к стенке. Какой с ним разговор! Не видишь, что ли, кто он есть? А ну отойди! — И он резко толкает меня в грудь.

Но заминка прошла, и я снова я!

— Брось дурить, старшой! Не знаю тебя по званию. И с оружием не играй. Мне в штаб надо! Срочно! Я — разведчик!

— А может, он правду говорит, Иван? Смотри, паря, ведь и такое бывает…

— Не с кем мне его в штаб отсылать, — мрачно цедит Иван. — Людей у меня нет. Шлепнуть его, и делу конец. Наговорить можно всякое. — Но по всему видно, что он сдается.

— Да откуда ты знаешь, кто он? — спокойно говорит москвич. — На лбу не написано. Пошли его вот с Николаем к дяде Ване…

В дверях появляется четвертый солдат.

— Так ведь это ж на самый конец города, — возражает Иван. — Ну, черт с вами, веди его к дяде Ване, и быстро назад!

Москвич передает Николаю мой «Браунинг» и записную книжку:

— При нем обнаружено, доложишь!

— Если чуть в сторону — хлопни на месте! — предупреждает Иван солдата, не глядя на меня.

— Ясное дело! — спокойно говорит тот. — От меня не уйдет. А ну, пошли! Руки за спину! — Он автоматом указывает мне дорогу.

Мы выходим из подъезда. Фронт гудит. Строчит «Максим». Рвутся немецкие мины.

Идем городом. Из-за снежного облака выглянуло солнце. Сегодня оттепель, снег темный, подтаявший. Город пустой, онемевший. С воем летит немецкий снаряд и рвется совсем близко от нас. Я не могу удержаться и падаю мгновенно в грязный снег лицом. «Неужели не дойду, не доживу?» Осколки

веером пролетают над нами. Рушится стена дома, в который угодил снаряд.

— Вставай! — приказывает Николай; он так и не прятался от осколков. — Два раза один снаряд не рвется. Пошли!

Я встаю, и мы снова месим тающий, грязный снег. Идем быстро. Мысли будоражат мозг: «Как встретят? Как отнесется командование? О чем говорить в первую очередь?»

Иду под конвоем. Какой-то наш раненый солдат, прислонившись к стене разбитого дома, нещадно бранится и грозит кулаком в нашу сторону… Мысли бегут и путаются в голове: «Кто тот офицер, который будет меня допрашивать первым? Молодой, старый? Будет равнодушен или, наоборот, пожелает узнать о жизни на оккупированной врагом территории? Будет ли интересоваться моей тыловой работой?»

И вдруг меня охватывает какое-то необъяснимое радостное чувство, и все окружающее для меня обретает особый смысл, особое значение. В душе я ликую. Это мое личное солдатское счастье. Слезы накатываются на глаза, туманят взор… Я у своих… На своей стороне…

Рассвет.

Падает снег. Сижу в яме, в наручниках и кандалах, на мокрой земле. Я снова один. Холодно. Но холода я не чувствую — мне жарко, и от меня валит пар. Жарко оттого, что только что закончился допрос. Очевидно, я получил шок. От волнения я не мог говорить по-русски, полковник допрашивал меня по-немецки и записывал мои слова с тем уклоном, который грозит мне серьезными последствиями. Полковник в разговоре ставит не те акцепты. Генерал часто его переспрашивает. Я понимал, пока не установлена моя личность, выводы могут быть не в мою пользу…

В памяти всплывает картина только что пережитого: стою перед оперативной картой и докладываю генералу — командиру советской дивизии обо всем, что знаю о немецком познаньском гарнизоне. Генерал слушает внимательно, уточняет детали об укрепрайоне, о численном составе школы переводчиков, об их вооружении… А вот — еду куда-то на «Эмке» в сопровождении молчаливого майора. Мелькают израненные леса и разрушенные селения. Всюду следы боев. По обочинам дороги громоздится разбитая немецкая техника: танки, вездеходы, пушки, машины…

И опять яма. И опять я сижу в яме.

Вспоминаю свою мать — седую, грустную, сидящую около окна… Почему-то опять увидел Хромова, идущего, прихрамывая, по затемненному Днепропетровску…

Прошло недели две.

Наконец-то личность моя установлена — пришли документы

из Москвы. Следователь стал мягче, уже не стучит рукояткой пистолета по столу, дает закурить. Из ямы перевели в сарай, стало чуть теплее.

И вот меня снова вызывает начальник Смерша 8-й гвардейской армии генерал Витков Григорий Иванович. Вхожу в его кабинет. Наручники и кандалы сняты. Конвой остался за дверью. Генерал сидит за небольшим письменным столом справа от входа. Он невысокий, крепкий, круглолицый. За его спиной большая карта Европы. На столе — ваза с фруктами. Генерал курит «Казбек». Напротив меня — длинный стол под зеленым сукном. За столом сидят шесть полковников — все в орденах и медалях.

Стою по стойке «смирно».

— Вот вы вчера рассказывали, что присвоили себе кличку Сыч, — обращается ко мне генерал. Глаза его смотрят на меня спокойно и, как мне кажется, дружелюбно. — Так вот, — продолжает он, — расскажите нам все, что связано с этим именем, с этой кличкой. Когда вы себе ее присвоили? Зачем? Для какой цели? Словом, все по порядку и как можно подробнее.

Я стал рассказывать и говорил долго и подробно. Все, что я говорил, быстро печатал на пишущей машинке секретарь — мужчина, одетый во все кожаное.

Сведения, накопленные в памяти и зашифрованные в записной книжке, данные о гитлеровской армии, которые по крупицам собирались мною за долгие годы пребывания во вражеском тылу, — сейчас все взято на учет.

Моя работа как агитатора-пропагандиста, распространение среди населения советских листовок и сводок Совинформбюро, участие в создании партизанских групп. Рассказал о зверствах фашистов на оккупированной территории, о расстрелах. Привел много фактов, цифровых данных. Рассказал о побегах из фашистских лагерей, о том, как использовал знание немецкого языка… Воспользовавшись небольшой паузой, один из полковников встал:

— Товарищ генерал, разрешите закурить!

— Успеете. Слушайте лучше! Полковник сел.

Я рассказывал о фашистских танковых дивизиях СС «Великая Германия» и «Мертвая голова», о Швейцарии, Турции, о патриотической борьбе советских людей в Днепропетровске, Днепродзержинске, на территории Румынии, Латвии…

— Ясно, — сказал генерал. — Так вот, — обратился он к одному из полковников, назвав его по фамилии. — Это и есть тот человек, кличка которого зарегистрирована у нас как кличка неизвестного разведчика-партизана. Примите к сведению. — И

тут же обернулся ко мне: — А вы не хотели бы поработать у нас переводчиком?

— Служу Советскому Союзу!

И с этого дня я помогаю как переводчик двум полковникам допрашивать крупных немецких чинов, гражданских и военных. Работа идет напряженная, многочасовая. Нахожусь в подчинении начальника следственного отдела капитана Халифа Михаила Харитоновича. (После войны я навестил генерала Виткова в Харькове и капитана Халифа в Курске.) Живу в отдельном теплом помещении, питаюсь наравне с другими из общего котла. Выполняю все поручения. Следствие по моему делу пока прекращено.

Прошло еще несколько дней, и я был переведен в тюрьму города Бромберг, освобожденного советскими войсками.

Камера оказалась большим залом, в котором находилось человек сорок. Здесь были преимущественно немецкие офицеры и человек десять в штатском. Тут же в зале — параша, рядом — бачок с водой, на крышке которого стояла железная кружка.

Заключенные располагались вдоль стены. У каждого была войлочная подстилка и подушка, набитая соломой. Иметь одеяло и простыни не полагалось, чтобы заключенный, отдыхая, не закрывался с головой. Подъем в восемь тридцать. Затем нас группами выводили умываться. В девять утра завтрак, еду получали в коридоре. В два — обед. В восемь вечера ужин. В десять — отбой. Кормили сносно. В зале было довольно прохладно, но не холодно. Окна расположены высоко под потолком, и через зарешеченные стекла было видно небо.

Дежурная охрана менялась посменно, и в дверной глазок за заключенными велся постоянный надзор. Если кто-либо нарушал порядок, появлялся охранник…

Я получил место в углу рядом с очень симпатичным пожилым человеком. Вскоре близко с ним сошелся. Чувствовалось, что человек он талантливый, много в жизни повидавший и переживший. Он был умен, проницателен и эрудит.

Мне надо было акклиматизироваться в новой обстановке. Настроение у меня было довольно бодрое, хотя что-то подспудно беспокоило. Я понимал, что в основном все идет хорошо, я — у своих, и это — главное. Самое страшное позади, по не сомневался, что меня еще ждут серьезные испытания. Я знал: полечу в Москву с характеристикой Смерша 8-й гвардейской армии, в которой отмечена моя добросовестная работа в качестве переводчика. Но я отчетливо сознавал, что в Москве мне придется отчитываться за все годы, проведенные в тылу врага… Вспомнились слова, которые я сам и придумал:

Всегда и повсюду ты следуй Закону, Где совесть — Верховный судья!

Всплыли картины пережитого… Сколько же раз мне удавалось вырываться из фашистской неволи?

Первый раз — когда нас троих расстреливали за сельским огородом, второй — из александрийского лагеря, третий — с днепропетровской биржи труда, четвертый — в Днепропетровске при разгрузке на вокзале состава с продуктами, пятый — из кировоградского лагеря смерти, шестой — из днепродзержинского госпиталя, седьмой — из роты Бёрша, восьмой — из военного эшелона на территории Венгрии, девятый и десятый — в Латвии из тайной полевой полиции, одиннадцатый — из войсковой части города Лисса, двенадцатый — из Познаньской школы переводчиков. Двенадцать!.. Каждый побег был — испытание характера, воли, требовал колоссальных затрат физических и духовных сил.

Возможно, кто-нибудь из читателей скажет, что я был удачлив. Отвечу: возможно, я был удачлив. Но удача сопутствует тому, кто не теряет головы, не опускает рук в самых экстремальных ситуациях, кто, трезво оценивая обстановку, проявляет смелость и дерзость, находя единственно правильный выход из самых безвыходных положений.

Четыре года жизни в постоянном нервном напряжении, с петлей, так сказать, на шее…

Оперативные сведения для Красной армии я передавал через разные каналы связи. В книге четко просматриваются только четыре раза:

1-й раз. В Днепродзержинске, через связного партийного подполья — партийному подполью.

2-й раз. В Румынии, через партизан-десантников.

3-й раз. В Латвии, через Кринку.

4-й раз. Через Смерш, когда я перешел фронт к своим из фашистской разведшколы г. Познань.

Хотелось бы сказать: я делал все, что мог. Пусть после меня придут более способные и сделают больше…

Как я уже упомянул, моим соседом по камере оказался очень симпатичный товарищ. Ганс Хельм был голландцем по отцу, мать его была полькой. Он свободно говорил на польском, французском, норвежском и немецком языках. Всего в жизни добивался сам, без всякой помощи со стороны, занимаясь самообразованием. Он родился в Польше в большой бедной многодетной семье. Отец батрачил, потом открыл небольшую ремесленную мастерскую. Обанкротился. Мать умерла. Осталось шестеро детей. Ганс был старшим. Отец женился вторично, и

мачеха заботилась о детях…

Ганс рассказал мне, что покинул Польшу, когда ему было пятнадцать лет. Сначала жил в Париже, затем в Берлине. Три года провел в Норвегии и потом начал странствовать, побывал в Сирии, в Турции, работал портовым грузчиком, разносчиком газет, служил матросом. Побывал на Гаити и на нескольких островах Тихого океана, в Полинезии у папуасов, где часто можно было видеть, как молодая женщина кормила одной грудью ребенка, а другой — поросенка…

Я рассказал Гансу о своей военной судьбе, он проникся ко мне симпатией и сказал, что его судьба чем-то схожа с моей. Это нас и сблизило. Мы беседовали с ним по-немецки. У него было чистое берлинское произношение. По-русски он не говорил.

Оказывается, Ганс был близко знаком с польским разведчиком Леопольдом Треппером, с которым он в детстве жил в местечке Новый Тарг, неподалеку от Закопана, и дружил, а в юности судьба разлучила их на долгие годы… Ганс рассказал мне, что Треппер руководил крупной антифашистской подпольной организацией «Красная капелла». Эта организация имела широкую подпольную сеть в Германии и в разных странах Европы.

Гестапо напало на след «Красной капеллы», запеленговало их радиостанции. Начались аресты, пытки. Процесс, закончившийся расстрелом многих участников этой организации, был заснят немцами в Берлине и широко демонстрировался.

Трепперу удалось узнать, что друг детства тоже связан с антифашистским подпольем; он разыскал его и решил использовать как связного и переводчика. Они встретились в Париже, и Треппер, завербовав его, подключил к одной изолированной секретной группе, которая была заброшена англичанами на территорию оккупированной Франции специально для дезинформации гитлеровцев перед открытием союзниками второго фронта.

Избегая ареста, Треппер, обманув гестаповцев, вышел из-под удара и скрылся, а Ганс Хельм, выполняя его поручение, провел несколько диверсионных актов, заменил засвеченные конспиративные квартиры в Лионе и уехал в Норвегию.

…Прошло несколько дней. Одних заключенных куда-то уводили, их места занимали вновь прибывшие. В минуты отдыха, лежа на войлочной подстилке, я был предоставлен самому себе и был поглощен своими мыслями.

Вспоминал мать, братьев, школьных товарищей: Абрамова, Яковлеву, Асмуса, Тилевича… Бориса Королева с Башиловской улицы, соседа по квартире. Он служил в 79-м погранотряде и из

Кировограда в июле 41-го года в группе пограничников уехал в Москву, где из чекистов и пограничников формировалась армия Масленникова. Его военной судьбы я тогда не знал…

А мои боевые друзья: Самойленко, Черноляс? Где они сейчас? Живы ли? Вспомнил Илью Брижниченко — пограничника 1-й заставы в городе Рени. Как рассказал мне в лесу около хутора Цеши в Латвии Черноляс, Брижниченко в мае 42-го года выносил из-под Харькова знамя полка, вышел из «котла», был дважды ранен, под Сталинградом охранял главную переправу через Волгу, потом служил при штабе 79-го погранполка до пленения генерал-фельдмаршала Паулюса…

Как в неправдоподобном сне прошли передо мной черноглазая Зоя Кринка, ее мать, ее отец… И Мержиль, и Беата… Вспомнились наши романтические с ней беседы, прогулки по женевскому парку… Сосновский? Все так же мастерил свои манекены или, возможно, уже и женился?..

Сколько встреч, людей, событий, впечатлений… Их хватило бы на десятки книг…

Ганс Хельм, чтобы скоротать время, рассказывал мне прелюбопытнейшие истории, участником которых ему довелось быть. Вот одна из них.

В Норвегии находился завод «тяжелой воды». Этот ценнейший компонент, необходимый для расщепления атома, еще до оккупации гитлеровцами Норвегии решили приобрести англичане. Но оказалось, что эту «тяжелую воду» не так-то просто вывезти: в канистрах она окислялась. Покрывались канистры изнутри и медью, и золотом, и платиной — все безрезультатно. Пришлось изобрести особый, специфический сплав, и после этого, когда окисления не произошло, можно было «тяжелую воду» вывезти в Англию. Немецкая разведка следила за действиями англичан.

В тот день, когда заполненные канистры уже можно было вывезти, англичане еще в зоне завода пронумеровали канистры белой краской, затем погрузили их в закрытый фургон и отправились на аэродром.

По пути вечером они специально заехали переночевать в гостиницу, находившуюся возле бензозаправки, а фургон с канистрами поместили в гараж. В этом гараже у них были заранее приготовлены такие же пронумерованные канистры, но только с простой водой. Вот с этими канистрами, оставив ценнейший груз в гараже, они на следующий день утром приехали на аэродром, погрузили их в самолет, и самолет улетел…

Немцы вызвали «Мессершмиты», которые пошли на перехват и посадили самолет на территории Германии. Но ценная

«тяжелая вода» исчезла… и вскоре оказалась в Лондоне.

— Ну как? — Ганс взглянул на меня. — Любопытно?

— А в чем же конкретно заключалась ваша миссия?

— Я еще не все рассказал. Так вот, это происходило в 1940 году. А осенью сорок четвертого года немцы были вынуждены демонтировать завод «тяжелой воды», ибо в то время советские войска наступали гитлеровцам на пятки.

Надо сказать, что на территории этого завода немцы сразу же после оккупации оборудовали две секретные зоны — обе глубоко под горой. В одной были цеха по изготовлению «Фау-1» и «Фау-2» — беспилотных летающих снарядов, весом от 14 до 16 тонн, длиной до 9 метров, а в другой — представьте! — располагались цеха по изготовлению фальшивых банкнот. Немцы тогда имели высокоразвитую химическую промышленность и специальное полиграфическое оборудование. Работали в цехах фальшивомонетчики со всех стран Европы, высококвалифицированные художники и граверы, были там заключенные и из Советского Союза.

Так началась грандиозная афера. Немцы изготовили колоссальное количество купюр долларов и фунтов стерлингов самого крупного достоинства. Но перед конвейерным выпуском этих фальшивых денег надо было на каждом банкноте поставить секретные знаки, по которым опытные эксперты в банках определяют, фальшивые деньги или нет. А подобные знаки были известны только шифровальщику, который метил эти банкноты и в Америке, и в Англии. Этого шифровальщика, когда он под усиленной охраной прибыл в Лондон, группе гитлеровского диверсанта Отто Скорцени удалось перехватить, переправить через Ла-Манш в Берлин, а затем в Норвегию, где он и зашифровал подпольные банкноты. После того как ряд банков сообщил, что деньги подлинные, старика шифровальщика, как и было обещано, немцы оставили в живых, но до времени изолировали.

Фашистские агенты из нейтральных стран с огромными чемоданами фальшивых денег разъезжали по Швейцарии, Турции и Италии и, получив положительный ответ от банковских инспекторов, спокойно меняли фальшивки на золотые монеты и золотые слитки и скупали на них бриллианты, уникальные картины и антиквариат — все это свозилось в тайные склады Рейхсбанка в Берлин.

Таким образом немцам удалось в немалой степени подорвать экономику Америки и Англии, ибо на международный рынок хлынул поток подпольных долларов и фунтов стерлингов, не имеющих золотого обеспечения.

Когда эта преступная акция завершилась, немцы занялись срочным демонтажем цехов. Оборудование уходило в район Рура. Всех заключенных, работающих в цехах, изготовлявших фальшивые деньги, должны были расстрелять, но этого не случилось…

Однажды, в один из дней осени 44-го года, к генералу Фромму — командующему эсэсовской дивизией, которая охраняла территорию завода «тяжелой воды», явился оберст (полковник) и передал лично в руки пакет с грифом «Секретно». Генерал вскрыл пакет и был крайне удивлен, увидев в нем фотографии своей семьи: жены и детей.

— Как это понять? — спросил генерал.

— Дело в том, господин генерал, что я не из Берлина, а из Москвы и прибыл с этими документами к вам, чтобы рассказать, что вы по национальности — еврей. И поэтому не имеете права входить в эсэсовскую элиту.

— Это ложь! Мой отец немец, и моя арийская принадлежность ничем не запятнана!

— Действительно, — ответил полковник, — ваш отец — немец, аристократ, барон. Он активно субсидировал концерн Круппа.

У него была жена Магда, но не было детей. Ваш отец вступил в преступную интимную связь со служанкой-еврейкой, она забеременела, и ему пришлось отослать ее с письмом к своему другу в Мюнхен. Вот это письмо. Конечно, копия, подлинник находится в Москве. Ваш папаша просит своего друга скрыть от Магды его позор, принять служанку, чтобы она у него спокойно родила. Друг вашего отца ответил письмом — вот оно: «Дорогой Герберт, что за вопрос, конечно, сделаю для тебя все, что надо, и ты не должен ни о чем беспокоиться…» Таким образом, генерал, если это предъявить сейчас другу вашего отца, он не сможет отказаться, и этим приговорит вас к смерти. А он — юрист, известный всему миру, и сейчас во всех газетах печатаются за его подписью документы о расстреле участников заговора против Гитлера. Вы родились от еврейки, господин генерал, — закончил полковник, — родились в 1901 году в имении известного юриста. Таков неопровержимый факт.

Генерал был ошарашен, он потерял дар речи.

— Взгляните на эту фотографию. Здесь — медальон вашей матушки, слева — она, справа — ваш отец. В годы инфляции ваша матушка заложила этот медальон в ломбард, а мы его выкупили, он сейчас в Москве, а ваша матушка погибла в еврейском гетто. Вы же подросли, получили образование в Лондоне, вернулись в Германию, вступили в гитлерюгенд, затем

окончили офицерский корпус… А вот — фотография вашей семьи, жена, дети. Если я отсюда не выйду и не смогу сообщить через час о результате моего визита к вам, мои люди уничтожат всю вашу семью: ваша дача находится под контролем и мои люди ждут радиосигнала. Советское командование предлагает вам отпустить всех заключенных 5-го и 6-го цехов. У вас один выход — не брать на себя ответственности за преступление против человечества; забирайте семью и перелетайте к американцам. Гитлер все равно проиграл войну.

Генерал Фромм так и сделал. Он приказал выпустить из зоны всех заключенных и с семьей перелетел к американцам. Но к сожалению, полковник не знал, что за сутки до его разговора с Фроммом всем заключенным, работавшим в тех цехах, была введена инъекция смертельного яда замедленного действия, и все они, покинув рабочую зону, вскоре умерли.

Дальнейшие события развивались так. Советский полковник вышел из зоны. Я (продолжал Ганс Хельм) был его связным, связал его с английской разведчицей, та дала условный радиосигнал. Англичане поняли, что настал их час. 50 «Летающих крепостей» поднялись в воздух. Каждая пара американских самолетов имела на подвеске пятитонную бомбу (одна «Летающая крепость» могла взять груз до 8 тонн).

Воздушная армада выходила на цель. Немцы засекли ее, и стаи «Мессершмитов» ринулись на перехват. Но англичане стали выпускать из люков массу вибрирующих алюминиевых пластинок, которые дезориентировали немецкую локаторную систему. Немцы потеряли самолеты из виду, а тем временем они резко изменили курс, пошли на Норвегию и с высоты десяти километров одновременно по радиосигналу сбросили на завод «тяжелой воды» 25 бомб. Завод прекратил свое существование, хотя и был скрыт под горой…

В долгих беседах с Гансом мы как-то коснулись его пребывания во Франции. Ганс был знаком в Париже с одним французом-патриотом из «маки», который работал на оккупантов и служил коммивояжером в фирме, торгующей винами. Его деятельность давала ему возможность разъезжать по всей Франции. Английская разведка поручила ему, бывая в разных департаментах, вербовать патриотов-железнодорожников и собирать сведения о том, где на территории Франции немцы оборудуют стартовые площадки для запуска на Англию «Фау-1» и «Фау-2». Железнодорожники просили рабочих-строителей, работавших у немцев, составлять карту засекреченных объектов. Таким образом, на территории Франции были зафиксированы все стартовые площадки, и, как только гитлеровцы установили там

ракеты и подготовились к запуску по Англии, английская авиация одновременно разбомбила по всей Франции такие площадки и уничтожила сотни «Фау-1» и «Фау-2».

Ганс Хельм был надежным связным английской разведки, и он, получая сведения о стартовых площадках, помог англичанам спасти Лондон от варварских бомбардировок.

Ганс Хельм рассказал мне еще одну весьма любопытную историю.

…В Амстердаме жила богатая аристократическая семья. Отец, крупный делец, был фашистским прислужником и пользовался их расположением. А его сын и дочь были активными участниками партизанского подполья, они действовали решительно и умно: взрывали железнодорожные мосты и бензосклады, расклеивали антифашистские листовки, призывая население к борьбе.

Но случилось так, что в одной из опасных операций они были схвачены и приговорены к расстрелу. Отец отказался от детей. Мать была в отчаянии.

Немцы вывешивали в городе списки расстрелянных, и в одном из списков были имена брата и сестры. Сына действительно расстреляли, а дочь осталась жива только потому, что один крупный чин из гестапо приехал на процесс из Берлина и влюбился в нее. Девушка была очень красива, обаятельна, интеллигентна, великолепно знала немецкий и английский языки. Гестаповец вступил с ней в интимную связь, устроил ее в шпионскую школу в Амстердаме, где она училась владеть радиоаппаратурой. В этой школе преподавателем подрывного дела работал подпольщик, участник антифашистского Сопротивления. Он знал эту девушку и доложил подполью, что та в школе. Там решили, что девушка выдала членов подполья, потому и осталась жива, и приговорили ее заочно к смерти. Но события развивались нестандартно. Преподаватель-подпольщик сам в нее влюбился и в отсутствие гестаповца сблизился с нею. Вскоре он убедился, что она истинная патриотка, и предложил ей бежать из школы. Побег был разоблачен, и их приговорили к смерти. Преподавателя расстреляли, а женщина опять осталась жива, потому что на процесс прибыл гестаповец, добился разрешения увезти ее в Берлин «для доследования» и сам конвоировал ее. В поезде он сказал, что не может без нее жить и решил изменить свою судьбу. Предложил по фальшивым документам, которые уже заранее подготовил, бежать с ним в Турцию…

В Турции гестаповец явился к сотруднику контрразведки в немецком посольстве и познакомился там со знаменитым Цицероном — шпионом, работавшим в английском посольстве и

фотографировавшим для немцев ночами в кабинете посла секретные документы… В те дни из Берлина пришел вызов на некоторых сотрудников посольства, немцы не хотели возвращаться в Берлин, опасаясь репрессий со стороны Гиммлера за якобы политическую дезинформацию. Время было тревожное, и сотрудникам немецкого посольства было не до гестаповца. Не получив должной поддержки, он со своей любимой перебрался в Рим, который вот-вот должен был быть освобожден американскими войсками. Любовница гестаповца была оставлена в Риме с рацией, чтобы сообщать немцам о дислокации американских войск. Сам гестаповец скрылся, сделав себе пластическую операцию. Увидев красотку в освобожденном Риме, в нее влюбился американский адмирал и, узнав о ее романтической судьбе, просил суд разобраться в ее деле и по возможности сохранить ей жизнь. Суд сохранил ей жизнь, она была оправдана, освобождена, вернулась на родину и начала работать. Родители ее умерли. Замок перешел во владение чужих людей. Она осталась одна.

Ганс Хельм знал ее по подполью, она связала его в свое время с одной женщиной, которая работала на секретном объекте, где фашисты, готовясь к бактериологической войне, изобретали смертоносные бациллы. Гансу Хельму та женщина передала документы, сфотографированные ею на тайном объекте.

О возвращении подпольщицы в Амстердам он узнал из газет и, встретившись с ней, попался в любовные сети. Но его подготовка к свадьбе неожиданно оборвалась… И вот он в Бромберге, в тюрьме, но скоро надеется быть рядом со своей любимой…

В те дни память не раз возвращала меня к пережитому.

Вспомнились допросы в Смерше. Один следователь-полковник, злой и малокультурный, все стучал рукояткой ТТ по столу и кричал: «Будешь сознаваться? Я из тебя душу вытрясу! Все равно расстреляем!» А другой следователь, тоже полковник, на допросах угощал меня жареной курицей и, когда я ее с жадностью уплетал, запивая ароматным чаем, переспрашивал, правильно ли он все записал с моих слов…

Пришел на ум и эпизод, когда я, уже работая переводчиком в Смерше, помогал допрашивать геббельсовского подручного Функа. Два наших полковника сидели за столом, один — справа от меня, другой — слева. Я — между ними. Они поочередно подкладывали мне вопросники на отдельных листочках бумаги.

Конвой ввел Функа. Я его сразу узнал. Начался допрос. Функ отвечал спокойно, сосредоточенно. И вдруг я напомнил ему его речь на закрытом рауте в Будапеште. Функ изменился в лице. Он

никак не мог себе представить, что молодой человек здесь знает о том его выступлении. А я специально для него повторил всю речь. У Функа задергалось веко.

Я не заметил, как один из полковников нажал под столом кнопку звонка. Вошел конвой.

— Уведите! Функа увели.

— Почему вы отклоняетесь от вопросника? — спросил полковник.

— Я Функа видел на рауте в Будапеште и все хорошо помню, — сказал я.

— Об этом потом, — резко бросил полковник. — Отвлекаться не будем.

Функа ввели снова, и допрос продолжался.

…Вспомнилась и «румынская операция».

После первой удачной продажи лошадей на базаре я купил себе гражданский костюм и неновый американский фотоаппарат. Мне показали, как им пользоваться, и я стал фотографировать достопримечательности городка. А когда продавал жеребенка, заметил на базаре одного румына, которого узнал, и незаметно сфотографировал его.

Проявил пленку и уже с фотографиями в руках пришел на базар. Это был день, когда мы покупали обоз. Помню, мы с Григорием загляделись на пляшущих и поющих цыган. Я показал Григорию фотографии.

— Как? — удивился Григорий, увидев их. — Так это же наш румын-переводчик?! Тот самый, который от нас сбежал.

— Ну? — удивился я.

— Почему же ты его сфотографировал? Разве ты его знаешь?

— Да, в начале войны наше соединение вместе с пограничниками 79-го погранотряда и Дунайской флотилией в боях за Килею-Веке на румынской территории взяли в плен 800 румын, и среди них был этот. Я узнал его… Тогда пленных переправили на наш берег, сделали привал и стали их кормить. Подъехала полевая кухня. Кто-то отвлек нашего солдата, а этот самый румын забежал за куст и присел. Я это заметил. Потом, смотрю, румын пополз по-пластунски к Дунаю, а в это время кто-то из наших заиграл на гармошке, и румыны повеселели… Тем временем румын-беглец дополз в траве к большому дереву и скрылся в кустах. Я достал ТТ, подхожу, вижу: сидит он в окопе, одна голова видна.

— Ты чего это сюда залез? — спрашиваю. И он вдруг отвечает мне по-русски:

— А я ничего. Оправиться надо, — и снимает штаны.

— Э, нет, ты — беглец, ты полз сюда по-пластунски. Я это

видел. — И повел его к пленным…

— Вот бы нам его сейчас найти, — сказал Григорий.

— А это просто, — ответил я. — Он тогда на базаре договорился с одним румыном встретиться в кабаке в шесть вечера и назначил встречу как раз на сегодня. Я знаю этот кабак, там по воскресеньям выступают цыгане.

— Здорово! — воскликнул Григорий. — Доложу начальнику, и мы его сегодня возьмем, а то не ровен час — он нас румынам заложит. А нам сейчас стрельбу открывать совсем ни к чему.

— А как же обоз?

— Обоз пусть уходит, он под надежной охраной. Мы его догоним. Румына взять надо, обязательно!

В тот же вечер мы были в кабаке втроем. Цыгане пели и плясали. Румына увидели сразу, он был изрядно пьян. Через официанта вызвали его на улицу, и мои друзья его увели, а я пошел к себе. Фотоаппарат потом куда-то пропал. Видно, на него позарился денщик Бёрша, ему позарез тогда нужны были румынские леи. А фотографии? Я не знал, что с ними делать, и выбросил их.

…Прибыло новое пополнение, и — о, чудо! — я увидел генерала Белобородова. Старик сразу меня узнал. Мы сердечно обнялись.

— Вот хорошо-то как! Вот здорово! — повторял он.

— Я тоже верил в нашу встречу!

Я уступил ему свое место в углу, а Ганс передвинулся на освободившееся место рядом.

Я познакомил Белобородова с Гансом, и, когда тот отошел, старец сказал:

— Слышал о нем, это способный агент. Он работал на несколько разведок одновременно, но Хельм — это не настоящая его фамилия, а один из псевдонимов.

Я рассказал старцу об участии Хельма в дезинформации немцев на территории Франции перед открытием второго фронта.

— Да, — подтвердил Белобородов, — группа английской разведки действовала там удачно, и генерал-фельдмаршал Рундштедт клюнул на их дезинформацию. Во Франции другие группы, имеющие те же задания, провалились. Эти группы состояли в основном из французов, отступивших в свое время вместе с англичанами через Ла-Манш с Европейского театра войны. Один француз оказался предателем, по радиосигналу он принимал английский самолет, сам вел английскую разведку, сам сопровождал людей в Париж, Лион, Марсель на конспиративные квартиры и о каждом новом разведчике докладывал в парижское гестапо, которое затем их обезвреживало. Провалы насторожили

англичан. Они обнаружили предателя, заманили его в ловушку и уничтожили…

Вот и получалось: летят люди на задание и не знают, кто их ждет — друг или враг. Вечный риск… Некоторое время мы сидели молча.

— Тяжело сюда добирались?

— Нет, — ответил Белобородов. — Именно сюда даже с комфортом, а через фронт переходил не то чтобы трудно, но рисковал…

Мы долго беседовали. Я рассказывал ему о своих приключениях, он мне — о своих. После мимолетной паузы я сказал:

— Ведь надо же, где меня только черт не носил за эти четыре года, а жив остался! Судьба! От нее никуда не денешься.

— С хорошим человеком ничего не должно случиться плохого, потому что есть закон кармы, по которому человек получает вознаграждение за хорошие мысли и поступки и наказание — за дурные. Карма, по древнему восточному верованию, — это причина и следствие. Карма — это семя, мы его сами сажаем, из него вырастает плод. Доброе семя — добрый плод. Злое — злой.

— Мудрые слова… Да, кстати, а те найденные в парке чертежи, которые я вам передал, оказались стоящими? — спросил я.

— Весьма, — ответил старец. — Я их передал адресату — английскому посольству.

— Помню, когда я передавал вам их в отеле «Россия», вы сказали, что они подписаны фамилией Дюбуа.

— Да, Дюбуа, помню. Это был псевдоним доверенного лица.

— Так вот тогда в сквере, в Женеве, рассматривая те чертежи и рисунки, я заметил совсем близко на улице за кустами машину «Мерседес-600» и почему-то инстинктивно почувствовал опасность. Я не понимал, почему меня тревожит этот «Мерседес-600». Но чтобы вам было ясно, я немного перемещусь во времени и событиях. Из Стамбула я с Мержилем перелетел в Ригу, вышел на подполье, партизанил, переоделся в трофейную форму капитана танковой дивизии СС «Мертвая голова», при переходе фронта был задержан и направлен в один из отделов тайной полевой жандармерии. Бежал, попал в немецкий госпиталь в городе Салдус, который эвакуировался из Либавы в Кенигсберг на теплоходе «Герман Геринг». Затем попал в немецкий госпиталь в городе Польцип и выписался из этого госпиталя капитаном танковой дивизии СС «Мертвая голова». Согласно анкете, заполненной мною в Салдусе, мне было

предписано явиться к десятому января 1945 года в город Лисса на переформирование высшего офицерского комсостава танковых дивизий СС. По выходе из госпиталя в городе Польцин я сразу сиял комнату в частном пансионе…

Еще в Венгрии, когда я рассматривал гестаповские документы, подобранные мною после партизанской диверсии на горной дороге, я обнаружил в одном конверте парижский адрес и запомнил его. «А вдруг, думаю, судьба занесет в Париж, — будет где переночевать». Вот по этому адресу я и черкнул записочку из Польцина, когда был там в пансионе, интересовался, жива ли мадам Жанет Дюбуа.

— Дюбуа?

— Да. Возможно, та самая Дюбуа, которая подписала те секретные чертежи… И просил племянницу хозяйки пансиона, если из Парижа придет ответ на мою записочку, сообщить мне в Лиссу. Оставил адрес войсковой части. Много позже я осознал — это была моя грубая ошибка. Так вот, ответ я получил, и весьма своевременно. Именно в тот час, когда я, навсегда покидая танковое соединение в Лиссе, вышел из ворот зоны и направлялся к машине, вызванной из гаража, возле меня появилась незнакомая девушка, вручила мне письмо и… исчезла. Племянница хозяйки пансиона писала: «…В пансион заходили двое мужчин и спрашивали, кто писал письмо в Париж. Я ответила, один капитан. Вскоре по их вопросам я заподозрила что-то для вас опасное, стала их путать, и они уехали. Я запомнила только машину „Мерседес-600“. Решила послать вам это письмо не по почте, а воспользоваться услугами моей знакомой, которая как раз едет в Лиссу, и попросила передать лично вам из рук в руки…»

— Любопытно.

— Самое любопытное впереди. Я находился на грани нервного истощения и плохо соображал, хотя сразу же понял, что та парижская квартира Дюбуа, очевидно, была конспиративной явкой участников французского Сопротивления и была засвечена. Немцы, получив письмо, решили взять связника и явились в Польцип. Раздумывать мне было уже некогда, я сел в машину, и — случилось невероятное: по дороге на вокзал я разминулся с тем злополучным «Мерседесом-600». Мелькнула мысль: «Очевидно, „Мерседес-600“ был рядом со мной там, в Женеве. Что за странное совпадение?» Да, еще — от одного немца я слышал, что машина «Мерседес-600» принадлежала лично монарху германской индустрии, финансовому боссу, миллиардеру Фридриху Флику.

— Но насколько я осведомлен, персональная

пуленепробиваемая машина Фридриха Флика «мерседес», оснащенная даже пулеметом, имела номер «Д-РС 312».

— А может быть, кто-нибудь из его трех сыновей «подвязался» к абверу или гестапо?

— Вряд ли. Скорее всего, — сказал Белобородов, — машиной воспользовался кто-то из немцев-посредников, чтобы там, в Швейцарии, договориться с американцами о сепаратном мире. Пробил час, и крысы собрались бежать с тонущего корабля. Лично к вам тогда в Женеве эта машина, полагаю, не имела никакого отношения.

— А в городе Лисса?

— Там — вполне вероятно.

В зал ввели пополнение. Это была шайка уголовников, три человека. Настало время обеда. Уголовники пристроились к первой группе, шедшей за едой. Заключенных выводили в коридор, где через «кормушку» они получали в одну руку миску супа, в другую — миску с кашей и куском хлеба. Когда заключенный входил в зал, обе руки у него были заняты. Уголовники сразу смекнули, что есть возможность поживиться и, быстро съев свою еду, встали у входа в зал, встречая свою жертву. Человек входил, они набрасывались на его кашу и моментально ее съедали. Заключенный не мог себя защитить — обе руки были заняты, и он оставался без еды. Один немецкий полковник, лишившись каши и хлеба, поднял шум. В зал вошли охранники и, разобравшись, в чем дело, увели уголовников.

— Ну, как вам это нравится, — спросил я Белобородова.

— Меня они не тронули, уважают старость. Обед кончился. Я присел рядом со старцем:

— А не хотели бы вы вздремнуть?

— Нет, обычно после обеда я бодрствую, не хочу полнеть, лишняя нагрузка на сердце… Ну что, молодой человек, вы, я вижу, любитель слушать приключенческие истории. О чем же вам рассказать? О Пёрл-Харборе, как японский адмирал Ямамото бомбил американскую базу военных кораблей? О Мата Хари или о покушениях на Гитлера и Сталина? На Гитлера покушались официально пять раз. Четыре раза немцы и один раз — боевики иностранных разведок. На Сталина — семь раз. Только перед Тегераном Отто Скорцепи разработал три варианта покушения.

— Что бы вы ни рассказали — все безумно интересно, — заметил я.

— Тогда слушайте. Я расскажу вам об одной военной операции, связанной с дезинформацией немцев. Эта операция спасла тысячи американских и английских военнослужащих. Секретный план родился в Англии перед высадкой американских

и английских десантников на территории Италии и был разработан английской разведкой. Развивался он таким образом. Сначала англичане раздобыли мужской труп, при вскрытии которого можно было предположить, что человек утонул. Для этого мертвеца была сшита форма офицера специальной службы — майора английского Генерального штаба. Форму снабдили соответствующими документами, положили в карманы фотографию якобы жены утопшего, ее письма из Парижа, два билета без корешков в театр принца Уэльского, датированные 22 апреля 1943 года, серебряный крест на серебряной цепочке — на шее, наручные часы, бумажник, в нем две пятифунтовые ассигнации, одну монету в полкроны, две монеты по шиллингу, пригласительные билеты в кабаре-клубы, авторучку, еще разные вещицы и счет (оплаченный наличными) на покупку в одном из известных лондонских магазинчиков. В портфеле, прикрепленном к руке «майора» цепочкой с замком, лежало письмо якобы от Монтгомери к Эйзенхауэру (Монтгомери сам на этом письме поставил свой автограф). В нем, в частности, говорилось: «… Дорогой Джо! Мои доблестные солдаты любят больше корсиканские сардины, чем сицилийское вино. Если ты тоже с этим согласен, то 28 апреля 1943 года вывеси в Анкаре на здании посольства рядом с американским флагом и наш английский флаг…» Англичане переправили «майора» — этого якобы курьера от Монтгомери — из морга в специальном охладительном костюме в Марсель, где тайно поместили его в подводную лодку, и стали ждать…

Когда над Гибралтаром был сбит немцами английский самолет, английская подводная лодка вышла в море и оставила «майора» в спасательном жилете в трех километрах от испанского берега на надувном пробковом спасательном кругу. Сильный ветер дул в сторону Испании, и вскоре труп был обнаружен испанскими рыбаками. Документы немцы срочно доставили в Берлин. Весть о «майоре» была опубликована. Испанцы хоронили «майора» с почестями, а тем временем гестапо и контрразведка детально изучали полученные документы. Кальтенбруннер, Гитлер и Шелленберг стали ждать 28 апреля, и, когда в Анкаре в этот день рядом с американским флагом появился английский флаг, Гитлер дал приказ, и большую часть военного флота, две подводные лодки и две пехотные дивизии немцы перебросили с Сицилии на охрану Корсики. Сицилия была оголена. Эйзенхауэр предпринял штурм Италии, надводные и воздушные десантные войска с африканских берегов атаковали немцев и взяли Сицилию, выиграв сражение малой кровью…

— Вот как работают профессионалы, — сказал

Белобородов. — Разведка — это очень тонкая, опасная и тяжелая работа. Но все же, все же, — добавил он, — основные принципы западных разведок сильно отличаются от советских принципов. Западные разведки интересуются деньгами, голый расчет, отсутствуют убеждения, моральные устои, наблюдается частая перевербовка агентов. Резким контрастом западным разведкам противостоят советские разведчики. Примеров тому много…

(И только после войны я убедился в правоте слов Белобородова. Джордж Блейк, Рут Вернер, Клаус Фукс, Ким Филби, Хейнц Фельфе, Абель, Радо, Треппер… Они на «тайной войне» жили честной, бескорыстной жизнью. Недаром говорил Рабле: «Знания без совести — крушение души».)

— Советская разведка, — продолжал старец, — одна из самых сильных и опытных разведывательных служб мира. Имеет свою славную историю, свои боевые традиции, свои методы. Она не имеет потребительского подхода. Главная ее задача: забота о безопасности своей страны и борьба за предотвращение войны. Все эти годы она была дерзко активной. Как мне кажется, в правительстве каждой страны были ее глаза и уши. Многие иностранцы, занимающие правительственные посты, по разным причинам работали на советскую разведку…

Слева от нас в противоположном углу зала раздался шум. Поссорились немецкие офицеры. Что-то не поделили или круто разошлись во мнениях. Я встал и прохаживался, делая разминку. Подойдя к двери, увидел немецкого полковника и майора. Полковник курил.

— Господин полковник, — произнес майор. — Разрешите постоять рядом и понюхать дым?

— Разрешаю! — ответил тот, но сигаретой не угостил. Так они и стояли, один курил, другой нюхал дым.

В это время открылась дверь и чей-то голос произнес:

— Николай Соколов, на выход, с вещами!

— Это за мной!

Я простился со старцем, с Гансом Хельмом и вышел из зала.

В тот же день я улетел в Москву. На том же самолете летели несколько пленных немецких генералов и среди них царский генерал Краснов и его внук в форме майора немецкой армии.

Приближался день великой скорби и великой нашей Победы.

notes

Примечания

1

Редкой красоты женщина, Мария Александровна Глебова в молодые годы была замужем за сыном московского губернатора Г. Кристи, имела от него сына. В 1912 году с ней произошла драматическая история. В Новочеркасске были объявлены торжества по случаю трехсотлетия дома Романовых. В город приехал князь Трубецкой — потомок атамана, участвовавшего в выборе царя в 1612 году. Трубецкой приходился Михалковым дядей.

В Новочеркасске в поезде, которым приехали гости, произошло следующее: приревновав Трубецкого к своей жене, Кристи застрелил князя в купе спального вагона. Дело замяли. Мария Александровна развелась с мужем, и тот был вынужден уехать в Бессарабию.

2

Андрей Михалков-Кончаловский — режиссер кино, народный артист РСФСР. Постановщик фильмов: «Первый учитель», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Дворянское гнездо», «Сибириада», «Ближний круг» и ряда фильмов, созданных за рубежом. Фильм «Ася Клячина, которая любила, да не вышла замуж» двадцать лет пролежал на полке и только теперь обрел гражданство, после присуждения ему Государственной премии России. Наша критика и общественность считают эту картину явлением. Руководитель отечественной безопасности В. Семичастный сухо сказал мне: «Твой сын снял антисоветский фильм!»

3

Никита Михалков — режиссер кино, народный артист РСФСР, постановщик фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня», «Пять вечеров», «Без свидетелей», «Очи черные», «Автостоп», «Урга».

4

Расстрелять! *(нем.)*

5

Будет выполнено! *(нем.)*

6

Есть огонь? *(нем.)*

7

Иди! *(нем.)*

8

Хочешь свободы? Где деньги? *(нем.)*

9

А, достаточно! Идем! *(нем.)*

10

Огонь! *(нем.)*

11

Расстрелять! *(нем.)*

12

Будет выполнено! *(нем.)*

13

Есть огонь? *(нем.)*

14

Иди! *(нем.)*

15

Прочь! Прочь! *(нем.)*

16

Молчать! Заткнись! *(нем.)*

Постолы — грубая обувь. *(Примеч. ред.)*

18

О боже мой! *(нем.)*

19

Не рассказывайте мне сказки! (*нем.)*

20

Явился! *(нем.)*

21

Хорошо! *(нем.)*

22

Есть! Ваш приказ будет выполнен! *(нем.)*

23

Иди сюда! *(нем.)*

24

Вылезай! *(нем.)*

25

Хочешь свободы? Где деньги? *(нем.)*

Достаточно! Идем! *(нем.)*

27

Огонь! *(нем.)*

Из какой части? Что ищешь? Где штаб? *(нем.)*

Держи! *(нем.)* Подкидывай! *(нем.)*

30

О, превосходно! *(нем.)* Я чувствую себя у вас, как будто я снова дома! Как вам это удается? *(нем.)*

31

Жизненный опыт, господин генерал! *(нем.)*

32

Есть! Есть! Будет исполнено! *(нем.)*

33

Извините, девушка, я очень сожалею, но обстоятельства… *(нем.)*

С нами Бог *(нем.)*

«Крылья» и «Армия» *(нем.)*

36

— Господин фельдфебель, приятного аппетита! *(нем.)*

— О-о-о! Кого вижу. Где ты пропадал? Мы тебя искали! *(нем.)*

— Плохо искали! *(нем.)*

— Это ваш человек? *(нем.)*

— Наш! *(нем.)*

— Почему разъезжает без документов? *(нем.)*

— Это надо спросить у начальства, а командир роты, капитан Берга, на фронте *(нем.)*.

Распишитесь! *(нем.)*

Что у вас? *(нем.)*

— Кто тут? *(латыш.)*
— Немцы есть? *(латыш.)*
— Нет *(латыш.)*.

Пить! *(латыш.)*

Это тебе! *(латыш.)*
Нет, нет! Не надо! *(латыш.)*

42

Скорее. Лошадь… Госпиталь Салдус… А то тебя… *(латыш.)*

Что у вас? *(нем.)*
Не знаю, при танковой атаке упал с танка. Рука! Шея! *(нем.)*

44

Вот у вас сдвинуты шейные позвонки, сломана кисть руки, осколки в тканях… *(нем.)*